

Н О В Ы Й  
М И Р

5

---

1948

# НОВОЫЙ И МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XXIV

№ 5

Май, 1948 г.

---

---

ОРГАН СОЮЗА СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ СССР

## СОДЕРЖАНИЕ

- ГЕОРГИЙ ГУЛИА — Весна в Сакене, повесть 3  
СИНКЛЕР ЛЬЮИС — Королевская кровь, роман. Продолжение. Перевела с английского М. Абкина 76

### КРИТИКА И ПУБЛИЦИСТИКА

#### Обсуждение злободневных проблем литературной критики

1. Л. СКОРИНО — Новаторство и формализм 179  
2. ЗОЯ КЕДРИНА — Поиски главного (Рассказ о потерянном литературном процессе) 193  
3. АЛЕКСАНДР ЧАКОВСКИЙ — Обидная снисходительность 203
- БОРИС ЯКОВЛЕВ — Поэт для эстетов (Заметки о Велимире Хлебникове и формализме в поэзии) 207
- АЙБЕК, АЛЕКСАНДР ДЕЙЧ — Алишер Навои и его время (К 500-летию со дня рождения Алишера Навои) 232
- ПАВЕЛ КАМЫШЕВ — Заметки хозяйственника 251

#### На зарубежные темы

- АЛЕКСАНДР ЛЕЙТЕС — Талант и мировоззрение (К вопросу о творческом пути Чарли Чаплина) 268

#### Книжная полка

- ВСЕВОЛОД АЗАРОВ — Верность теме 293  
Ф. ЕВНИН — Правда образа и правда истории 294  
ВИКТОР ВАЖДАЕВ — Стихи о великой силе труда 296  
ФЕДОР КРАВЧЕНКО — Правда и вымысел 298  
РУД. БЕРШАДСКИЙ — Возвращенный мир 299  
ЯКОВ ЧЕРНЯК — Путь к возрождению 300  
Б. БРАЙНИНА — Третья действительность 304  
Н. ВЕНГРОВ — Вчера и сегодня 306

---

---

### ИЗДАТЕЛЬСТВО

«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»

Москва



---

---

# ВЕСНА В САКЕНЕ

*Повесть*

ГЕОРГИЙ ГУЛИА

★

1

**В** Сакене... Но прежде всего, я полагаю, вы должны знать, где находится эта местность, именуемая Сакеном. Не пытайтесь искать ее на карте мира — слишком малы масштабы карт, чтобы на них обозначались столь укромные уголки земного шара (обстоятельство, не беспокоящее обитателей Сакена). Однако, если попадетесь вам на глаза карта Абхазии, ищите Сакен приблизительно в северо-восточном углу.

Сама природа как бы решила подальше упрятать это живописное и безусловно заслуживающее внимания село. Судите сами: с севера Сакен защищают крутые отроги Кавказского хребта, на востоке — гора Гуа́гуа, высокая и мрачная, на западе — Клыч, гора коварная, у которой за пазухой всегда припасена снежная лавина — так, на всякий случай. Сакен как бы взят в клещи. Вы скажете: остается еще юг. Однако с юга путь к Сакену преграждают девять перевалов и восемь горных рек — препятствия одно страшнее другого. Как в сказке, не правда ли? И все же Сакен существует и здравствует!

Туристам, которым довелось побывать на Кавказе, знаком Клухорский перевал. Знакома также и дорога к морю. Дорога эта вьется над крутыми берегами бурных рек Гуандры и Кодора. Должно быть, не раз на привалах, в том месте, где Гуандра вливается в Кодор, вдыхали туристы медвяные запахи горного ветерка, веющего из ущелья. Так знайте: тот ветерок из Сакена.

Сакен существует с незапамятных времен, еще с той поры, когда, как говорят, начало подниматься морское дно, обнажая землю, что сейчас называется землей Кавказа. Неизвестно, каким образом забрел в Сакен человек и что его сюда потянуло. Несомненно одно: люди живут в Сакене испокон веков.

Как-то, лет сорок назад, прибыл сюда чиновник Сухумской городской управы, больной чахоткой. Он искал свежего воздуха и дешевого козьего молока. И то и другое ему предоставили в Сакене совершенно бесплатно — из гостеприимства. Очень часто чиновник бывал хмур и мрачен — в такие часы к нему не подступись. Ночами, порою, не спал, все сидел и что-то записывал в толстую тетрадь. В беседах нехорошо отзывался о царе и князьях — хоть уши затыкай. Верно, был он горд и неподатлив и теперь расплачивался за свою непримиримость. Крестьяне полюбили его и поддерживали, чем могли. Однажды этот чиновник наткнулся на каменное погребение в горах. находка навела его на мысль о том, что древние люди (очень древние) видимо не спроста

облюбовали эту местность. Чиновник обо всем подробно рассказал своим хозяевам, а те — соседям. Сакенцы очень рады были узнать, что на их рыжей земле человек живет очень и очень давно.

Почему-то этот чиновник (человек умный) обратил внимание на сероватую скалу вблизи села. Он уговаривал крестьян посыпать пылью от скалы поля и огороды, но никто не воспользовался его советом. Между прочим, среди его вещей (весной у чиновника хлынула кровь горлом, и он скончался) была обнаружена рукопись, озаглавленная так: «Естественные фосфориты в местности Сакен». Она долго странствовала по рукам, пока, наконец, не пошла на курево, несмотря на каллиграфический почерк, которым была написана. Впрочем, первый лист рукописи долго красовался на стене одного из сакенских домов, прикрывая собою узкую щель в каштановой доске. Парнишка, сын хозяина, даже выучил наизусть все, что было написано на этом листе, и крепко запомнились ему слова хмурого, больного чиновника...

Живым воплощением истории Сакена последнего столетия может служить старик Шаангери Канба, вступивший в четырнадцатый десяток своего существования. За всю жизнь он дважды выезжал из Сакена: один раз на поиски коня, которого у него украли, а другой раз — в соседнее село, на сватовство невесты для одного из своих многочисленных отпрысков. Первая вылазка стоила ему перелома руки, ибо он вместе с конем полетел в овраг, вторая — коня, которого задавила снежная лавина. И Шаангери дал себе зарок не казаться носа за пределы села. Как видите, жители Сакена редко покидали свое горное гнездо, и к ним еще реже прибывали гости из долины.

В списках сельских поселений Сакен числился до конца 90-х годов прошлого века, пока не приехал новый начальник уезда, поручик Стуков. Сей правитель, ознакомившись с положением дел и выслушав мнение налоговых сборщиков, которым не охота было пересекать девять перевалов и восемь горных рек ради жалких грошей сакенских крестьян, решил вычеркнуть Сакен из списка сел, как вовсе несуществующее. К счастью, этот чрезвычайный государственный акт не имел больших последствий. Сакен продолжал существовать во вседенной, оторванный от мира, полудикий, попрежнему гордый и неприступный.

Такова в двух словах история Сакена. Что же касается современного Сакена, надо прямо сказать — не бог весть какое село!

Приезжайте в наш район — села у нас одно в одно: и большие, и красивые, и богатые. Здесь нынче тракторов развелось больше, чем буйволов. По дорогам грузовики мчатся с такой быстротой, что иной раз и бока друг другу царапают. Многие колхозы легковыми машинами обзавелись. Одним словом — богачи. И вдруг, в таком районе — Сакен! Не один секретарь райкома затылок себе почесывал — и хочется взяться за Сакен, и ума не приложишь, как.

Ну и ладно, скажете вы, оставьте Сакен, бог с ним совсем, пишите о других селах; и такой Сакен, и сякой, и отсталый, и недоступный — зачем он вам? Легко сказать — зачем. Ну а если я сам оттуда, если он мне родной? Вот видите, теперь и вы согласны, что я правильно сделал, поведав речь именно о Сакене. А в тех, других селах, и своих рассказчиков хватает, да к тому же и слава о них идет и без рассказов не малая.

По сакенским обычаям следовало бы мне представиться вам. Родился я... Проклятый Сакен! С первых слов из-за него перед людьми краснеть приходится. Жизнь человеческая — кому это неизвестно? — от рождения начинается. Когда же я родился? По старому сакенскому календарю выходит так: через шесть месяцев после того, как в Сакен

пришла весть о русско-японской войне. Определить начало и конец войны — сущий пустяк. А вот когда весть дошла до Сакена, кто теперь скажет? Однако есть и другая примета, которая уточняет важную для меня дату. Оказывается, через четыре года после моего рождения выпал большой снег. 1911 год — год большого снега. Вот и считайте: три года шла весть о войне в Сакен, чтобы порадовать меня в первые месяцы моего существования.

Как многие крестьянские дети, я пас скот, учился, как говорят иные, по книге природы. По настоящим книгам обучился грамоте только в советское время, когда у меня уже пробивались усы над губами.

В 1933 году я как-то приехал в Сакен без пяти минут художником. То-то смеялись в Сакене, узнав, кем я буду. Когда я написал портреты некоторых односельчан — смех прекратился и сменился удивлением. Оказывается, и сакенец может поспорить с фотографом! — это было поразительным открытием. Зимой и весну 1947 года я провел в Сакене. Тогда земляки узнали о другой моей профессии (старик Канба назвал меня писцом и очень гордится этим).

Однако речь сейчас не обо мне, а о весне, о сакенской весне.

## 2

Итак, в Сакене в тот день, с которого начинается наш рассказ, выдалась яркая, солнечная погода. Март был на исходе, и теплый воздух предвещал раннюю весну. От земли шел пар. Легкая, почти прозрачная дымка вилась над речушками и оврагами. Дымка взмывала кверху, подгоняемая воздушным током, сгущалась, давая начало плотному слою тумана.

Над хутором с громким названием Серебряный Луг образовалось настоящее пушистое облако. Хутор примыкал к горному склону, почти отвесному, и облаку некуда было деваться. Оно терлось брюхом о высокие сосны, разрывалось в клочья, чтобы снова соединиться в одно целое. Постепенно облако ползло на восток, подчиняясь воздушному течению, стремящемуся проникнуть в долину реки Сакен из соседнего ущелья. Тогда приоткрывалось темно-голубое небо, и солнце начинало пригревать землю.

А вот на хуторе Ореховая Балка (окраина села Сакен), расположенном в долине реки, весна уже разгулялась по-настоящему. Ведь всего несколько километров между хуторами, а разница между ними большая. Здесь уже возникла мысль о родниках и их прохладе, уже поманивало в тень лесных чащоб. Крестьяне деловито поглядывали на землю, дескать не пора ли приниматься за нее. По дворам развалившись дремали по-весеннему ленивые собаки. Зеленела трава, пели птицы, голоса которых позабылись за зиму. Почки распускались на деревьях. Могуче, неудержимо разливалось по земле тепло, настоящее весеннее тепло.

Но пусть светит солнце, пусть даже жарко греет, и все же родники — не самое подходящее место для отдыха на пороге апреля. В воздухе чувствовалась сырость. Земля хранила остатки зимней стужи, запрятанной где-то в толще, как мрачная дума в сердце. Земле еще не хватало солнца: она только на поверхности исходила паром, а на глубине в четверть локтя — февральский холод.

У родника, которым пользовались жители обоих хуторов, сидел Кесоу Мирба, молодой человек лет тридцати. Он с рассеянным видом строгал палку, видимо просто желая скоротать время. Широкополая войлочная шляпа, какую носят пастухи в горах, лежала в стороне, рядом с толстым посохом (посох служил подспорьем раненой ноге, осо-

бенно на крутых подъемах). Кесоу был одет в гимнастерку защитного цвета, туго перехваченную широким армейским поясом. Грубые солдатские сапоги смазаны козьим салом.

Невысокие скалы, увитые ползучей зеленью, подковообразно окаймляли ключ, прозрачный и чистый, как воздух в горах. Казалось, ручей отлит из стекла, но стружки, порой падавшие на воду, чертили на поверхности десятки кружочков—один другого больше. И кружочки эти разбегались в стороны, и тогда за их бегом следил взгляд молодого горца.

Вот сейчас, через несколько мгновений, у родника встретятся двое, меньше всего жаждающие встречи. Нет, это были не враги, но и хорошими друзьями их не назовешь. Взаимная неприязнь разделяла их, и неприязнь эту невольно разжигала та, которая также направлялась сюда, к роднику. Дело в том, что Никуала имел серьезные виды на девушку, за которой, по его мнению, увивался, к тому же весьма энергично, Кесоу Мирба. Никуала полагал, что в его годы уже пора иметь красивую и приветливую хозяйку дома. Когда эти планы готовы были осуществиться (так казалось Никуале), вдруг, как снег на голову, свалился этот Кесоу, свалился — и все пошло прахом! Как видно, не успела остыть та любовь, что зародилась в сердцах молодых людей еще перед уходом Кесоу на фронт. Скрытая ревность — такова причина, определявшая отношение мужчин друг к другу. Но была и другая, которая, пожалуй, коренилась в деловых взаимоотношениях двух мужчин. Скажем прямо, Никуала считал Кесоу претендентом на должность председателя, он боялся, что молодого, способного человека могут в конце концов поставить во главе сельского совета (перспектива не из самых радостных; ясно, что такая операция могла бы несколько принизить Никуалу в глазах односельчан). Кесоу со своей стороны не одобрял способа ведения дел в сельском совете. И он, как будто, не собирался скрывать этого.

Когда Никуала осторожно раздвинул кусты и посмотрел вниз, на ключ, то первое, что ему захотелось сделать — уйти во-свои. Однако он опоздал — его заметил Кесоу. Делать нечего — пришлось спускаться и здороваться с непринужденным видом, — как говорят в Сакене, оскалив зубы. Кесоу, тоже очень далекий от восторга, в свою очередь приветствовал Никуалу.

— Жарко, как в аду! — проговорил Никуала, чуть-чуть картавя.

Это — плотный, коренастый человек средних лет. Лицо у него уже начинало оплывать жиром, зрачки — неугомонные, они проворно бегают вдоль узких шелсчек глаз. Но два ряда белых и прочных зубов, широкая улыбка во весь рот, придают лицу добродушное выражение.

Никуала смочил в воде огромный носовой платок и вытер им лицо и шею.

— Ты что тут поделываешь? — спросил он, подмигивая, словно уличая Кесоу в чем-то недозволенном. Обведя хитрым взглядом котловицу, со дна которой вытекал родник, таинственно добавил: — Я понимаю.

И Никуала разразился деланным смехом. Он выжал платок, снова опустил его в воду и принялся полоскать, забавы ради.

— Сижу. Строгаю, — холодно ответил Кесоу, отшвырнув палочку в сторону.

— А ты думаешь, я не вижу? — Никуала улыбался, глядя в воду, и уголки его губ прыгали вверх и вниз.

Кесоу следил за тем, как балуется с водой этот всегда веселый человек, беспечный до такой степени, что его беспечность уже начинала претить окружающим. Его раздражали здоровые, румяные щеки, почти

юношеская живость Никуалы, который, по мнению Кесоу, являлся порядочным бездельником. К слову сказать, яркие краски на лице Никуалы быстро блекли за председательским столом в сельском совете. Среди четырех стен кабинета он делался мрачным и важным. Он становился скупым на слова и движения. Может быть, в глубине души он считал, что настоящему охотнику нечего делать за письменным столом (а Никуала был хорошим охотником, в этом ему надо отдать справедливость). Что касается его способностей к руководящей работе, то тут он стремился к одному: чтобы его не беспокоили. «Мир и порядок», — говаривал Никуала, когда к нему обращались с вопросом о сельских делах. Может быть, его одолевала лень и, может, он вообще чувствовал себя не в своей тарелке? — ведь бывает и так! Не каждый способен занимать место за председательским столом!

«Что такое Сакен?» — часто спрашивал он себя. И отвечал: «Кусок рыжеватой земли, затерявшейся в горах. Почти медвежья берлога»... В этих словах, пожалуй, и заключались корни того пессимизма, внешние признаки которого довольно часто наблюдали посетители сельсовета: обрюзглое лицо председателя, выбитые стекла в окнах, двери скрипучие и ветхие...

Как говаривал Никуала, пришлось и ему в свое время понюхать пороха. Два года воевал он, не выпуская из рук снайперской винтовки. Приклад оружия, испещренный крестиками, свидетельствовал о воинской доблести того, кто под элгу прижимался к нему щекой... Пришел войне конец. Вернулся Никуала домой, и сейчас же, как кур в ошип, попал в сельский совет. «Прельстились моими орденами». — откровенно признавался Никуала, ерзая на председательском стуле. Говоря откровенно, только лес и обитатели леса доставляли Никуале настоящее удовлетворение, — он был прирожденным охотником. Но если он все-таки до сих пор сидит на председательском месте и жители села не применяют к нему крутых мер, то это благодаря тому, что рядом трудились другие люди. Они, эти люди, двигали вперед сельскую жизнь и, как на волнах, несли и самого председателя. Равнодушие Никуалы бесило многих, в том числе и Кесоу. А если иной раз и звали его к ответу — он всегда умел оправдаться. Одним словом, пока что выкручивался...

Не зная о чем говорить, Кесоу поинтересовался видами на охоту.

— Должно быть, богатая нынче охота, — заметил он.

— Богатая? — Никуала присвистнул. — Видишь, куда орлы летят? Нет, в лесу делать сейчас нечего...

Никуала прилег на траву, положил руки под голову. Разговор не клеился. Кесоу взглянул на большие ручные часы — память о фронте.

— Торопишься? — спросил Никуала. — Или ждешь кого?

— С чего ты взял?

— Ну а все-таки?.. — насмешливые глаза-щелочки глядят на Кесоу.

Молодого человека раздражает этот допрос. Он вдруг встает, еще туже затягивает пояс.

— Послушай, — говорит Никуала, — может, ты поджидаешь девушку?.. Так я уйду...

Кесоу вспыхнул. Он попытался изобразить на лице благородное негодование, именно потому, что намек соответствовал действительности.

— Ладно, я пошутил... — Никуала хлопает платком по воде. — Что делать, Кесоу? Все мы человеки...

Нет, почему он так многозначительно глядит на Кесоу? Почему не уберется отсюда?..



Розовый свет, с утра согревавший душу Кесоу, уступает место черной, как туча, тени, и сердце молодого человека известило об этом событии частыми, гулкими ударами.

— Мало ли кто сюда вздумает явиться! — пробормотал Кесоу. — Никому не запретишь ходить за водой.

— Не запретишь! Не запретишь! — напевает Никуала и хохочет. Выжав насухо платок, он говорит: — Ну так! Ухожу...

Но в это время снова колыхнулись кусты и к роднику спустилась девушка.

Кама (как звали девушку) застыла от неожиданности, точно испуганная серна (оригинальное сравнение сакенских рассказчиков). Она смущена тем, что видит не одного, а двух мужчин в военных гимнастерках. Но в Сакене, как и во всех частях подлунного мира, девушки обладают способностью искусно скрывать свои мысли.

И вот Кама медленно спускается к самой воде, чувствуя на себе скрещенные взгляды двух пар глаз. Небрежным жестом поправляет она яркий платок на голове, поудобнее обхватывает глиняный кувшин. Она смотрит себе под ноги, веки ее скромно опущены.

Какой-то внутренний голос говорит Кама: «Стой!» Это, несомненно, инстинкт, предупреждающий об опасности. Опасность как бы таится в самой местности, овечьей кровавой славой, ибо родник издавна служил местом для тайных встреч влюбленных и нередко превращался в арену поединка (в Сакене никогда не ощущался недостаток в ревнивцах).

Кесоу стоит насупившись, Никуала иронически ухмыляется, — все это наводит девушку на мысль о ссоре между мужчинами.

— Вот так здорово! — воскликнул Никуала. — Ну, точно сговорились!

— А почему бы и нет, — лукаво заметила девушка, красиво запрокинув голову и обнажая белоснежные зубы.

Кесоу напустил на себя равнодушный вид.

— Никуала думает, — сказал он, — что мы явились на свидание...

— А почему бы и нет? — Кама ловко перекинула косу за спину. — Неужели кто-нибудь стыдится свидания со мной?

— Кесоу, пожалуй, держится другого мнения, — пробормотал Никуала.

— Я? Почему другого?

— Не знаю. — Никуала спрятал платок в огромный карман брюк. — Ах, молодежь, молодежь! Я-то вижу, как вы смущены. Но вот что, Кесоу: шутки — шутками, а дело — делом. Приходи завтра в совет, есть серьезный разговор. Весна на носу, понимаешь?

Он взбежал на пригорок и, прежде чем скрыться, произнес с особым выражением:

— Вы понимаете — весна!

И бросился в заросли, как пловец, ныряющий с разбега в воду.

Кесоу и Кама словно остались наедине в комнате, дверь которой вежливо, но всердцах захлопнули. Как часто бывает в таких случаях, не сразу соберешься с мыслями.

Кама поставила кувшин на землю и принялась чистить песком крутые глиняные бока, потемневшие от копоти.

Кесоу чертил палкой на песке какие-то завитушки.

— Как ты смутился, — не глядя на него, сказала Кама.

— Я?

— Ты.

— Отчего же мне смущаться?

— Не знаю. Может быть, тебе стыдно за меня?

— Кама! — Кесоу сделал шаг в сторону девушки.

— Не подходи, — быстро предупредила она его, — он способен подглядывать.

Кесоу надул губы. Ей стало жаль его, она подседа к нему и взяла его большую руку в свои.

— О чем задумался?

Она гладит его руку, заглядывает в глаза. Он видит ее задорные зрачки совсем близко, но не в силах ответить лаской на ее ласку.

— Ты ему нравишься, — выдавил он из себя.

Кама повисла у него на шее. Касаясь губами уха, прошептала:

— А я тебя люблю...

Кесоу упрямо продолжал:

— Ясно, он влюблен...

— Вольно же всякому влюбляться...

— Может быть, у него есть основания надеяться?

— Глупый, — прошептала девушка, нежно прижимаясь к своему возлюбленному. — Забудем о нем! — «Ревнив, как чёрт», — весело думала она.

А «чёрт» глядел исподлобья и чувствовал, что он немножко смелее. Но как выйти из неловкого положения без ущерба для мужского достоинства?

Когда-то мужчины Сакена славились в горах, как жестокие ревнивцы, между тем женщины считались кроткими и безответными. Но много воды утекло с тех пор, как в Сакене появилась школа, как прислали сюда учителя, врача, ветеринара. Газеты нет-нет да залетали в эти края. И сами того не подозревая, сакенцы начали меняться в характере. К своему крайнему удивлению, они заметили, например, что мужчины пытаются понравиться любимым, а женщины стали более разборчивы, и в вопросах брака проявляют самостоятельное суждение. Сакенцы невольно стали терпимее к своим соперникам. Те из них, кто почитал свой род исконно сакенским, уходящим, как корни дуба в самую землю, поражались перемене во взглядах и привычках, касающихся житейских дел. Случалось, какой-нибудь сакенец, объявив себя хранителем традиций и приняв воинственную позу, пытался ратовать за дедовские обычаи. Но ничего, кроме неприятностей, для него из этого не получалось; он неизменно оставался в дураках, ибо жизнь широко шагала вперед. Но при всем том кое-что в характере иных сакенцев с трудом поддавалось изменению. Зачем ходить далеко? Вот Кесоу, упрямый гордец. Он не прав сейчас, он отлично понимает, но ни за что не хочет открыто признаться в этом... И Кесоу делает вид, что у него заныла рана в ноге...

— Болит? — спрашивает Кама.

Он морщится.

— Не болит, ноет.

Девушка берется за кувшин и снова старательно чистит его. Она моет кувшин, не переставая разговаривать с Кесоу.

— Болит или ноет — все равно. Надо ногу лечить. Провалился с ней всю зиму, еще будет болеть.

— Не пойду к вашему врачу, — говорит Кесоу, — много он понимает?! Он пить горазд. Вот в части у нас был врач! Не врач, а профес-

сор. Правда, тоже любил выпить, был такой грех. Но голова какая! Умница!

— Где теперь умница? Спился небось?

— Нет, его разорвало снарядом. Под Львовом.

Они помолчали.

— Лечи ногу — калекой останешься, — волнуясь, говорит Кама.

— Разлюбишь?

— Я не терплю упрямых. — Она окунула кувшин в воду, и оттуда послышалось громкое бульканье. — Лечи ногу. Ты слышал, что сказал председатель? Весна на носу!

Кесоу потянулся сладко, как кот на солнышке.

— Весну-то первый я заметил, а не твой председатель... У меня на весну такое припасено, что ахнешь!

У девушки екнуло сердце. На что намекает парень?

— Ахну? Это я-то? Не порох ли решил изобрести? — говорит она, стараясь скрыть свое любопытство.

Молодой человек повертел над головой веткой, которую только что отломил, и забросил ее в кусты.

— Зачем порох, когда есть взрывчатка посильней, — сказал он серьезно. — Наше дело — земля.

— Не эта ли? — И Кама бросила псд ноги Кесоу пригоршню желтого песку.

— А чем не земля? И по такой бывало затоскуешь! Не даром песню поют:

Я землю бросил.

Я землю бросил —

Навек расстаюсь.

Но зарею росной,

Ах, зарею росной,

Снова к ней вернусь!

Кесоу пропел куплет песни, смешно перевирая мелодию. И вдруг, оборвав на полуслове, спросил в упор:

— Кама, хочешь увидеть чудо?

Девушка пожала плечами. О чем это он?

— Ты же сам как-то говорил — чудес не бывает. И в школе нас учили тому же.

Кесоу нетерпеливо махнул рукой.

— Ты отвечай на мой вопрос.

— Что же ты сделаешь?

— Я? — Кесоу подбоченился, широко расставив ноги. — Ты послушай. Председатель много о весне говорит, а я такое готовлю... По пятьсот пудов кукурузы с гектара — не угодно?

— Ах, вот ты о чем, — ответила девушка разочарованно. — Но где взять пятьсот, когда до ста не тянем?

— Выходит — чудо.

— Некогда мне с тобой о чудесах болтать.

Что это он, смеется над ней, что ли?

Но Кесоу говорит очень серьезно, будто припоминая что-то очень старое, давно прошедшее.

— Помнишь ли ты... Нет, откуда это тебе помнить... Молода еще... Был тут, говорят, один чиновник в прежние времена. Больной. Он умер. Запомнил я его слова, записанные на листке. Листок около моей по-

стели на стене был приклеен. Там он о скале писал. Скалу Милосердия знаешь? Она за нашим домом. Еще до фронта у нас в Сакене говорили о ней. В общем, поживем — увидим...

Кама поднимает кувшин, и Кесоу чувствует, как ей тяжело. Но она отводит его руку.

— Я сама, — говорит она и направляется к тропинке. — А ты не ходи за мной — увидят. До свидания.

Кесоу возвращается к роднику. Он слышит, как осыпается песок под ногами Камы; вот мелькнул ее платочек в кустах. И Кесоу снова один. Он в раздумье смотрит на воду, в которой отражается смуглое озабоченное лицо, с крупной морщиной между бровей и крепко поджатыми губами. Казалось, он ищет ответа на свои мысли где-то в глубине родника, сверкающего под солнечными лучами.

## 4

В тот же день по дороге, ведущей к центру села, шел человек, внешность которого не могла не обратить на себя внимания. Он ухитрился солдатскую шинель повязать на голове, наподобие башлыка. На нем была ватная безрукавка и армейские брюки. Обувь состояла из пары внушительных ботинок, явно не соответствовавших размеру ступни. Грязь комками прилипла к его брюкам, ботинки, казалось, до краев наполнены водой — при каждом шаге они хлюпали, и их владелец времени от времени бросал на них презрительные взгляды.

Справа и слева тянулись обветшавшие плетни. Невдалеке у самой дороги виднелось небольшое строение. К нему-то и направил путник свои стопы.

Подходя к строению (то был ларек сельского потребительского общества), незнакомец весело запел:

Чья эта улица,  
Чей это дом?..

Пел он довольно громко, и голос его был услышан в ларьке. Не часто раздавалась в Сакене эта старая песня, и она сразу привлекла к себе внимание. Из ларька вышли несколько человек с покрасневшими лицами.

— Что за тюрбан у него на голове? — спросил один из них.

— Не иначе, как свалился с неба, — заметил другой.

Адамур, толстый-претолстый, еще не успевший окончательно превратиться в шар, заведующий ларьком, почесывая третий подбородок (считая сверху вниз), медлил высказать вслух свое мнение. Он только громко засопел от удивления. При этом брови у него подпрыгнули до самой лысины, а усы — предмет особой гордости! — встали почти торчком. Путник подходил, не переставая петь, не пытаясь ни убыстрить, ни убавить шага.

— Первая ласточка с низины, — сказал Адамур.

— Значит, дорога открыта.

— А это мы сейчас узнаем.

Путник шел к ларьку напрямик, не потрудившись обойти большую лужу.

— Да здравствуют сакенцы! — bravo приветствовал он. — Рота, смирно! Хенде хох!

Сакенцы были крайне удивлены и никак не могли понять, в чем дело.

— Вольно, говорю, — продолжал путник и, тряхнув головой, сбросил шинель наземь. Вслед затем Адамур получил дружеский удар кулаком в живот. По способу приветствия, единственному в своем роде, все признали в путнике Раши́та До́уа, которого почему-то считали погибшим на войне.

— Рашит! — воскликнули разом присутствующие, и пришелец попал в объятия старых друзей. Затем его бесцеремонно осмотрели со всех сторон, и таким образом окончательно была подтверждена подлинность этой незаурядной личности.

Рашит почти не изменился за шесть лет, в течение которых он отсутствовал. Лицо его, правда, потемнело, осунулось, отчего нос, отличавшийся своей длиной (орлиный клюв), казался еще длиннее и крючковой. Огромный шрам тянулся через лоб — грубый рубец давно зажившей раны.

Рашита сначала втокнули в ларек, потом за какую-то перегородку, и он очутился верхом на бочонке. Остальные последовали за ним, и вся компания уютно устроилась среди бочек и пустых ящиков.

— Живы-здоровы? — приличия ради, спросил Рашит, шаря глазами по бутылкам, расставленным на полу. — Сакен на месте?

— Представь себе — не сдвинулся ни на локоть!

— Отлично. А как гарнизон?

— Царапает землю.

Сведения, повидимому, были вполне исчерпывающими, ибо вопрошавший умолк. Улучив минуту, Адамур налил стакан красного вина.

— Антон, — обратился он к маленькому невзрачному человеку с воспаленными веками, — пожелай нашему гостю...

Стакан обошел всю компанию, а гость приложился к нему трижды.

— Ну а ты, Рашит, где был? Что делал?

Рашит, жуя чурек, скупно, но достаточно колоритно описал последний отрезок своей жизни.

— После той самой шумихи (здесь имеется в виду драка на одной пирушке, которая окончилась не слишком приятно для Рашита, шрам на лбу — ее последствие), после шумихи, значит, подался я в город. Работал в одной организации, сапожному делу выучился. Потом война... Фронт... Карпаты — знаете? Везде побывал, понюхал порошу, как говорится... Хенде хох!

— Ну, слава богу, приехал! — Адамур наполнил чарку. — А мы тут скучали, пропал, думаем, Рашит. И девушки скучают, ей-ей! То-то они будут рады. Орел прилетел!

Тот, которого звали Антоном, пробормотал две-три бессвязные фразы и залпом осушил чарку.

— Знакомые живы-здоровы?

— Кто нужен, спрашивай, — Адамур перегнулся и достал из глиняного горшка огурец. Он облизал пальцы, причмокивая губами.

— Никуала?

— Жив на горе всему зверью... Сейчас заправляет сельсоветом.

— Шаангери?

— Не желает и слышать о смерти еще лет десять.

— Ого! Полтора столетия — не много ли для одного?

— Говорит, нет.

— Так. Старик Мирба?

— Налицо.

— Дочь?

— Словно канарейка...

— Этот... Кесоу?

— Вернулся, пролежал зиму — с ногой не ладно было... Не просто, а с сомнением вернулся...

Чарка ходит по рукам.

— С сомнением?

— Да с каким еще! Критикует!.. Не подступись... Наша земля, видишь ли, ему не по душе. Урожай, говорит, маленькие... Одним словом — умник!

— Не таких видали!.. Как учителяшки?

— Числом растут.

— Врач?

— Новый... За друга душу отдаст...

— Молодец!.. А Тараш, надеюсь, целехонек?

— Как тебе сказать? — Адамур отломил огромный кусок чурека и запихнул его в рот. Он молчал, пока не разжевал и не проглотил его.— Как тебе сказать? Последние годы он работал председателем колхоза. Отличный работник. Взяла его хворь — чахотка... Еще летом, послали его...

— Кто послал?

— Как кто? Колхоз... Пстой, куда это? Да, в самый Гульрипш.

— А деньги-то как?.. Колхоз дал, что ли?..

— Хороший, говорят, человек, а для хорошего всегда найдутся денежки. Такое, брат, правило... До войны, брат, если припомнишь, многих посылали, то на курорт, то на учебу, курсы там какие-нибудь. И все на колхозный счет. Теперь, говорят, оправимся после войны— снова посылать будем. Как говорится, внимание к людям, — и Адамур, подмигнув Антону, вытер рукавом усы.

— Значит, без головы вы, без председателя... Кто же за него?

Антон сказал:

— Временно Константин...

— Константин, Константин... — силился припомнить Рашит.

— Да бригадир третьей бригады! Член правления, наш секретарь партии.

— Кажется, знаю, — буркнул Рашит, который не любил вспоминать тех, кто когда-нибудь чем-нибудь, даже самым малым, досадил ему.— Ну, а этот, Салуман, наш кузнец?

Адамур вытер руки о какую-то тряпку. Антон перестал чавкать. Остальные тоже умолкли.

— Убит, — сказал Адамур, — убит под Ростовом.

— Да... Жалко... Хороший был человек. Как говорится, мир праху его...

Мужчины молча выпили.

— Кто еще не вернулся? — спросил мрачно Рашит.

— Братья Хашим и Саид, — ответил Адамур, — учитель Давид Алан... Михаил Ранба, его двоюродный брат Гач...

Рашит перебил его.

— Да, друзья мои, — сказал он, жестом требуя наполнить стакан, — и сакенцам досталось. Где их кости гниют нынче-то?.. — Лоб у Рашита собрался в глубокие складки, он поджал губы и, барабаня пальцами по дну бочки, продолжал: — Одним словом, не миновала беда и нас. Пострадали, значит. Однако вы бы поглядели, что там делается (он оттопырил большой палец и показал им через плечо). Целые города сметены с лица земли... А сколько народа без крова осталось, нашего народа...

В каморке воцарилась тишина. Все задумались.

Антон отставил от себя стакан, отодвинул подальше бутылку и шумно вздохнул. Рашит уставился в одну точку, а остальные сидели, опустив головы. Адамур, как хозяин, почел за долг свой развеселить гостей.

— Э, чёрт! — крикнул он. — Одним женихом стало у нас больше. Быть скоро свадьбе!

Компания разом загоготала к смущению Рашита.

— Рано еще, — сказал он, — вот устроюсь, прилажу себя к делу... Тогда...

Адамур не дал ему договорить:

— Но самое главное, Рашит, — ты жив, здоров! Чего еще надо? Село скучало без тебя — ни мужчин настоящих, ни дел, достойных сакенских молодцов.

Рашит вскочил с бочки.

— Ну, а теперь все это будет, Адамур! Я считаю так, — Рашит ударил кулаком по бочке так, что она загудела, — вот так: я горю... Мы все... Значит, кровь у меня с этим, как его... Ну, хмельная, что ли? А? Законы тоже у нас исконные, свои. Ты, брат, помни: ты — мужчина. Так ведь? Будут дела, Адамур, будут, клянусь прахом наших дедов! Кто против? Все — за!

Он качнулся и чуть не расплескал вино.

## 5

Утро выдалось необыкновенно прозрачное. Ни одного облачка, словно начисто вытерли огромное, объемлющее мир стекло. Ровная голубизна, и только края неба окрашены в бледно-розовый цвет. На траве — крупные капли росинки. Дым идет кверху, как тщательно выточенный винтовой столб. По всему видно — быть погожим дням.

Кесоу стоит посредине широкого двора, будто к чему-то прислушивается. Мычат коровы, лают собаки, а в синеве кружит одинокий кобыч, первым вылетевший на хищный промысел.

Екуп, отец Кесоу, кряхтя спускается по лестнице. Он чуть согнут в пояснице, ростом ниже своего сына, худощав. На остром, типично горском лице — словно чужие, большие, голубоватые глаза. У Екупа короткая борода, усы, тяжело нависающие над губами. Жизнь не баловала его в молодости, она была слишком сурова к нему и состарила его прежде времени. Он часто побаливал, — побаливал и все же прилежно трудился. Но силы заметно покидали его — и это всего на шестом-то десятке!

Лет пятьдесят назад фамилия Мирба объединяла внушительное число лиц обоего пола. С этой семьей считались, а может быть, и побивались ее. Караман Мирба, брат Екупа, славился своей удачью. Он ходил за Кавказский хребет и пригонял оттуда скот, не приобретая его за деньги и не получая в дар.

Дядья Екупа были решительные и энергичные люди. Но князья Маршан, главенствовавшие в Сакене, потрудились над тем, чтобы грозные братья Мирба, чье единение могло серьезно подорвать княжеское влияние, постарались уничтожить друг друга в братоубийственной бойне. Верно говорят в народе: «Рукою глупца змею ловят».

Екуп случайно избежал родового распри. Его увезла бабушка по матери. У нее он вырос и возмужал, а когда страсти в Сакене поулеглись, вернулся в отчий дом, вернее, к развалинам отчего дома. Ему пришлось строить жизнь заново и вкушать горечи от незавидного крестьянского существования. Кукурузы обычно хватало до апреля, а

оставшие полгода он жил, как говорится, уповая на бога — еле-еле душа в теле. За время его отсутствия земельный надел, принадлежавший отцу, сильно уменьшился в пользу Адамура — соседа и дальнего родственника. К тому же земля была такой скупой, что помышлять о более или менее обеспеченной жизни не приходилось.

Но не пришлось Екупу всю жизнь мыкать горе — улыбнулось-таки счастье. Должно быть в добрый час благословила его, умирая, старая мать. Когда Екупу выделили солидный участок земли и сказали, что это дает ему революция, он опешил. «Где она, эта Революция?» — спросил он. «Она уже здесь», — ответили ему люди из города. Да, друзья мои, осчастливили тогда Екупа, осчастливили, как и многих других горцев.

Когда сказали сакенцы, что было бы хорошо организовать колхоз (а сказали это лет десять назад), и когда Екуп понял смысл этого слова, такого близкого и родного сердцу крестьянина, он заявил: «Хочу быть колхозником. Всё». И он говорил своим соседям: «Помните вчерашнее небо — в тучах, беспросветное? Это жизнь моя в прошлом... Видите голубые, необъятные небеса? Это — моя жизнь нынче». И он очень любил повторять эти слова, идущие из глубины души...

...Екуп брел по двору, опираясь на палку, и старая черкеска висела на нем, как с чужого плеча. Кесоу пристально следил за ним. В образе отца представлялась ему нелегкая крестьянская жизнь в годы войны. Когда Кесоу воевал, отец оставался единственным мужчиной дома. «Нет, больше ему работать нельзя... Грех!» — подумал Кесоу. Поймав сочувственный взгляд сына, старик приободрился.

— Мы сейчас все решим, — сказал он, жестом приглашая сына следовать за собой. — Вот этот плетень... Гниль, труха! Столбы до той канавы тоже сгнили. Но пока держатся. Я считаю, пять арб хворосту — самое малое. Двор без изгороди — пустое поле. Верно говорю?

Кесоу неторопливо шагал за отцом, приглядываясь ко всему острым хозяйским взглядом. Кончалась первая зима, которую он проводил дома, вернувшись с фронта. Наступила весна, увеличивались заботы. Снег стаял, хозяйство обнажилось, и глаза увидели то, что не всегда приятно замечать. Многого надо сделать, но за что же браться в первую очередь?

— Ворота... Одно название. Ежели их открыть, то едва ли потом закроешь... Срам! Ну и мосточек — одно божье наказание. Неровен час, зазевался конь — копыта не вытащит, хоть буйволами тяни... Ну, ты не робей, Кесоу, посмотрим, что дальше...

Обойдя двор, они направились к дому. Словно радуясь своим открытиям, старик отмечал малейшие изъяны, беспощадно колотил палкой по доскам, выбивая оттуда труху. А Кесоу думал, в чем же все-таки главное. Нет, главная беда тут не сгнивший плетень и сломанные ворота, а главное — земля, плохая земля.

— Тоже дом, прости господи, — говорит Екуп, — лестница отслужила свой срок, стены — одна труха. Эту балку надо менять, иначе головой поплатишься. Крышу перекрывать заново надо, драни достать — дело нешуточное. Не менее ста каштановых досок и арбы три драни...

Екуп садится на приступок, закуривает трубку. Он продолжает:

— Хлев держится на честном слове. Хороший хозяин там собаки не станет держать, не то что коров. Одним словом, остается с горя заплакать...

— Тоже скажешь, отец...



— А как же! Думаешь смеются с горя?.. — Екуп понижает голос:— Сестра-то не маленькая, думать о ней надо. Не сегодня-завтра замуж. Забот — полон рот.

— А что, есть женихи?

— Какие женихи! Ходят вокруг да около. К нам присматриваются, да и к нашему хозяйству заодно. Ты дома, можно сказать, еще и не был — с тебя спрос небольшой. Нога только-только зажила. Вот поживешь — увидишь сам... Весна, а тут, как на зло, участок твоей бригаде самый поганый выделили — на нем бурьян не уродится, а хотят — кукурузу. Вон оно как! Я им полный отказ объявил, всему правлению. Ты помани мое слово: звено наше и шагу не сделает на этом поле, будь оно не ладно! Я тебе, как бригадиру, говорю...

Екуп разволновался. Он расстегнул ворот архалука, точно ему стало душно.

Кесоу положил руку на плечо старика, попытался успокоить.

Екуп набил свежего табаку в трубку, высек огня из кресала.

— И ты тоже хорош, Кесоу! Война-войной, а жить пора начать по-человечески. Хоть бы ты поговорил, что ли, в сельсовете, помощи попросил. Даром в медалях явился, живота своего на фронте не щадил?! Всю зиму проболел. Пускай нам ремонт делают, землю лучше выделят... как по закону полагается.

Кесоу отогнал криком кружившегося над двором кобчика, уселся рядом с отцом.

— Помощи просить я не буду. Не инвалид.

— Ты — гордец, а не инвалид!

— Слава богу, руки-ноги целы. Плетень, дом, хлев — успеется, не горят. А насчет земли и пахоты особые разговоры будут. С этого начинать и надо, это — главное.

— Жить, значит, под небом, на холоду?..

Кесоу говорил спокойно, обдумывая ответ.

— Послушай, отец: первое — это пахота..

— Что же, по-твоему, у себя на голове пахать?

— ...первое — это пахота. Земля во всем Сакене — один чёрт! Желтозем, краснозем... У реки участков на всех нехватит, надо же кому-нибудь и в нагорьях...

— Почему же нам?

— А почему другим?

— Ты — фронтовик, а мы — твоя семья!

Кесоу недовольно поморщился.

— Не будем бить на жалость, отец. Я теперь здоровый бригадир, а не раненый автоматчик.

Из кухни выглянула девушка в тесном ситцевом платье с засученными рукавами. Ее нельзя было назвать красивой, но что-то привлекало в ней: одни говорили — хороший характер, другие — голубые, как у отца, глаза. Парни заглядывались на нее, соседи наперебой хвалили, и она стояла того.

— Поди сюда, Нина, — сказал старик, — послушай своего братца, чего он тут городит. На дом ему наплевать, на все наше добро — тоже. Ему подавай пахоту... Такие разговоры подстать нашему председателю...

Нина, точно присутствуя при споре посторонних людей, с любопытством смотрела на отца и брата. Она не смела перебивать их, и не выказывала своего сочувствия ни тому, ни другому.

Кесоу молча прошелся несколько раз взад и вперед и вдруг неожиданно спросил:

— А разбогатеть вы хотите?

Отец и дочь недоуменно переглянулись.

— Да, да, не удивляйтесь — именно разбогатеть! Каким путем? О, это очень просто. — Кесоу резко повернулся в полоборота: — Отец, ты знаешь скалу Милосердия?

Старик, было, опешил. Но тут же воскликнул:

— Знаю, чёрт возьми! При чем эта дурацкая скала?

— А что тебе известно о ней?

Старик насупился. Не смеется ли над ним сын?

— Ну?—промычал он.—Есть такая скала. Тут же, рядом. Дальше? Кесоу поманил Нину и медленно и торжественно произнес:

— Из скалы Милосердия мы сделаем скалу Плодородия. Слышишь, отец? Но шутки в сторону, — продолжал он серьезно. — Вспомните, что говорили перед самой войной? Ну? О скале этой самой говорили? Говорили. Вот я о ней и думал все время, там, в окопах! Думал. И придумал... Я не виноват, что помешала война...

— Помешала война, — повторил старик, насупив брови. — Знаю, наши люди зарились на эту скалу. Вот, вспоминаю, чиновник тут когда-то давно жил, хворый... Тоже выдумывал всякое... И ты, как он, прости господи...

— Не тужи, отец, — воскликнул Кесоу, — пусть придет весна!

И солнце, апрельское солнце, будто желая узнать, кто так страстно жаждет весны, с любопытством посмотрело вниз на землю. И люди с удовольствием отметили, что солнце стало ярче и теплее, настоящее весеннее солнце.

## 6

Нина за завтраком шумно и торопливо рассказывала о том, как ее бригада трудится над табачной рассадой. По словам девушки, дела шли замечательно. Она ела быстро, поминутно откидывая назад спадающие на лоб волосы.

Екуп ел молча, изредка задавая дочери короткие, малозначащие вопросы.

Мысли Кесоу витали где-то далеко. Он не расслышал и половины того, о чем тараторила Нина. Когда сестра горделиво заявила, что рассадка будет отличная, брат перебил ее, попросив воды. Нина оборвала речь на полуслове и уткнулась в тарелку. Равнодушие брата, авторитетного, как она полагала, человека на селе, к ее делам обидело девушку. Отец покачал головой, сочувственно заулыбался ей. Он любил дочь за доброту, ее заботы о нем трогали его. Старик готов был хоть целый день слушать рассказы о рассадке и парниковом хозяйстве.

Нина поднялась. Кесоу скользнул по ней невидящим взглядом и тоже встал. День, каким его себе рисовал Кесоу, предстоял не легкий. Надо обойти всех звеньевых, выяснить, что они думают о делах бригады, подбодрить их. Так всегда делает хороший командир перед атакой. Потом — серьезный разговор в правлении колхоза и сельском совете и, пожалуй, некоторые неприятности в связи с этим.

— Ну, я двинулся, — сказал Кесоу и тут же, нахлобучив по самые брови фуражку, пошел со двора.

Первым бригадир навестил Антона Рашба, того самого Антона, которого мы уже встречали в ларьке Адамур.

Антон колот дрова. Он так неуклюже заносил тяжелый топор, что чуть не падал навзничь, с трудом балансируя на кривых, тощих ногах. Кесоу позвал его. Антон приложил ладонь козырьком ко лбу.

— Милости просим, — проговорил он, отбрасывая топор в сторону.

— Благодарю. Я тороплюсь.—Для пущей важности Кесоу взглянул на часы. — Ты сделался настоящим дровосеком.

Антон закашлялся, заковылял к плетню.

— А я... кха, кха... недавно сказал сам себе, куда, кха, кха... бригадир наш запропастился... Кха, кха... Ну как, в мирной жизни не скучно?

— А зачем скучать? Повоевали — довольно.

— И то правда... — Антон кулаком натер себе глаза докрасна. — Зашел бы, выпили бы по стаканчику вина.

Кесоу поблагодарил и отказался.

— Как дела?

— Какие? — с удивлением спросил Антон.

— Известно какие — крестьянские.

— Ах, дела! — нараспев повторил Антон. — Всё на месте.

— Так. Пахать не думаете?

Антон осклабился (гримаса, призванная изобразить добродушную улыбку).

— Пахать? Зачем торопиться? Видишь ли, в старину, значит...

Кесоу обвел взором небесную ширь и внушительно, не слушая его, предложил, чтобы все звено с утра выходило на работу. Антон попробовал протестовать, дескать, рано еще, снег по-настоящему не стаял, но Кесоу и слушать не хотел его возражений.

— Завтра ровно в семь — на поле! — сказал он.

— Не могу, — ответил Антон. — Чего-то в ногах ломит. Не веришь? — Он ухмыльнулся. — Ей-ей, правда... Вдруг большой палец заноет. Смотришь — мизинец колет, а там суставы сводит. Боль, как блоха, скачет по всему телу. Понимаешь?

— Нет! — И Кесоу зашагал дальше, предоставив Антону возможность разговаривать сколько угодно с самим собою (занятие, не имеющее особого распространения среди сакенцев).

«С таким человечешкой ничего путного не получится, — размышлял Кесоу по дороге. — Однако везде люди разные имеются. Есть и плохие, есть и хорошие. Приходится работать со всеми. Трудно, и тем не менее приходится. Что делать? Тянуть лодырей за собой, заставить работать по-человечески...»

Кесоу яростно сжимает кулаки. Он готов наброситься на любого, кто попытается шутить с весной. «Надо проучить этого болвана», — говорит он себе, ругая Антона на чем свет стоит. Но беседа с другими звеньевыми несколько приободрила его, настроение улучшилось. Не последнюю роль сыграли здесь погода и чудесное солнце. Имейте в виду, что хмурый сакенец в ясную погоду — явление из ряда вон выходящее. В такой день мелкие неудачи сакенцу кажутся и вовсе нестоящими внимания, а крупные — легко преодолимыми. Кесоу уже весело перебрасывался словечками со случайными встречными. С женщинами раскланивался подчеркнуто любезно, а девушек вгонял в краску щедрыми комплиментами.

Кесоу насвистывал. Он не шел, а прыгал через огромные лужи (в Сакене их немало — верьте на слово), и каждый прыжок сопровождал победным восклицанием.

На проселочной дороге (будто в Сакене имеются и другие!) количество грязи угрожающе возросло. Лужи здесь не выглядели заманчивее оттого, что в них с большей полнотой отражалось весеннее солнце. Сколько луж — столько и солнц! И Кесоу пронесился над целой вереницей светил. Невольно припомнились ему весенние расплзающиеся

киселем дороги Украины и Польши, где буксовали даже «студебеккеры». В ушах, как живой, зазвучал голос друга-автоматчика (белокурый парень из Ярославля): «Ребята, выше голенища — грязь затечет!» Вспомнился голос — и Кесоу замедлил шаг... Парня того схоронили на польской земле, и человек из Сакена, деливший с ним горе и радости походной жизни, обронил тогда слезу над его могилой. То было три года назад. Сохранился ли тот холмик, как сохранились воспоминания в душе Кесоу о фронтовых друзьях, бережно донесенные до подножий Кавказского хребта, или сгладились лицо земли под буйными ветрами, исчез след одинокой могилы...

## 7

Путь до сельского совета оказался длинным. Вторая половина дня, предназначенная для разговоров в совете, давно наступила. На перекрестке двух околиц Кесоу задержался в нерешительности. Как быть: идти ли прямо в совет, или свернуть к Гудалу, звеньевому третьего звена?

В это время из-за крутого поворота дороги выползла арба. Ее медленно волокли два слоноподобных буйвола. Флегматичность этих животных общеизвестна. Однако сакенская порода буйволов будто нарочно создана для того, чтобы дразнить не в меру горячих горцев.

Едва показалась арба, как целый град проклятий посыпался на головы животных, и тут же бешено заработала новая хворостина.

— Ах, волчья пища! Сатанинское отродье! — кричал погонщик, неистово нахлестывая буйволов. Наконец, потеряв всякое терпение, он соскочил наземь и в ярости принялся закатывать рукава, угрожая животным чрезвычайными мерами.

— В чем дело, Гудал?

Погонщик растерялся, увидев перед собою Кесоу, выросшего как изпод земли.

— Ты откуда? — спросил он, злобно косясь на своих недругов в видимо собираясь расправиться с буйволами незамедлительно по окончании разговора. — С дерева слетел, что ли?

Он говорит, выразительно жестикулируя, повышая голос почти до крика. Гудал — человек в летах (около пятидесяти), смекалист, скор на дела, в работе не уступает молодым.

Кесоу, заложив руки за спину, посмеивается.

— Не убей их, пожалеешь.

— Я? Пожалую?! — вскричал Гудал, все еще негодуя на буйволов. Животные, отдуваясь, тянулись к кустам ежевики. — Ты плохо меня знаешь, друг мой. У меня так: задумано — сделано. А как же?. Но эти ленивые буйволы меня сведут с ума.

И Гудал снова принялся осыпать их ударами хворостины. Кесоу с трудом оттащил его от животных, угостил Гудала папироской. А через минуту они беседовали как ни в чем не бывало — гнев Гудала улетучился вместе с сизою дымкой от папирос.

— Везу домой одну вещицу, — рассказывал Гудал. — Называется... постой... что бывает у пароходов?

— Пароходов?

— Ну, это самое... — Гудал потирал лоб, силясь припомнить то, что бывает у пароходов.

— Труба? — вопросительно произнес Кесоу.

— Нет, нет, не труба.

— Канаты?

— Ну вот еще!

— Флаг, что ли?

— Сам ты флаг! Фу ты!.. Взгляни сам, может признаешь... Эту штуку мой сын привез из города, еще летом. И не одну ее.. Я еду от кузнеца...

Они влезли на арбу. В ящике, изнутри выложенном сеном, лежал какой-то вал с намотанными проводами.

— Кажется, динамомашина, — сказал Кесоу.

— Нет, не так... А называется она... — Гудал запнулся. — Ну, что бывает на пароходе?.. Поедем со мной, сын все расскажет... Ты понимаешь — плачено пятьсот рублей. Да не в деньгах дело! Трудов-то сколько! Попробуй через перевалы и пропасти тащить!

Кесоу почесал голову, подергал себя за ухо (признак раздумья).

— Стало быть, динамо. Понимаю...

— Как ты сказал? — Гудал чуть не подпрыгнул от радости.

— Динамо...

— Нет, не то, — мрачно возразил Гудал. — Сын называет иначе. Заходи к нам, Кесоу. Ты такое увидишь — ого! От мельницы мы провели рукав, устроили плотину по всем правилам, воду с человеческий рост подняли. Позади дома скат: садись задом — стрелой полетишь! Там устроили канаву — вода пулей бежит. Заработает машина, и тогда у нас будет свет, как в городе. Молния — не свет!

— Так. Очень хорошо. Строите, значит, электростанцию?

— Как ты сказал? — воскликнул Гудал и тут же спохватился: — Нет, не то!

Кесоу одобрил затею, хотя она была для него совершенно неожиданной. Вдруг Гудал строит станцию! — просто удивительно. Кесоу не хочется отпускать от себя этого человека — уж очень приятно поглядеть на сакенца, хлопчущего об электрическом свете.

— Если бы не война, Гудал, — говорит он, — у нас давно бы горел такой свет. Нам в сорок первом и деньги были отпущены, и в план включили нас — работала бы тут у нас целая гидростанция.

— Это как пить дать, работала бы!

— Теперь, конечно, не раньше сорок девятого получим. А жаль...

Гудал забрался на арбу.

— Постой. Как там насчет пахоты?

— Пахоты? — подхватил Гудал. — Готов в любое время. Лишь бы погода! Созывай бригаду — плуг в порядке, буйволы, хоть и безобразники, а как ни говори, свое сделают.

— Молодец! Завтра в семь.

— Хэть в шесть! — Гудал издал грозное мычание, и буйволы тронулись. — Заходи к нам, Кесоу, станцию увидишь. А на открытие особое приглашение будет.

Арба повернула налево, визжа на весь Сакен..

Кесоу двинулся дальше. Но вскоре он услышал голос Гудала, изо всей мочи зовущий его. Кесоу остановился.

— Ты слышишь? — кричал Гудал, которого скрывали заросли.

— Слыщу, — отвечал Кесоу.

— Я вспомнил... Якорь!.. Яко-о-о-рь!

«Якорь от динамо», — подумал Кесоу, убыстря шаг.

Здание сельского совета выглядело почти таким же, каким оно было до войны, разве пообтерлось немножко да стекол начисто лишилось. Двор попрежнему чистый, тополя, посаженные в сороковом году, выросли, окрепли.

В маленькой комнатке сидел секретарь совета — разбитной парень лет двадцати. Он что-то разъяснял окружающим его крестьянам. Кесоу поздоровался, справился у присутствующих об их здоровье, на что ушло немало времени.

Следующая дверь вела к председателю. В просторной комнате, оклеенной обоями, стоял шаткий столик, покрытый кумачом. Посредине — глиняная тарелка с большим количеством окурков и дохлых мошек.

За столом сидел Никуала в позе человека, прошедшего бессонную ночь в государственных заботах. Правую щеку он подпирает рукой, отчего все лицо у него перекосилось. Появление Кесоу было отмечено председателем небольшой переменной позы: вместо правой щеки Никуала подпер левую.

На подоконнике примостился Константин Алан, один из бригадиров и в то же время секретарь партийной организации. Константин, молчаливый человек, тяжелодум, а Никуала — большой любитель поболтать. Поэтому беседа их носила своеобразный характер. Никуала говорил, а Константин односложно отвечал, преимущественно междометиями. Но они отлично понимали друг друга, а в беседе это, пожалуй, важнее всего.

— Не садись на тот стул, свернешь себе шею, — предупредил председатель вошедшего.

— Так скоро? — Кесоу придвинул к себе другой стул.

Константин любезно осведомился о том, как чувствует себя фронтовик. Небось, тихо здесь по сравнению с большими городами. В далеких краях, Кесоу, должно быть, видел немало шумных городов и даже (чем чёрт не шутит) жил в пятиэтажных домах? Да, Кесоу жил в пятиэтажных домах, однако, он предпочитает сакенский — деревянный. Никуала подмигнул секретарю, дескать, скромника из себя разыгрывает.

— Где же ты побывал?

— Как тебе сказать — от Дона до Германии прошел. И должен сказать, друзья мои, я еще больше полюбил нашу сакенскую землю и мечтал, как бы поскорее вернуться сюда..

Константин встал, налил себе воды из кувшинчика и залпом выпил полную кружку.

Наступило молчание. Кесоу заметил, что произвел впечатление на своих слушателей.

— Поговорим о деле, что ли? — сказал Никуала, прерывая молчание. Он достал из ящика стола распечатанный конверт. — Это письмо из района... О себе тут и прочих важных вещах. Доставили чудом. Знаете кто? — Никуала испытующе посмотрел на собеседников. — Как вы думаете — кто?

— В Сакен? — удивился Константин. — Значит, дорога открыта?

— Я этого не сказал... Письмо из района доставил Рашит.

— Какой это Рашит? Доуа?

— Он самый.

Эта новость подверглась всестороннему обсуждению. Никуала сообщил, что Рашит был четыре года на фронте и изменился к лучшему. Кесоу глубоко усумнился в том, что из Рашита могло получиться что-нибудь путное даже на фронте. Здесь пора открыть один маленький секрет Рашита. Он сам тщательно хранил этот секрет и ни за какие

блага не согласился бы разгласить его. Дело в том, что Рашит и не нюхал порошу. Он всю войну просидел в тыловом интендантском складе, где вел себя скромней букашки. Об этом знал кое-кто в городе, да не скоро вести в Сакен доходят...

Известно было, что Рашит уже вторые сутки кутит по-соседству и никак до дому не доберется.

— В общем, молодец, — заметил председатель. — На работу просятся...

— Поздравляю тебя, — холодно заметил Кесоу, — одним шалопаем больше.

Константин улыбнулся в усы, словно желая скрыть от других свою улыбку.

— Возможно, — согласился он с Кесоу, — но не забывайте: прошло пять лет, и каких лет! — Он помолчал немного. — Однако, я не о том... Что скажешь, Никуала, о письме?

— Толковая бумага, — не без иронии сказал Никуала. — Я бы хотел, чтобы они (он почему-то указал пальцем в правый угол комнаты) приехали из района. А потом написали бы... Читай! — Никуала протянул бумагу Кесоу.

Это была неясная копия письма, отпечатанного на пишущей машинке, и Кесоу с трудом разобрал слова. В письме указывалось, что крестьяне в нынешнем году борются за невиданно высокие урожаи — за пятьсот и тысячу пудов с гектара. Нынче весь мир глядит на нас, говорилось в нем. Долг советских людей, в том числе и всех членов колхоза «Светлый луч» (название было вписано от руки) итти по пути передовых людей деревни. 1947 год должен стать годом бурного роста сельского хозяйства, развитию которого несколько помешала война. Дальше приводились имена людей, перечислялись факты, назывались лучшие колхозы...

— Отлично! — воскликнул Кесоу. — Я как раз по этому поводу... Как говорится, не в бровь, а в глаз. Тысяча пудов — здорово! Не правда ли?

— Не про нас будь сказано. — Никуала достал огромный платок и старательно высморкался (так сморкается заправский оратор, намекаясь закатить часовую речь).

— На здоровье, — сказал Константин, которому почему-то показалось, что Никуала чихнул.

Спрятав платок в карман, Никуала принялся сетовать на неумение районных властей подходить не чохом, а с особой меркой к каждому селу, колхозу. Что, например, известно о Сакене в районе? Только то, что Сакен — село отдаленное и что сюда трудно добраться. Об урожае тоже.

— Легко написать пятьсот, тысяча пудов! Я тоже могу катануть бумагу, да еще какую! Сейте, скажу, на морском берегу, собирайте по тысяче пудов... А почва какая, спрашиваю? Мы-то знаем, что наша земля — дерьмо!

Никуала сердито нахлобучил на лоб каракулевую папаху.

— Вот, охотничий промысел, скажем — другое дело... — продолжал он. — Сколько пушнины пропадает! Доход колхозу был бы... Да что и говорить...

Председатель безнадежно махнул рукой. Он позвал секретаря. В дверь прошмыгнул, как мышь, парень лет двадцати. Нос у него побарвовел, и он почти непрерывно сморкался в платок.

— Что с тобой? — строго спросил председатель.

Секретарь издал неясный звук, напоминающий шум в дупле, когда туда попадает быстрый ток воздуха.

— Осс... удилсс-аа... аа-мок...

— Что?

Вместо ответа, секретарь выразительно чихнул, не оставляя никакого сомнения в том, что именно он хотел сказать.

— Да он простужен, — догадался Константин. — Насморк у него страшный...

— ... тёлка... тёлка... озняк, — выдавил из себя парень, указывая пальцем на окна.

— Стекла — это ясно. Сквозняк — тоже. Ну, а дальше? — Никуала презрительно скользнул взглядом по невзрачной фигуре секретаря. — Что же, я, по-твоему, из другого теста вылеплен? Живу, как видишь, и ничего. — В подтверждение сказанного он прогнал через нос весь запас воздуха своих легких.

Константин поежился.

— Ветер здесь шляется, словно в ущелье, — заметил он.

Никуала сделал вид, что не слышит. Грозя кому-то невидимому пальцем, он пытался растолковать секретарю ответ в район, ответ, как он выразился, громовый. Ошиблись, дескать, адресом, не туда попали. Здесь, в Сакене, не бывает пятисотпудовых урожаев. Секретарь снова принялся чихать.

— Ну, иди, иди! — недовольно сказал Никуала. — Пиши.

Секретарь удалился.

Наступило молчание. Казалось, тема исчерпана и говорить больше не о чем. Никуала важно восседал на председательском месте, ковыряя в зубах кончиком заостренной спички; Константин стучал пальцами по столу, и дробь эта неприятно действовала на Кесоу. «Странный человек, — думал он, — видит все, все понимает, а молчит, точно воды в рот набрал». Нет, так не годится. Раз ты коммунист — бери быка за рога. Нечего тут долго размышлять. В душе Кесоу поднималось глухое недовольство. Он резко поднялся из-за стола, плотно застегнул полушубок, поправил фуражку, подтянул голенища.

— Это все, что ты хотел сказать, Никуала?

— А что еще прикажешь? — с деланной покорностью произнес Никуала, разводя руками. — Мало тебе?

Кесоу разом запустил руки в карманы.

— Очень мало, — сухо сказал он, — меньше малого... Я думал, о деле речь пойдет... Видно, ошибся.

— Ну, говори, что не нравится? — Никуала обратился к Константину. — Пусть скажет Кесоу, мы слушаем. Не так ли?

Видимо, Константин решил, наконец, что пора высказаться.

— Погоди, — заметил он, подсел к столу, взял в руки карандаш, чистый листок бумаги и, чертя на нем непонятные знаки, продолжал: — У каждого есть свое мнение. У меня тоже. Мой совет — не торопиться с ответом. Пораскинуть мозгами, посоветоваться...

Константин говорил спокойно, не торопясь, обдумывая слова. Кесоу понравилось вступление, и он снова уселся на стул.

— Во-первых, Кесоу, очевидно, желает что-то сказать... — Константин вопрошающе взглянул на молодого человека.

Кесоу встрепенулся.

— Имею, — сказал он твердо и уверенно, — и очень важное. Ставлю вас в известность: наша бригада хочет показать, что значит хороший урожай в горах. Я понимаю так: нам надо наверстать то, чему поме-



шала война. — Он говорил горячо, словно сердился. — Есть у нас один план. Мы — за это письмо!

И он взял со стола письмо из района и высоко поднял над головой, точно знамя.

— Ладно, продолжай, — сказал Никуала, — только сначала изложи план. Может быть, он всем понравится, а может, и нет...

— Да, ясно, — поддержал его Константин, — тайн никаких не должно быть. Есть предложение — выкладывай.

Кесоу подумал.

— Нет, — проговорил он, — сейчас не буду. Сначала с тобой хочу поговорить, Константин, ведь ты за председателя в колхозе. — Он покопился на Никуалу. — Прошу завтра в поле, в бригаду. Дело слишком серьезное, чтобы его скандачка брать.

Никуала, точно не слыша этих слов, рылся в ящике стола. Константин спросил:

— Завтра начинаете пахать?

— Да.

— Добро, добро. Молодцы ребята. Поднимем и остальных, а в бригаду я приду, — пообещал Константин.

Кесоу простился и ушел.

## 9

Двое суток кутил Рашит. Событыльники менялись, и каждый из них считал долгом приличия поинтересоваться фронтовым житьем-бытьем Рашита. В соответствии с количеством выпитого растет количество вариантов фронтовых рассказов. Герой рассказов (разумеется, Рашит) то бил врага из-за засады, то лез на него грудью, то летал, то без усталости плавал. Вино было на редкость крепким, и событыльники охотно принимали эти рассказы на веру. Только Адамур, не даром называвшего себя «старым воробьем, которого на мякине не проведешь», порой коробил грубый вымысел. Но именно потому, что Адамур был стреляным воробьем, он не считал нужным смущать своего охмелевшего гостя неуместными замечаниями.

Наконец (и в Сакене полагают, что всякая пирушка должна когда-нибудь кончиться) Рашит, опохмелившись утром, направил свои стопы, так сказать, в родной дом к тетушке. Он шел задворками, пребывая в отличном настроении. Лихо заложив руки в карманы брюк, он насвистывал веселую песенку.

Рашит двигался вперед без определенной цели, если не считать самого, казалось бы, естественного чувства, влекущего человека в лоно семьи, которую не видел несколько лет. Впрочем, родственные чувства не слишком одолевали его. Ибо как только он поровнялся с парниками и услышал звонкий женский смех, он мгновенно свернул с пути.

На грядках работали девушки. Несколько парней перемешивали прелый навоз с землей. В стороне подогревали просеянную смесь, и серый пар густо стелился по земле.

Кама разравнивала грядку; руки ее по локоть были запачканы грязью. Напротив на корточках сидела Нина, пробуя палочкой глубину слоя земли. Девушки обменялись быстрым взглядом, заметив приближение статного парня. Кама поправила платок на голове, Нина слегка изменила позу. Что до остальных работников, то каждый из них по-своему реагировал на появление незнакомца. Кажется, только Дауд, заведующий парниками, проявил полное безразличие к этому событию, и то благодаря своей близорукости. Он тщательно осматривал рамы, нагибаясь к ним так близко, что касался усами стекол.

Рашит торжественно провозгласил:

— Мир дому сему! Хенде хох!

Девушки недоуменно переглянулись, но по их улыбкам было ясно, что к этому парню они отнюдь не питают враждебных чувств.

— Это Рашит, — шепнула Каме Нина, и обе, слегка привстав, поздоровались с ним.

— Доброе утро, — сказал Дауд, мигая невидящими глазами. Приблизившись к гостю почти вплотную, он воскликнул:—Какими судьбами, Рашит?!

Рашит бегло оглядел девушек. Он улыбнулся Нине, дескать, узнаю. Но вот промелькнуло полуопущенное лицо Камы, Рашит скрипнул зубами (знак чрезвычайного интереса) и задержал на ней взгляд острый и наблюдательный.

Послав Каме еще один пламенный взгляд, который должен был окончательно сразить ее, Рашит принялся расспрашивать Дауда о делах. Он говорил пренебрежительным тоном человека, выдавшего виды.

— Землю готовишь, старик?

Дауд, обрадованный тем, что может похвастать работой своих друзей, готов был посвятить молодого человека во все тайны ремесла.

— Слушай, Рашит, я могу открыть тебе наш секрет.—Дауд хитро подмигнул и облизнул потрескавшиеся на ветру губы.—Разумеется, между нами... Ты заметил — так рано мы еще ни разу не принимались за рассаду?.. Знаешь, что это значит?

Старик долго и обстоятельно рассказывал о положении дел в рассадном хозяйстве. Полсотни тысяч корней—таков план. Однако Дауд решил удвоить эту цифру. Хорошая рассада — значит хороший урожай. Разумеется, далеко еще до настоящих урожаев, до тех, что на низинах. А впрочем и здесь, в Сакене, пора подумать над тем, чтобы побольше добра накапливать. Стало быть, и рассадное хозяйство подтягивать надо. Каково?

Дауд подбоченился и важно запрокинул седую голову.

— А для чего?—спросил Рашит рассеянно.—К чему лишние полсотни тысяч?

— Как — к чему? Будет лишний табак... И вообще—можно продать рассаду...

Рашит невозмутимо сплюнул в сторону и протянул старику руку.

— Излишки забираю я. Идет?

Старик поразился.

— Ты?

— Да...—Рашит наклонился к Дауду и сказал громко, чтобы слышали все:—Я буду носить их в петлице... Вместо цветов!

Девушки дружно прыснули.

Рашит доволен своей остротой. Но ему неловко перед стариком.

— Шутки в сторону... — говорит он, как бы извиняясь.—Хотите я помогу вам?

Дауд пожал плечами и снова принялся за свои рамы. Рашит подсел к девушкам.

— Дайте мне работу, — попросил он.

Нина указала ему на ведро.

— Милости просим, тащи сюда навоз.

Рашит смешно скривил лицо и, засучив рукава, бросился выполнять поручение. В один миг он наполнил ведро до краев и, притворно охая и ахая, приволок его к грядке. Девушки от души смеялись его выходке.

— Какой он веселый...—шепнула Каме Нина.

— Ну, девушки, рассказывайте про ваши дела.—Рашит руками разравнивал землю, ломая пальцами комочки. — Как живется, работается? Как любится?

— Как видишь, трудимся, — отвечала Нина.—Наш хозяин (она кивнула головой в сторону Дауда) очень строгий. А нынче—просто не подступись. На работу почти что зимой вывел, снег еще лежал... Скоро будем сеять...

— И он не жалеет вас? — Рашит улыбнулся Кама и шёпотом заметил: — Какие ручки...

Девушка густо покраснела. Она сделала вид, что углубилась в работу. Рашит не оставлял попытки вызвать ее на разговор. Но тут некстати подошел Дауд.

— На тех грядках я вижу поросль,—сказал он.—Видите, стеклышко сломано — как бы ночной морозец не прихватил нежную зелень. А?

Дауд послал девушек к парникам.

— Чтобы ни одной травинки, понятно?—сказал он наставительно. — Не траву сеем, а рассаду. Кама, ты приготовишь раствор, польешь молодые побеги. Живо.

— Что это за раствор?—спросил Рашит Каму.

— Молодой человек, — крикнул Дауд, — перестань болтать. Я запрещаю ухаживать за нашими девушками. Не отвлекай их от дела.

— Слышите? — Нина стала между Камой и Рашитом. — Сердится Дауд... Еще больше рассердится мой брат. — Она хитро подмигнула Рашиту.

— Брат? -Расстегните мне ворот, — сказал Рашит, — а то я задохнусь от ревности.

И Рашит с гиком побежал к колодцу, громыхая пустыми ведрами.

— Какой он смешной, Нина, — сказала Кама.

— Ты ему понравилась.

— Не думаю.

— Он из-за тебя остался,—настаивала Нина.

Кама махнула рукой и пошла поливать парники.

Рашит бегал, как чёрт вокруг костра, крича:

— Нажимай, ребята! Наша берет! Хенде хох!

Дауд отметил ту живость, которую внес в работу Рашит. «Парень что надо», — сказал он про себя. Но спустя час, его утомила кутерьма, поднятая Рашитом, и старик начал коситься на чересчур бойкого парня. Однако девушки были очень довольны им: и работали и веселились. Рашит таскал по четыре ведра, по-военному командуя:

— Оружие вперед! Прицел двадцать! О-гонь!

И пустые ведра с грохотом катились по земле.

Приснилось Кесоу, будто он поднимается на большую, крутую гору. Он куда-то торопится, и ему нехватает воздуха. Открыв глаза, он увидел перед собой серый четырехугольник окна — и вскочил. Зажег копилку. Часы показывали около пяти.

Кесоу быстро оделся и спустился в кухню, где у очага, тлеющего всю ночь, лежал отец. Несмотря на ранний час, старик уже держал трубку в зубах.

— Ты чего вскочил ни свет ни заря?—спросил он сына.

— Пора, отец. Неудобно приходиться последним...

Старик, ворча, начал одеваться.

— Скажи сестре, пусть сапоги тащит.

Нина спала в соседней комнате. Пухлые губы ее двигались во сне, и Кесоу даже прислушался, не говорит ли она чего. Но Нина дышала ровно, сон был глубокий, и брату стало жаль будить ее.

— Ну, ладно уж...—Кесоу дотронулся до руки сестры и осторожно потряс ее.

Девушка повернулась набок, на мгновение снова зарылась головой в подушку, но тут же открыла глаза.

— Кончатся сладкие денечки,—сказал Кесоу.—Вставай, пора и за работу... Весна!

Бесцветное, точно из полотна скроенное небо распростерлось над землей. Только через полчаса осветятся вершины Клыча робким светом, а гора Гуагуа все еще будет стоять суровой тенью на пути солнечных лучей, идущих с востока.

Кесоу любил эту пору в Сакене, когда явственней всего ощущается мощное дыхание нового дня, казалось, несущего с собой не только свет, а и новые мысли, порывы, желания...

Первым делом Кесоу с Екупом осмотрели плуг, он оказался в полной исправности. Старик пощупал холодное железо, несколько раз удовлетворенно прошелся вокруг плуга. Но вид буйволов явно пришелся ему не по душе.

— Отощали за зиму,—заметил он.—Разве корма на них напасешься?

Кесоу не согласился с ним, сказал, обращаясь скорее к себе, нежели к отцу:

— Странные мы люди... Избалованы природой... Ждем всего от нее, как нищий подачки... На скотину, как на бурьян, смотрим... Пусть, дескать, сама ищет себе корма. Нет того, чтобы на зиму трав побольше или сена прибереечь. А луга у нас покосные, расчудесные...

— Ишь ты! — старик удивленно покосился на сына. — Где же это слыхано—завтраки и обеды для скота готовить?!

— В том-то и печаль, что у нас не слыхано. — Кесоу надел ярмо на послушных буйволов.—Пошли, что ли?

Плуг с шумом покатыл по ровному двору.

...На поле еще никого не было. Сиротливо стояли прошлогодние ожинки кукурузы, лениво стлался утренний туман.

Кесоу распряг буйволов. Старик присел на корточки, завозился с кисетом, а сын пошел добывать хворостину подлиннее.

Скоро собрались все члены бригады. Гудал привез плуг на арбе. Лемех блестел, как зеркало.

— Настоящая бритва,—похвастал Гудал.

Антон курил самокрутку, поеживаясь от утренней свежести. Пожилые крестьяне, окружив старика Мирба, перебрасывались шутками.

На той стороне поля показался человек. Он направлялся к бригаде, часто останавливаясь и пробуя ногой почву. Подойдя поближе, пробасил:

— Земля вполне готова... Здравствуйте, товарищи!

— Доброе утро, Константин!

— Здравствуй!

Константин отозвал в сторону Кесоу.

— Твоя бригада первая вышла. Я обошел все село...

Кесоу пожал ему руку, признательный за похвалу.

— Скажи им пару слов. Напутствие, так сказать,—попросил Кесоу.

Константин отмахнулся.

— Уволь, уволь... Скажи сам, а мы послушаем.

Кесоу хотелось сказать что-нибудь простое и в то же время торжественное, благословить на труд, подобно тому, как на фронте командир обращается к бойцам перед наступлением. Испытывая понятное волнение, Кесоу обратился к Константину с немим вопросом. Константин сказал тихо:

— Урожай, высокий урожай... Клянись прежде сам...

Кесоу кивнул головой, дескать согласен.

— Товарищи!

Он крикнул, точно перед ним стояла, по крайней мере, тысячная толпа, а не бригада в два десятка человек... Крестьяне поразились неестественно громкому голосу своего бригадира.

— Товарищи,—спокойнее повторил Кесоу,—мы выходим в поле. Большое событие. А почему большое? Разве до нас не пахали, не сеяли? И сеяли и пахали. Но мы будем бороться за необыкновенный урожай, мы выходим в поле с желанием показать нечто новое... Не сто пудов, а... — Он сделал паузу, как бы собираясь с духом,—а пятьсот пудов... скажем... Мы страшного врага в войну одолели, мы всему миру чудеса показали. Неужели мы с землею не сладим, даже с сакенской землей? Мы говорим: сотни пудов—не меньше! Не меньше!

Крестьяне смущенно переглянулись,—хватил бригадир через край.

— Скажем спасибо,—насмешливо проговорил Антон.

Раздались смешки.

— Даю слово, Антон, пятьсот, а может и больше... И никакого фокуса тут не будет,—с горячностью в голосе продолжал Кесоу.—Поле, значит, обрабатываем как следует, а главное—удобрение...

— Навозу не напасешься,—заметил кто-то.

Кесоу возразил.

— И навоз нужен. По всем дорогам и лугам собирать будем, не говоря о дворах. Но этого мало. Надо найти удобрение, чтобы под боком было в большом количестве и недорого стоило. Верно говорю?

— Чего уж вернее!—отозвался Гудал.—Все понимаем.

Однако чувствовалось, что не все понимают Кесоу. Урожай—дело хорошее, что и говорить. Но ни с того, ни с сего обещать полтысячи пудов — казалось странным и непонятным. Екуп чувствовал, в каком затруднительном положении находится сын. Воспользовавшись наступившей тишиной, он спросил:

— Удобрение—кто не знает?—первое дело в нашей работе. Откуда взять-то его, вот загвоздка.

Кесоу горячо выпалил:

—Знаю, знаю где взять. Есть у нас камень—чудо-камень.

И он разразился похвалами по адресу скалы, именуемой скалой Милосердия. Но чем больше он говорил, тем больше возникало сомнений: а вдруг все это преувеличение? Ну пусть скала фосфоритная, это так. Но фосфора какой процент, кто скажет? Кесоу понимал, что ему не доверяют. На какое-то мгновение он сам испытал недоверие к своему замыслу.

В самом деле, что если скала обманет. Какой тогда выход?

— Садитесь,—говорит он, чтобы выиграть время, забыв, что и при- сесть-то не на чем. К нему подходит Константин. Он говорит вполголоса:

— А обработка? А уход за полем? Своевременный сев? Пахота, прополка — со старанием, с душой. Разве этого мало?

Кесоу глядит через плечо на Константина, кивает ему благодарно головой. Разумеется, уход—это очень много! И Кесоу, воспрянув духом, гордо расправил плечи.

— Дорогие товарищи! Допустим, с удобрением не выйдет у нас (он улынулся — дескать, невозможное допускаем), допустим... Мы говорим... агроправила говорят: паши на глубину двадцать—двадцать пять; паши дважды, тщательно борони, прополку делай не скупясь, почаще, сорную траву возненавидь, как своего кровного врага, гони его с поля прочь!.. Дальше. Опыт лучших колхозов говорит: сей рядами, ровными рядами на определенном расстоянии. Кой-кому, я вижу, смешно. А вы сойдите с этой горы в низину, посмотрите, как там люди работают, и тогда скажете, положила руку на сердце: у них куда лучше дело идет, чем у нас.

Крестьяне закивали головами, вздохнули...

— Теперь поняли,—с видом победителя продолжал Кесоу,—не так мы работаем. Махнули мы рукой на нашу землю, дескать не было от нее толка прадедам, не будет и нам. А вот, давайте, по-настоящему, дружно возьмемся, и тогда — я клянусь!—с гектара не меньше трехсот пудов добудем. Ей-богу! Ежели вся страна вперед идет, не пристало нам, сакенцам, в хвосте плестись.

Константин поддержал его.

— Дело, дело говорит, — заметил он.

Антон вышел вперед. Он стиснул пальцами шею и, притворно задыхаясь, произнес:

— Ежели мы работой себя удавим — надо думать, урожаем отменный соберем, — и смешно подпрыгивая, скрылся в толпе.

Кто-то засмеялся приглушенным смехом.

— С тобой у нас особый разговор будет... Слышишь?—закричал Кесоу вслед Антону.

Константин напоминаяще дотронулся до его руки.

— Сейчас,—сказал Кесоу. Он снял фуражку и, указывая рукою на поле, воскликнул:—Теперь—начнем!

Екуп был сердит на сына. «Что он, спятил, что ли?—думал он.—Зачем хвастает?!» Но ему не хотелось при всех одергивать бригадира. «Вернемся домой — поговорим», — решил он.

Кесоу обратился к бригаде с предложением:

— Поле надо освободить от ожинок и крупных камней. Камни сбрасывайте в тот овражек, ожинки сжечь, сложив в кучи. Вот наша работа.

— Товарищи члены бригады, — сказал Константин.—Вы первыми вышли на весеннюю пахоту. Завтра вашему примеру последуют и другие. Не отставать — такова наша задача!

Бригада выразила шумное одобрение. Кто-то затянул песню, и крестьяне с пением вышли в поле.

Сделан только первый шаг, думал Кесоу. Но ведь никогда еще в Сакене люди не выходили так рано на пахоту. А это чего-нибудь да стоит.

## 11

Константин и Кесоу взобрались на холмик и, как полководцы, наблюдали за полем битвы. Гудал со своим звеном двинулся на участок за ближним лесом. Антону отвели противоположный конец поля, чтобы поближе был, на виду. Все разошлись по своим местам.

— Все это хорошо,—сказал Константин, просматривая какие-то бумажки.—Завтра, я полагаю, выйдут на работу и другие...

— Важно, Константин, очень важно, чтобы именно завтра.

— Так и сделаем. Но я о другом... Как же это, Кесоу, насчет урожая? А? Чтоб не впусую... Понимаешь?

Кесоу, не говоря ни слова, берет под руку Константина и увлекает его за собой.

— Идем, идем,—говорит он,—будем совет держать...

Кесоу сворачивает на тропу. Тропа вьется по косогору, спускается к небольшой лощинке, потом поднимается вверх. Она бежит впереди, точно огромная, желтого цвета змея, скрывающаяся в рожице.

— Ты понимаешь?—взволнованно говорит Кесоу,—все время сверлит меня мысль о скале, покоя не дает... побывал я в районе, значит, возвращаясь домой. Только и слышно: мастера урожая, высокий урожай... Дай, думаю, и мы в нашем Сакене пораскинем мозгами—не сидеть же сложа руки. Ежели б не закапризничала моя нога—еще осенью взялся бы за дело...

Давно подумывал Кесоу о скале, что высится в пяти минутах ходьбы отсюда. Перед самой войной он все подготовил для того, чтобы попробовать силу ее; из головы не шла рукопись чахоточного чиновника, Вообще в Сакене и до войны шли разговоры об этой скале, кто-то писал о ней в районную газету, а колхозный кузнец даже пытался смастерить дробилку. Но тут ударила война, судьба забросила Кесоу в далекие страны, кузнец погиб в боях, а сакенцам было не до скалы — хватало других забот... И вот когда он возвращался с фронта домой, где-то у западных границ нашей родины, мысль о скале с новой силой взволновала молодого горца. Он лежал на самой верхней полке вагона и от нечего делать рассматривал темный, составленный из узеньких досок потолок. А внизу, под ним, склонившись головами друг к другу, беседовали бывалые воины. Но не о прошлом шла между ними речь, а о будущем. О будущем думал и Кесоу. Он уже видел себя дома, у самого подножья Кавказского хребта и явственно видел скалу и кривое дерево на той скале...

Кесоу и Константин шли быстро, плечом к плечу, едва умещаясь на узенькой тропинке.

Как по команде, они разом перемахнули через ручеек, выбрались на полянку, и прямо перед ними оказалась высокая сероватая скала. По краям она была обрамлена зеленью, а на самой верхушке росло дерево, кривое, как вопросительный знак.

Кесоу перевел дух. Он снял фуражку и откинул волосы со лба.

— Слушай,—начал Кесоу, озираясь, точно заговорщик.—Земля у нас плохая, немногим лучше морского песка. Из нее все соки повыжимали наши деды и прадеды. Ежели жить на ней по-человечески—надо ее удобрять по сию пору (он провел рукою по горлу). Но откуда удобрение взять? Вот задача!.. Ни дорог, ни мостов, хоть самолетом вези. А в голове у меня—сказ про скалу. Недаром назвали ее наши прадеды скалой Милосердия... Что если посыпать поля землей от этой скалы?

— Этими камнями? — перебил Константин.

— Зачем камнями? Их надо размолоть, по-моему... Ну, кувалдой раздробить, что ли? Ведь скала-то необычная...

Константин вместо ответа взял два обломка, валявшиеся у ног, и, ударив один о другой, с сомнением взглянул на Кесоу. В самом деле, не так просто раздробить в порошок крепчайшую скалу кувалдами. Константин поиграл обломками, подкинул их кверху, даже не поинтересовавшись, куда они упали. Он почистил ладонь о ладонь, покровительственно похлопал Кесоу по плечу и сказал:

— Ты очень горячий человек...

— Это не ответ,—Кесоу говорил жестко, подчеркивая слова.—Есть суперфосфат—его на заводах делают. А вот то, что ты видишь, бог

посылает, так сказать, в готовом виде. И называется он—естественный фосфорит.

— Не слышал, ей-ей, не слышал,—признался Константин.

— Ты у нас секретарь, и за председателя колхоза нынче. От тебя, стало быть, многое зависит. Никуала нам не пример, он пальцем шевельнуть ленится... Слушай, я предлагаю организованно начать это дело. Выдели людей, арбы, сообщи народу, всем колхозом сподручнее.—Кесоу говорит уверенно и тут же развивает план организации работ по размолу скалы.

Константин долго и терпеливо слушает его и, наконец, прерывает.

— Дорогой друг,—говорит он мягко.—Хорошее начинание. Доброе. Но дело-то не легкое, обдумать надо.

— А весна?—нетерпеливо вскрикивает Кесоу.—Весна-то на носу!

— Не эта, так другая будет,—спокойно отвечает Константин.—А совет мой таков: дело изучить, подумать, может, опытный участок наметить... В районе поговорить... с агрономами... Вот ты хорошо говорил насчет обработки поля и ухода за ним. Опыт передовых, значит... Это очень хорошо. Дело... —И, помолчав, добавляет.—А в скале ты твердо уверен? Как ее там, фосфориты?..

Кесоу точно холодной водой окатили — он нахмурился и, не произнеся больше ни звука, повернул назад. Константин что-то говорил ему по дороге, успокаивал, точно оправдываясь перед ним. Но Кесоу ничего не слышал, его смертельно огорчили... Человек, можно сказать, душу свою открыл, как бы в любви объяснился, а от него вежливо отвернулись. Это обидней, чем пощечина, нестерпимо больней любой боли. Ему не верят—это ясно...

И вот они снова на поле. Дымка с земли сошла, и первые лучи солнца полоснули ее, как клинками. Запели в небе птицы, и день занялся яркий и теплый, почти летний день.

— Кесоу, — сказал Константин, как-то виновато улыбаясь (он понимал, что обидел парня), — действуй обдуманно. Со скалой успеем. Главное — обработка, сроки, душа в работе. Понял? Ты же сам говорил: и без скалы урожай добудем. — Он указал широким жестом на поле, простиравшееся перед ними, и торжественно произнес: — Невиданный в горах урожай!

Кесоу бросил на него не очень-то ласковый взгляд. Проворчал сквозь зубы:

— Благодарю за совет, товарищ секретарь... Я, кажется, обойдусь и без него...

Кама пребывала в том особенном настроении, когда человек не скажет, отчего у него так радостно на душе. И не потому, что это тайна какая-нибудь. Нет, вовсе не потому! А просто не знает человек и сам, отчего, по какой причине так хорошо ему. Может быть, причиной—прохладный и очень светлый лунный вечер, ровный, голубоватый свет вокруг—на деревьях, на горах, на дороге? Может, оттого так хорошо, что рядом идет немного сумрачный, но очень хороший человек Кесоу Мирба? Или, может быть, двадцать первая весна будоражит и без того беспокойную грудь?

Так или иначе, Кесоу ощущал необычайную живость своей подруги. Краешком уха прислушиваясь к ее речам, он неотступно думал о том, что так заботило его. Снедаемый собственными сомнениями, он медленно вступал в горячий спор с Никуалой и с Константином, со всеми, кто посмел усомниться в его затее. Что же касается, как сказали бы



деловые люди из района, конкретных предложений, то тут дело обстояло не очень-то ясно. Кесоу понимал, что вся затея с удобрением кукурузного поля разлетится в прах, если скала Милосердия окажется лишь горделивым произведением природы, лишенным всяких полезных качеств. С другой стороны, можно обойтись и без скалы, надеясь на руки свои, на умение крестьянина брать от земли все возможное. Говоря откровенно, оставались еще огромные неиспользованные возможности и без скалы, и без удобрений. Так или иначе, дело осложнилось, упиралось в качество скалы, а качество-то и труднее всего определить в Сакене. Нужна специальная лаборатория, анализ...

Кама от души смеялась, когда ее рассказ дошел до того места, где Рашит (речь шла о Рашите) поднял четыре ведра и покатил их по земле. Кесоу только сейчас понял смысл ее речей, до того доносившихся к нему отдаленным эхом.

— Постой, — сказал он, — а что он делал у вас, этот Рашит?

— Как что? Разве ты не слышал? Я тебе целый час рассказываю. Он вызвался помогать нам. Рашит — большой весельчак, Нина и я нахотались до слез.

— Ты кокетничала с ним?

Кама вздернула носик.

— Ну вот столечко, не больше!

Они сделали несколько шагов молча.

— А как этот индюк Никуала? — спросил все еще сумрачный Кесоу.

Кама сообщила, что он явился к ним домой, интересовался их житьем-бытьем, сказал, что проходил мимо дома и забрел случайно.

— Врет он, — заметил Кесоу.

— Он обещал нам налоги снизить, говорит, есть такой закон о престарелых.

— А кто у вас престарелый?

— Отец, мать...

— Разве ты не понимаешь, что он морочит тебя? Просто хочет к тебе подольститься! — воскликнул горец. — Нет у него власти налоги уменьшать. И твои родители — не престарелые.

— А если есть закон? — возразила Кама.

Но Кесоу и слышать об этом не хотел. Он осыпал упреками девушку, которая, по его, Кесоу, мнению, так легкомысленно принимает ухаживания. Казалось, его ядовитым речам не будет конца. Кама пыталась было возражать. Исчерпав все средства убеждения, она попросту заплакала. Кесоу стало жаль ее, он привлек ее к себе, она послушно подчинилась.

Он прижался щекой к ее прохладной щеке и шептал на ухо нежные слова, смысл которых, хотя они и были несвязны, не смог оставаться неясным даже для самой бестолковой девушки. Этого было достаточно, Кама успокоилась. И они пошли дальше, примиренные, довольные друг другом. Он был рад, что она так добра и нежна, а, главное, послушна, и влюбленные, казалось забыв обо всем на свете, шагали в обнимку, освещенные лунным светом.

Первой нарушила молчание Кама.

— Почему ты ничего не расскажешь о себе? — ласково спросила она.

— А что рассказывать-то? Дела — как дела! Ты ведь знаешь, начали мы пахоту. Народ говорит, рановато... Одним словом, на удивление всему Сакену. А мы что? Мы по правилам действуем... С Константином поцапались малость...

— Вот это напрасно, — Кама освободилась из его объятий. — Он хороший человек. Коли ты и с ним не уживешься, пеняй на себя!

— Не в том дело, Кама. Совсем другое. Не верит он мне. Надо быка за рога брать, а он..

Кесоу поведал ей свои замыслы. Скала необычная — это факт. Фосфориты в естественном виде, целый склад Сельхозснаба под боком. Клад для колхоза... А Константин как будто не понимает, как это важно.

— И все-таки ты не должен с ним ссориться, — говорит Кама. — Он хороший.

Они приблизились к той черте, у которой она обычно освобождала свою руку из его руки, закладывала растрепавшиеся волосы под косынку и пугливо озиралась вокруг. Кесоу сегодня не выказывал особой торопливости. Он увлек девушку в тень огромной чинары, и они уютно пристроились у черного ствола.

Воздух был необычайно чист и свеж. Из долины реки Сакен доносился мерный рокот — то шумела волна на перекатах, набирая скорость. Луна отражалась на всем пути следования извилистой Сакен, серебра ее волны.

Влюбленные наслаждались торжественностью раскинувшейся перед ними панорамы, и только Кама настороженно прислушивалась к этой тишине, вздрагивая при каждом шорохе на дороге.

— Слушай, — сказала она, оправившись после одной из ложных тревог, — ты не тщеславный?

Кесоу парил в этот момент где-то высоко, может быть, у самой вершины горы Гуагуа, и не сразу понял вопрос.

— Как ты сказала? Тщеславный? — удивился Кесоу. — Не знаю.. Не думаю... Почему ты спрашиваешь?

— Так просто...

После его настойчивых просьб она объяснила, в чем дело.

— Никуала говорил нашим, что ты большой хвастун.

— Он сказал, конечно, грубее?

— Возможно..

Кесоу задумался. Слава! — не слишком ли громко?

— Как тебе сказать?.. Вот я воевал... Думал о вас, нашем Сакене..

А о славе?.. Нет, не приходило такое в голову.

— Почему ты не носишь своих медалей?

Кесоу потрепал ее по щеке.

— Буду, если ты пожелаешь, а по праздникам — обязательно...

— Нет, ты не хвастун... — тихо проговорила Кама.

Он снова привлек ее к себе, и она доверчиво положила голову ему на грудь. И они стояли безмолвные, как этот ночной мир, довольные друг другом и счастливые.

Работа в бригаде спорилась. Кесоу никому спуска не давал. Чуть кто зазеваётся — к ответу. Чаще всего доставалось Антону. Пожалуй, Антон был самым трудным членом бригады.

Антон выходил на поле позже всех: то он, будто, сам болел, то дети кашляли, спать не давали...

— Я такой человек, — говорил он Гудалу, осыпавшему его справедливыми упреками. — Ты меня не трогай... Я сам как-нибудь. Жил, слава богу, не помер. И нечего меня без конца попрекать... Я, брат, свободу люблю — вот что!

Кесоу подсел к спорящим.

— А ну-ка, — сказал он, — скажи, друг, какую ты такую свободу любишь?

— А как же! — воскликнул Антон. — Я, брат, люблю, чтобы я — своим умом, а не чужим... Учат меня, точно я никогда кукурузу не сеял и сроду ее не видел. Нет, я, брат, своим умом!

— Ну, а если своего недостает?

— Что ты сказал?! — Антон залился краской, вскочил с места с непривычным проворством.

— Послушайте, — сказал Кесоу, обращаясь к крестьянам, окружавшим их кольцом. — Наш друг Антон заявляет, что хочет жить только своим умом. А я говорю — он лодырь и лентяй! Несколько лет назад, когда Антон жил своим умом, он прозябал в плетеной хижине. Но вот является он к нам, в колхоз—и все мы помогаем ему строить настоящий дом. Антон становится на ноги, и тогда-то он задирает нос...

— Ничего подобного! — пищал Антон.

— Товарищи, — продолжал Кесоу, отмахиваясь от режущего ухо голоса, как от зудения мошкары, — я спрашиваю: где же благодарность?

— Правильно, правильно, — подтвердил Гудал.

— Надо из него песочек вытрясти, — подал кто-то голос.

Антон молчал, теребя в руках кисет. Кесоу становился все более решительным, чувствуя, что крестьяне хорошо понимают его и стоят на его стороне.

— Вот что, Антон: ежели тебя тяготит моя бригада — скатертью дорога, никого силой не держим... Чур, потом не жалеть! Коли работа с нами по душе тебе — брось шутки шутить, берись за дело Понял?

Крестьяне разошлись по своим местам. Антон, нахлобучив шапку, последовал примеру других.

В полдень в бригаду явился Никуала. Он покосился на поле, небрежно пнул ногой ком земли, вывернутый лемехом.

— Работаем? — сказал он.

Кесоу подошел к нему. Поздоровались.

Никуала растерянно прошелся по вспаханной земле, косясь на борозды.

— Сколько?

— Глубины? Двадцать — двадцать пять сантиметров, — ответил Кесоу.

— Удобрять будешь?

Кесоу чуть не просверлил председателя острым взглядом.

— Возражаешь?

— Я? — Никуала пожал плечами. — При чем я? Разрешения ты у меня не брал... Получится хорошо — спасибо... За плохое бить будем.

— Ну, это уж как полагается... — Кесоу взял Никуалу под руку. — Не беспокойся. Я все изложу на бумаге, подам вам...

— На бумаге? — спросил удивленно Никуала (он побаивался всяких бумаг).

— Ну да. заявление.. Объяснение. Назови как угодно...

Председатель неопределенно хмыкнул: как угодно мол — объяснение, так объяснение. Он остался доволен работой бригады.

— Вижу, Антон трудится на славу, — заметил Никуала.

— Объяснили!..

Никуала распрощался, сказав, что уходит к другим бригадам, туда, где дела обстоят хуже.

— Начальство пребывает на должной высоте, — провозгласил Кесоу и с силой приналег на плуг. — Песню! — воскликнул он.

Сакенца не надо долго упрашивать спеть что-нибудь. Сакенцы — любители пения. Крестьяне запели хором, сначала несладно, а потом все стройнее и стройнее. Они пели—и, казалось, силы от этого прибавляются.

И люди, живущие пониже этой местности, с удивлением спрашивали:

— Где это поют?

И пока они думали-гадали, проплывала над ними, словно птица в синеве, знакомая веселая песня:

На лужке зеленом, под горой  
Стоит олень,  
Олень молодой..  
    Не видал ли ты оленя  
    Под горой?  
Ах, ждет подругу свою олень,  
Ждет подругу  
Весь день, весь день..  
    Не видал ли ты оленя  
    В тот веселый день?..

## 14

Появление Рашита в Сакене в пору, когда путь сюда считается совершенно непроходимым, послужило темой для бесед у домашнего очага. Как он шел, как преодолел все препятствия? Отважился ли один или помогали ему отыскивать путь опытные охотники? Все это было очень интересно. Рашит ничего не объяснял, отшучивался и намекал на какие-то старания районных властей—дескать, были приняты особые меры. Тот, кто плохо знал Рашита, почесывал затылок — эге мол, шишка должно быть большая—этот парень! Но еще больше толков вызвало намерение Рашита открыть при колхозе сапожную мастерскую.

— Я буду модельным сапожником, — не без гордости заявил он.

Модельный сапожник в Сакене — неслыханное дело. Сначала никто этому не поверил. Пришлось обратиться за разъяснением к секретарю сельского совета. Парнишка (насморг к тому времени у него уже прошел) подтвердил, что Рашит будет заведывать новой сапожной мастерской. Как ни говорите, весточка поразительная.

Но вот разнесся более волнующий слух о необыкновенной затее Кесоу Мирба, названы предположительные цифры урожая кукурузы и табака — и толки о Рашите отошли на задний план, потерялись в более мощной волне людских пересудов.

К новой вести отнеслись с живым интересом. В самом деле, можно не верить Кесоу Мирба, можно не соглашаться с ним, но мечта о невиданном урожае уже сама по себе была прекрасной.

На вопросы, обращенные к председателю сельского совета насчет хитроумных планов молодого бригадира, Никуала отвечал нечленораздельно. Видимо, он не решался одобрить их. Но и порицать эти планы ему гоже не хотелось, ибо неизвестно, во что все это могло вылиться в конечном счете. Положение, как говорят в Сакене, хуже перепелиного: и сидеть нельзя и взлететь опасно.

Планы Кесоу относительно скалы Милосердия, как это ни странно, больше чем кого-либо другого, интересовали Адамура, заведующего ларьком.

— Рашит,— спросил он как-то своего друга притворно-равнодушным тоном, — в Серебряном Лугу изобретают порох?

— А может быть динамит? — ответил вопросом на вопрос Рашит, мысли которого пребывали в хаотическом состоянии после очередной выпивки.

— Ценная, говорят, скала... эта самая, — задумчиво протянул Адамур. — Удивительно!

Но Рашит был далек от земных дел. Не обращая внимания на слова своего собутыльника, он провозгласил неожиданный тост, не имевший ни малейшего отношения ко всему вышесказанному.

— За любовь! — и залпом опорожнил стакан.

Адамур понимающе подмигнул ему.

— А ведь земля-то моя... — продолжал он, помолчав. И со вздохом добавил: — была.

— Какая земля, Адамур?

— И земля, и скала, что на ней, — мои. Нынче, друг мой, из нее состояние выколачивать будут...

— Ну и что же что состояние? Кесоу не дурак, он тебе шиш покажет.

— Неужели? Все-таки он мне сродни...

Рашит показал Адамуру доньшко стакана — недвусмысленный намек кутилы. Стакан наполнился вином.

— Адамур, поговори с ним, поплачь, похнычь, может и перепадет малая толика... Сакен — медвежья берлога, вдруг повезет... Учти — это Сакен, Сакен неповторимый в своем роде, может быть, даже единственный...

— Тертый он, Кесоу-то, — сокрушенно произнес Адамур, — говорят, полмира пешком обошел... Ну, будь что будет!

Они чокнулись.

— За первоклассную мастерскую! За твои любовные успехи! Слышал, ты здорово приударяешь за Камой. Ежели припекло, зачем дело стало, — наклонившись к нему, тихо сказал Адамур. — Бурка, добрый конь, хорошие друзья — и невеста в кармане!

Рашит посмотрел на багровое лицо Адамура туманным взглядом.

— Если помощи попрошу?..

Адамур протянул пухлую, волосатую руку.

— Вот она! — воскликнул он.

## 15

Пахота приближалась к концу. Еще бы несколько ясных дней! Но погода заметно портилась. С юга нагоняло тучи. Они пронеслись над Сакеном, кропя землю мелкими каплями дождя...

С утра до самого вечера Кесоу пропадал в поле. Забот хватало: каждому укажи, что и как, следи за глубиной вспашки, все предусмотреть к завтрашнему дню. Участком своим Кесоу был доволен. Какая ни на есть земля, а не очень разбросана: одно звено от другого — на человеческий голос! А что она рыжая, сплошной краснозем с песочком — это Сакену уж так при сотворении мира повезло. От сакенской земли, если положиться на ее милость, можно ждать только подачки, а не настоящего урожая. Другое дело, если не потакать ей, а по-настоящему быть требовательным.

Гудал поторапливал буйволов. Его звонкий, пронзительный голос раздавался во всех концах поля; Кесоу к концу дня обычно присоединялся к звену Гудала, и бригадир вместе со звеньевым возвращался домой.

Поравнявшись с бригадиром, Гудал извлек из кармана записочку и передал Кесоу.

— Что это? — удивился Кесоу.

На четвертушке тетрадной бумаги, окаймленной рамочкой, аккуратно выведено следующее:

*Приглашение.*

*Завтра, в воскресенье, просьба прийти.*

*Будет открываться электросвет.*

*К сему Гудал.*

— Ого, прямо по-городскому, с билетами... Спасибо большое, — сказал он Гудалу. — Соорудили?

— Все это сын затеял. Сам неугомонный и меня подбивает на разные шалости. Приходи, повеселимся. Чего-то сомневаюсь... Неужели, и правда, мой сынок электрический свет зажжет здесь, у нас в Сакене.

— За это еще раз спасибо. — Кесоу спрятал бумажку, аккуратно сложив ее. — Теперь мы измерим глубину.

Кесоу воткнул в борозду палку с метсой. Оба, и Кесоу и Гудал, наклонились близко к земле.

— Нет и двадцати. Плохо, брат, пашешь, — раздраженно выговаривал Кесоу. — Нажми-ка покрепче, не срами меня перед народом.

Гудал пытался поглубже загнать палку.

— Э, чёрт, — сказал он, сплунув. — Да неужели два сантиметра тебя беспокоят?

— Да, беспокоят. На всякий случай имей в виду: два сантиметра глубже — хорошо, на два меньше — это хуже, брат. — И, заметив, что на добродушном лице Гудала промелькнуло выражение обиды, продолжал уже более мягко. — Тебе неприятно? А что ежели оскандалимся, не выполним плана? Мы должны пахать по всем правилам, об удобренности забудь. Представь себе, нет никакой скалы.

— Как так? — вскричал Гудал. — Как нет скалы?

Кесоу встал (он сидел на корточках).

— Ну, всякое бывает, Гудал. А вдруг не получится у нас ничего со скалой. Тогда, значит, конец всему? Мы и без скалы обойдемся. Понял? — Он поправился: — Будет меньше, может быть, но все же прилично. За триста пудов ручаюсь!

Он протянул руку. И Гудал, чуточку подумав, хватил о нее своей жесткой, словно вырезанной из доски ладонью.

... К вечеру небо побурело. Подул ветер. По-осеннему похолодало. А потом, как будто кто-то собрал все тучи на небе, и разом выжал их над Сакеном: хлынул дождь — неприятный, колючий, словно падали не капли воды, а булавки.

В дождливые, темные вечера, если не тревожит завтрашний день, невольно клонит ко сну.

В такой вечер, когда ярко горит огонь в очаге, с треском разбрасывая во все стороны веселые искорки, представление о мире, пожалуй, ограничивается кругом семьи, глазающей на огонь. Мир в такие вечера будто за порогом кончается, там, где зияет непроглядная темень. И только где-то в глубине сознания живет мечта об утре, которое распахнет перед человеком двери на простор полей и откроет глазам прекрасный мир — мир без конца и края. И таким тесным покажется тогда дом с очагом на земляном полу и серой золой, колеблющейся на сквозняке.

... Дождь барабанит по кровлям сакенских домиков. Потоки устремяются по проторенным тропам, образуя ручейки. Люди с нетерпением

ем следят за сплошной завесой воды, опущенной у дверей. Когда же это кончится? Наружу едва выбивается мигающий свет очага. Река Сакен вздувается. Еще немного, и с гор, что у верховьев реки, потекут потоки мутной воды. Наутро хуторяне из Серебряного Луга будут переговариваться с Ореховой Балкой с помощью мало понятных жестов...

Кесоу сидит у окошка, вперив взгляд в ночную тьму. Свет керосиновой лампы падает на стекло, по которому бегут струйки дождя.

Дома тихо. Спят отец и сестра. Под полом скулит собака, должно быть мерещится ей неладное.

На столе разложены книги. Пальцы шарят по страницам, листают их. Спать не хочется. Немножко тоскливо. Вспоминается одна такая же ночь, ночь на фронте. Предстояло наступление. В землянке душно. На полевой сумке лежит чистый лист бумаги. Бумага сказочно бела даже при тусклом, неровном свете. Кесоу пишет письмо домой, и в его памяти встают родные, дом, хмурая Гуагуа, снежные зубцы гор, бурная река Сакен. Далеко они от фронта, за тысячи километров!.. Складывая написанное в ладный фронтовой треугольник и аккуратно выводя адрес, он размышляет в тот вечер о тихой жизни в родном селе, о южном солнце, о покое. Наконец-то Кесоу дома! Вот оно, тепло отчего крова. Но где покой? Нет его! Видно, не так скроен Кесоу, чтобы жить на покое.

Кесоу достает тетрадь, вырывает из середины двойной лист. Он прохаживается по комнате взад и вперед. Два часа пополуночи. Все спят в Сакене, давно людям седьмые сняты сны! Может быть, в целом селе один Кесоу и бодрствует... Но он не может уснуть, им овладели воспоминания...

Года три назад эшелон, в котором ехал Кесоу, остановился под Москвой. Была летняя лунная ночь. Кто-то сказал, что виден Кремль. Кесоу взобрался на крышу вагона, там уже было тесно от народа. Все смотрели в одном направлении, на Кремль. Но как ни напрягал Кесоу зрение — ничего не мог разглядеть, должно быть и другие не видели. Однако людям во что бы то ни стало хотелось увидеть кремлевские зубчатые стены, и все на крыше поражались хорошей видимости.

— Скоро рассвет, товарищи, — вдруг произнес чей-то голос, — а товариш Сталин не спит... Он как-то в наш штаб в пять утра позвонил!

Голос умолк, и снова все смотрят вперед в благоговейном молчании.

Кесоу дождался, пока бойцы сошли с крыши, и долго потом смотрел туда, куда указывали — на Кремль...

Он усаживается за стол, макает перо в чернильницу и размашисто пишет: «В партийную организацию села Сакен. На сегодняшний день...» Минута раздумья, и написанное зачеркнуто, а лист смят и выброшен под стол.

— Что если в районную газету написать, потребовать помощи? — сказал Кесоу, обращаясь к безмолвным стенам.

И тут же готов заголовок: «Использовать местные удобрения». Удобрения? И словно из мрака вынырнуло лицо Константина. «А в скале ты очень уверен?» — точно спрашивает Константин.

После разговора с Константином стало очевидным, что без анализа не обойтись — ведь речь идет не об огороде каком-нибудь, а об общем колхозном поле. Необходимо спросить совета у знающих людей.

— Нет, без района не обойтись!

Кесоу снова прошелся по комнате, поправил фитиль на лампе и, усевшись за стол, решительно склонился над бумагой, склонился надолго, может быть до утра...

Кесоу проснулся позднее обыкновенного. И как всегда увидел над собой деревянный, потемневший от времени потолок и как всегда с интересом стал разглядывать его. А на стене, у кровати, играл веселый солнечный зайчик — отражение первых солнечных лучей.

Туч на небе как не бывало. Земля, насквозь пропитавшаяся за ночь дождем, быстро высохла на солнце. Все в природе успокоилось, и только неугомонная Сакен, рыча, катила волны, и, казалось, гневу ее не будет конца.

... Решено. Он пойдет в район, доберется туда во что бы то ни стало, несмотря на весеннее половодье. Кесоу потягивается и сладко зевает. Он достает со стола листок и просматривает его. На листке записаны различные соображения насчет повышения урожая.

Кесоу комкает бумагу и бросает ее под стол — она уж больше не нужна. Неприязнь к Константину, внезапно вспыхнувшая, поулеглась. В конце концов, что худого сделал Константин? Заставил серьезней к делу отнестись — и всего-то... А перед глазами — яркий солнечный зайчик. А за окном — светлый, весенний день. Потянулся еще раз Кесоу, кровать заскрипела...

Вошла Нина. Она принесла чашку горячего козьего молока.

— Ты меня балуешь, — сказал Кесоу.

Нина придвинула стул к кровати, поставила чашку на стул.

— Пей маленькими глотками. — Она пошарила глазами по столу:— Ты что, писал? О чем?

Кесоу не ответил. Нина, разбирая бумаги, продолжала разговаривать сама с собою:

— Курил ты много... Дым. Хоть топор вешай... «Использовать местные удобрения»... Так... О скале, стало быть.. Отец говорит, что это пустые выдумки. Смеется. А на людях — за тебя. Заявление. «В организацию села Сакен»... А мы вчера с Камой тебя вспоминали...

Кесоу сделал вид, что последнее замечание не особенно его интересует.

— А Рашит все вокруг нее увивается...

Екнуло сердце сакенца: Кесоу со злостью хлебнул молока и обжегся.

— Чёрт с ним! — воскликнул он всердцах. — У меня глотка ошпарена!

— А ты не торопись... Не нравится мне Рашит...

— У, чёрт, что за молоко!.. Отчего же не нравится? Ревнуешь?

Нина смешно фыркнула.

— При чем тут я? Тебе бы следовало ревновать, а не мне.

— Ну, и я не при чем!

Скрывать по возможности свои нежные чувства к даме сердца — исконная манера сакенцев. Ни один влюбленный сакенец не признается открыто в том, что он влюблен, и никогда не покажет на людях своих чувств, тщательно пряча их под личиной равнодушия. Эта манера принята в горах и считается проявлением особой галантности; она являлась причиной многих недоразумений, ибо молодым людям при такой их скрытности не долго остаться и в дураках.

— Папа ждет тебя, — сказала Нина, отложив бумаги в сторону. — А вечером вы пойдете к Гудалу?

Кесоу вспомнил о приглашении.

— Да, мы ходим...

Екуп сидел на ступеньках и массировал себе поясницу, ритмично раскачиваясь. Его лицо выражало блаженное состояние покоя, который



обычно обретал старик, когда дождливая погода сменялась солнечными днями. Кесоу сообщил ему о своем намерении итти в город, к районным властям. К удивлению сына, старик не только не возражал, а даже обрадовался.

— Верно, — сказал он, кончая самоврачевание. — Пойди поговори, покажись людям... Будь я на твоём месте, я бы и землицы с той скалы прихватил с собой. Пускай агрономы проверят... Жаль, что мы на краю света живем, а то бы давно все уладилось со скалой..

— Там, внизу, по горло всяких удобрений, их привозят за тысячу верст. Там не то, что в Сакене!

— Выходит, не повезло Сакену, — сказал старик. — Эх, и угораздило же кого-то забросить нас, как мяч, на самую высокую крышу.

— Закончим вспашку — пойду в город, — произнес сын.

— Обойдемся и без тебя. В бригаде у нас все в порядке. Откроется дорога, иди в город...

— Дорога открыта, — подала голос из кухни Нина. — Рашит-то ведь пришел!

Старик сплюнул.

— Этот головорез и на метле доскачет...

— Не беспокойся, отец, — сказал Кесоу, — доберусь как-нибудь.

Уже наступили сумерки, когда Кесоу с отцом отправились к Гудалу. Старик надел свою лучшую черкеску, кабардинскую бурку, шерстяной домотканый башлык. Он важно шествовал, опираясь на палку. Сын шел почтительно, по левую руку отца, прихрамывая скорее по привычке, чем от боли в ноге.

Они явились к Гудалу чуть не первыми. У ворот их встретил Смел, сын Гудала, славный малый. Смел окончил в городе пчеловодческие курсы и с тех пор работал на колхозной пасеке. Но при всем своем покладистом характере никак не мог ужиться с пчелами (вернее, они с ним) и немного стеснялся своей работы.

Он почтительно пропустил гостей вперед и закрыл за ними калитку. Кесоу увидел провода, развешенные во дворе.

— Значит, надоело тебе с керосином возиться? — спросил Кесоу, указывая на них.

— Еще бы! — смущенно улыбаясь, ответил Смел. — Я думаю так: ежели получится, построить еще кой-кому, по желанию. Я денег за работу не возьму. Пускай шумят эти самые станции...

Кесоу пожал ему руку.

— Сколько тебе лет? — спросил он. — Двадцать три? Не много. А что, отец помогал тебе?

Щарень почесал за ухом.

— Видишь ли, — начал он, запинаясь, — новое иногда людям глаза колет. Не сразу верят. Отец тоже... Когда я взялся — видит он, не унять меня... Что делать? И говоря по правде, крепко помог.

Екуп толкнул его в бок.

— Не грехи, сынок, — сказал он, — не суди отца. Все, что в доме делается, — от отца. А как же? На все свой закон!

И старик ткнул его пальцем в живот. Смел подскочил и захохотал, точно маленький. Глядя на него, засмеялся и Кесоу. Наконец не выдержал и старик: он трясся от смеха и глубокого кашля.

— Сыновья-то наши выше нас летают. Каково, а? — обратился Екуп к Гудалу, торопливо сбегавшему по лестнице.

Из кухни показались женщины, и одна из них, высокая и худая, убеленная преждевременной сединой, направилась к гостям.

То была жена Гудала.

— Добрый день, Камачич, — воскликнул Екуп, церемонно здороваясь с ней. — Никак ты не постареешь!

— Полно, Екуп, — остановила его женщина, — к сожалению, на свете существуют зеркала...

Но Екуп не унимался. Он всячески пытался убедить Камачич, что она почти такая же, как и в дни молодости. Старик изо всех сил старался быть любезным.

Кесоу расспрашивал Смела об электрической машине, интересовался ее действием.

— А вы ее опробовали, прежде чем приглашать гостей? — спросил Кесоу.

— Как миленькая, даст ток, — самонадеянно сказал Смел. — Вот увидишь!

Черные глаза его скользнули по лицу Кесоу, и Кесоу показалось, что перед ним горный козел: стройный, живой, как огонь, неподатливый. Смел наклонился к гостю (он выше на целую голову) и сказал доверительно:

— Тут у нас такие ребята подбираются, что хоть горы ворочай. Вот увидишь, скоро и у других загорится свет. Каждый себе машину заведет.

— А может, построить одну, да большую? — заметил Кесоу.

— Верно! — воскликнул парень, хлопнув ладонью о ладонь. — Одна, да большая — лучше. А?

— Лучше, Смел, много лучше. Вот через годик соорудим, и ты будешь главным механиком. Что скажешь?

Парнишка смутился.

— Конечно, скажу, что согласен. А пока до поры до времени пусть эта...

И он повел Кесоу смотреть станцию.

Гости собирались медленно. Позже всех явился Никуала.

— Извините, — сказал он, едва ступив на порог, — очень занят: пахота, планы и прочее...

Он хотел казаться деловитым. **Б** Никуалой явился и сакенский врач. Знатоки тотчас же определили, что доктор, торопясь на праздник, заранее хлебнул спиртного (привычка, по утверждению врача, появившаяся у него лишь в Сакене — «в этой дыре»).

— Спиридон, — полушутя, сказал Екуп, грозя пальцем врачу, — моя спина ждет тебя.

Спиридон приложил ладонь к сердцу. «К твоим услугам» говорил церемонный жест.

— Не мешало бы нам другого врача, — шепнул Константин Кесоу. — Будешь в районе, поставь вопрос.

— Ладно, — ответил Кесоу. — Поговорю.

Сумерки настолько сгустились, что пришлось зажигать лампу, а в сени вынести несколько коптилок. Молодые люди у плотины заканчивали последние приготовления при свете факелов.

Камачич, как могла, занимала гостей.

— Мой сын говорит, что вот здесь загорится свет, — сказала она, указывая на пузатенькую электролампу, подвешенную к потолку.

Кесоу подошел к хозяйке, взял ее за руку.

— Мамаша, ты не веришь?

— Трудно поверить, сынок...

— Потерпи несколько минут, убедишься.

В углу сидели старики. К ним присоединился и Екуп. Когда Камачич произнесла свое «трудно поверить», они повернулись к ней.

— Что же это ты, хозяйка, — упрекнул ее седой благообразный старик с красными, как у деда-Мороза, щеками. — Сакен-то наш позо-ришь? Не дай бог, подслушает посторонний, что подумает?

Камачич пробовала возразить. Екуп в свою очередь пожурил ее.

— Ай, ай, Камачич! Что тут удивительного? Или ты не слыхала о городском свете?.. Он горит вроде луны: свет дает, а не греет.— И, усевшись поудобней, продолжал:—Я никогда никому не завидовал, друзья, но с некоторых пор завидую селам, что лежат под нами, за перевалами. У них свет. Им повезло, чёрт возьми, успели провести перед войной. А вот нам почему-то неудача выпала...

— Война есть война,—вмешался в разговор Константин, и его ровный, спокойный голос сразу привлек внимание присутствующих.—Был бы у нас свет давно, война помешала. Вот и с дорогой к нам тоже беда... Не разразись война, к нам уже наверняка самолеты летали бы. Помните, сиделся тут один, перед войной?

— Фанерный, что ли? — спросил Екуп.

— А вы не смейтесь,—сказал Константин серьезно,—даром, он из брезента, а очень солидный... Ну, в общем, не беда, будет и свет у нас через годик, и самолеты прилетят, а там, глядишь, и дорогу проложим.—И не без удовольствия, точно перед ним поставили самое любимое кушанье, добавил: — Дорогу с асфальтом. А?

Да, это было бы очень хорошо! Старики, довольные, покашливали, потирали от удовольствия руки. В комнате на некоторое время воцарилась тишина...

Постепенно двор наполнился толпой любопытных. Никуала заволновался. Он на скорую руку устроил маленькое совещание. Было решено придать торжеству общественный характер. На этом настаивал Константин. Гудал стоял растерянный. Он заявил, что не подготовлен к такому большому пиру — гостей-то сколько! Кто-то вызвался доставить несколько ведер вина. Его примеру последовали другие.

— Пока вы будете с народом говорить, мы живо все оборудуем, — заявили они.

Роль распорядителя взял на себя директор школы Мушаг (записной оратор и франт). Модные коверкотовые брюки, небрежно запущенные в сапоги, свидетельствовали о пренебрежительном отношении их хозяина к личному имуществу (черта, не без удовольствия отмеченная сакенскими девушками).

По совету Константина, он произнес речь по поводу торжества в доме Гудала.

— Товарищи! — вдохновенно закончил свою речь Мушаг.—Давно существует электричество и люди давно пользуются его благами... Я прошу вас как следует подумать над сегодняшним событием... Сакенский мальчик, выросший на наших глазах, самостоятельно строит станцию. Если б не война, у нас давно был бы свет от настоящей станции. Сегодня зажгутся лампы в доме Гудала и у ближайших соседей. Но, товарищи, заявляю вам по поручению сельского совета, в сорок восьмом мы будем иметь свою собственную... колхозную... электростанцию!

Слова эти потонули в рукоплесканиях и радостных кликах. Торжество приняло воистину грандиозные размеры. Так же бурно были встречены слова благодарности, обращенные к советской власти — первопринципе всех торжеств.

— Ура Сталину! — выкрикнули в толпе, и весь двор, полный людей, дружно отозвался громом аплодисментов.

Неожиданно в сени вбежал пожилой человек. Он стащил с головы башлык и, возбужденно размахивая им, закричал:

— Дорогие друзья! Тише!.. Тише!.. Товарищи! Вношу предложение: построить всем селом на собственные денежки собственными руками это самое электричество...

— Станцию, — подсказал Мушаг.

— Станцию! — повторил говоривший.

— Принимаем! — ответила толпа, повергая в замешательство Никуалу. Но Константин успокоил его.

— Решение разумное, — сказал он, — верное, если так хочет народ.

— А район? — вопрошал Никуала.

— Ну что ж, мы сообщим о нашем желании, оформим как полагаются, будем просить.

Смел с товарищами продолжал возиться у плотины. Вконец покатоного желоба прилажено колесо с лопостями. От колеса идет ременный привод к электрической машине. Около машины доска с рубильником и вольтметром. Вот и вся премудрость. Любопытные ходили вокруг да около — диву давались.

— Эй, Смел, — кричат нетерпеливые зеваки, в которых никогда не бывает недостатка, — как дела?

— Как сажа бела, — отшучивается Смел и с головой скрывается в канаве. Он копошится в грязи, подчищая лопатой стенки. Минут через пять он вылез оттуда, грязный, как трубочист.

— Чёрт! — кричат девушки, указывая на него пальцами. — Настоящий чёрт!

А старики смотрят на Смела и удивляются: ученый этот Смел, что и говорить!

Но вот приближается кульминационный момент — двое здоровенных парней приоткрывают плотину, и вода с шумом устремляется по желобу. К машине подходят Мушаг и Смел.

— Смотрите наверх! — кричит Кесоу, указывая на лампочки.

Вот заработал привод, тонким голоском завывла машина, в лампочках, словно крошечная молния, сверкнул свет и... погас.

— Порвался ремень! — сообщил Мушаг.

Адамур, как тень следовавший за Никуалой, сказал вполголоса и не без ехидства:

— Очень жаль. Поторопились ребята. — И усмехнулся.

На кухне женщины работали при свете очага, все коптилки унесли на плотину, обещая взамен электрический свет, который, увы! не желал появляться.

Через четверть часа ремень починили. Снова загудела машина, и в торжественном молчании толпы вдруг вспыхнули лампочки: в доме, на кухне, в сенях, во дворе, у ворот, в хлеву, у колодца. Свет горел минуту, две, пять минут.

Послышались крики:

— Смела сюда!

— Молодец! Качать его!

И сакенцы радовались тому, что живет среди них смекалистый парень по имени Смел.

Давно уже разносили вино в кувшинах, раздавали куски чурека с мясом, многие успели даже охмелеть, а свет все горел.

— И будет гореть до тех пор, — провозгласил Кесоу, — пока не высохнет Сакен!

Да, друзья мои, это была знаменательная ночь в Сакене, чудесная ночь!

Едва ли открытие электричества поразило мир так, как поразили сакенцев «городской свет», добытый рукой сельского парнишки. Разумеется, люди дивились не тому, что такой свет вообще существует, а тому, что он появился в Сакене. Казалось, кто-то поднял село и перенес его на много верст вниз, поближе к городу.

Крестьяне поворачивали во все стороны Смела, рассматривали его с таким любопытством, точно видели впервые. Спрашивали:

— Значит, правда, ты смастерил?

— Как вам сказать? — отвечал Смел, добродушно улыбаясь. — Хочешь, помогу и тебе устроить такую штуку? — И Смел, заложив руки в карманы, горделиво взирал на собеседника.

Тот, полюбовавшись осанкой парня, говорил:

— Ты, пожалуй, и на большее горазд. Ей-богу!

Однажды утром пришел поглядеть на городской свет и древний Шаангери Канба. Он велел запереть двери и занавесить окна в комнате.

— Теперь покажите эту силу, — сказал он.

Когда комната осветилась слегка мерцающим желтоватым светом, старик, не говоря ни слова, вышел в сени и направился к машине. Он долго стоял около нее. Облаченный в старинную черкеску с серебряными газырями, с ореховой клюкой в руке, седовласый старик напоминал древнего пророка, пытающегося найти разгадку тайны мироздания. Обратившись к Гудалу, он торжественно произнес:

— Ты — настоящий мужчина.

Он уселся на бревне, достал кисет, разложил на колене кремень, кресало. Правнук его, десятилетний мальчонка, распушил огниво, оторвал кусочек и подал старику. Гудал присел на корточки.

Шаангери медленно набивал старую глиняную трубку. Он неслышно шевелил губами, сухими, как папоротник.

— Кто тебя надоумил, Гудал? — спросил он, движением глаз указывая на плотину.

Гудал потер руки, как это делают перед выгодной сделкой.

— Сын, — сказал он, — мальчик мой.

— Сколько ему, Гудал?

— Двадцать три...

— Не женил его?

Гудал отрицательно покачал головой.

— Нет еще, рановато.

Старик принялся высекать искру из кремня. Делал он это долго, с увлечением, и когда трут задымил, он словно пожалел об этом.

— Твой мальчик, — сказал он, следуя за своими мыслями, казалось убежавшими от него. — А кто его наставил на ум?

— Как тебе сказать, Шаангери? Его учили в школе... Он горазд на разные выдумки. Пошел однажды в город... Нагляделся диковин... Попросил денег, накупил всяких машин. Не раз хаживал туда, куда не перетащил все железо...

— Чудно, ей-богу, чудно! — задумчиво проговорил старик, вынимая трубку изо рта. — Времена, стало быть, такие...

Шаангери замолчал и снова взял за свою трубку. Сизый табачный дым застилал ему глаза. Вспоминалась старому его жизнь. Их было пять братьев — пятеро львов Канба. Шаангери — самый младший. Старший Дауд, чудо-парень, с доброй душой. Он погиб от руки кровника — сподручного князя Маршан. Дауду пробили затылок... Мир праху его! А ведь сил его на десятерых достало бы! Нет, не видывали больше зеленые горные веси такого молодца!.. И второй тоже —

красавец, в Сибири пропал, из-за коня какого-то дворянина. Говорят, невиновен был, а сгорел, растаял, как воск, в неволе. Двое других братьев — один молодец лучше другого, падки на выпивку были. Их всюду таскали по пирам, за тамаду везде саживали. Этих убило вино — в животах вода завелась. А ведь говорила им мать, не пейте! Сгнули тоже, а светлые были души! Ну, а сам Шаангери? Быка ударом кулака сваливал, силу куда девать, не знал. Подскажи только, огонь с того света добудет. И на что ушел целый век жизни? Ради чего носили ноги-то полтора столетия?

— Эх, Гудал, Гудал,— шепчет старик,— как жаль, как жаль...

— О чем это ты, Шаангери?

— О жизни своей, Гудал. Жаль себя, жаль... Вот тут у меня кошки скребут. Завидно мне, жадный я до всего хорошего. Не поймешь ты меня... Слушай, что скажу: вот жил я, жил да поживал, все мечтал о счастливой чарке вина, о счастье, махоньком счастье. И вот под конец я вижу его, и чарку счастливую... Но не поднять мне уже ее, ослабела рука, не дотянуться ей...

Старик тяжело вздохнул и поднялся, собираясь уходить. Он простился с Гудалом и медленно побрел со двора, опираясь на руку правнука.

По дороге им встретился Кесоу.

— Ну как? — спросил молодой человек, — понравилось у Гудала?

Шаангери приложил ладони к глазам.

— Это ты? — спросил он хриповато. — Внук Карамана?.. В дедушку весь, в дедушку... — И он хотел продолжать свой путь.

— Одну минутку... Я очень прошу. — Кесоу несмело преградил старику дорогу. — Не зайдешь ли к нам?

— Не могу, — покачал головой старик. — Я тороплюсь домой, чтобы на досуге перебрать в памяти... Понимаешь? Этот гудалов дед... Чудак был покойник... И внук тоже в деда. Что?

Кесоу поторопился спросить:

— Я хочу знать, что тебе известно о серой скале, что за нашим домом?..

— О скале?

— Той, что на земле Адамура... бывшей земле...

— Какого Адамура? Чей он?.. — Старик прищурил глаза. Было слышно, как он тяжело дышит, словно вместо легких у него дырявые кузнечные мехи. — Я много знаю скал... Хочешь, я научу тебя, как приготовить порох?.. Не раз приходилось... Черная горная скала, куриный помет, уголь... Ей-богу!

Старик замолчал, переводя дух. Воспользовавшись этим, Кесоу поспешил задать ему другой вопрос:

— Каков бывал, — спросил он, — самый что ни на есть лучший в Сакене урожай кукурузы?

— Сто! — старик мотнул головой. — Сто пудов — и все. В лучший урожайный год... Понимаешь?

— Значит, ты ничего не слышал о скале?

Старик, казалось, силился что-то вспомнить, непрерывно шевеля губами.

— Помню, — сказал он наконец, погладив бороду дрожащими пальцами, — гудалов дед, дай бог не ошибиться, всякое мастерил... С одним чиновником за панибрата был... Как же! Говаривали, будто со скалой возились... Ну да сказки, должно быть... А ты вот приходи ко мне, порох делать научу... Как же, делал, делал самолично... Ух, бывало...

И старик, порывшись в памяти и не найдя там ничего достопримечательного, что соответствовало бы моменту, подал молодому человеку руку.

— Приходи ко мне, сын мой, — сказал он.

Кесоу не спускал глаз со старика, пока тот не скрылся. Словно мимо прошла вся вековая история Сакена, давшая миру немало крепких, наделенных необычайно долгой жизнью людей. Было жаль, что эти люди исчезли, как тени на земле, сгинули во мраке.

## 18

По единодушному мнению сакенцев, весна нынешнего года началась необычно. Судите сами: удивительно ранняя теплынь, толки о чудесной скале, электрический свет у Гудала — события из ряда вон выходящие. И надо ли удивляться, что село настроилось на какой-то особый лад? Казалось, каждый новый день должен принести с собой нечто сногшибательное.

Но существовал скептик, который не разделял, как выразился он сам за стойкой у Адамура, ни восторгов сакенцев, ни их ахов и охов по поводу различных происшествий. Воистину, он обладал не сакенским сердцем! По поводу гудалова света, например, он заметил, что видел достаточно новшеств похлеще этих штучек, и, подняв бокал, запел какие-то залихватские частушки. Как видите, скептик не считал нужным щадить самолюбие сакенцев, не опасался навлечь на себя их неудовольствие. То был, как вы вероятно уже догадались, Рашит.

Разумеется, за такое открытое пренебрежение к своим односельчанам недолго было получить оплеуху от какого-нибудь вспылчивого молодца. Однако Рашит несомненно обладал известной притягательной силой, и ему многое прощалось. А руки его, руки чудесного сапожника, очаровали сакенских женщин. Он работал с большим умением, ревностно. Шил и дамскую обувь, и тачал сапоги, особенно мягкие (они облевали ноги, как шелковые чулки).

Но чёрт бы побрал его заносчивый нрав и все его молодечество!

На коне влететь по шатким ступенькам в чужие сени, стрелять в яблоко через плечо, перепить всех за столом — на это он был мастер. Недаром говаривали те, что постарше да поопытней: дайте срок — свернет себе шею молодец. Но Рашит только посмеивался, облизывал губы, да ястребом поглядывал на девушек.

В настоящую минуту он осторожно подходил к плетню в том самом месте, где скрипучий журавль горбился над стынувшей гладью колодезной воды. Перегнувшись через плетень, он вперил взгляд в светлый четырехугольник дверного проема, шагах в пятидесяти от него, и замурлыкал песню.

Не прождал он и пяти минут, как из сеней вышла женщина с ведрами. Прикрикнув на скуливших собак, она направилась к колодезю. Едва лишь зазвенела цепь на бадье, раздался вкрадчивый голос:

— Кама.

Звон прекратился.

— Кто это?

— Это я, Рашит, — послышалось из-за плетня. И в доказательство своих слов наш удалец собирался уже перемахнуть через изгородь.

— Не надо, — остановила его Кама, подбегая к плетню. Это «не надо» придавало как бы интимный характер неожиданному визиту. Во всяком случае, Рашиту померещилось, что особых возражений его появление не вызвало. Однако он воздержался от дальнейших насту-

пательных действий и водворил свое туловище на прежнее место, изящно спрыгнув с плетня.

— Кама, — сказал Рашит, извлекая из глотки наиболее нежные звуки. — Как ты поживаешь, Кама?

Овладев собою, Кама обрела непринужденность речи, свойственную сакенским женщинам (которой, насколько нам известно, не пренебрегают их сестры и в остальных частях страны).

— Такая забота? — Кама усмехнулась. — Ты не испугался темноты?

— Разве ты не знаешь, что я каждый вечер стою у твоего дома?..

— Нет, не знаю.

— Я часами торчу на этом месте! — Это была такая вдохновенная ложь, что в нее поверил сам Рашит.

— Напрасно, — заметила Кама. — К чему? Увидит кто-нибудь, что подумает?

— А какое мне дело до других?! — вырвалось у Рашита, и он тотчас же пожалел о сказанном.

— В таком случае — прощай! — Кама загромыхала бадьей, зазвенела цепями, вода шумно наполняла ведро.

— Кама, одну минуту, — взмолился Рашит. — Иначе я прыгну к тебе. Слышишь?

Угроза возымела свое действие. Кама вернулась к плетню.

— Я не то хотел сказать...—Рашит перешел на быстрый шёпот... — Не брани меня, не сердись. Я люблю тебя...

— Рашит!

— Да, — продолжал молодой человек, — представь себе, люблю.

Кама считала себя обязанной ответить ему прямо и без обиняков.

— Бедный, — сказала она, растроганная, однако, его пылким признанием. — Я понимаю тебя. Но все понапрасну.

— Кама, в чем дело? Почему?

Любит ли Рашит Каму так пламенно, как это может показаться? Или тут действуют какие-нибудь другие соображения? Или ее неприступность раззадорила сакенского сердцееда? Мы отвечаем на этот вопрос уклончиво: может быть — так, а может быть — и этак, ибо мы придерживаемся правдивого рассказа о событиях в Сакене, и у нас нет охоты приукрашивать их.

— Во-первых... — однако Кама решила не расшифровывать этого «пункта», а сразу перешла к следующему—а, во-вторых, — произнесла она после маленькой паузы, — рано думать о таких вещах... Я должна учиться...

— Учиться?! — удивленно воскликнул молодой человек. — Да разве же ты не ученая?

— Семь классов, Рашит, всего семь. А вот о сельскохозяйственном техникуме ты когда-нибудь думал?

— Нет, никогда, — признался Рашит.

— А я очень много, — важно проговорила Кама. — Ученье — свет, а неученье — тьма.

Рашит расхохотался, слишком несостоятельными показались ему ее доводы. «Хитрит, — подумал он, — цену себе набивает».

— Тут что-то не так! Учеба не при чем! Я уверен, тут причиной Кесоу, новоявленный агроном. Не этот ли сумасброд вскружил тебе голову?

И он осыпал Кесоу насмешками, всячески пытаясь унижить его в глазах девушки.



- Все? — спросила Кама спокойно, выслушав его.  
 — Да.  
 — Прощай! — И она повернулась к дому.

## 19

Утро следующего дня выдалось хмурым, холодным. Тонкие нити соединяли небо и землю в одно целое. Протираясь сквозь густую сеть дождя, к дому Екупа спешил ранний гость. Хозяин встретил Адамур на пороге и пригласил его погреться и обсушиться у очага.

— А где Кесоу? — поинтересовался Адамур, усаживаясь у огня.

— Я здесь! — ответил молодой человек, входя в кухню.

— Возвращается зима, — сказал Адамур. — Это ужасно для здоровья: после жары — холод.

— Поддай-ка нам стаканчики, дочка, — обратился Екуп к Нине, — в такую сырость водка, Адамур, первое средство против простуды. Я предпочитаю бузиновую. А?

— Обязательно, Екуп, бузиновую, только крепкую. Она ревматизм исцеляет и кровь, само собою, греет.

Адамуру была предоставлена возможность испытать крепость бузиновой водки и ее целебные качества. Закусывали холодной мамалыгой и жареным сыром, плавившимся на огне, словно коровье масло.

Говоря откровенно, Кесоу было не до выпивки. Но закон гостеприимства в Сакене не допускает никаких поблажек. Сидеть и пить с гостем, храня самый беззаботный вид, даже тогда, когда, как говорится, забот полон рот, — первейшая обязанность хозяина. Сидеть и угощать гостя — такая же работа, как и всякая другая (так думаем мы, сакенцы).

— Между прочим, Кесоу, — словно невзначай проронил Адамур, отдуваясь после очередной порции зелья, — как твоя затея?

— Какая?

— Я слышал, ты скалу готовишься рвать, лекарство готовить для полей.

Кесоу как-то неопределенно хмыкнул в ответ. Он подбросил дров в очаг, и тысячи искр стремительно понеслись к закопченному потолку.

— А что же, хорошее дело. Добрая скала, богатая. Мы ее пуше глаз берегли, — соврал Адамур. — Как же! Помню, отец говаривал: «Присматривай за ней, говорит, клад, а не скала!» Скала-то на нашем участке стоит. А как же?

Замечание, касающееся местоположения скалы, заставило насторожиться хозяев.

— Представляю, — продолжал Адамур, — какие доходы ждут вас, дорогие мои...

Кесоу раздраженно спросил:

— Доходы? Какие? И почему нас?

— А как же? Ты затеял, твоя мысль, стало быть и доход твой. Ежели, скажем, на килограммы продавать или на пуды — тысячами рублей пахнет. А труд-то какой? Пустяковый. Отбивай киркой куски и отвешивай. А если не удастся продать самому, то все равно премию большую в районе дадут. А как же, открытие!

Екуп слушал, ничего толком не понимая. Какой доход? Какие куски? Тем временем Адамур, закрыв глаза, подсчитывал рубли, копейки, подводил умопомрачительные итоги. Окончив подсчеты, Адамур вознес до небес всем известную добропорядочность рода Мирба, заранее восхищаясь бескорыстием Екупа и Кесоу.

— Спасибо, спасибо, — благодарил польщенный хозяин.

Но Кесоу, видимо, не слишком нравились эти славословия, он подошел к делу практически.

— Что тебе нужно от меня? — напрямик спросил он.

Адамур обрадовался такому обороту разговора. Как человек торговый, он любил подходить к вопросу по-деловому.

— Вы же знаете, дорогие мои, — начал он вкрадчиво, — я вам не чужой. Нас связывают почти родственные узы. А как же? Я вам не чужой, стало быть и вы тоже мне не чужие. Я знаю, вы никогда не позаритесь на мое добро, куска изо рта не вырвете.

Старик утвердительно кивал головой.

— Клянусь вот этим чуреком, от меня вы можете ждать того же. А как же? Дерево держится корнями, а человек — друзьями... Как вам известно, весь участок (Адамур описал дугу правой рукой) принадлежит... вернее, принадлежал мне... Давно, правда, это было. Многого лишился я. Но суть не в том, дорогие мои. Люди-то прежние остались. Помнят, стало быть, что кому принадлежало. По справедливости, доходы от скалы не должны миновать и меня. Так мне думается. Правда, невелик мой ум, однако люди и поопытнее говорят то же самое... Одним словом, на вас надеюсь. Поделится, друг друга не обидим.

Наступило гнетущее молчание. Старик усердно ворочал головешки в очаге, пытаясь сильнее раздуть пламя. Кесоу бешено вертел в руках стопку. От возмущенья он не мог произнести ни слова.

— Да ты с ума сошел, — разразился он наконец. — Подобные предложения в наше время! Не понимаю! Отказываюсь понимать! Ежели выйдет что-нибудь путное из моей затеи — будет хорошо для всего колхоза. При чем тут наша семья, при чем родственные узы? Не выпался ты, что ли? Так может рассуждать тот, кто спал лет тридцать, не меньше! Не то время, Адамур, и люди не те! И даже Сакен не тот!

Кесоу выбежал из кухни, хлопнув дверью.

— Вы поссорились? — спросила брата Нина.

— Адамур требует своей доли за скалу.

— Он с ума сошел! Какой доли?

— Спроси его сама. Прослышал насчет удобрений и решил подоить нас, как глупых коров. Вспомнил старые порядки, идиот!

Кесоу оделся и, бросив на ходу сестре «иду в сельсовет», быстро пересек широкий двор. Он всю дорогу не мог успокоиться, размышляя над глупым предложением Адамура.

В сельском совете никого не оказалось. Кесоу приоткрыл дверь в читальню, расположенную рядом. Там сидели Константин и директор школы Мушаг.

— Иди сюда, — позвал Кесоу Константин, — ты мне нужен. Садись. Я сейчас. — И он продолжал свой разговор с директором: — Я считаю, Мушаг, что толковый доклад и самодеятельный вечер школьников сослужили бы неплохую службу.

— Согласен, — подтвердил Мушаг, делая пометки в блокноте.

— О чем это вы? — Кесоу придвинулся ближе.

Константин был явно озабочен, тёр себе то лоб, то виски.

— Народ тревожится, понимаешь ты. Дожди, говорят, никогда не кончатся, сеять не будем, урожай не соберем. Иные старики тут про «божье наказание» толкуют. Надо поговорить с людьми. Доклад на такую тему, ну, скажем, «Дождь, как явление природы».

Мушаг обещал устроить отличный вечер в ближайшее же воскресенье. Доклад сделает он сам, а в заключение выступит школьный хор.

— Чтобы не забыть, Мушаг, где ваше радио?

— Не работает. Аккумуляторы давно израсходовались.

В разговор вмешался Кесоу.

— А нельзя ли гудалову станцию использовать для зарядки?

— В самом деле! — Мушаг хлопает себя по лбу. — Я ее и забыл совсем. Конечно, можно. Ток ведь постоянный. Что и требуется!

— Вот тебе задание, Мушаг: починить радио и каждое утро вывешивать на дверях школы сводку погоды. Понял? Пусть люди знают, что и как. Радио должно работать в сельсовете.

Мушаг обещал исправить радиоприемник.

— Ну, а у тебя как делишки, Кесоу?

— Завидовать нечему, Константин. Пока, к сожалению, только по дождю план перевыполнен. Но вспахали мы порядком... Хочу в район податься. Что скажешь?

— Молодец. Только хотел предложить, опередил меня. Видишь ли, сидим тут и многого, честно признаться, не знаем. Возьми ты землю со скалы с собой, посоветуйся — партийное поручение тебе. Идет? Ну вот и хорошо. Вернешься, доложишь результаты собранию. Коли нужно будет, поможем. В обиду не дадим.

Басистый голос Константина звучал несколько покровительственно. Но он говорил твердо, уверенно, и Кесоу готов был простить ему любой тон.

Кесоу подтянул голенища сапог.

— Значит, я собираюсь в район... — сказал он.

— Вот и хорошо. Кстати, принесешь с собой газеты с материалами пленума.

Они вышли на крыльцо. Попрежнему лил дождь, мелкий, надоедливый дождь (такой способен лить вечность). Из поймы реки доносился глухой шум: Сакен беспокойно ворочалась на своем каменном ложе. Но вдруг где-то близко блеснула молния и ударил гром. Низкий, басистый звук торжественно прошелся по ущельям, по склонам гор, по вершинам, затуманенным мелкой сеткой дождя, и исчез где-то за перевалами, сгинул в многочисленных глубоких оврагах.

— Слышите, гром? — сказал Константин, — такая погода, значит, не надолго.

И первый стал спускаться по ступенькам.

Воскресный день выдался погожий. А ведь накануне небо выглядело безнадежно мрачным, застывшим, полным отчаянной злобы. Но по видимому порция воды, отмеренная природой, иссякла, и солнцу ничего не оставалось больше, как снова засверкать посреди зеленоватых небес.

Ранним утром на стене сельского совета и на дверях школы были вывешены листки со сводкой погоды. Они извещали сакенцев, что подлунный мир купался в солнечных лучах. Солнце начинало греть даже в Архангельске и Красноярске. И лишь в одном Ташкенте почему-то лил дождь. Люди читали сводку и радовались. Короче говоря, солнечная погода на большей части территории Советского Союза умиляла сакенцев.

Радуюсь хорошей погоде, Кесоу тем временем собирался в дальний путь. Он тепло оделся, закинул за плечи гажелый вещевой мешок, взял в руку альпийский посох, торжественно простился с родными и... вместо того, чтобы подниматься вверх в горы, спустился вниз, к роднику, где ждала его Кама.

Мы не будем описывать свиданье молодых людей перед разлукой и нежные слова, которые они говорили друг другу. Достаточно сказать, что прощанье грозило затянуться надолго.

— Дай бог удачи. До свиданья, — проговорила, наконец, Кама.

— Прощай, — сорвалось у молодого человека, и девушка чуть не расплакалась.

— Почему прощай?

— До свиданья, — поправился он.

— Нет, почему ты сказал «прощай»?

— Милая, просто не подумал, нечаянно... Разумеется, незачем нам прощаться.

Девушка горестно опустила руки. И еще раз, еле слышно, спросила:

— Нет, почему ты сказал «прощай»?

— Ну ладно. Извини... Я буду думать о тебе, мечтать всю дорогу...

— А в городе?

— И в городе...

Они простились. Он уходил широким, твердым шагом, чуть прихрамывая. Она стояла, едва сдерживая рыдания.

## 21

В пристройке, что примыкает к ларьку (любимый уголок сакенских кутил) Адамур принимал своих гостей: Рашита, Антона и еще одного верзилу по фамилии Еник. Последний появлялся в Сакене лишь перед чрезвычайными происшествиями, что было легко установить наблюдательному человеку. Жил он на хуторе Мрамба, жил скромно, как говорится, тише воды, ниже травы. И лишь временами он чувствовал зуд, который толкал его на «геройские», по его понятиям, поступки. Тогда он весь преображался и покидал хутор. Во всяком случае, судя по тому, как он держал вместительную чашу с вином, можно заключить, что он, как говорят, рубаха-парень.

Рашит задумчив. Он пьет молча, мелкими, но частыми глотками, точно не в силах утолить жажду.

Антон ерзает на ящике, дожидаясь своей очереди опустошить чашу. Напротив восседает Адамур. Он запер ларек изнутри, и ничто не мешает ему насладиться дружеской беседой часок-другой.

Только что провозглашенный тост прославлял дружбу между «настоящими мужчинами». Адамур снова наполнил чашу и прищелкнул языком, давая понять, что на очереди новый тост.

— Дорогие друзья, — сказал он, — есть среди нас хороший человек, я бы сказал, золотой. Он не пощадит и жизни своей для товарища... э-э-э... любит он друзей, ну и друзья его уважают... Задумал парень мужское дело. Добро! — говорим мы, его друзья. — И он расцеловался с Рашитом.

— Сразу видать настоящего мужчину, — деловито заметил Антон. — Сакен запомнит тебя, Рашит!

— А в особенности, некий сакенец, — не без удовольствия заметил Адамур.

Антон вдруг вспылил. Он стукнул кулаком по импровизированному столу, чуть не опрокинув закуску.

— Я незлобивый человек, — прошамкал он, — но у меня есть одно правило: ненавижу выскочек. Пусть Кесоу шагает в город, вернувшись он получит хорошенькую весточку!

Пьяная компания дружно рассмеялась. Антон продолжал:

— Кесоу получит по заслугам. Кама не для таких нахалов, как он!

— Говорят, — понизил голос Адамур, жестами приглашая остальных наклонить головы для секретного сообщения, — Кесоу несет с собой мешок... в город.

— Какой мешок? — Еник насторожился.

— Мешок... набитый добром.

— А что там, в мешке? — спросил Еник.

— Земля-а-а! — И Адамур затрясся от смеха.

— Какая земля?

Рашит и Антон растолковали верзиле, о какой земле идет речь — о куске дурацкой скалы!

— И он повез ее за сто верст?

— Да.

— Он в своем уме?

— Даже других учить пытается.

— Продавать будет землю в городе, что ли?

— Он хочет запродать всю скалу, на корню, как говорится.

— Губа не дура, — заметил верзила.

Вслед за этим началось деловое обсуждение задуманного предприятия.

Еник изложил свой план. Девушка по дороге домой обычно проходит мимо Куницаина Закута. А там ее будет поджидать человек с конями. Завернуть девушку в бурку — дело одной секунды. Потом на коня! И в тот же вечер — нравится ей это или нет — она станет женой Рашита.

— Не будет ли она сопротивляться? — на всякий случай спросил Адамур. И к его удивлению, он услышал довольно неуверенное бормотание «жениха». Это несколько смутило хозяина ларька.

— Как?! — воскликнул он. — Она откажется от такого золотого человека?

Антон перебил его.

— Ты с ума сошел, — сказал он. — Даже если она не желает, что за важность... Пораскиньте мозгами: раз ее утащат, кто на нее посмотрит? Люди не станут разбираться, что и как. Украли — и дело с концом... Нет, уважаемые, податься ей будет некуда. Хлоп! — и мышеловка закрылась. Так бывало всегда, испокон веку!

— И то правда, — согласился Адамур. — Податься ей будет некуда... Ну, я полагаю, дело не зайдет так далеко. Что скажешь, Рашит?

Рашит промолчал, и заговорщики снова принялись обсуждать свою затею и ее возможные последствия.

Когда друзья покинули свое логово и вдохнули порцию сакенского вечернего воздуха, они повеселели. И так как им было совершенно безразлично, куда итти, сами ноги понесли их к школе, в окна которой горели огни (благо была она недалеко — наискосок через дорогу).

— Да тут сегодня народ просвещают, пойти, что ли, на доклад, — насмешливо предложил Антон.

— Хоть в ад! — отозвался Адамур и с силой толкнул калитку, ведущую в школьный двор. Калитка хрустнула под его рукой, как куриное крылышко, докрасна изжаренное на вертеле.

Во дворе никого не было. Народ сидел в зале, в глубине которого были устроены подмости. Он освещался несколькими керосиновыми лампами. Одна стояла на трибуне, с которой делал доклад Мушаг. Он рассказывал собравшимся о тайнах мироздания, о силах природы, действующих во всей вселенной, как единый закон, об атмосферных явлениях и прочем.

Верзила вполголоса промолвил:

— Ловко говорит... ежели не врет.

В первом ряду сидели старики. Все они, словно сговорившись, опирались подбородками на ручки посошков.

Из-за кулис выглядывали ученики-артисты, нетерпеливо жаждавшие показать публике свое сценическое искусство. Собравшихся предупредили, что вслед за официальной частью последует художественная — будет разыграна пьеса местного автора.

Закончив свою речь под аплодисменты всего зала, Мушаг обратился с вопросом: все ли ясно? Не будет ли каких замечаний?

Все молчали.

— Прошу вопросы,— повторил просьбу Мушаг.

Какой-то ученик из средних рядов поднял руку.

— Можно? — спросил он робко. — Сколько километров от земли до луны?

— Сто пятьдесят тысяч, — последовал ответ.

Ученик, довольный, сел на место, и тотчас же вокруг него началось шушуканье. Товарищи о чем-то горячо спорили между собою.

Первые ряды восприняли категорический ответ директора с нескрываемым скептицизмом.

— Сын мой,— прохрипел чей-то старческий голос,— если я передам твои слова моей хозяйке (смех всего зала), она непременно спросит: кто измерил?

Разъяснение докладчика заняло минут пятнадцать, но, кажется, не слишком убедило малозверов.

— В прошлом году, — возразил тот же голос, — трижды измеряли мой приусадебный участок, и каждый раз различные числа называли.

Неожиданно потребовал слова Еник.

— Отчего бывает роса, когда небо чистое? — спросил он.

Рашит дернул его за полу, пытаясь усадить на место. Еник, стоя, выслушал докладчика и солидно откашлялся, удовлетворенный ответом.

После того, как все метеорологические недоразумения так или иначе были разрешены, занавес опустился, и зал точно встряхнули — зашумело, загрохотало, заговорило, закашляло, расчихалось.

Мушаг сошел со сцены, разыскал Константина.

— Как получился доклад? — спросил его Мушаг, вытирая платком вспотевший лоб.

— Отлично,— ответил Константин. — Полезное дело.

Мушаг, очень довольный похвалой, побежал за сцену распорядиться, чтобы вновь поднимали занавес, — и представление началось.

Долго описывать, какие трудности пришлось преодолеть Кесоу Мирба в пути. Это могло бы послужить материалом для целой повести. Какому-нибудь любителю природы, одновременно интересующемуся физическими явлениями, относящимися к области падения тел, путешествие Кесоу показалось бы замечательным. Возможно, он захотел бы даже проделать подобное путешествие для собственного удовольствия. Но тут необходима одна оговорка. Тот, кто пожелает идти в Сакен в июле или августе, лишается и половины тех развлечений, которые обычно ждут его в иные времена года. Заметьте, Кесоу шел в город в начале апреля, а месяц этот в горах еще не считается летним. Для полноты впечатлений в Сакен необходимо двинуться весной или осенью. Тогда все девять перевалов и восемь горных рек, преграждающих путь к нему с юга, со всей полнотой покажут любопытному путешественнику, на что они способны. Короче говоря, если вы уверены в благополуч-

ном исходе путешествия, вам рекомендуется пригласить с собою на эту прогулку друзей, которых вы желали бы потешить, может быть не очень изысканным способом, но зато наверняка. Можно поручиться, что веселая компания наживет столько синяков и вывихов, притом таким смешным способом, что спутники, случайно избегнувшие увечий, надорвут себе животики от смеха.

Можно сказать, не повезло Сакену при сотворении мира. Если верить геологам, утверждающим, что в этих местах некогда бурлило море, то можно предположить, что именно над Сакеном образовалась могучая водоверть, вконец исковеркавшая тот кусочек дна, который был предназначен сакенцам для их местожительства.

В изложении сакенских путешественников путь в Сакен (или из Сакена) описывается примерно так:

— Друзья мои! (за сим следует долгая пауза — надо же человеку закурить): Дорога, как в сказке, поверьте мне. Сначала ты ступаешь по узенькой половице-тропочке, слева — пропасть, справа — скала. Затем переходишь на острие бритвы, а бритва длиною с версту — это Волчья Пасть. Потом делаешься канатоходцем — это Медвежий Клык. Пересчитав зубы доброму десятку зверей — попадаешь в Чёртову Яму — котел глубиною с полверсты, которому недостает огня и грешников, чтобы называться сущим адом. Миновав Заячью Нору и Беличью Губу, ежели на то будет божья воля, вваливаешься в Турий Луг. Не попадаешь, а вваливаешься, ибо еще никто не сходил по доброй воле со скала, обильно смазанного глиной, как маслом. Чёртов Мост заставляет тебя на время преобразиться в обезьяну, а потом...

Рассказы этих смельчаков огорошивают, леденят душу, вы слушаете их и чувствуете, как трясутся у вас поджилки.

Итак, призовите на помощь воображение и попытайтесь нарисовать себе картину путешествия из Сакена в город в соответствии с вашим представлением о необыкновенном, и тогда к концу вашего воображаемого путешествия вы обнаружите Кесоу Мирба у одной непросыхающей лужи, которую уже много лет проклинают жители предместья. Но Кесоу обрадовался, увидев ее на обычном месте. Где бы иначе обмыл он свои сапоги? Где бы выстирал свой резиновый плащ, вымазанный рыжеватой грязью? А мешок? Он тоже побывал в изрядной переделке и нуждался в прихорашивании не меньше своего хозяина.

Теплое весеннее солнце, изумительно яркий день, запах новой, нарождающейся зелени, девушки в светлых платьицах, парни с воротами нараспашку, самые радужные надежды — разве мало всего этого, чтобы вселить в молодого человека рой мечтаний и неизвестно откуда берущуюся страсть к вокальному искусству?

Кесоу идет, сапоги стучат об асфальт, губы шепчут рифмованные строчки, и в голове складывается песня.

По зеленым горам я хожу —  
Я ищу следы твоих ног.  
По глубоким ущельям брожу —  
Может, тут ты прошла невзначай...

Через горы иду напрямик.  
Я к тесным ущельям привык,  
Но следов не нашел,  
Тебя не нашел,  
А, чую, ты здесь, где-то близко..

Навстречу идут люди. Все они как будто смеются. Может быть, они догадываются, какую новость несет молодой горец? И Кесоу мысленно произносит страстную защитительную речь в пользу нужного, подсказанного жизнью дела. Он убыстряет шаг, и сапоги его стучат еще громче, словно в город явилось все село Сакен.

Кесоу идет старыми, знакомыми улицами и не узнает их. Пять лет назад оставил он этот город и вместе с другими мобилизованными ушел отсюда на фронт.

Пять лет войны словно перевернули весь мир. Не верилось, что израненная земля вновь когда-нибудь оживет. Расцветет ли вновь высохший одуванчик? Воскреснет ли груша в тихом украинском садочке, надвое расколотая снарядом? А трубы, одиноко торчащие в степях? Когда они вновь задымят? Задымят ли?..

Но каково было удивление воинов — друзей Кесоу, когда они возвращались домой проторенными дорогами войны: оказывается, и одуванчики способны жить, и груши — расцвести и трубы — задымить. Родились новые деревни, с новыми домами..

За пять лет войны, казалось, и город — пусть в тылу, — а должен был постареть, закоптиться, обветшать. До него ли было! Но Кесоу шагает по асфальтированным улицам, в тени пальм и лавровых деревьев, а их прежде не было. Цветы на клумбах. То здесь, то там новые дома. На боковых улицах, словно буйволы, греются на солнце катки, укатывающие улицы. Город встретил горца помолодевшим, залитым весенним светом и теплом.

На ближайшем углу стоял чистильщик, и Кесоу решил почистить сапоги. Тут же недалеко парикмахерская — недолго и побриться!

Парикмахер старательно мылил обветренное лицо горца и искоса поглядывал на странный мешок, оставленный при входе.

— Должно быть сыр? — любопытно спросил цырюльник.

— Нет, земля, — ответил Кесоу, глотнув при этом не малую толику мыльной пены.

— Земля? — Бритва ловко заходила по ремню, а парикмахер подмигнул, глядя в зеркало, — дескать, понимаем шутки.

— Да, да, земля, — подтвердил энергично Кесоу. — Не верите?

Парикмахер изобразил полное удовлетворение на лице, украшенном изумительными усами (вот-вот вспорхнут, как птичка, и улетят).

— Наверное, ценная земля, — предположил он.

— Очень. Она дает хороший урожай.

Парикмахер не удержался от соблазна, развязал мешок, заглянул в него и скорчил кислую мину: там и впрямь оказалась земля!

При входе в отдел сельского хозяйства Кесоу чуть не сшибли с ног: на него налетел какой-то работник в роговых очках, с папками подмышкой и, не извинившись, помчался дальше.

По длинному коридору взад и вперед сновали люди. Двери стремительно открывались и закрывались; слышался стук машинок и шум арифмометров, ручки которых, должно быть, вертели весьма энергично. Кесоу разыскал канцелярию.

— Где тут главный агроном?

Кесоу старается говорить как можно вежливей. Глаза у него добрые, почти заискивающие. Он не смеет поставить мешок на пол. Есть отчего и оробеть! Перед ним чем-то очень озабоченная секретарша. Руки ее тянутся то к телефонной трубке, то к пресс-папье, рыщут в ящике стола в поисках вдруг затерявшейся круглой печати. Чувствует-



ся, что ее сейчас ничем не проймешь: ни просьбами, ни мольбами, ни угрозами. Иногда она вскакивает и бежит в другую комнату, на ходу кому-то что-то говорит, недовольно поводя плечами. Разговор ее отрывист, как телефонные звонки, и она не обращает ни малейшего внимания на Кесоу. Наконец, сделав вид, что только что заметила молодого горца, маячившего перед ее глазами уже добрых полчаса, она небрежно бросает ему:

— Садитесь.

— Спасибо, но я очень тороплюсь. Я хочу видеть главного агронома.

Секретарша говорит тоном, не допускающим возражения:

— Он занят и не принимает сегодня.

Их взгляды скрещиваются, словно шпаги, две шпаги — стальная и оловянная. И та, что из олова (она, разумеется, принадлежала Кесоу), не выдержала натиска, погнулась, сдалась без сопротивления.

— Прошу прощения, — повторил он все тем же робким голосом. — Мне все-таки необходимо его видеть.

Секретарша резко свела развилки бровей. Позвонил телефон, и внимание ее целиком поглощено разговором.

— Пойми, — кричит она кому-то, — сводка идет сегодня, я не хочу из-за тебя получить выговор. Понятно? — и с размаху кидает трубку.

Кесоу отбросил любезность, как негодное оружие, и грубо проворчал:

— Я спрашиваю, где тут главный агроном?

Секретарша тяжело отдышалась, точно только-только вынырнула из-под воды.

— Ох, и не во-время вы, не во-время, — протянула она. — Поймите, товарищ, сегодня день сводок.

— И что же?

— Как что же? — поразилась секретарша. — Сегодня все мы заняты по горло.

Она снова схватилась за телефонную трубку. Кесоу хотел было осадить ее по-фронтальному, но махнул рукой и пошел искать агронома по длинному коридору. Вторая дверь направо вела в его кабинет. Кесоу перешагнул порог.

Агроном сидел за большим дубовым столом. Перед ним огромный лист бумаги, склеенный из нескольких кусков. Концы листа свисали со стола, наподобие скатерти. Агроном вертел ручку арифмометра и заносил цифры в соответствующие графы.

— Сегодня день сводок, — говорит он тихо, но решительно. — Я никого не принимаю.

Кесоу показалось, что агроном говорит это кому-то другому, во всяком случае, не ему.

— Во-первых, доброе утро, — весело сказал Кесоу.

Агроном испустил тяжелый вздох и пробормотал что-то невнятное. Кесоу без разрешения присел на стул и сбросил на пол тяжелый мешок.

— Я из Сакена... — начал Кесоу, чтобы огоршить агронома неожиданным появлением столь редкого гостя.

— Мне некогда сегодня с вами разговаривать.

— А я только за тем и пришел. Дело очень интересное, волнующее...

— Я и без того волнуюсь, — сказал агроном, стирая резинкой какую-то неудачную цифру.

Кесоу мельком взглянул на лист, над которым наверное уже много дней корпел агроном, отравляя кровь себе и другим. От цифр у Кесоу закружилась голова. Он выкинул недокуренную папиросу в окно.

Зазвонил телефон.

Агроном был явно не в духе, а телефонный звонок вовсе вывел его из равновесия.

— Да, да, приходите завтра, а еще лучше — в понедельник, — кричал он кому-то. — Не могу я сегодня ни с кем разговаривать, понимаете, не могу!

Кесоу взвалил мешок на плечи и вышел, хлопнув дверью с такой силой, что чуть не вылетели стекла.

Он медленно брел по тротуару с чувством горькой досады в душе. Мешок словно стал вдвое тяжелее. И солнце уже не грело, а припекало. Словом, испортили человеку настроение вконец.

## 24

Здание райкома партии стоит у самого моря. На фоне голубого неба и моря дом, начисто выбеленный известкой, кажется парусом корабля.

Кесоу поднялся на второй этаж и осторожно приоткрыл дверь, обитую черной клеенкой. Надпись: «Приемная первого секретаря».

В приемной несколько человек вполголоса разговаривали между собой. Справа, у самой двери, сидела сероглазая девушка с бледным лицом. Она просматривала почту, сортируя бумаги по папкам.

Кесоу осторожно положил мешок в угол и, стараясь не греметь сапогами, подошел к девушке.

— Могу я видеть секретаря?

— Садитесь, товарищ. Вам Александра Ивановича?

— Да, первого секретаря.

— Садитесь.

Кесоу придвинул стул к столу. Девушка посмотрела на него испытующе. Парень невольно улыбнулся. Ее молоденькому личику так не шло это деловитое и строгое выражение лица.

— Я вас слушаю, — сказала девушка.

Голос ее поразительно напоминал голос другой, той, что осталась в Сакене, и Кесоу вдруг стало так спокойно и хорошо, словно он пришел в гости к добрым знакомым. Он улыбнулся приветливо. Девушка смущенно спросила его:

— Чему вы смеетесь?

— Прошу прощения, — проговорил Кесоу, — вспомнил кое-что...

Секретарша сделала на письме пометку красным карандашом.

— Хорошее или плохое?

— Как можно — плохое? — горячо возразил Кесоу. — Разве при виде вас...

— Тише, — мягко остановила его девушка, стараясь, однако, сохранить официальный тон. — Я вас слушаю. Вы из какой организации?

— Нет, я приезжий.

— Откуда?

— Из Сакена.

— Ах, из Сакена? Что вы говорите?! — Девушка отложила в сторону все бумаги. — Такой редкий гость!

— Да вот, пришлось...

— Для вас кипы бумаг лежат. Я сбегая в общий отдел, сообщу им приятную весть.

Секретарша выскочила из-за стола и скрылась за дверью. Где-то под потолком загудел сигнал. Сигнал повторился снова — настойчивый и продолжительный. Кесоу направился к двери, чтобы разыскать секретаршу, но столкнулся с нею на пороге.

— Вас вызывают, — сказал он.

Девушка засуетилась, разыскала на столе блокнот.

— Я доложу о вас. Как ваша фамилия? — проговорила она скороговоркой.

— Кесоу Мирба.

— Из Сакена, — добавила девушка и скрылась за дверью кабинета. Через минуту она снова появилась в приемной.

— Товариш Мирба!

— Я, — по-военному отозвался Кесоу.

— Александр Иванович (она кивнула головой на дверь) сейчас примет вас.

— Спасибо, — ответил Кесоу, готовый расцеловать девушку, как родную сестру. Ему стало опять легко и весело. Он отошел к окну, заложив руки за спину.

Через открытую форточку доносился аромат эвкалипта и лавра. На широкой асфальтированной площади, что перед зданием, разворачивались автомашины, шурша покрышками. А дальше, на набережной, гуляли женщины с детьми, рыбаки чинили сети, и какой-то мальчишка кружил на велосипеде.

Кесоу запел песенку, очень тихо — самому едва слышно.

— Скучаете? — спросила девушка.

— Нет, — честно признался он.

Это была сущая правда. Он простоял бы в этой комнате еще много часов и не соскучился бы. Ему очень приятно следить за работой такой замечательной девушки, галантно заявил он. Однако секретарша оказалась более проникательной, чем он думал: ведь Кесоу интересуется главным образом тем, что ждет его за этой дверью, ведущей в кабинет, не правда ли? И девушка шутя погрозила ему пальцем:

— В Сакене все такие коварные?

— Нет, не все.

Они оба засмеялись: он громко, как говорится, от души, она осторожно, стараясь приглушить смех, кивая на кабинет, дескать неудобно, услышат.

— Должно быть, у вас важное дело, — сказала девушка, меняя тему разговора.

— Да как сказать... Какие могут быть важные дела у простого хлебороба...

— Скромничаете.

Кесоу был польщен.

В этот момент дверь из кабинета отворилась, и оттуда выскочили двое. Ни на кого не глядя и ни с кем не прощаясь, они быстро прошли через приемную.

— Влетело, должно быть, — тихонько проговорила секретарша. — Пожалуйте, товарищ...

— Мирба, — напомнил Кесоу.

Просторная чистая комната. Вдоль стен стулья. В левом углу письменный стол. К нему приставлен другой, длинный, покрытый зеленым сукном. На столе кипа газет, книги; по правую руку несколько телефонов.

Навстречу горцу поднимается человек. Он среднего роста, одет в черный костюм. Белая сорочка и синий-пресиний галстук. Широкое скуластое лицо, высокий лоб и волнистые волосы.

Все это охватил быстрым взглядом Кесоу, переступив порог комнаты.

— Милости просим, — приветствовал его хозяин кабинета. — Гость необычайный. Отлично, отлично!

Они пожали друг другу руки.

— Ваша фамилия — Мирба?

— Так точно! — отчеканил Кесоу.

— Почему по-военному? Мы — люди штатские, — пошутил секретарь. — Вы фронтовик?

— Да.

— Расскажите, где бывали? Когда? Что делали?

Кесоу смутился. Он вовсе не предполагал, что ему придется делиться воспоминаниями о прошлом. Он успел вытащить из кармана гимнастерки листок, на котором были записаны планы колхоза, процент их выполнения, виды на будущее. Он незаметно сунул листок в карман. Ему почему-то стало стыдно своей бумажки — можно подумать, пришел с готовой речью, как заправский оратор.

— Первое крещение получил под Ростовом. Был ранен. Киев отбивали. Там тоже царапнули. Был в Польше.

— В Берлине не пришлось побывать?

— Не успел. Девятое мая подошло.

— Зато другие побывали. Член партии?

— С 1943 года.

Затрещал телефон. Александр Иванович ответил односложно и обратился к Кесоу с вопросом:

— Стало быть, давно не видели нашего города?

— Лет пять, ежели не считать одного дня прошлой осенью, когда возвращался с фронта.

— Очень хотелось бы знать, товарищ Мирба, какое впечатление производит на вас город?

— Очень красивый стал, лучше чем до войны...

Александр Иванович взял под руку гостя и подвел его к чертежу, висевшему на стене.

— Я вам сейчас расскажу, как обстоит дело, — сказал секретарь, указывая то на одно, то на другое место, обозначенное на плане. — Десять улиц привели в порядок. В нынешнем году благоустроим эти улицы, вот здесь построим новую баню, и если успеем — кинотеатр. Общая сумма всех затрат составит...

Александр Иванович задумался, наморщив лоб. Видимо, он вспомнил что-то важное или же в чем-то усумнился. Называя цифру, он одновременно поднял телефонную трубку. Вызвав городской совет, он с кем-то говорил об ассигнованиях текущего года и постановлениях по этому поводу.

— Товарищ Мирба, — продолжал секретарь, — прибавьте к сумме, которую я назвал, еще сто тысяч — вот бюджет нашего капитального строительства и работ по благоустройству города.

Александр Иванович объяснял ему все это так подробно, будто собирался просить у Кесоу необходимые на строительство деньги. Горец никак не мог взять в толк, отчего это секретарь райкома перед ним отчитывается. С одной стороны, было лестно, что его, Кесоу, посвящают в такие важные дела, но с другой — что крылось за этой неожиданной беседой? В Сакене такие предисловия делают неспроста, и Кесоу насторожился...

А Александр Иванович говорил, указывая на план:

— Здесь болота. Надо бы их осушить... Школу вот новую на днях откроем. С этим нас поздравить можно... А как там у вас со школой? Помещение хорошее? — спросил он вдруг.

И начал подробно расспрашивать обо всем: о колхозе, о школе, о работе партийной организации, о сельском совете, о людях Сакена.

Кесоу отвечал, чувствуя, что не всегда его ответы удовлетворяют секретаря. И тогда секретарь недовольно морщит лоб, словно на него села надоедливая муха.

— Люди — обыкновенные, — заявил Кесоу, — есть хорошие, есть и плохие.

Александр Иванович ткнул его пальцем в грудь и с улыбкой спросил:

— А как вы полагаете, сами-то вы какой: плохой или хороший?

— Я?.. — Кесоу покраснел. — Я?.. Как сказать...

Александр Иванович улыбнулся, усаживаясь за стол.

— Видите, вы себя еще плохо знаете... Расскажите-ка подробнее о ваших людях.

Кесоу назвал несколько имен, стараясь осторожно высказывать свое суждение об односельчанах.

— А я полагаю... — Александр Иванович постучал кончиком карандаша по столу. — Я полагаю, их больше у вас, хороших-то людей. Куда больше!.. Ну, об этом после. А теперь скажите, какое дело привело вас ко мне?

Секретарь посмотрел на него так, словно заранее знал ответ. В его черных глазах появилась хитринка, какая бывает у многих и в Сакене.

— Я по важному делу, — начал Кесоу. — Пришла одна мысль. (Он чуть не сказал — шальная). Как бы это урожайность увеличить в нашем селе?

— Мысль, прямо скажу, товарищ Мирба, замечательная. Отличная. Вы читали Указ?

— Указ? Какой Указ?

Александр Иванович подал ему листовку, отпечатанную в типографии.

— Ознакомьтесь. За урожаи, добрые урожаи, наше правительство ордена выдавать будет, звание Героя присваивать. Вот как!

Кесоу пробежал глазами Указ. Он прочел строки, где говорилось о кукурузе, и просиял.

— Здорово! — воскликнул он, хлопнув кулаком по столу. И тут же, спохватившись, извинился.

Александр Иванович внимательно рассматривал горца. Ему нравился живой, открытый взгляд молодого человека, его сильные руки, которые он то и дело сжимал в кулаки, словно собирая в них всю свою волю.

— Я, Александр Иванович, не знал об Указе... В Сакене сотню пудов с гектара за чудо почитают. Куда это годится!

— Скверно, товарищ Мирба, слов нет, скверно!

— Вот и порешили мы, товарищ секретарь, по-иному работать...

— Как именно? — Александр Иванович, усевшись поудобней, приготовился слушать Кесоу.

— Пахать, во-первых, как полагается, а не ковырять землю. Вспахать раз и другой, бороновать с толком, сорняки пуще волков травить...

— Так, так, — Александр Иванович что-то чертит карандашом на бумаге и утвердительно кивает головой. — Правильно. Хорошо обработал — втрое увеличил урожай.

Кесоу приободрился, набрался духу, выложил кулаки на стол.

— Значит — обработка, настоящая обработка. Но это не все. Главное впереди. Есть у нас скала. Скала, доложу, товарищ секретарь, не плохая. Одним словом — удобрение, фосфориты.

— Как — фосфориты? — Александр Иванович с удивлением вскидывает глаза на горца.

— Так точно. Ежели удобрять этими фосфоритами, польза получится не малая. Урожай еще вдвое множьте. — И точно извиняясь за свою

самоуверенность, продолжал. — Я немножко разбираюсь в агротехнике, на курсах учился. Я — сейчас...

Кесоу выбежал из кабинета и возвратился с заветным мешком. Он развязал его и, подняв на стул, набрал полную горсть сероватой земли.

— Вот она, — торжественно проговорил Кесоу. — Я размолил кувалдой и приташил, чтобы здесь посмотрели.

Кесоу рассказывал о своих намерениях, чутко следя за тем, как отнесется к его словам секретарь. Александр Иванович слушал его, не перебивая. Он взял щепотку порошка, почему-то понюхал ее и молча отошел к телефону. Постоял около и обратился к Кесоу, не снимая трубки.

— Скала-то большая?

— Огромная. Набирай арбами!

— Знаете ли вы, что фосфориты мы, что называется, днем с огнем ищем. Суперфосфат за тысячи километров завозим. А если под боком имеется дешевый — чего большего хотеть? — Он снова подошел к мешку. — Фосфорит — это видно. А качество? — и Александр Иванович вопросительно глянул на Кесоу.

— Не знаю, Александр Иванович, за качество не ручаюсь...

— Это плохо (у Кесоу упало сердце)... Но если настоящий фосфорит — ваше счастье... Правда, размалывать его — не семечки лущить. Нужны будут мельницы шаровые, двигатели... Ну, не беда — не в том загвоздка.

Александр Иванович резко поднял трубку.

— Алло! — сказал он. — Соедините меня с председателем райисполкома, с отделом сельского хозяйства, и еще... Пока все... Так... Привет! Слушай, не заедешь ли к нам сейчас? Интересный вопрос. Ладно. Есть... Алло! Откуда? Привет. Слушай, сакенцы хотят тебя видеть. Честное слово... Приедешь? Ждем через пять минут. Есть.

Он нажал кнопку и сказал вошедшей девушке.

— Пригласите секретарей.

Александр Иванович прошелся в раздумье по кабинету.

— За тем вы и пришли сюда, товарищ Мирба? — он указал на мешок.

— Да.

— А что говорят ваши?

— Сомневаются, Александр Иванович.

— Но в общем поддерживают?

— А как же, все как один, — солгал Кесоу.

— Видно, не все горячо поддерживают, — заметил секретарь, пылливо поглядывая на Кесоу. — Возьмите с собой в Сакен вот этот Указ и еще кое-что... Пусть почитают...

Вскоре начали собираться секретари. Они шумно здоровались с Александром Ивановичем, друг с другом.

— Бюро, что ли? — спросил кто-то недоуменно.

Александр Иванович раскатисто рассмеялся.

— Почти, — сказал он. — Прошу всех к этому мешку. Но прежде познакомьтесь: товарищ Мирба из Сакена.

При слове «Сакен» все удивились.

— Ого! Рановато появились в городе в нынешнем году.

— Из Сакена? Как дошли?

Кесоу пожимал протянутые руки.

— Открылась дорога, что ли?

— Ехал на своих боках, — пошутил Кесоу.

— Удовольствия мало, — заметил кто-то.

— Еще бы!

... Через час Кесоу прощался с Александром Ивановичем.

— Товарищ Мирба, — сказал ему секретарь, — мы одобряем ваше начинание. Кажется, повезло Сакену. Завтра-послезавтра сообщат результаты анализа. Но, как видно, вы не уповаете целиком на ваше открытие? И правильно делаете. Скала своим чередом, и в свое время... Допустим, что результаты анализа будут благоприятные. Вы слышали?— вам надо мельницу подвезти, двигатель, горючее. Это не просто. А пока ваша задача — пахота. Свяжитесь тесней с партийной организацией, и дело пойдет на лад. (Александр Иванович сделал паузу). Мы, большевики, скромные люди. Хвалить друг друга не любим. Но вы — молодец! Понимаете?.. Иным кажется, что вы живете оторванно от всех. Неверно! Вместе с вами вся страна. Вы не одни. Большевицкий дух всюду проникает, через все горы, перевалы и реки. Взгляните сюда, — Александр Иванович подводит горца к карте. — Вот Советский Союз. Огромная, сильная, мировая держава. А вы — ее частица. Живите и работайте так, словно живете и работаете в Москве, рядом со Сталиным. Ясно?

Александр Иванович говорит тихо, раздельно. Он нетороплив в движениях и оттого кажется чуточку суховатым. Но если внешне секретарь не проявлял особой горячности, зато каждое его слово проникнуто такой сердечностью, такой искренней заинтересованностью, что Кесоу, слушая его, чувствовал, как у него за спиной вырастают крылья.

— Учтите, товарищ Мирба, урожай — это все. Боритесь за него всеми силами. Имейте в виду, в Москве учитывают и ваши зерна... Да, да! Вас никто не забывает. Понимаете? Вот нынешним летом открываем авиалинию в Сакен... Кстати, до войны, кажется, летали к вам...

— Да, прилетали раз...

— А впрочем, громко сказано: авиалиния! К вам будут летать «У-2», на первых порах разок в неделю. — И хитро улынувшись, Александр Иванович добавил: — Но со временем может быть и авиалиния. Как вы полагаете?

— Не иначе, как авиалиния, Александр Иванович.

— Итак, товарищ Мирба, завтра-послезавтра вы узнаете результаты анализа. Потом прошу ко мне... Кстати, хотелось бы отправить вас домой на самолете. Дней через пять-шесть это можно было бы устроить.

— Но я очень тороплюсь. Близится сев...

— Одним словом, заходите, а там видно будет. Будьте здоровы.

Кесоу чувствовал себя, как после хорошего пира, когда кружится голова, но человек не пьян, когда все вокруг ходуном ходит, а ноги держат тебя устойчиво, когда мир отсвечивает всеми цветами радуги, — но это не сон, а самая настоящая явь!

Жизнь в Сакене текла своим чередом.

Бригада Кесоу под неусыпным наблюдением Екупа закончила пахоту. Екуп с нетерпением ожидал возвращения сына. В общем, дела в колхозе «Светлый луч» шли много успешнее прошлогоднего.

Не обходилось и без неприятностей.

Паводком смыло плотину на станции Гудала, и свет погас надолго.

Серьезно прихворнул древний Шаангери. Врач опасался за его жизнь, каждый вечер навещал старика.

Никуала успешно охотился, целыми днями пропадал в лесу. Он убедил Константина организовать специальную бригаду охотников,

— Ведь доход-то пойдет колхозу, — уговаривал он его. — А дальше, может быть, и расширим это дело...

Близилось Первое Мая. Константин и Мушаг составляли план проведения праздника. На рассадном хозяйстве готовились отметить этот день подарком колхозу — полсотни тысяч корней рассады сверх плана. Кама и Нина — лучшие работницы; их обещали премировать к Маю.

Адамур процветал. В ненастные дни оборот ларька (имеется в виду его пристройка) составлял солидную сумму. А Рашит... О, Рашиту было не до праздника, у него были свои заботы.

Неписаный закон, мужской кодекс чести требовал решительных действий со стороны рыцаря старинных обычаев. Рашит чувствовал, что пора от слов переходить к делу, не то станешь посмешищем для друзей.

Итак, был назначен день и час.

Встреча заговорщиков произошла в Куницыном Закуте. По преданию, именно здесь водились когда-то сакенские лешие. Поджидая дружков, Антон сидел на пне и курил. В наступивших сумерках он казался одним из тех нечистых, что некогда обитали в этом углу.

— Пришли? — пропищал он. — Я уже боялся — раздумали.

Верзила и Антон углубились в чашу, а место Антона на пне, у самой тропы, занял влюбленный Рашит. Он был одет в новую шерстяную блузу, кавалерийские брюки с леями и теплый полушубок. Сапоги, как и полагается молодцу, — со скрипом, а на голове каракулевая папаха, которую он одолжил у Адамура. Он сидел на пне, а мысли его устремились вперед по извилистой тропочке, ведущей к колхозным парникам. А по тропе навстречу этим черным мыслям шла Кама. У поворота дороги она простилась с Ниной и одна направилась домой.

Чтобы не напугать девушку, Рашит зашагал к ней навстречу, напевая песенку.

Кама не очень удивилась, увидев Рашита. Она поздоровалась с ним и хотела продолжать свой путь. Но он преградил ей дорогу.

— А я тебя поджидал, чтобы проводить домой, — сказал он.

— Благодарю.

Он сжал ей руку повыше локтя и продолжал, стиснув зубы:

— Как полагаешь? Не довольно ли мучить... Да, да... Мне кажется, Кама, сюда уж подступила... любовь (он указал рукой на кадык). Не смейся. Всему есть предел.

Она отвечала ему шутивным тоном, но Рашит, видимо, не расположен был шутить.

Разговор принимал все более резкий характер. В словах Рашита сквозила явная угроза. Девушка была испугана, но старалась не показывать этого и пыталась продолжать разговаривать шутивным тоном.

Рашит потерял терпение.

— Ты выйдешь за меня, и дело с концом! — гневно вскричал он.

— Нет, этого не будет!

Он коротко свистнул и, не говоря ни слова, схватил ее в охапку. Тут же как из-под земли выросли Антон и Еник; девушку в мгновение ока завернули в бурку и взвалили на лошадь. Итак, Каму похитили!

Надобно заметить, что такой метод умыкания лишен подлинной романтики. Судите сами. Кама не теряла сознания, а рыцари не проявили той нежной осторожности, при которой девушка даже не чувствует, что ее кладут на коня. Кони со своей стороны не мчали, подобно ветру, драгоценную ношу. Нет, они плелись шагом, едва нащупывали тропинку. А трястись на шее животного, как мешок, — мучительно тяжело.



Не меньше неудобств испытывал и похититель. Руки у него отекли, ноги онемели, шея чуть набок не свернулась. Нет, Рашит не переживал и сотой доли того блаженства, которое, если верить рассказам, сопутствует удачному похищению.

Спустя часа два, Кама сидела на скамье в каком-то чужом доме. В комнате было тихо, а рядом, сквозь тонкую деревянную перегородку, слышались мужские голоса. Девушка с трудом могла повернуть шею. Все тело ныло, точно ее били палками. Но тем не менее, она готова была выцарапать глаза любому, кто бы к ней приблизился.

Скрипнула дверь, и на пороге появилась старуха с тарелкой в руке.

— Дочь моя,— сказала она ласково, обращаясь к девушке,— ты не волнуйся. Не беспокойся. Смирись... Такова наша женская доля. Всех нас рано или поздно крадут. Сначала они (она указала рукой на перегородку), потом — смерть неминуемая. — Старуха вздрогнула, и ее скрюченный нос задрожал. Она с трудом шевелила сухими губами. Глаза у нее сидели глубоко в орбитах — очень живые, для ее почтенного возраста глаза.

Кама поднялась со скамьи. Она едва держалась на ногах. Старуха все же благоразумно отошла в сторону.

— Ты что же это, бабушка, такими делами занимаешься? Дуракам потворствуешь? — гневно напустилась на нее Кама. — Ты меня спросила, хочу ли я замуж выходить за этого головореза?

Старуха замахала руками.

— Что ты, что ты, доченька. Говорят, с женою приедем. Да разве мы не люди — милости просим...

Кама уселась около камина, в котором тлели дрова.

— Прохладно, — сказала она, — не мешало бы раздуть огонь как следует.

— Дочь моя, — прошамкала старуха, — позволь мне...

— Справлюсь сама. А ты, бабушка, ежели не в большое беспокойство — накормила бы меня, мне есть хочется... А где эти сумасброды?

— На кухне, — смущенно ответила старуха.

— Постой! — Кама сняла со стены старинную кремневку. — Стреляет?

— Что ты, милая, полвека молчит.

— Неважно, пригодится вместо дубины. А ты не выдавай — скажи им: заряжена.

Старуха покорно кивнула головой и поплелась к двери.

— А этого... похитителя пришли ко мне, — крикнула ей вдогонку Кама. Она была взбешена. Не приведи бог столкнуться с разгневанной сакенской женщиной — встреча хуже чем с медведем.

Кама размяла ноги, примерила к себе кремневку. Ружье, отделанное серебром, очень ей понравилось. Она попыталась прицелиться в дверную ручку.

В это время дверь отворилась, и на пороге показался Рашит — бледный, взволнованный. Увидев в руках девушки ружье, он отступил на шаг.

— Что ты, что ты? — пробормотал он смущенно.

— Ничего, — беззаботно ответила Кама, — вот ружье рассматриваю. Хорошее ружье! Но, однако, куда девалась хозяйка — я голодна.

«Что за чертовщина, — подумал Рашит, — или она рехнулась, или смирилась»... И он побежал, чтобы поторопить с едой. Вскоре он возвратился и скромно уселся в углу.

— А где твой товарищ?

— Он здесь, на кухне.

— Чего же он не идет? Поглядеть бы на него!

— Оставь его, Кама... — Он хотел приблизиться к ней.

— Ни шагу в мою сторону. Ясно?

Рашит подчинился.

— Слушай, — начал он, помолчав, — я думаю, ты все понимаешь. И оценишь по достоинству. Мое отношение. Любовь. Безумство. Я потерял покой.

Кама взглянула на него с отвращением.

— Я хотела бы знать, — сказала Кама, топнув ногой, — в какое время мы живем? Сорок седьмой год? Да? Даже в таком углу, в медвежьей углу, как Сакен, все это напоминает глупое цирковое представление!

— Я ничем не осквернил дедовских обычаев.

— О, ты — нет! — воскликнула Кама. — Они тебя осквернили, обычаи-то.

Рашит прошелся по комнате, с намерением подойти поближе к девушке.

— Не приближайся. — Ружье мгновенно нацелилось на молодца.

— Оно не стреляет, — заметил он с усмешкой.

— Зато у него крепкий приклад! — И Кама замахнулась ружьем.

— Сумасшедшая! — сказал всерьез Рашит, усаживаясь на свое место. — Ну что же, будем играть в кошки-мышки до утра. Только не пойму — какой толк.

— А такой, что ты на рассвете приготовишь коня, и я уеду.

Рашит чуть не подскочил от злости. В дверях стояла старуха с тарелками в руках. Она слышала слова Камы.

— Как? — удивилась она. — Ты уедешь? Одна?

Кама встала из почтения к старшей.

— Одна, ежели не догадаются проводить.

— Ты вернешься в свой дом?

— А куда же?

— Ты прежде подумай, Кама. Ведь мы теперь уже вроде мужа и жены.

— Это почему? — возмутилась девушка.

— Я говорю — вроде, — поправился он. — Раз ты ночь побыла под одной крышей со мной — думаю, что этого для Сакена достаточно.

— А я не думаю, — возразила Кама. — Но какой же ты, оказывается... негодяй.

— Клянусь тебе... — начал было Рашит. Но она с негодованием отвернулась от него.

— Первым от тебя откажется Кесоу, — со злостью заявил он.

— Кесоу?

— Эх, доченька, — подала свой голос старуха, расставляя блюда на столике. — Ты не знаешь мужчин. Ну кому нужна чужая женщина?

Кама горделиво выпрямилась и вызывающе закинула голову. Старуха невольно залюбовалась ею — и без того узенькие прорезы ее глаз вовсе сузились в ровную, красноватую линию.

— Ну, если Кесоу хоть на столечко окажется похожим на тебя — я от него откажусь. Бог с ним! Обойдусь и без него.

Старуха подошла к девушке, обняла за талию, поцеловала ее. (Каме показалось, что к щеке приложили камень).

Рашит надвинул папаху на самые брови и вышел во двор, небрежно кинув:

— Ладно. Посмотрим, что ты запоешь утром.

Эти наглые слова возмутили старуху.

— Как тебе не совестно, Рашит! — пристыдила она его. — Мне не нравится, когда в моем доме гости ведут себя дерзко. Ну, иди на кухню, спи себе, а мы побудем здесь. Уж лучше бы ты не брался за мужское дело...

Рашит, дымя папиросой и развалившись на наре (он очень, очень устал!), все еще уповал на какие-то превращения в поведении женщины.

Когда же, наконец, рассвело и Рашит чуть-чуть приоткрыл дверь в комнату, где находились женщины, он увидел их—Каму и старуху—за мирной беседой.

Так закончилось бесславное похищение невесты.

## 26

В апрельский ясный день, когда мир нежился в лучах ласкового весеннего солнца, в Сакене произошло важное событие.

Вот так вот появилась точка на небе, росла она, росла и превратилась, наконец, в самолет. Он покружил над селом и снизился на Барсучьем Лугу. Быстро сбежался народ на Барсучий Луг, люди окружили самолет, словно гостя, который на порог ступить стесняется.

Вышел на крыло парень — весь в кожаном: и сапоги, и брюки, и шапка. Спустили его на землю, начали с ним обниматься — вовсе за-тискали. Снял парень с глаз стеклянные очки, осмотрелся.

— Так значит это и есть Сакен? — спрашивает он.

— Так точно, — отвечают ему, — настоящий, неподдельный Сакен.

— Надеюсь, я первый воздушный гость? — сказал, возмнив о себе, летчик.

— Нет, — ответили ему, — ошибаешься. Чутьочку опоздал. До войны побывали у нас такие же.

Братья Дауд и Дамей Аланы чем-то недовольны.

— Лет семь назад, — говорит Дауд, — прилетал к нам точно такой же. Ну да, те же матерчатые крылья, та же фанера... Чёрт возьми, после войны, я полагаю бы, получше должны быть птицы. А?

Летчик немного сконфужен.

— Что правда — то правда, — оправдывается он, — машина не бог весть какая, зато надежная. Не подведет никогда, особенно в горах. Но скоро, очень скоро к вам другие прилетят. Быстроходные, очень красивые и удобные — я их на аэродроме нашем видел...

Поделится летчик своими впечатлениями. Оказывается, там, наверху, все белым-бело, облака под тобою, что взбитая вата, горы — мал-мала меньше, что борозды на вспаханном поле.

— А воздушная дорога к вам подстать земляной, — сказал он, — летишь, словно по ухабам едешь — подбрасывает.

Летчик порылся у себя в кармане и достал оттуда письмо. Прочитал адрес, спрашивает:

— Где тут Кесоу Мирба?

— В городе, — говорят ему.

— Нет, — отвечает, — он уже дней пять как ушел к вам.

— Ну, тогда жди его с часу на час!

А народ продолжал толпиться у самолета. Шаангери похаживал вокруг, словно около пороховой бочки. Гудал вздумал просветить старика. Он подвел Шаангери к самому носу самолета и говорит:

— Мотор. Он крутит винт... А самолет знатный — «У-2».

— Так, сын мой, та-ак,—дивится Шаангери.— Хороший, стало быть?

— Ничего себе. На крылья погляди: две пары. У орла — и то одна пара!

Он так расхваливал самолет, будто продавал его на ярмарке. Водил старика то к хвосту, то к мотору, то снова к хвосту. За ним по пятам следовал добрый десяток крестьян. Каждый норовил поближе к Гудалу протиснуться, послушать его объяснения. А Гудал так и режет, что ни слово, то удивление всем, точно сам строил эту птицу своими собственными руками. Выслушав Гудала до конца, старик спросил:

— Так, значит, она летает?

Короче говоря, все пошло насмарку, начинай, стало быть, сначала. Гудал пожаловался, что у него пересохло в глотке.

— Давайте позовем Симона, — предложил кто-то.

— Верно! — поддержали его. — Симон — фронтовик, все начистоту выложит.

— Эй, Симон, слезай с крыла!

Толпа расступилась. Вперед выступил Симон — колхозный бригадир, шустрый малый, три пальца левой руки на фронте оставил. Не будь он так ловок и изворотлив, голова бы с плеч полетела — в таких побывал переделках. Он осведомился, чего от него требуется.

— Да вот, — говорят, — объясни, как и что.

— А что объяснять-то?.. Эка невидаль, кукурузник?! — и он презрительно скривил физиономию.

— Помнишь, Симон, — раздался из толпы чей-то голос, — мы в них пилотками кидали: до того низко летали. Одно слово — кукурузник!

Симон оперся плечом о борт самолета. Он постучал в стенку пальцем и многозначительно промолвил:

— Фанера. А там, ближе к хвосту — холст... Другой табак — истребители, пикировщики. Там, брат, держи голову покрепче, иначе скоростью оторвет...

Симон отзывался о крылатом госте уж слишком нелестно, Шаангери взяла досада. Как там ни говори, пусть плохонький, а все-таки гость.

— Сын мой, — сказал он, не глядя на Симона. — Не кажется ли тебе, что твои слова могут кое-кого оскорбить? — Шаангери посмотрел косо на заносчивого молодого человека, как посмотрел бы пророк на богохульника. — Это не годится, сын мой. Молод еще...

Старик никак не мог взять в толк, отчего это люди (он их называл — дети) в Сакене стали так дерзки и самоуверенны. Свет городской для них трын-трава, самолет, лежащий над облаками, — обыкновенное дело. Старик был оскорблен в своих лучших чувствах, ибо он считал этот день незаурядным днем в своей жизни (то же самое он сказал и у Гудала, осмотрев электрическую станцию).

— Да, — мрачно прошамкал он, — изменился народ.. Нельзя так о госте отзываться, нельзя, не по обычаю. — И, уязвленный, вышел из толпы и сел в отдалении, так чтобы ему получше был виден серебристый самолет.

Молодежь исподтишка посмеивалась над стариком. Но Мушаг, директор школы, стал на сторону Шаангери.

— Напрасно старика обидели, — сказал он. — Правда, сам я не был на фронте, но газеты читал внимательно, ни одной не пропускал. Самолет, стало быть, неказистый — «У-2». А польза от него великая была. Скажем, бомбить ночью передний край противника, к партизанам слетать — первый помощник.

Сакенцы обрадовались, все-таки к ним удалой самолет прислали, славную машину, раз она и по ночам летала, и бомбила, и партизанам

подсобляла, чем могла. Обошли самолет еще раз, от хвоста до пропеллера все ощупали самолично.

Пока шли толки о самолете, никто не заметил, как на лугу появился Кесоу. Усталый, обросший, поздоровался он с односельчанами, ничуть не удивляясь присутствию крылатого посланца.

— Машины привезли? — спросил он.

Ему показали какие-то железные части, которые тем временем успели выгрузить из нутра самолета.

— Очень хорошо, — сказал Кесоу, — скоро привезут еще... Я шагнул пять дней, а этот?..

## 27

Вечера в горах, даже когда апрель выдался очень теплый, прохладные. Если дом, в котором вы живете, расположен на высоком месте, выйдя на крыльцо, можно увидеть гряду снеговых вершин, освещенных голубоватым лунным светом. Ветерок дует с гор и остывает на лету — вот оттого-то и прохлада.

Вы начинаете поеживаться от одного вида заснеженного горного хребта, уходящего в зеленатую темь ночи. Они безмолвны, горные вершины, застывшие на веки-вечные под снеговым покровом. А ниже их — только зияющая пустота, черная, как бурка. И вас невольно тянет к жаркому пламени очага, разожженного в глубине кухни.

В доме Екупа у очага собрались хозяева и гости. Сам Екуп примостился на наре. Кесоу сидит несколько поодаль. Нина возится в углу, просеивая муку. Константин слушает рассказ Кесоу, молча козыряя потухшей головешкой в золе. Антон прячется в тени, за спиной Гудала. Кесоу нет-нет, а пытается выхватить его взглядом из мрака.

Кесоу повествует о своем путешествии подробно (в Сакене обожают подробности). Речь его пестрит междометиями, восклицаниями и самыми лестными эпитетами, когда он рассказывает о том, как встретил его секретарь, какую обещал поддержку.

— Значит, приняли, как полагается, — говорит Константин.

Кесоу на минутку умолкает, точно припоминая что-то.

— Приняли, что и говорить, прекрасно! — продолжает он, понизив голос. — Александр Иванович созвал совещание. Обсудили. Сделали проверку. Очень скала понравилась наша. Дали мне совет, что и как, и вот эти постановления... Из Москвы они, из Кремля.

Он разглаживает на коленях листовку, достает из бокового кармана брошюрку.

— Тут и о февральском пленуме Центрального Комитета и Указ есть...

— Прочтем! — обращается Константин к присутствующим.

Гудал подсаживается к Кесоу, через его плечо заглядывает в бумагу.

— У-к-а-з, — шепчет он.

Становится очень тихо. Слышно лишь потрескивание дров, да шипение влаги в них, изгоняемой всеильным огнем.

Екуп опирается на клюку. Пламя освещает его лицо, потемневшее от солнца и ветра. Башлык съехал на затылок.

Гудал напряженно следит за чтением. Он тянется к печатному слову, как дитя к лакомству, лежащему где-то высоко на полке.

Антон осторожно трет свои воспаленные глаза. Его душит кашель, но он старается приглушить его, «загнать в желудок», как говорят в Сакене.

Константин широко расставил ноги, голову опер на руки, глубоко, глубоко задумался.

Нина перестала просеивать муку, присела на скамеечку.

Братья Дамей и Дауд Аланы сидят плечом к плечу, грея руки и сладко поеживаясь.

На всю кухню раздается размеренный голос бригадира. Люди жадно слушают, боясь проронить слово. Можно лишь пожалеть о том, что в этот час не оказалось поблизости фотографа, который заснял бы сакенских землепашцев, читающих Кремлевский Указ...

Пусть живет в веках этот замечательный час, полный сосредоточенности и величия. Пусть никогда не померкнут слова, подвигнувшие миллионы крестьян на горячий труд во имя благоденствия страны и народа! Читают Указ мои земляки, и сердца их открываются навстречу заботе советской власти о народе, о крестьянстве, о счастье страны, испытывшей ужасы вражеского нашествия, разнесшей в пух и прах недруга, и ныне снова твердой поступью идущей вперед. Так поняла Указ вся необъятная, могучая наша Родина, так поняли его и в Сакене...

Екуп воскликнул:

— Это большое, очень большое дело, друзья...

Кесоу перебил его:

— Мы в Сакене только о себе подумали, а Сталин на весь мир сказал.

— И то правда, — согласился старик.

Кесоу, закончив чтение, откладывает в сторону бумаги.

— Такие дела, — говорит он. — Удивительные, я бы сказал. Там, в низинах, по тысяче пудов с гектара снимают. Хотя бы половина нам перепала, что ли?

— Ишь ты, жадный какой, — смеется Гудал.

— Кесоу, — говорит Константин, — за кукурузу беремся, стало быть?

— Обязательно.

— Что ж, говори, как и что. Всем интересно знать.

— Добро. — Кесоу закуривает городскую папиросу. — План нашей бригады будет таков. Три гектара берем себе. С них соберем по пяти-сот... Слово даю!

Братья Аланы шумно вздохнули. Антон крикнул. Гудал на радостях, что ли, начал разгребать золу. Из очага посыпался сноп золотых искр.

— Первое дело, товарищи, — продолжал Кесоу, жмурясь от ярко-го света, — о том мне Александр Иванович крепко наказывал, первое дело — пахота, боронование, прополка. Все в срок, по правилам... А скала у нас — первый сорт. Называется фосфориты. За них люди деньги платят, за тридевять земель к себе везут, а у нас готовые — под носом. Шаровую мельницу доставят, двигатель и горячее тоже... Станем размалывать, посыпем землю — увидите, что будет!.. С меня словно тяжесть с плеч свалилась, когда я анализ увидел. Александр Иванович, говорю, а что если скала подвела бы — пропал бы я, говорю. А он смеется... Вы там в Сакене и без скалы бы не пропали, говорит, ведь перед войной у вас дело уже неплохо шло!

— И то правда, — соглашается Гудал.

— Но все счастливо обернулось. Фосфориты добывать будем — копейки это нам обойдется. Вот дорогу сюда проложат — мы и другим колхозам поможем. А как же?.. Но пока... Пока нам нужна помощь, дорогой Константин.

— Вопрос на собрании поставим, — сказал Константин. — Это раз. На правлении колхоза обсудим — два. Дело-то общее. Верно?

— В Никуалу нету веры, — сказал Дамей, — известно, какой он...

— Кстати, Константин,— начал было Кесоу.— Ну, об этом потом... Хотел насчет Никуалы сказать... В районе о нем определенного мнения.— Он повторил:— Определенного...

— Понятно, Кесоу.— Константин кашлянул в знак того, что понял, на что намекал Кесоу. А намекал Кесоу на то, что надо бы на место Никуалы поставить другого человека, толкового и энергичного.

Кесоу озабоченно продолжал:

— Надо в порошок скалу измолоть. Тем порошком будем землю удобрять. За урожай вся наука ручается.

Дамей потянул себя за усы и солидно кашлянул.

— Знатная затея,— заметил он,— ей-богу, сил не жалко. Словно порох изобретаем. А? Спасибо району, не оставили без помощи.

Екуп тяжело ворочается на своей наре, кряхтит, охает, подставляет огню то правый бок, то левый.

— Поглядим, старики, чего тут молодые сотворят,— произносит он,— а нам—на покой...

— Нельзя,— стыдливо говорит Антон,— кха, не то время, кха... Правду говорю?

Кесоу метнул на него острый взгляд — словно косою по траве. Съежился Антон. «Знает все, сказали ему», думает про себя Антон, прожглиная в душе Рашита.

— Мы твой доклад, Кесоу, завтра на партийном собрании обсудим,— говорит Константин.— Прочитаем вслух постановление и Указ. Скала, брат, надежная, это ясно. Людей выделим, арбы дадим. Сельский совет поможет...

Константин поднялся.

— Ты куда?— спросил его удивленно Екуп.— А ну-ка, дочка, готовь на стол!

Когда хозяин произносит эти слова, обращенные к женской половине семьи, и когда гости снова усаживаются на свои места, происходит обычно небольшая заминка в беседе. Тогда обязанность хозяина — развлечь гостей. И Екуп, придумывая новую тему для разговора, несколько раз подряд повторяет слово «да».

На помощь неожиданно приходит Дамей.

— Ну, Кесоу,— говорит он,— что нового слышно в мире? О чем теперь речи? Успокоились, надеюсь?

— Смотря кто,— неопределенно замечает Кесоу.— А вообще не совсем...

Его перебивает Екуп:

— Слушай, когда поссорились Гадара и Гана, наши соседи, и когда их помирили, они еще полгода не кланялись друг другу—отвыкли мы, говорили они. Так это все-таки свои люди были. А вы хотите, чтобы мир так разом и успокоился!

— У них, говорят, новые бомбы,— говорит Дауд,— никак на них наглядеться не могут.

Кесоу улыбнулся:

— Наша страна неприступна, как Сакен! А вот в Индонезии скверно,— неожиданно сообщает он.— Предают республику.

Эта весть была воспринята слушателями с сожалением.

— Индонезия, говоришь? — спросил Дамей.— Это что же такое, город или страна?

— Страна.

— Индонезия? А? — продолжал Дамей.— Какие же это люди предают?

— Все те же,— говорит Кесоу,— Америка и прочие.

— Ну а мы как, мы?—интересуется Екуп.

— Советский Союз, что ли? Мы — за Индонезию.

— Ах, так!—Екуп вскакивает с места.—Ну тогда слушайте: ничего у этой самой Америки в Индонезии не выйдет. Вот увидите!

И Екуп торжествующе оглядывает своих гостей. Он доволен, что может высказать свое мнение по поводу таких важных вопросов.

Кесоу старается поймать взгляд Антона, но тот упорно прячет свой взор. «Подлюга ты!» — думает Кесоу и с отвращением отворачивается от Антона.

— А все-таки я не понимаю,—говорит Дауд,—почему снова о войне заговорили?

— Как почему?—Константин повертывается к нему всем корпусом.— Это они заговорили, империалисты. Советская власть им наша поперек горла встала.

Молчание. Становится тихо. И в наступившей тишине Дауд—огромный, коренастый мужчина—говорит медленно и внушительно:

— Не любят они нашей советской власти? Тем хуже для них!

Тут подоспели бокалы с вином, и получилось это так кстати, что все одновременно воскликнули:

— За советскую власть!

Ты поймешь, читатель, простых сакенских людей, поднимающих бокалы за свою власть, прежде чем выпить за родных—за отца и мать. Подумай и рассуди сам: все, что есть у этих крестьян—свобода, обеспеченная жизнь, общий труд, чувство гордости за свою Родину, великое ощущение счастья сегодняшнего дня, уверенность в будущем,—все это дала им советская власть. Как же не дорожить ею, как не любить ее? Этой власти самый большой, самый главный почет, ибо нет без нее настоящей жизни!

Далеко за полночь засиделись гости, а когда они вышли во двор, вверху стояла большая, больше чем колесо арбы, луна, и она пришлась по вкусу всей компании. Вдруг где-то в кустах запела тоненьким голоском неведомая птичка. Было очень странно: такой огромный мир—и такой маленький, но хорошо слышный в этом мире голосок.

— Тише, — сказал Кесоу. — Поет.

И гости и хозяйева слушали пение птички, а луна без конца поливала землю потоком ярких лучей...

...Кесоу собирался на отдых, усталый от путешествия, от разговоров и собственных мыслей.

На пороге своей комнаты он увидел сестру. Она была чем-то обеспокоена. Он потрепал ее по плечу.

— Что с тобою? — спросил он.

— Она не виновата,—проговорила скороговоркой Нина.—Я все знаю.

Он сел на кровать и, равнодушно потягиваясь, заметил:

— Знаешь что? Тех, кто этого не хочет, не крадут. Что это значит?!—воскликнул он раздраженно.—Дать себя увезти? Да кому еще?

Нина не уходила. Она стояла, скрестив руки на груди, полная решимости не уступить.

— Она много плакала, — сказала Нина, строго глядя на брата. — И плачет. Не смейся. Она хорошая девушка. Во всем виноват Рашит — не даром он скрылся...

— Итак, чего ты от меня хочешь?

— Чтобы ты поговорил с ней.

— С удовольствием.

— Ты не шути. Я говорю серьезно.



— А я будто—нет?

— Тоже мужчина! — продолжала она. — Сам других ругаешь за отсталость. Ты-то как сам, а?

Он не ожидал такого отпора от своей сестры, на которую привык смотреть, как на девчонку.

— Ну говори еще,—сказал он со смехом.

— Ничего я не скажу. — Нина надула губы. — Или думаешь, Кама дороги своей не найдет? Или без тебя пропадет? Нет, милый мой! Я знаю... Упустишь—не вернешь! Не те времена!

— Так, так!

— Ежели один негодяй оскорбил девушку, то как же по-твоему должен поступить другой?

— Негодяй?

— Нет, другой мужчина, ежели в нем есть хоть капля совести.

— Не знаю. — Кесоу с удовольствием слушал ее гневные речи. «Ай да сестренка!»—говорил он себе, невольно любуясь ею.

Нина ушла в другую комнату, потом вернулась и, не переступая порога, сказала:

— Не пружние нынче. Не курицы, которым можно голову свернуть так просто, за здорово живешь! — И ушла, хлопнув дверью.

Кесоу засыпал с ощущением, что самое удобное, ради чего он ходил в город, преодолено. Но какая-то неприятная мысль тревожит его, отвращает радость.

— Проклятый Рашит!—сквозь зубы говорит он, обращаясь к темной, каштановой стене, и с головой уходит под одеяло.

## 28

Еще месяц назад у родника было не так приятно, как сейчас. Стало гораздо теплее, и зеркальная поверхность воды манит к себе. Скоро родник сделается излюбленным местом для тех, кто ищет прохлады, в ком бьется слишком горячее сердце. А в лунные июньские вечера эти скалы, поросшие зеленым мхом, будут свидетелями то скромного шёпота, то открытых признаний.

Сегодня воскресный день. Кесоу и Кама сидят на камнях друг против друга. Она одета в белое шелковое платье. На голове—голубой платок. Обута в лучшие туфли и дорогие чулки со стрелками (они почищаются и в Сакене). Есть на что посмотреть и полюбоваться! Косы у нее сложены на груди—две тугие, черные косы.

Кама рассказывает во всех подробностях историю своего «похищения». О, она показала в ту ночь, что значит сакенская девушка!

Кесоу задумчиво рисует на песке странные знаки.

— Все? — спрашивает он.

— Да, все.

Наступает тягостное молчание. Тогда она говорит сдавленным голосом:

— Уезжаю я. Недолго уже...

Он резко оборачивается к ней. Он видит ее печальные глаза, которые глядят на него, словно из-за отуманенного стекла. Первое побуждение—приласкать, подбодрить девушку. «Чёрт возьми,—мелькает у него мысль,—должна же она понять, что я не Рашит». Нет, Кама хорошая девушка, очень хорошая. Но ему интересно, что она еще скажет.

— Куда ты собираешься ехать, Кама?

— В город.

Он вопросительно уставился на нее.

— Разве я не могу поехать? Разве только ты можешь? Учиться еду.

Она неожиданно вдохновляется своей идеей, устремляет взор к голубой долине реки Сакен и произносит, точно клятву:

— Уеду. Стану учиться. Слава богу, школ везде хватает. Помогут. Я ничего не боюсь.. Я только желала б вернуться сюда года через три и посмотреть на вас всех,—и, разрыдавшись, убегает прочь. Она взлетает по крутой тропе, спотыкается и снова мчится вверх. Вот уже она на самом гребне, миг!—и скрывается в кустах.

Кесоу срывается с места...

Но ее уже не догнать. Во-он как высоко мелькает ее белое платье!

Кесоу остается один, наедине со своими мыслями и целым миром. Молодой горец сидит на том же камне, у того же родника, что и месяц назад. А над головой плывет задорный весенний день. Гуагуа и Клыч в тумане, горы курятся, словно на их вершинах разложили костры из сырых поленьев. Снизу доносится рокот Сакена. Направо—Серебряный Луг, налево — Ореховая Балка и Мрамба. Почти над каждым домишком на хуторах вьется дымок. И если белые горы, что ослепительно сверкают на голубом фоне неба, смогли бы сдвинуться с места, они образовали бы очень веселый хоровод...

Кесоу встает. Он видит следы от маленьких ножек на мелком песке, и уверенно печатает рядом с ними другие, большие, еще издали заметные следы...

Кесоу догоняет Каму. Он уже видит всю ее стройную светлую фигуру. Но еще не видит счастливых, сияющих глаз...

Апрель на исходе. Наступили жаркие дни. На дорогах появилась пыль. И точно в разгар лета, метет ее и гонит куда-то ветер.

Зелень налилась, полна соков. Царапни ногтем любой ствол — влага бьет оттуда, точно родник из-под земли.

В воздухе бесконечно, веселое пение птиц. На пастбищах мычат коровы, а по утрам задорно кукарекают петухи.

С утра все село уходит на работу. Неторопливо едут арбы, и их скрип разносится на всю окрестность.

Да, друзья мои, я люблю Сакен весною, люблю особенной любовью, может быть потому, что именно весною кажется он мне таким молодым и полным сил.

Хорошо теплым весенним днем бродить по селу, а еще лучше пойти на берег реки. Там каждый найдет для себя подходящее занятие.

Я сижу на берегу Сакена. В этом месте река делает крутой поворот, изгибаясь лебяжьей шеей.

Берег крут и высок. У подножья его—камни, мелкие и крупные. Я двигаю ногой — и земля осыпается.

Подо мной в бешенстве бурлит вода, подтачивая берег. А противоположная сторона—спокойная, берег низкий, песчаный. За желтоватой отмелью растут сосны. Поближе к воде — плакучие ивы. За зеленой лесной чашей вырастают снежные горы.

В двадцати шагах тихая заводь.

Маленький мальчик в красной рубашке удит рыбу. Он терпеливо держит в руках удилище, время от времени резким взмахом выдергивая лесу из воды. Но крючок почему-то пуст, а нажива исчезла. Снова, насадив червячка, мальчик закидывает удочку.

Рядом с ним—Шаангери Канба. Он, кажется, уснул (это не трудно на апрельском благотворном солнышке). Однако я ошибся. Вот его привлек мой этюдник. Он медленно подходит ко мне и становится за моей спиной.

Я накладываю последние мазки. На этюде—река Сакен с ее лебеденым изгибом, поодаль — здание сельского совета и школа. Еще дальше—горная гряда и очень красивые облака (признаться, этюд затеян, главным образом, из-за них). Я слышу, как посапывает Шаангери, чувствую, как он пристально глядит на меня. Я оборачиваюсь и вижу его глаза, полные любопытства.

— Сын мой, — говорит Шаангери, — у тебя очень хорошая фуражка. (Я знаю, что шляпа ему кажется странноватым головным убором). Говорят, у тебя есть и башлык.

— Да, есть у меня башлык.

— Неужто и бурка есть, Александр?

— Да, я купил себе настоящую кабардинскую бурку.

— Дай-ка мне...—И старик тянется рукой к моей шляпе. Он поворачивает ее со всех сторон, заглядывает внутрь.

— Шелк?—спрашивает он, шупая подкладку.

— Да, это шелк.

Сделав глубокую затяжку из трубки, старик говорит:

— Молодец, молодец!.. Мне нравится твоя шапка, ее, говорят, носят ученые... Значит, и наш сакенец надел ее... Молодец!.. — Теперь пора похвалить и мою картину. Она, повидимому, не удовлетворяет его, иначе он бы прямо с нее и начал. Он замечает:

— Очень красиво, я бы сказал... А вот почему нет людей на твоей картине? Человек обязательно должен быть... Растут ивы. Их посадил человек. Вон школа. Ее построил человек. Разве ты не любишь человека?

— Как так не люблю, Шаангери?

— Тогда пририсуй его вот здесь.—Он указывает пальцем на отмель, и палец у него—в желтой краске.

Я обещаю ему это, и он удаляется к своему правнуку, который наконец-то подцепил какую-то рыбешку. Старик идет размеренной походкой, и посох его бьет острым наконечником по звонким, как колокольчики, камешкам...

Последний день апреля. Солнце в зените, над самой головой. Небеса—синие-синие (хоть счищай с них настоящий ультрамарин). На зеленой сакенской земле желтые и коричневые прогалины—то пашни (бери землю и делай себе охру). Река бежит бесконечной серебряной лентой. Я отставляю этюдник и гляжу на реку—уж очень мне нравится ее прозрачность... Я думаю о моих сакенских друзьях...

Прошло немногим больше месяца с того дня, когда мы впервые повстречали у родника двух молодых людей — Каму и Кесоу. Месяц — недолгий, но и не очень короткий срок. (Многое случается за месяц). Для Сакена нынешний апрель не был обычным, и я предвижу необычайную осень.

Я придвигаю к себе этюдник, и вот я вижу на фоне сакенского пейзажа Кесоу... Он стоит перед скалой, словно желая померяться с ней силою. Этот своего добьется! Ну, может быть, парень преувеличил малость, погорячился насчет тысячи пудов. Но пусть меньше, а урожай все-таки будет невиданный!.. Я вижу Константина, медлительного Константина, делающего, однако, все прочно и наверняка... А Гудал? Нет, он никогда не отстанет от других. А Смел? Его я вижу улетающим в город, — есть там, знаете ли, один дом, а на дверях его табличка: «Электротехнический институт». Кама... Что Кама? Могли бы вы поверить, если бы я сказал, что судьба разлучила ее с Кесоу? Ну, конечно, нет — и вы будете совершенно правы... Сдается мне также, что Нина

далеко пойдет — уж больно она прилежна в работе. А Рашит? Да что горевать о нем, — отыщется где-нибудь...

Вероятно, апрель произвел на меня впечатление еще и потому, что я сакенец. Не знаю. Но проклятый сакенский зуд, тот, что не дает рассказчикам покоя в длинные зимние вечера, толкает меня к чернилам и бумаге... И вот сейчас, глядя на реку, мне кажется, я уже вижу те строки, что поведают о необыкновенном начале прошлогодней сакенской весны, о событиях, невольным свидетелем которых явился я...

Итак, идет весна, и Сакен живет и здравствует!



---

---

# КОРОЛЕВСКАЯ КРОВЬ

Роман \*

СИНКЛЕР ЛЬЮИС

★

16

**Д**ень двенадцатого июня встал в полном блеске, благоухая сиренью и молодой листвой,— как и требовалось, ибо двенадцатого июня Бидди праздновала пятую годовщину своего рождения. Этот солнечный день был словно создан для дня рождения маленькой белой леди в белом платье, в белых цветах,— и все белые дети их квартала восторженно разглядывали ее, ее новые роликовые коньки, и белый с золотом кукольный дом. В этот день Нийл вернулся из банка рано. С полдюжины девочек и четыре шумливых, но благовоспитанных юных джентльмена, возраста Бидди, играли в прятки во дворе за домом, вокруг цементного прудика с рыбами и игрушечного домика Бидди, стены которого из узких белых досок были сплошь увиты виноградными лозами. Все дети (а больше всех Пегги Хэвок) обожали Нийла и, как только он появился, радостно запрыгали вокруг него, крича наперебой: «А, капитан Кингсблад!», «А, мистер Кингсблад!».

Из дома вышла Вестэл, стройная, в длинном бледнозеленом платье с золотым поясом, благостно-кроткая, как ангел. Она несла «гвоздь» праздника, бисквитный торт с кленовым сиропом, на котором белой и желтой сахарной глазурью было красиво выведено: «Нашей Бидди 5». Воткнутые в пирог шесть (шестая «на рост») розовых свечек ровно горели в неподвижном воздухе чудесного летнего дня.

Перед тем, как принять пирог, Бидди, склонная к эффектным сценам, юркнула в свой домик и появилась оттуда в золотой картонной короне, полученной на елке. Но если она и желала непременно быть монархом, то, повидимому, монархом конституционным, так как с истинно королевской справедливостью разрешила на части пирог и распределила между всеми. Издали наблюдая за нею, Нийл вспомнил предположения насчет королевской крови, еще так недавно занимавшие его. В Бидди, несомненно, эта кровь есть, но от кого она — от старого развратника Генриха Восьмого или от владыки диких лесов Ксавье Пика?

Бидди бросилась к нему, глаза у нее сияли, как два бриллианта. Пристав на цыпочки, она обхватила его руками и прижалась головой к его поясу.

— Папочка, это самый лучший мой день рождения. Никогда еще у меня не было такого. А теперь мы всегда его будем праздновать так весело, как сегодня?

Он порывисто поцеловал ее. Принц (бывший Ниггер), вообразив, очевидно, что здесь празднуется его день рождения и что его светская

---

\* Продолжение. См. «Новый мир» № 4 с. г.

обязанность — приветствовать юных друзей лаем и прыжками, в истерическом восторге наскакивал на Бидди. Радостно ухмыляясь, он лизнул ее в лицо и сбил с нее корону — и тут Бидди, забыв о королевском достоинстве, закричала:

— Ах, ты, гадкий пес, перестань сейчас же и будь умницей, иначе я тебя выставлю из моего дворца, слышишь ты, противный Ниггер!

Нийл сразу помрачнел.

К столу Нийла в банке подошел доктор Эш Дэвис, а доктор Дэвис был негр, лицо у него было цвета сухих осенних листьев, глянцевинокоричневых на солнце. Нийл еще раньше слышал, что опытная лаборатория завода Уоргейта вынуждена была из-за нехватки специалистов— все эта ужасная война! — принять чернокожего Дэвиса. Правда, он хороший химик, доктор естественных наук Чикагского университета, но все-таки негр! Уже из одного этого видно (так дружно решили все на завтраке в «Клубе местных патриотов»), насколько велика у нас нехватка рабочих рук! Впрочем, хотя война и требует от нас максимальных жертв,—еще вопрос, можно ли этим оправдывать такие прецеденты! Посадить на место белого специалиста какого-то черного пачкуна! Это может привести бог знает к чему!

Да, Нийл слышал об Эше Дэвисе.

В первый раз в жизни он внимательно всмотрелся в лицо «цветного» человека. Никогда он не смотрел на Белфриду, на удившегося с ним вместе в школе, от первого до последнего класса, Эмерсона Вулкэйпа, на Мака, на солдат-негров, бывших вместе с ним в армии. Он на них не глядел, а только с неудовольствием терпел их присутствие—вот такое же чувство он испытывал в Аравии, когда искал указатель дорог с надписью на английском, французском или другом каком-нибудь человеческом языке, а находил только никому не нужную надпись по-арабски. Разумеется, он и в банке никогда не глядел на посетителей-негров, приходивших к нему оформлять ссуды. Это были для него только темные руки, протягивавшие документы, чуждые голоса, нестерпимо заискивающие.

Теперь он всматривался в лицо Эша Дэвиса—и видел не «негра», не «цветнокожего», а удивительно приятного человека из общества и, видимо, к тому же ученого. На мгновение кольнуло знакомое всем нам чувство: «Где же я видел раньше это лицо?» И тотчас он сообразил, что то было лицо (лишь несколько более темное) капитана Тони Эллертона, того, с кем он встретился в армии, единственного подлинно душевного человека из всех, кого он знал.

Доктор Дэвис был мужчина лет сорока, невысокий, сухошавый, но крепкий, с очень спокойными и непринужденными манерами. Ничего фатоватого не было в его подстриженных черных усиках. Глаза имели выражение сосредоточенное. Он был одет, как одеваются все состоятельные люди свободных профессий, но в его сером пиджачном костюме было что-то неумовимо европейское. Будь на месте Нийла Шерлок Холмс, он, быть может, по акценту доктора Дэвиса угадал бы, что тот детство провел в Огайо, жил три года в Англии, Франции и России, дружил с теннисистами, учителями музыки и своими сослуживцами-лаборантами. А Нийл заметил только то, что доктор Дэвис говорит очень гладко и с легкой шутливостью, как Родней Олдвик, но только грамматически более правильно.

Он решил про себя:

«А этот Дэвис, видно, умница, я и не знал, что есть такие негры. Да и откуда мне знать? Я ни разу таких не встречал».

(На самом деле Нийл за несколько месяцев перед тем сидел в автобусе напротив Эша Дэвиса, слышал его разговор с каким-то высоким негром в воротнике пастора, но ни разу и не взглянул на них обоих).

Доктор Дэвис пояснил, что он пришел к Нийлу с просьбой.

После войны сотни негров будут уволены с заводов, и люди, стоящие во главе негритянской общины, совместно с Городским союзом взаимопомощи хлопчут сейчас о том, чтобы местные учреждения принимали их на службу. Нельзя ли будет и во Втором национальном банке пристроить хотя бы одного-двух человек? Он может направить к ним негров, окончивших коммерческие школы и работавших во время войны бухгалтерами и счетоводами. Что скажет на это мистер Кингсблад?

— Но почему вы обратились именно ко мне? — спросил, волнуясь, Нийл. — Я бы рад сделать все, что могу, но ведь я только помощник кассира.

Улыбка Дэвиса располагала к общительности.

— Видите ли, друг нашего народа доктор Нормэн Кэмбер сказал мне, что вы здесь в банке — единственный, кто способен отнестись к нам по-человечески. Боюсь, что это не слишком лестный комплимент!

— В устах доктора Кэмбера это комплимент. Ну хорошо, я посмотрю, что можно сделать. Непременно!

Нийл искал предлога удержать подольше доктора Дэвиса, вызвать его на разговор. Ему остро нужен был кто-нибудь, кому понятны переживания того существа, в которое теперь превратился он, Нийл. И мысли, смутно бродившие в его голове, вдруг стали четкими и ясными от одного только присутствия доктора Дэвиса. Нийл думал:

«Сразу видно, что это очень симпатичный человек, и ему приходится ходить и кланяться белым, чтобы они дали людям его расы возможность дышать. Меня бесит, что он вынужден чуть не заискивать даже перед такой мелкой сошкой, как я! Он во сто раз выше меня. Ну вот тебе, Кингсблад, случай, которого ты искал!»

Он старался поддержать разговор насчет работы для негров, но смущался, не зная, как лучше говорить: «негры» или «цветные» или не называть их ни так, ни этак. Наконец, доктор Дэвис поднялся, и Нийл, во второй раз в жизни (первый раз это было с Борусом Багдоллом), пожал руку негру — а ведь он жил в стране, где беспрестанно мнут друг другу руки.

Да, он пожал руку черному. И, повидимому, ему от этого ничего не сделалось.

Он ловко намекнул Джону Уильяму Пратту, что так как у них есть несколько крупных вкладчиков негров, а в будущем может еще прибавиться, то, пожалуй, не мешало бы принять на службу двух-трех негров-контрщиков.

Пратт посмотрел на него с жалостью.

— Дорогой мой, я рад, что вы так либерально относитесь к неграм. Я сам с нетерпением жду того времени, когда они будут получать хорошее образование и смогут занять положение не ниже белых рабочих — но у себя на Юге. У нас им не место, и самое лучшее — не мешать им умирать с голоду до тех пор, пока в их дубовые башки не проникнет сознание, что им следует как можно скорее убираться обратно на Юг!.. Кроме того, клиенты нашего банка подняли бы чёрт знает какую бучу!

По дороге домой Нийл зашел к отцу выпить коктейль. Кроткий хлопчунт спросил осторожно:

— Ну что, подвинулись твои розыски, Нийл?

— Кажется, да, папа.

Нийл еще раз вспомнил доктора Эша Дэвиса (это была ассоциация по контрасту) на грандиозном вечере по случаю возвращения Рода Олдвика. «Встреча» была организована самим Родом, так как никто другой не мог бы организовать ее так хорошо.

Майор танковых войск Родней Олдвик, в мирное время адвокат и рантье, окончивший Принстонский университет и затем Гарвардский по юридическому факультету, обучавшийся военному делу во время маневров Национальной гвардии, загорелый, высокий, сухощавый, низко остриженный на прусский манер, был солдат, джентльмен и искатель приключений, орел, герой, победитель сердец. Во всяком случае, Нийлу, который был пятью годами моложе, Род, в годы их учения в средней школе, казался настоящим героем. Род мог бы решать за него алгебраические задачи, поправлять его, когда он путал фигуры танго, указывать ему, в каком месте озера водится самая лучшая щука, быть его тренером по хоккею, приходиться к нему на помощь в стычках с бандами польских и итальянских мальчишек, утешать его, когда Эллен Хэвок его отвергла, одалживать ему пятьдесят центов, открыть ему премудрости налоговой системы и учения о святой троице, объяснить, почему приличные люди, такие, как их отцы, никогда не голосуют за демократов. Это не значит, что Род действительно делал что-либо такое для Нийла— Нийл все годы своего детства и юности крепко стоял на собственных ногах,—но он горячо верил, что Род сделал бы, если бы он его попросил.

Когда Род после школы поехал в университет, до Нийла доходили слухи, что Род одинаково отличается и на дискуссиях, и в игре в поло, что он пьянствует с какими-то хулиганами, с которыми сводит знакомство в барах Нью-Йорка, и братается с ними, клянясь в верности на соли и крендельках, что подаются к пиву. Соблазнял он только девушек выше или ниже той среды, где возможен шантаж, и со свойственной ему уже с юности веселой иронией говаривал: «Когда я буду баллотироваться в сенаторы, на сцену не появятся никакие незаконнорожденные ребятишки».

Род жил не в уютном районе Силвен-парка, а среди пышности Оттавских высот, рядом с домом доктора Роя Дровера. Он был в отпуску из армии, шеголял в военных френчах особого покроя и являл собой романтического героя войны. В честь своего приезда он приказал натереть в своем просторном доме дубовые паркетные полы, все хрустальные вазы и чаши его коллекции вымыть до блеска и наполнить нарциссами, а за китайской ширмой, вырванной из жадных лап немецких грабителей, музыкальный квартет играл Делиуса и Копленда. Был первый по-настоящему теплый вечер северного лета, и мужчины все пришли в белых фланелевых костюмах (в которых они, к слову сказать, здорово язли), а цвет местного дамского общества — в белых летних туалетах и мексиканских шалях.

Род, словно кандидат на предвыборном собрании, переходил от одной шумно-восторженной группы гостей к другой. Нийлу и Вестэл он сказал:

— А, вот и вы, — только теперь я чувствую, что я дома! Нийл, я слышал, в каком доблестном бою ты получил свою рану. Мне это рассказывал за границей один наш офицер в довольно высоком чине. А я ему ответил: «Этот парень, можно сказать, мой старейший друг, и я горжусь им».

Нийл вспыхнул от удовольствия, но очень скоро гордость сменилась досадой, когда доктор Дровер сказал при нем:

— Думается мне, что Род создает себе популярность; он намерен после демобилизации делать политическую карьеру.



Жена Рода, Джэнет, была чуточку выше Вестэл, чуточку лучше сложена и больше увлекалась великосветскими скачками, а дети их, сын и дочь, — так же декоративны и холодны, как этот просторный дом. Нийл чувствовал себя здесь в своей тарелке. Когда Роду удавалось урвать минутку и он переставал расхаживать среди гостей, как первый секретарь посольства на приеме, они с Нийлом весело вспоминали юношеские годы, баскетбол, пиво в школьной раздевалке, и Нийл все время помнил, что они оба — джентльмены, офицеры, деловые люди, которые бок о бок борются за высокие идеалы предприимчивой Америки.

И мысль о Ксавье Пике казалась уже не более как призраком, преследующим какого-то другого, призрачного Нийла, а Эш Дэвис — просто каким-то субъектом, работающим в заводской лаборатории.

Капитан Кингсблад небрежным тоном спрашивал майора Олдвика:

— Кстати, ты видел какие-нибудь негритянские части на фронте? Мне лично ни разу не случилось.

— Конечно, видел. В мою бригаду входило танковое подразделение негров. Ужасный народ! Угрюмые, недисциплинированные — приходилось ставить их впереди, когда шли в бой. В этой части был один черный сержант — ну самый настоящий большевик! Никогда он не действовал обычным, установленным путем — нет, он за нашей спиной подавал жалобы главному командованию через каких-то бессовестных ординарцев. Мы опасались, что на моральное состояние наших солдат скверно повлияет это брюзжание насчет того, что негров, мол, лишают геревозочных средств и медикаментов. Если бы это зависело от наших штабистов, так этот черный джентльмен никогда не вернулся бы домой к своей жене в блаженную страну свободы!

И вдруг Нийлу все представилось в ином свете: Род говорит неправду о чернокожих солдатах. А что касается того бунтовщика-сержанта, смерти которого жаждал воинственный Род... «Это мог бы быть я», — подумал Нийл.

При прощании с Родом он был изысканно вежлив.

## 17

Если ему не верится, что большинство людей его расы таковы, какими их считает Род Олдвик, значит надо самому посмотреть, что они собой представляют. Но где же понаблюдать их? В кино? В церкви?

В Гранд-Рипаблик, вероятно, есть церковь для негров — ведь здесь уже тысячи две чернокожих, и, наверное, есть среди них такие, которые ходят в церковь (ведь вот ходит же его мать!).

Когда он зашел почистить ботинки в уборную отеля «Пайнлэнд», в подвальном этаже, он по-новому, ласково, посмотрел с высоты своего роста на старого чистильщика, которого все звали «Парень» и «Уош», хотя настоящее его имя было вовсе не Уош, а Джордж Грей, и был он не парень, а маленький старичок, необыкновенно тихий и терпеливый. Это был единственный негр, которого одобрял Рэнди Спрус за то, что он «знает свое место и всегда снимает шапку перед нами, белыми джентльменами». Уош был еще, кроме того, дедом Белфриды.

Постыдное зрелище представлял собой этот старик, согнутый пополам, похожий на паука, скорее серый, чем черный. Он поднял глаза на Нийла и, должно быть, из какого-то пыльного уголка памяти извлек непристойное воспоминание, касавшееся Белфриды, потому что он хихикнул тихонько и сказал:

— А знаете, капитан, вы правильно сделали, ей-богу, правильно,

что выгнали Белфриду из своего дома. Потаскушка она, ничего не могу с ней поделаться! — Он опять хихикнул. — Спит с каждым никчемным негром в городе. Беда с нынешней молодежью, которая выросла тут, на Севере! Ничего с ними не поделаешь, отчаянный народ, верьте слову!

Нийл сказал весело, с великодушием молодого принца:

— Белфрида не плохая девушка, она просто очень молода. Кстати, Уош, где у нас в городе негритянская церковь?

Уош сразу как-то весь сжался. Он метнул взгляд вверх, на лицо Нийла, его мутные, словно подернутые пленкой глаза приняли суровое и пылкое выражение, и, уже почти не сбываясь на привычный диалект, он спросил:

— А для чего вам это знать?

— Хочу побывать там.

— Мы не любим, чтобы белые приходили смеяться над нами, когда мы молимся.

— Честное слово, Уош, мне и в голову не приходило над вами смеяться.

— А для чего же такой человек, как вы, пойдет в нашу церковь?

— Просто мне захотелось получше узнать ту часть города.

— А нам не нравится, когда компания белых начинает из любопытства шататься по нашим трущобам.

— Я приду один и, конечно, буду вести себя как подобает.

Нийл сам не замечал, как смиренно он говорит теперь с этим почтенным старцем. Уош, наконец, сказал неохотно:

— Ну, хорошо, мистер. Церквей у нас четыре или пять, но вы для начала сходите в баптистскую, Эбенезера, там служит преподобный Брустер. Это в Файв-пойнтс на углу Омага-авеню и Майо-стрит. Я там всегда молюсь. Мы все очень уважаем Брустера.

Нийл смутно помнил, что негритянский район города называется почему-то Файв-пойнтс, а Майо-стрит — его главная улица. В банке имелись закладные на какие-то участки в этой части города, и он ездил туда, но не обратил внимания на места, которые проезжал. А о «преподобном Брустере» он никогда и не слыхивал, и с шутливой развязностью белого Нийл спросил у старика, который снова принялся чистить ему ботинки:

— Что же это у вашего пастора фамилия, как у настоящего янки?

— Он и есть янки.

— Вот как!

— Он, как это у вас называется.. доктор философии.

Нийл невольно засмеялся — забавной показалась обмолвка старого негра:

— Вы, наверное, хотели сказать — доктор богословия?

— Нет, я верно говорю. Он получил степень доктора философии в Колумбийском университете в Гарлеме.

— Доктор Брустер.. Доктор Дэвис... Что же, у вас там на Майо-стрит все имеют ученые степени?

— Нет, конечно. Кое-кто из нас родился слишком рано.

В капитане Кингсблэде заговорил белый:

«Кажется, старый чёрт вздумал надо мной насмеяться?»

Нийл обманул Вестэл.

В одно июньское воскресное утро он сказал ей, что приглашен Союзом ветеранов на завтрак в Саус-Энд. Он при этом вспомнил, как врал

в Историческом обществе в Миннеаполисе, и подумал, что становится искусным лжецом.

Он доехал автобусом до Файв-пойнтс и пешком пошел на Майо-стрит. Она ничем не отличалась от любого торгового центра беднейшей части города — скучная улица с безобразными деревянными постройками, торговыми рядами, которые пестрели самодельными вывесками. Между Денвер-авеню и Омага-авеню Нийл встретил целых две «драгстор»<sup>1</sup>, не многим отличавшиеся от таких же сокровищниц отечественной продукции в Силвен-парке: в витрине те же бутылки, молитвенники, аспирин, клистиры и пачки воскресной газеты. Продовольственный кооперативный магазин, бакалейно-гастрономический магазин «Старая Англия», магазин электрического оборудования с «реставрированными» радиоприемниками в витрине — всё в этом негритянском квартале напоминало Нийлу англо-саксонскую часть Гранд-Рипаблнк, точно так же, как «Мясная торговля Лустгартен», помещавшаяся в старом доме с новеньким фасадом, кое-как прилепленным к нижнему этажу, в то время как вдоль верхнего этажа попрежнему качалось на ветру семейное белье. Но знакомая уличная толчея показалась Нийлу чуждой, когда он сообразил, что не встретил ни единого белого среди сновавшей по тротуару толпы.

Перед дверью с деревянной ставней, над которой висела вывеска «Койки по 75 центов», стояли группами здоровенные рабочие-негры. Они смотрели на него, как на чужака, неизвестно с какой целью пришедшего к ним. (таким он и был), и большинство из них говорило на таком густом диалекте дальнего Юга, что Нийл не понимал ни слова. Он заметил молодого щеголя, одетого по последней моде апашей: желтая спортивная куртка, широченные, суженные к шиколотке светлолиловые брюки, ботинки с острыми носками-«зубочистками», и широкополая черная шляпа с белой каймой. Видел влюбленную парочку — они шли, обнявшись, посреди улицы и пели — и словно соскочившую с какой-нибудь рекламы класоэческую «мамми», с толстощеким черным лицом, широко ухмылявшимся под красной с желтым шелковой повязкой.

Заглянув в одну из боковых улиц, он убедился, что за чистенькими оштукатуренными домиками с аккуратными лужайками тянутся настоящие трущобы, — он и не подозревал, что в просвещенных северных штатах могут существовать такие трущобы: покосившиеся лачуги прятались друг за друга — настоящие собачьи будки, где ни один маломальски уважающий себя и предприимчивый пес не стал бы жить. На каждой крыше торчал из отверстия конец железной печной трубы в два-три дюйма высотой, заменявший дымовую трубу. Проходы между лачугами представляли собой настоящие муравейники, они кишели собаками, курами и голыми коричневыми ребятишками.

Нийл пришел в ужас. «Каково было бы мне, если бы я стал негром и должен был перевезти сюда Вестэл и Бидди!»

Решимость не быть «цветным» еще больше укрепилась в нем, когда, проходя мимо закусочной на Бил-стрит, он увидел внутри черную тучу негров, с ненавистью глядевших сквозь мутное стекло на слонявшегося по их кварталу белого; когда затем дошел до ночного клуба «Веселый джаз», владельцем которого был, кажется, друг Белфриды, сардонический Борус Багдол, третиговавший Кингсбладов в их собственной кухне. Здесь, видно, раньше был магазин. Теперь в его витрине красовалась

<sup>1</sup> Аптека-кафе.

большая раковина из позолоченного гипса, а на ней, в рамке из сосновых шишек и ядовито-зеленых лент, — фотография почти голой танцовщицы-негритянки.

Улица показалась Нийлу более чужой, чем Италия, куда он попал во время войны. Ему казалось, что каждое черное лицо, каждая облезлая стена ненавидят и всегда будут ненавидеть его, — и лучше ему уйти домой.

Но все это продолжалось только пять минут, а в шестую минуту наваждение кончилось, и он очутился среди людей, отличавшихся от любой группы обывателей, каких можно встретить в американской церкви, только тем, что их лица жарче ласкало солнце.

Это была паства доктора Брустера, развлекавшаяся обычной воскресной болтовней в ожидании, пока церковный колокол призовет их на молитву. Степенные, чисто выбритые мужчины, одетые по-воскресному: матери, худые и нервные или полные и веселые, беседовавшие о своих сыновьях, ушедших на фронт; сверхъестественно чистенькие мальчишки, отмытые по случаю воскресенья, беспокойно ерзавшие из-за тесных башмаков, и девочки, щеголявшие праздничными нарядами; старики, на чьих изрезанных морщинами лицах была запечатлена долгая и честная жизнь; крикливые малыши, еще не знавшие, что они — негры, и думавшие, что они просто дети.

Добрая половина этих людей родились на Севере и говорили так же, как все другие жители Миннесоты. Они хотя и поглядывали на Нийла с легким недоумением, но не давали ему почувствовать, как те бездельники в закуской, что он — чужак.

Баптистская церковь Эбenezера представляла собой небольшое, продолговатое кирпичное здание с до смешного крохотным шпилем. В прозрачные стекла довольно узких окон с деревянными рамами, суженными сверху на манер готических арок, были вставлены квадраты цветных стекол с написанными на них библейскими текстами. Тем и исчерпывалось здесь возрождение готики.

Закрякал маленький колокол, и благодушно настроенная толпа медленно качнулась по ступеням вверх, а за ними пошел и смущенный Нийл.

Внутри церковь напоминала скорее помещение какого-нибудь союза, чем храм. Стены были покрыты серыми панелями из сухой штукатурки, аккуратно укрепленными кнопками с красными шляпками, и в серый же цвет выкрашены были тянувшиеся ровными рядами скамьи со спинками. На стенах — тексты из библии, рельефными золотыми буквами на черном фоне, и портрет чернокожего святого Августина Карфагенского. Против входа, на высокой площадке помещался хор из девяти девушек в черных платьях и плоских четырехугольных шапочках. У двух девушек кожа была желтовато-молочного цвета.

Нийл и сам был баптистом и воспитан в презрении к языческой мишуре католического богослужения, поэтому для него было полнейшей неожиданностью то, что у низенькой решетчатой перегородки стоял доморощенный алтарь, покрытый кружевной салфеткой, а на нем — крест, сверкающий поддельными камнями.

Нийл чувствовал себя так же неловко, как новый пациент в приемной врача. Может, он и рассердится и предложат ему выйти вон? Однако подошедший к нему на цыпочках церковный служака с лицом, лоснящимся, как черный атлас, с приплюснутым носом и толстыми губами, улыбался ему, словно говоря, что в доме господнем они — друзья. На нем был голубовато-серый костюм с рисунком «в елочку», совер-

шенно такой же, как недавно купленный костюм, которым чрезвычайно гордился отец Нийла. Вежливо тронув Нийла за рукав, служка проводил его в глубь церкви и издали важно указал место. Так Нийл начал свою карьеру негра. Он уселся между двумя чернокожими, и они уже казались ему почти такими, как все другие люди.

По левую руку от него сидела маленькая женщина, не обратившая на него никакого внимания, — ее губы быстро шевелились в безмолвной молитве. По другую сторону — черный, как мрак погребца, высокий плотный мужчина, — вероятно, плотник или маляр. Он дружелюбно поклонился в ответ на кивок взволнованного Нийла.

Нийл прочитал отпечатанную на мимеографе программу богослужения и удивился теме сегодняшней проповеди: «Спасенные от соблазнов». Что это будет — какая-нибудь убогая галиматья во вкусе негров (несмотря на степень доктора философии, которую якобы имеет этот пастор!) или просто одна из тех баптистских проповедей, которые он в течение многих лет приблизительно раз в месяц равнодушно слушал, но не воспринимал?

Наконец, из узкой боковой двери в алтарь вошел доктор Ивэн Брустер. С минуту он стоял, словно позируя, и обводил взглядом свою паству (на Нийла он посмотрел с недоумением). Но эта театральная неподвижность (если в ней было что-либо театральное) длилась только одно мгновение. Затем доктор Брустер поговорил немного с хором, шепнул что-то служке — Нийл боялся, что это какая-нибудь грубая шутка на его счет, — и подошел к кафедре.

Ивэн Брустер был крупный негр, черный, как японская лакированная шкатулка, с плечами бандита и именно такой курчавой шерстью на голове, приплюснутым носом, выпяченными губами, покатым лбом и тонкими ногами, какие Нийл видел на всех изображениях негров-грузчиков и вообще «всех этих скотов с первобытными инстинктами», постоянно нападающих на отечески заботливых белых полисменов. В нем было все, что способно испугать до обморока белую, как лепесток цветка, арийку. У Нийла нервы были крепче, чем у дам, но он был весьма шокирован тем, что этот боксер оскорбляет кафедру святой баптистской церкви, надев поверх своего довольно потертого и лоснящегося синего костюма строгое облачение священника.

Доктор Брустер все еще молча смотрел на своих прихожан, и постепенно до сознания Нийла дошло, что никогда еще ни в одном человеческом лице не видел он такой кротости, благородства, такой честной и мужественной доброты, такой бьющей через край любви ко всему живущему и к жизни во всех ее проявлениях. А когда он заговорил — это была речь сильного и ученого человека, который вышел из культурной семьи, учился в замечательном университете, речь человека, который способен быть нестерпимо красноречивым.

— Друзья мои, а в частности те новые друзья, которых мы сегодня приветствуем среди нас, давайте для начала споем «Как тверда опора». Это боевой гимн Республики для переживаемых нами дней борьбы.

Ивэн Брустер (кстати, он действительно был доктор философии Колумбийского университета) учился еще в Гарвардском университете и духовной семинарии «Юн-юн», где студенты веруют в пресвятую троицу: Отца, Сына и Социологию, причем отец для них — символ, сын — поэтический миф, а социология окружена розовым ореолом. Но только после всей этой учебы Ивэн обрел свою религию и расу.

Родился он в Массачузетсе, в деревушке, укрытой тенью вязов и белых колоколен. У отца его, портного, были заказчики среди белых. Теперь доктору Брустеру перевалило уже за сорок, была у него тихая жена, дочка, названная им Тэнкфул<sup>1</sup>, и сын Уинтроп, который учился в средней школе и обнаруживал большие способности к физике. Когда Брустер приехал в Гранд-Рипаблик, церковь, в которой ему предстояло служить, помещалась в лачуге, в так называемом «Шведском овраге». А за тот десяток лет, что он прожил здесь, население этого островка, отведенного неграм, на его глазах возросло с трех-четырёх сотен до двух тысяч человек. На его глазах запуганные, совсем забытые или, наоборот, чересчур дерзкие темнокожие иммигранты из Каролины и Техаса становились гражданами, молодежь пошла учиться в колледжи, дослуживалась до офицерских чинов в армии, писала в газетах.

«Шведский овраг» был перенаселен финнами, поляками и эмигрантами из скандинавских стран. Арендная плата — недопустимо взвинчена (излюбленными клиентами Второго национального банка). И доктор Брустер увел своих прихожан и большинство остальных негров из «Оврага» в район кирпичных заводов и болот, где потом вырос квартал Файв-пойнтс. Когда строилась новая церковь, доктор вместе со своей паствой клал кирпичи, а его тихая, робкая, как лань, жена Коринна поила всех работавших мужчин кофе, приносила им молитвенники, а сестрам во Христе одалживала свою губную помаду.

Судья Касс Тимберлэйн сказал как-то, что доктор Ивэн Брустер — самый умный человек в Гранд-Рипаблик. Утверждение было спорное, если принять во внимание, что в Гранд-Рипаблик имелись такие умницы, как Суини Фишберг, или доктор Кэмбер и его жена, или уоргейтские химики, Эш Дэвис и Коп Андерсон, или, наконец, сам судья Тимберлэйн. Но ни один из этих людей, равных Брустеру по уму, не любил так горячо всё, что живет и страдает.

А друзья Нийла Кингсблада никогда и не слыхивали о докторе Брустере.

Пока пели гимн (пели его без всяких комичных рулад и не теми густыми голосами, которые всегда ассоциируются с негритянскими гимнами, а так, как поют все другие американцы-протестанты), Нийл разглядывал окружающих.

Все они, за исключением четырех-пяти человек, явно были чистокровные негры. Знакомых оказалось только двое: чистильщик обуви, мудрец Уош, который сегодня, в двубортном синем пиджаке, похож был на маленького, замкнутого, но добродушного еврея-банкира, и кухарка судьи Тимберлэйна, миссис Хигби.

К тому времени, как кончили петь и уселись слушать евангелие, Нийл открыл, что все эти люди больше не кажутся ему чужими, «цветными», совершенно иными, чем он. Чувство отчуждения незаметно исчезло. Внешнее сходство между ними — цвет кожи, курчавые волосы — настолько меньше бросалось в глаза, чем индивидуальные особенности каждого, что в сознании Нийла они уже перестали быть неграми, это были люди, которые вызывают к себе интерес, о которых думаешь, которых любишь или ненавидишь.

Даже Брустер больше не казался ему безобразным, в нем было своеобразное благородство серого медведя — гризли, и Нийл начинал смутно понимать, какая это наглость со стороны людей белой расы —

<sup>1</sup> «Благодарная».

считать свою анемичность и сухощавость единственным мерилom красоты.

Нийл не был уже больше любопытствующим туристом, ему отчаянно хотелось узнать свой народ. Его зрение приобрело какую-то особую остроту, и он видел, сколько оттенков имеет кожа негров. Здесь были негры цвета черного стекла, пергамента, кремового, медного, лимонно-желтого. Был один с совсем светлой кожей, густо усеянной веснушками, и почти такой же рыжий, как Нийл, — тем не менее в нем сразу можно было угадать негра.

Нийл стал искать в них сходства с теми белыми, которых он знал. Высокая и, вероятно, строптивая женщина, которая пела гимн с таким елейным видом, — вылитая миссис Хэвок, жена Буна. Вот та шикарная дама, стройная, холодно-приветливая, у которой лицо затенено надетой набекрень черной шляпой с лиловой вуалеткой, а жемчужные серьги словно светятся на темной шее, очень напоминает миссис Пенлос, а эта, надменная, блее всякой белой женщины и все-таки явно не «белая», а «черная» — ведь это не кто иная, как неприступная Ева Чэмперис!

Рабочий рядом с ним, тот, что с улыбкой предложил ему открытый молитвенник, очень похож на старого плотника, полушотландца, полуирландца, который когда-то давал ему, мальчишке, длинные сладко пахнувшие стружки, и он из них мастерил бороды и парики и разжигал ими бивачные костры, играя с товарищами в индейцев.

До этого дня Нийл никогда не замечал, что человеческие руки могут быть так прекрасны, как руки этого плотника. Тыльная их сторона была скучного темносерого цвета, но ладони — розовые, как у самого Нийла, и только в линиях оставался темный оттенок. Ногти были такие же розовые, как у Нийла. То были руки, умевшие ловко сдирать старые доски, уверенно держать молоток, орудовать долотом, ласкать ребенка.

«Быть может, такие руки могут делать что-то более важное, чем вписывать цифры в grosбух», — вздохнул Нийл.

Он пытался проверить, правда ли, что негры пахнут как-то особенно.

Подобно большинству американцев, он всегда был уверен, что все негры имеют какой-то особый, противный запах, — и сейчас он старательно нюхал воздух. Он отчетливо различал запах мыла, нафталина и свежего белья — так пахнет всегда в жаркое воскресное утро толпа в церкви, все равно, белые ли это, черные, желтые или краснокожие. Словом, попытки Нийла проникнуть в тайны своего народа были неудачны — он ведь ожидал, что негры окажутся совсем не такими, как люди той касты, к которой он тоже принадлежал, люди, которых называют белыми.

Он начинал находить в докторе Брустере суровую красоту неотделанной бронзовой статуи и духовную красоту коптского святого под солнцем пустыни. И точно так же он уже остро чувствовал красоту женщины с жемчужными серьгами, чем-то напоминавшую ему пантеру, и здоровую юную прелесть этих ужасающе типичных американских школьниц, которых он видел вокруг себя.

Проповедь была длинная и торжественная. Доктор Брустер доказывал, что там, где царит божественная любовь и божественный закон, не может быть разврата...

Тема эта не очень занимала молодого человека, жаждущего знать, как следует поступить тому, кого бог создал белым, а законодательные акты многих богобоязненных штатов Америки признают черным. Такую проповедь, как эта, можно было услышать в любой церкви: рокфеллеровской готической на Пятой авеню, на Мичиган-авеню или на Голливудском бульваре.

Если Нийл критиковал доктора Брустера за слишком витиеватую проповедь, неуместную в этой убогой церкви, то своим чтением священного писания Брустер его взволновал. Нийл мало смыслил в трагедии, но и он почувствовал высокий трагизм того, что с такой мягкой выразительностью читал пастор, — извечной жалобы всех темнокожих народов, всех людей Востока, женщин и мужчин, страдающих, растерянных, замученных нищетой..

Нийлу вдруг представился лагерь, где гонят скипидар. Люди, словно изваянные из меди или вырезанные из черного дерева, протяжно поют и шагают в цепях, в которые их заковали белые. Иногда останавливаются, чтобы поболтать, посмеяться, и идут дальше — в болота, навстречу восходящему солнцу.

«Это моя история, мой народ, — думал Нийл. — Я должен выступить и сказать правду».

## 19

Во время проповеди Нийл обратил внимание на целую семью, занимавшую скамью по другую сторону прохода: отец — мужчина лет шестидесяти, мать, сын — в форме капитана, молодая женщина с прелестным ребенком на руках и девушка лет семнадцати. Все они производили впечатление людей серьезных и интеллигентных, и всех их, за исключением темнокожей молодой женщины и ее малыша, бесспорно можно было принять за белых, если бы не то, что они явно были обычными посетителями этой церкви.

Где-то он видел уже раньше этого капитана. Но где?

Наконец он вспомнил, что это — тот самый «черный», который учился с ним в одном классе и которого все товарищи уважали, но сторонились. Впрочем, кое-кто из белых девочек не скрывали, что он им нравится, и его даже раз выбрали старостой класса. «Как же его звали?.. Да, вспомнил: Эмерсон Вулкэйп».

Кто-то говорил Нийлу, что Эмерсон стал дантистом, и у него в Файв-пойнте зубо врачебный кабинет с креслом новейшей системы, рентгеновским аппаратом и даже ассистенткой в халате — всё как у самого настоящего врача с частной практикой. Нийлу, сыну такого «настоящего» зубного врача, это показалось тогда несколько комичным.

А сейчас он уже не находил в этом ничего смешного, точно так же как и в том, что Вулкэйп носит форму капитана, какую носил он, но на воротнике у него вместо знаков, символизирующих джентльменские орудия убийства, просто жезл Меркурия и буква D<sup>1</sup> — и это указывает на столь невоинственное и неблагоприятное занятие, как спасение человеческих зубов.

Нийл вспомнил, что в школьные годы он как-то раз видел все семейство Вулкэйпов на высоком берегу реки Соршей, где они устроили пикник, разостлав прямо на скале скатерть в красных и белых клетках.

<sup>1</sup> Эмблема военных дантистов в американской армии.



Они пели тогда хором, и он с завистью подумал, что в его семье никогда не бывает так весело. Кроме того, теперь он был уверен, что не раз видел папашу Вулкэйпа около того дома-развалины, в котором помещается таверна «Сирена», — он, видно, служит там уборщиком или швейцаром. Но сейчас ничто в нем не напоминает о швабре и печной золе. Серый костюм сидит ловко и свободно, галстук повязан красиво, а гордо откинута голова, увенчанная темными с проседью волосами, напоминает голову римского сенатора.

Глядя издали на серьезное и одухотворенное лицо Джона Вулкэйпа, слушавшего проповедь, Нийл ощутил холодок грозного предчувствия и подумал о собственном будущем в том мире, где он живет, — мире Праттов и им подобных, где для такого человека, как Вулкэйп, нет ничего, кроме черной работы полураба. Он с жаром уверял себя, что, при всем его сочувствии неграм, объявить о своем происхождении было бы с его стороны не очень-то остроумно и принесло бы ему большой материальный ущерб. Но...

«Хотел бы я иметь такое же чувство собственного достоинства, как этот человек», — сказал он себе со вздохом.

В миссис Вулкэйп было что-то такое знакомое. Нийл ломал голову, стараясь понять, что же именно, и, наконец, сообразил, что она удивительно похожа на его мать. Он вздрогнул, отогнал эту мысль. Взглянул опять. «Она должно быть старше мамы и более спокойная и решительная». Но янтарно-белая, как светлый мед, кожа, точеный нос, маленький рот, в выражении которого было что-то робкое, застенчивое, глаза, ничего не просившие для себя, — всем этим она до того напоминала Нийлу мать, что он почувствовал себя связанным с нею и ее семьей чем-то большим, не одной только легендой о следопыте, бродившем в пограничных лесах. Этой женщине он охотно рассказал бы все, что она пожелала бы узнать, и ее улыбка и ласка принесли бы ему утешение.

— Да будет господь с нами, рассеянными по свету, да очистит он нас от скверны, да живет он среди нас в неистощимой доброте своей.

Ивэн Брустер сделал паузу — он смотрел прямо на Нийла с чудесной дружеской улыбкой — потом закончил:

— Да пребудет он среди нас, богатых и бедных, черных и белых, все мы его дети.

Хор африканок, которые были в то же время и американками, еще монотонно тянул: «Благословенны узы связующие», но молитвенное настроение было уже нарушено, так как все встали—все, кроме Нийла, который сидел как зачарованный.

Двигаясь к выходу вместе с последней группой прихожан, Нийл чувствовал, что они не могут решить, пришел ли он сюда как друг или только из любопытства, здороваться ли с ним или не глядеть в его сторону. Только пришельцы из южных штатов по опыту знали, что самое безопасное — это поскорее отсюда убраться.

У двери доктор Брустер пожимал всем руки. Он сказал Нийлу совершенно тем же тоном, каким говорил с другими: «Мы очень рады видеть вас сегодня среди нас, брат мой».

Шаблонность этих фраз раздражала Нийла, но разве белый священник, доктор Бэнсер, не употреблял их?

Пожимая руку доктору Брустеру — а к этому времени Нийл уже успел натренироваться и делал это просто, без всякой демонстративности, — он успел рассмотреть его вблизи. У доктора Брустера веки в углах глаз у переносицы нависали складками, он вспотел, как батрак

в поле, и руку пожимал он крепко, по-деревенски. А из глаз смотрела вся скорбь человеческая.

Выбравшись, наконец, на улицу, взволнованный Нийл не был рад тому, что испытания кончились. Он был растерян, ошеломлен, а вокруг никто — ни встречавшиеся ему теперь на улицах белые с сурово-замкнутыми лицами, ни бездельничавшие в трактире игроки — конечно, не поможет ему разрешить сомнения. Вряд ли они так терпеливы, как Ивэн Брустер.

Долго и неподвижно смотрел он на кинотеатр «Эфиопия» на противоположном тротуаре, как будто это был Шартрский собор. Он не замечал, что неподалеку остановилась семья Вулкэйп, разговаривая с соседями, — обычная болтовня в воскресное утро по выходе из церкви. Капитан Эмерсон Вулкэйп, видимо, узнал Нийла, но не ожидал, что Нийл захочет узнать его, и был очень удивлен, когда тот слегка поклонился и пробормотал:

— Я сразу подумал, что это ты, старина. Мы с тобой ведь не виделись с самого окончания школы.

Вулкэйпы смотрели на него в молчании, которое могло стать либо дружеским, либо враждебным. Он поспешно подошел, желая, из ему самому не ясных побуждений, чтобы его приняли ласково.

— А ведь я всех вас уже видел однажды, много лет назад, — у вас был такой веселый пикник, что мне даже завидно стало.

Все заулыбались с расхолаживающей вежливостью, а Нийл продолжал торопливо, как человек, который любой ценой хочет заставить себя полюбить:

— Жалею, что я раньше не имел удовольствия слушать доктора Брустера... Э... побывали на фронте, капитан... Эмерсон?

— Да, побывал. — Эмерсон неохотно сделал то, чего требовали приличия: — Капитан Кингсблад, это моя жена, — вы, вероятно, знаете ее отца, Дрэксела Гриншоу из «Фьезоле», — и наш малыш. Это — мои родители, а эта молодая девица — моя племянница Феба... Мама, я тебе рассказывал о мистере Кингсбладе, мы учились в одной школе.

Все Вулкэйпы были в эту минуту похожи на детей, которые, по приказу старших, поздоровались с чужим человеком, сующим свой нос, куда его не просят, и рады, что теперь можно улепетнуть. Но Нийл, с риском, что его «осадят», не хотел этого замечать. Эта семья стала ему безмерно необходима. Когда человек в тридцать один год рождается негром, ему нужна семья.

Он никогда не умел просить. Но сейчас он прямо-таки заискивающе обратился к Эмерсону.

— Вам куда, капитан? Я не очень хорошо знаю эту часть города.

На этот призыв откликнулся не Эмерсон, а его мать. Она сказала сердечно:

— Тогда пойдемте вместе с нами, капитан.

Джон и Мэри Вулкэйпы жили неподалеку от церкви, Эмерсон — в соседнем с ними доме.

Когда они двинулись в путь, Джон кивнул на крохотный домик священника и, пытаясь завязать разговор, сказал:

— Ну как вам понравилась проповедь, капитан Кингсблад? Мы все очень уважаем доктора Брустера.

Вулкэйпов удивила горячность, с которой этот белый из банка (который, наверное, пришел сюда с мало похвальной целью разнюхать что-то для клиентов своего банка) ответил:

— По-моему, в нем замечательно сочетаются сила и кротость. Он святой, и притом умница!

— Он слишком хорошо играет в кегли и слишком хороший повар, чтобы быть зачисленным в святые, но мы очень любим доктора Брустера, — отозвалась миссис Вулкэйп, и Нийл почувствовал, что они подсмеиваются над ним и его отзывом. Но это его не смутило. Он смотрел на пасторский домик, грязно-белый, одноэтажный, — в нем, наверное, три или четыре комнатухи, и все они вместе не больше одной их скромной столовой в Силвен-парке. На окнах накрахмаленные занавески, на веранде, размером в носовой платок, — три горшка герани.

— Этот домик маловат для такого крупного человека. И у него, вероятно, семья?

— Да, жена и двое детей. Доктор Брустер говорит, что им, чтобы уместиться, приходится спать на плите, а под плитой держать ванну, и кота, и библиотеку, состоящую из двух книг! — сказал мистер Вулкэйп.

Но жена его возмутилась.

— Ну как не стыдно, Джон. Ты прекрасно знаешь, что у Ивэна замечательная библиотека — это при его-то жалованье! — сотни книг, все интересное, что вышло за последнее время, — Мирдэл, Райт, Лэнгстон Хьюз, и Элэйн Лок, и чего только нет еще!

Остальные засмеялись — видно было, что семья у них дружная.

Нийл ухватился за новую тему.

— Приход маленький — вряд ли вы можете платить ему много. Это обидно.

— Не можем, конечно. У нас тут, знаете ли, у всех заработки маленькие. И пришлось Ивэну... доктору Брустеру, чтобы сводить концы с концами, взять вечернюю работу на почтамте — дети у него еще малы. Но он только шутит и посмеивается, — рассказывал Джон с гордостью. — Говорит: «Будьте довольны, что пастор у вас государственный служащий, а не попрошайка». Он — контролер, — хвастливо добавил Джон, — и у него в подчинении несколько белых!

— Но такому человеку, с несколькими университетскими дипломами, сидеть на почте и сортировать рекламы!..

— Мы на это смотрим иначе, — стоял на своем Джон. — Мы рады, что наш пастор хочет работать наряду с нами, простыми людьми, а не мечтать у себя в кабинете. Больше всего это нравится моему сыну Райану — он у нас тоже в армии, но сейчас приехал в отпуск. В церковь с нами не пошел, — боюсь, что он немного левый...

— Ах ты, боже мой, капитану Кингсбладу, наверное, страшно интересно слушать про наши домашние дела! Ты бы еще рассказал ему про нашего шестипалого щенка, — насмешливо перебила Мэри и протянула Нийлу руку, прощаясь. Но он сделал вид, что не замечает протянутой руки.

Они стояли уже перед домом Вулкэйпов: домик был немногим больше пасторского, одноэтажный, безупречно выбеленный. Нийл упорно стоял и не уходил. Джон, в конце концов, вынужден был предложить:

— Может, зайдете к нам?

И Нийл вошел вслед за хозяевами, не заботясь о том, довольны они или нет. Он твердо решил не упускать такого случая, — узнать побольше о неграх, и такая мелочь, как светские приличия, не могла его остановить.

Он видел, что Эмерсон и его отец переглянулись, как бы говоря: «Чего надо здесь этой банковской акуле? Какая очередная хитрая затея белых скрывается за этим?».

Нийл попробовал создать атмосферу дружеской встречи старых школьных товарищей и сказал:

— Помните, капитан, ту смешную старую курицу, что преподавала у нас алгебру?

Эмерсон засмеялся.

— Помню, как же! Чудачка такая!

— Но сердце у нее было доброе. Раз после урока она мне сказала: «Нийл, если бы ты приналег на алгебру, ты мог бы когда-нибудь стать губернатором нашего штата!».

— Неужели, капитан? — сказал Эмерсон протяжно, и в тоне его было что-то оскорбительное. — А вот мне она объявила раз после урока, что для человека моей расы изучать алгебру, а не ремесло повара — «это же просто напрасная трата времени!» и что она это говорит, желая мне добра.

Сердечность между старыми школьными товарищами сменилась холодом. Вулкэйпы смотрели на гостя угрюмо, они ждали, чтобы выяснилась истинная цель его прихода... Может быть, банковские служащие теперь ходят по домам и уговаривают людей застраховать свою жизнь?

— Вы меня простите, я вовсе не хочу мешать вашему воскресному обеду. Я сейчас уйду. Но сначала я бы очень хотел кое о чем вас спросить. Я так мало знаю о... об этой части города. А мне просто необходимо понять... узнать ближе... этот район.

Он хотел сказать «узнать ближе негров», но побоялся обидеть их. Как надо говорить — «негры», или «цветные», или «эфиопы», или употреблять громоздкое слово «афро-американцы»? Которое из этих названий наименее обидное? В Италии он слышал раз, как один солдат-негр кричал другому: «Эй, ниггер, пошевеливайся!» — а между тем теперь он знал, что черных возмущает эта кличка. Вот и разберись тут!

На него смотрели уже ласковее.

— Что же вы хотели у нас узнать, капитан Кингсблад? — спросил Эмерсон.

«А откуда они знают, что я капитан? Неужели правду говорят люди, будто все чернокожие участвуют в заговоре против белых, хотят их истребить? Будто они очень злобные и хитрые дикари, первобытные, как полночные дымные костры для человеческих жертвоприношений, заговорщики, которые шпионят за каждым шагом белого и все записывают в книжечки, а записи эти идут на просмотр к знахарям и агентам коммунистов?».

Нийла томило желание сказать вслух: «Я негр по крови — так следует ли мне объявить себя негром?». Мысленно подыскивая подходящие слова, он осматривал комнату.

Какие основания у человека с нормальными умственными способностями удивляться тому, что дом негра с шаблонным вкусом и склонностью к чистоте и уюту обставлен точь-в-точь так же, как дом белого американца с шаблонным вкусом и склонностью к чистоте и уюту? «Чего же ты ожидал? — с укором спрашивал сам себя Нийл. — Языческого алтаря, на котором творят заклинания? Барабанов и шкуры леопарда? Или думал увидеть игральные кости и оплетенную бутылку с кукурузной водкой? Или картину Элджера Кортора и фотографии

Хайли Селасси?»<sup>1</sup> Да, он, очевидно, в глубине души ожидал какой-то экзотики.

Но если бы он и его знакомые были не адвокатами и коммерсантами, а швейцарами и уборщиками, то у них были бы совершенно такие же комнаты, как эта: истертый ковер, кресло с обивкой «под гобелен» и скамеечкой для ног, разрисованные пепельницы, радиоприемник красного дерева, дамские журналы и довольно плохие репродукции довольно плохих картин, на которых изображены цветы.

«Вестэл одобрила бы эту обстановку и сказала бы, что у миссис Вулкэйп во всем больше порядка, чем у нашей Ширли».

Но Нийл тут же перестал лгать самому себе. Он подумал с острой болью, что и представить себе невозможно, чтоб Вестэл когда-нибудь могла притти сюда и запросто беседовать с этими людьми, людьми его расы.

Однако они ждали, и он сделал попытку объяснить им все.

— Я вот что хотел у вас спросить.. не знаю, как сказать... Видите ли, после одного случая я почувствовал, что мне следует поближе узнать вас... э...

— Негров, — подсказал Джон Вулкэйп.

— Да, негров — или цветных. Нам все равно, как ни назовите, — добавила его жена. Оба говорили учтиво и с некоторой снисходительностью.

— Мама хочет сказать, что мы одинаково не любим оба эти названия, но все же они не так бесят, как «ниггер» или «черномазый» или «енот» или «сажа», или «пиковый валет» и все другие клички, которыми белые землекопы утверждают свое превосходство над неграми-епископами. Я думаю, должно пройти еще несколько десятков лет раньше, чем негра станут называть просто американцем или человеком, — сказал Эмерсон.

— Не будь так чертовски заносчив, — прикрикнул на Эмерсона отец. — Насчет гнусных кличек ты прав, но с каких это пор землекоп настолько ниже епископа? Я сам чернорабочий!.. Если капитану Қингсбладу желательно узнать побольше о неграх, мы охотно расскажем ему все, что можем.

— Конечно, расскажем, — поспешно согласился Эмерсон. — Я вовсе не из заносчивости это говорил. Естественно, что человеку не нравится, когда его клеймят, как скот. А вот если вам хочется настоящей жаркой схватки, капитан, дождитесь моего брата Райана и поговорите с ним о расовом вопросе. Ему только двадцать два года, но он рассуждает иной раз так удивительно и несовременно, как девяностолетний старец. Райан сейчас в отпуску — надеется, что его скоро демобилизуют, но пока мы оба с ним еще солдаты. Он сержант — и с каким пренебрежением смотрит сверху вниз на нас, капитанов! Он побывал в Индии, и, слушая его, можно подумать, что он на короткой ноге с Ганди и Неру, хотя они, может, об этом и не подозревают. Да он еще и в Бирме побывал.

Упоминание о службе за границей вызвало между обоими военными оживленный разговор на темы, интересующие всякого участника войны. Капитан-медик Эмерсон Вулкэйп имел выправку настоящего солдата, говорил, как настоящий солдат.

Нийл подумал, что если в Эмерсоне и не чувствуется того обаяния, какое есть у великого властителя умов, майора Роднея Олдвика, во

<sup>1</sup> Негус Эфиопии.

всяком случае он не менее авторитетно толкует о бомбардировщиках «Б-29», рационах, полковниках и морской болезни.

Все уселось, но один только Нийл, видимо, чувствовал себя свободно и непринужденно.

Племяннице Эмерсона, Фебе, о которой до сих пор не было сказано ни слова, очень скоро надоело слушать беседу достойных ветеранов, — эта беседа показалась бы скучной любой семнадцатилетней американке. Феба была грациозное создание, молодость была в ней ключом. У нее были такие же золотые волосы, как у Бидди, такая же белорозовая кожа, как у сестры Нийла, Джоан, но от Джоан она отличалась неугомонной живостью.

Феба вскочила с места, когда в комнату вошел мальчик ее возраста. Лицо у него было совсем черное, ярко выраженного негритянского типа, но в своем синем воскресном костюме и белом шерстяном свитере с рыжей каемкой вокруг ворота он был типичный американский школьник — с гордо распрямленными плечами, независимый и вольный, вероятно, даже чересчур уж вольный и независимый, как и его белые одноклассники, приводившие в отчаяние наседок-учительниц.

— Это Уинтроп Брустер, сынок нашего пастора. Они с Фебой едут сегодня на прогулку в Дулут, — сказала миссис Вулкэйп таким тоном, как будто речь шла не о поездке за семьдесят с лишним миль и обратно, а о том, чтобы пройти два шага до парка.

Уинтроп поздоровался, Феба торопливо пробормотала «извините, нам пора» с вежливо замаскированной радостью, что можно, наконец, сбежать от тридцатилетнего старца, — и оба умчались в облаке бензиновых паров, как мчались двое американских подростков, Нийл и Вестэл, лет десять тому назад.

А миссис Вулкэйп пожаловалась совсем таким тоном, как когда-то мать Вестэл:

— Беспokoит меня эта девочка... Я говорю о нашей внучке Фебе. Она круглая сирота, и на нас с Джоном лежит ответственность за ее судьбу. Я в ее годы, когда училась в средней школе в Оберлине, вела себя иначе. Она как будто влюблена в Уинтропа — он чудный мальчик и, когда окончит колледж, будет крупным специалистом-электротехником или чем-то в этом роде. Но Феба находит, что он слишком благоразумный и вечно чем-то занят, и вот—как вам это понравится?— наша девица преспокойно заявляет, что она влюблена еще, кроме того, в Бобби Гауса, эстрадного танцора, и в сына наших соседей, Лео Дженсинга. Ну, Лео-то — белый, так что мы ничего такого не допустим.

— А вы так предубеждены против белых? — удивился Нийл.

— Да, я ей постоянно твержу, что с ее образованием — сам я только начальную школу кончил — непростительно винить огулом целую расу! — сердито сказал ее супруг. — Я ей говорю: немножко терпения и внимания, и ты найдешь среди белых столько же добрых и разумных людей, сколько и среди наших... Впрочем, и я тоже против смешанных браков. А знаете, почему? Потому только, что есть множество людей, и белых и черных, которым не дано сильно любить, и они из зависти пакостят, как только могут, мужчине и женщине разной расы, которые так сильно любят друг друга, что ради этой любви готовы стать отщепенцами. Разумеется, весь этот черный «кодекс» — идиотство, но он так тесно связан со старым мифом о какой-то аристократии, как,

например, «Дочери американской революции»<sup>1</sup> или английское титулованное дворянство (я читал об этом где-то), что от него нельзя отмахнуться, как нельзя отмахнуться от сифилиса, с которым у него много общего.

— Джон! — ахнула миссис Вулкэйп.

— Поэтому, — продолжал ее муж, — если бы Феба вздумала выйти за белого, я бы... нет, капитан Кингсблад, скажу вам честно: будь я проклят, если знаю, что бы я тогда сделал! Запер бы ее или, наоборот, сбросил бы мою фуражку швейцара и застрелил первого, кто попробовал бы вмешаться и стать девочке поперек дороги.

— Ну, ну, Джон, довольно тебе кипятиться, — сказала миссис Вулкэйп, — но сказала как-то механически, заученным тоном.

Жена Эмерсона с малышом ушла домой — несколько демонстративно. Нийл понимал, что все ждут его ухода.

— Я засиделся, мне пора... Но скажите мне: тяжело неграм здесь, на Севере, ну, скажем, в Гранд-Рипаблик? Это с моей стороны не простое любопытство. Мне ужасно, ужасно нужно знать!

Старики и Эмерсон посовещались молча, одними взглядами, и Эмерсон ответил за всех:

— Да, тяжело. Безгранично тяжело.

Но мать его поправила:

— Не всегда. Чаше мы просто забываем, что мы парии, и делаем каждый свое дело, не думая о расовом вопросе и не чувствуя себя выродками. Но временами становится невыносимо — не столько за себя, сколько за близких. И я понимаю молодежь, когда слышу их безумные речи насчет пулеметов. Грешно это говорить, но я их понимаю!

Ее слова расстроили Нийла.

— Право, миссис Вулкэйп... честное слово, я не думаю с вами спорить, я просто хочу знать правду. Без сомнения, в южных штатах неграм плохо, но здесь, на Севере, ведь люди же не имеют такого предубеждения... Ну, может быть, отдельные случаи, да... Но никаких законных ограничений! Да вот, например, — добавил он с гордостью, — я знаю, что в нашем штате существует «Закон о гражданских правах», и негры могут посещать любые рестораны. И что-то незаметно, чтобы ваш сын и Феба страдали от расовой дискриминации.

— Капитан, — сказал Эмерсон. — Мы с вами школьные товарищи. Я тогда считал... и теперь вижу, что был прав, считая вас искренним и добрым малым. Вы старались хорошо относиться к большинству мальчиков, и у нас с вами были общие интересы — математика, спорт, обществоведение. Тем не менее, за двенадцать лет вы почти ни разу со мной не заговаривали, только здоровались, да и то как-то нерешительно.

Нийл кивнул головой.

— Это верно. И просить прощения слишком поздно. А мне хочется я попросить у вас прощения. Но Феба и ее поколение — совсем другие. Она, мне кажется, смела и в себе уверена ничуть не меньше, чем, скажем, моя сестра.

Мэри Вулкэйп, всегда такая тихая, сказала громко и горячо:

— Эта девочка уже начинает испытывать на себе те унижения, которые ждут негра на каждом шагу, в особенности здесь, у нас, где белые так довольны собой. На Юге нам говорят, что мы — псы и должны знать свои конуры, и тогда нам бросят жирную кость и милостивое

<sup>1</sup> Реакционная организация, членами которой могут быть только потомки американцев — участников войны за независимость.

слово. А здесь, на Среднем Западе, нам говорили, что мы — совершенные человеческие существа, поощряли в нас надежды и потребность мыслить — и вот теперь мы острее чувствуем беспрестанные напоминания, что мы якобы — низшая раса; и боль от унижения сильнее, чем страх линчевания, отравляющий жизнь нашим на Юге. Унижения! Вот что вам, белым, следовало бы узнать!

...Особенно достается тем из нас, кого легко принять за белых. Мы постоянно встречаем людей, которые не знают, что мы — негры, и хорошо к нам относятся, так что мы, как дураки, перестаем обороняться. А потом в один прекрасный день они от нас отворачиваются с презрением, или свирепо смотрят на нас, или начинают нас избегать, — и мы догадываемся, что они узнали, — и конец дружеским встречам! Ну а те, у кого кожа черная... Так вы говорите, на Севере нет дискриминации? Нет, только на негра смотрят, как на гремучую змею, все эти презренные люди в поездах, автобусах, магазинах. Негру редко дают работу где-либо, кроме кухни, независимо от его способностей. Самолюбивые люди становятся шулерами или бродягами, потому что никто не хочет доверить им ответственную работу. Подчиняясь закону, негра неохотно пускают в ресторан и там оскорбляют или третируют, так что негр предпочтет голодать, а второй раз туда не пойдет. И точно так же он, скорее, целую зимнюю ночь будет бродить по улицам, чем решится спросить номер в хорошей гостинице. И нам с Джоном, когда мы приезжаем куда-нибудь, противно останавливаться в отеле (хотя и а с туда пустили бы), в то время, как наших братьев гонят на улицу.

Нас унижают — одних этим совсем пришибли, а другие, как мы с Джоном, предпочитают сидеть дома всегда, чтобы не рисковать встретить белого. А за что? Мы не плохие люди, нет, нет, — и когда я подумаю, как добры и мужественны мой Джон, и сыновья, и отец мой, зоолог... Ох, извините! Я знаю, белым смешно, когда черная женщина расхваливает своих...

— Что вы, что вы! Говорите, пожалуйста! — Нийл был очень тронут и взволнован.

— Разве вам не приходилось читать в журналах юмористические рассказы о самоуверенных выскочках-неграх и слышать анекдоты о Мэнди и Растусе на банкете? Или возьмите Фебу... Вы тут говорили, что она — новое поколение. А вот на днях один белый — он служит в гараже, и ему за пятьдесят, и надо вам сказать, что Феба гораздо белее его, — так вот этот тип сказал Фебе, что он бы не прочь поспать с ней, если бы мог привыкнуть к тому, что она — негритянка. Конечно, это не так ужасно, как то, что творится на Юге, там наша знакомая цветная была тяжело ранена во время автомобильной катастрофы и истекала кровью, а ее возили из больницы в больницу и нигде не принимали, пока она не умерла на улице. Ведь это же убийство!..

Но и тут тоже, когда Феба должна была участвовать в школьном спектакле, ей даже до пробной читки объявили, что роль уже отдана другой, а ее подруге, белой, сказали тогда же, что для этой роли еще никого не нашли. А в этом году одна из учительниц все смотрела, смотрела на нее, и на греческих, и итальянских, и русских школьников, а потом сказала что-то вроде: «Тем из нас, чьи предки родом из Новой Англии, нет надобности объяснять, что такое дело чести».

Но, конечно, от этого она не умрет, ей не перебьют кости, как ее отцу, нашему старшему сыну, Баярду. Он обещал быть талантливым педагогом-экономистом. Учился в Карлтоне и, чтобы себя прокормить, все студенческие годы работал чернорабочим. Несмотря на это, окончил с отличием... Женился на чудной девушке...



Он вырос на Севере... да, да, я признаю, что на Юге хуже, еще хуже! Баярд вырос здесь и никогда не знал, что значит узаконенная дискриминация. Он просто не мог поверить, что порядочный образованный негр на Юге ничем не защищен от грубого насилия.

Он взял место преподавателя в негриганском колледже в Джорджии, где прадед его был рабом. Он писал мне, что когда в первый раз увидел гнусную надпись «Только для негров», он так возмущился и пришел в такой ужас, как будто увидел перед собой убийцу с ножом. Ему стало так худо, что он вынужден был отъехать в сторону от дороги, у него началась рвота.

Вначале он старался держать себя так, как советовали ему местные знакомые — подчиняться правилам (которые в этой игре устанавливает всегда одна сторона). Но не прошло и месяца, как его автомобиль был остановлен на улице полисменом, который обвинил Баярда в том, что он украл машину. Полисмен этот видел Баярда около колледжа и понял, что его светлая кожа ничего не доказывает и что Баярд — негр. Он вел себя так гнусно, что Баярд не вытерпел и дал ему должный отпор. Тогда его отвезли в участок и объявили гам, что он пьян, а он в жизни и пива в рот не брал. Баярд вышел из себя и пошумел. Его начали бить, смертным боем. Моего сына...

Били его долго... Пока он не умер там, на цементном полу. Он был красивый парень. Жене его сказали, чтобы она молчала, иначе ей не придется родить своего ребенка — это Фебу.

Когда Феба родилась, жена Баярда бежала на Север. Она ехала целый день и целую ночь в вагоне для негров и по приезде скоро умерла. Она не прожила и года после смерти Баярда. Он был красив, очень красив, а они все время колотили его головой о цементный пол, и он умер там, на этом полу, грязном, залитом его кровью...

Мэри плакала, и еще мучительнее было слышать этот плач потому, что он был не истерический, а тихий и безнадежный. Нийлу страстно захотелось отдать ей самое большее, что он мог отдать, — и он вдруг услышал собственный голос:

— Я вас понимаю, потому что и во мне есть негритянская кровь, я это недавно открыл.

«Боже милостивый, я все-таки сказал! И как я мог сделать такую глупость!»

## 20

— Как вы сказали? Вы — негр? Ну, знаете, это шутка не в нашем вкусе!

Джон Вулкэйп, не такой краснолицый, как Нийл, и потому более «белый», сказал это суровым тоном.

— И не в моем! Я не шучу. Я только на днях узнал это.

У Нийла было такое чувство, словно он попал в западню. Конечно, эти Вулкэйпы — милейшие люди, но неприятно все-таки, что он теперь в их руках. Он сказал умоляюще:

— Пожалуй, не следовало выбалтывать. Никто еще ничего не знает, даже мои родители, даже жена, но я боюсь, что это правда. Во мне очень небольшой процент негритянской крови, но по законам многих штатов я теперь — негр.

Его поразило, что они как будто не очень удивлены. Лица у всех были суровые. Он попытался изобразить беспечность:

— Ну что ж, очевидно, придется с этим мириться.

Джон Вулкэйп возразил спокойно:

— Не надо себя жалеть. Не будьте таким ребенком. Я вот уже шестьдесят пять лет «мирюсь» с тем, что я негр, и жена моя, и дети, и несколько миллионов других честных, порядочных людей тоже.

Они обменялись сердитым взглядом, но с Нийла разом соскочила спесь.

— Вы совершенно правы, мистер Вулкэйп. Пожалуй, мне опять надо извиниться перед вами. Поймите, это для меня такая новость, что я еще не успел к ней привыкнуть. Даже мать и отец ничего не знают. Я искал сведений о своих предках — и вот неожиданно натолкнулся на... гм...

— Вы, белые, сказали бы «на мазок дегтя», — саркастически вставил Эмерсон. — Не легко это пережить, да?

— Вам обоим лучше знать, легко это или нет! — огрызнулся Нийл.

— Джон, Эмерсон, перестаньте! Что вы на него набросились! — в голосе Мэри звучала материнская ласка и материнская строгость. — Ведь понятно, что он растерян. Бедный мальчик!

Она дотронулась рукой до плеча Нийла и легонько поцеловала его в щеку. Совсем так утешала его всегда родная мать.

— Сколько вам лет, сынок? — спросила она тихо.

— Скоро будет тридцать один, миссис Вулкэйп.

Он чуть не сказал «мама».

— Трудно человеку в такие годы прозреть и увидеть нашу жизнь, какая она есть. Нам, цветнокожим, ради собственной безопасности нужно понимать свой народ и понимать белых... А знаете что? — миссис Вулкэйп вдруг заговорила тоном хлопотливой хозяйки: — Оставайтесь-ка обедать с нами. Ваша жена не будет сердиться? Вот телефон, садитесь и звоните ей.

Вестэл сказала:

— Ладно. Ну, как вы там кутите с ветеранами? Весело тебе?

Оказалось, что Мэри Вулкэйп в одном отношении удовлетворяет мифическому представлению о «типичной негрityнке»: она отлично стряпала. Нийл, как новичок, удивился, что их воскресный обед состоял не из жареной курицы и арбуза, а из настоящего арийского ростбифа.

Эмерсон ушел обедать к себе домой. Прощаясь, он сказал Нийлу:

— Я никому ничего не скажу насчет того, что вы нам рассказали, капитан, пока вы сами не захотите. Но приходите к нам в клуб, вы будете желанным гостем. Бассейна у нас нет, уж не взыщите, но народ все очень симпатичный.

Они пожали друг другу руки. Теперь они были добрыми товарищами, как могли бы быть двадцать лет назад.

Джон сказал со вздохом:

— А Райан опять опоздал. Эта революционная молодежь способна опоздать на баррикады. Начнем без него... Давай обедать, Мэри!

Так Нийл первый раз в жизни сел обедать с новыми друзьями: древнейший, универсальный символ равенства!

За столом Джон и Мэри рассказывали ему о себе; «наверное, для того, чтобы я чувствовал себя, как дома», — подумал Нийл.

Джон Вулкэйп был «цветной», а наружностью совсем не отличался от «белых», — ведь и у «белых» кожа бывает розовая, и коричнево-смуглая, и серая. Джон никогда в жизни не бывал южнее Айовы и восточнее Чикаго. Родился он в Северной Дакоте — его родители были единственные негры в их округе. Отец был десятником железнодорожной бригады, дед был когда-то рабом в Джорджии, а после гражданской войны между Севером и Югом батрачил на ферме во Флориде, — ему у Флорида, наверное, не казалась раем, с рулеткой и пляжными зонтами.

Джон с детства работал на фермах, мечтал о колледже или сельскохозяйственной школе, но вскоре после того, как он поступил в среднюю школу, отец погиб — на него налетел оторвавшийся от состава товарный вагон — и Джон пошел в ученики к местному парикмахеру. Уже в качестве парикмахера приехал он в 1902 году в Гранд-Рипаблик, и здесь в двадцать два года он впервые узнал, что значит быть негром.

До тех пор необходимое негру дипломатическое искусство было ему знакомо не более, чем сейчас Нийлу. У отца в бригаде работали только итальянские и шведские рабочие, и Джон никогда не слышал ни от кого, что он — биологически низшее существо, а неискушенные товарищи его игр, белые мальчики, а главное — девочки, не подозревали, что прикосновение его оскверняет.

Правда, в дакотской деревушке кое-кто и шипел иной раз что-то насчет «помазка с дегтем», но то были «чудаки», «ворчуны», яд их замечаний не действовал на Джона.

Принятый в Гранд-Рипаблик, как белый человек и искусный парикмахер, он забыл нередкие намеки отца на таинственную «расовую проблему», имевшую какое-то отношение к их семье. В то время Джон, услышав от кого-нибудь, что он «черный», удивился бы не меньше, чем если бы ему сказали: «Ты — гортензиевый полип». Нет, он не считал себя «черным», да и ему было решительно наплевать, «черный» он или «белый», — ведь его клиенты и его подруга, швейцарка, любили его таким, как он есть.

Но вот в Гранд-Рипаблик перебрался один человек из его родной деревушки в Северной Дакоте, и человек этот шепнул что-то хозяину парикмахерской, а тот сказал Джону:

— А ты, говорят, мулат? Верно это?

— Как будто, да. Так что же?

— Да мне-то самому, пожалуй, все равно, но посетителям не понравится. Они все взбесятся и перестанут сюда ходить.

— А разве кто-нибудь уже протестовал?

— Нет, но могут запротестовать. Я не хочу рисковать. Честно тебе скажу, такого мастера, как ты, у меня еще не бывало, но я не могу рисковать.

Уже тогда, в 1904 году, была в ходу эта «формула осторожности», которая во всей своей безапелляционности, идиотизме и подлой трусости жива и поныне.

Джона увольняли из каждой парикмахерской, куда он ни поступал, — не потому, что он плохо работал или не нравился клиентам — по крайней мере, они никогда не жаловались, пока им кто-нибудь не сообщал на ухо великую тайну. Бывали случаи, когда Джон сам бросал им в лицо правду, потому что не в его характере было разыгрывать «дядю Тома». Ему претила эта прогорклая елейность.

Две минуты разговора с первым хозяином и увольнение сделали его «негром», пробудили в нем «расовое самосознание».

Его девушка, розовощекая швейцарка, которую он учил говорить по-английски, узнав страшную тайну, отнеслась к ней безразлично, но ее подруги, шведки и ирландки, растолковали ей, что если она хочет оставаться в стране демократии, то непременно должна бросить Джона.

Джон первый из негров в Гранд-Рипаблик узнал о том, что создана Национальная ассоциация содействия культурному прогрессу цветного населения — великая армия цветнокожих, и на съезде этой организации в Миннеаполисе он познакомился с Мэри, которая, как и он, была почти белая.

Мэри окончила Оберлинский колледж. Она была из Айовы, дочь состоятельного человека, зоолога, разводившего новые породы индеек, кур и гусей. Вначале Джон и Мэри не нравились друг другу, потому что у обоих была белая кожа и каждый подозревал другого в том, что он этим кичится. Но потом, когда выяснилось, что оба не желают иметь ничего общего с тиранами-белыми, это их сблизило. С тех пор их на всю жизнь крепко соединило тяготение ко всему честному и благородному и то, что у обоих был веселый характер.

Джон открыл собственную парикмахерскую, но скоро прогорел, и не из-за того, что он был негр, — мало оказалось таких посетителей, которые не желали, чтобы их стриг эфиоп, — а потому, что он не пожелал закрыть для негров двери своей парикмахерской, — и белые сочли своей общественной обязанностью наказать его за это.

Потом Джон решил стать механиком — он с детства был на все руки мастер. Но ему нехватало выучки, а в то время не было поблизости технических школ, да и все равно в такие школы негров не принимали. Они с Мэри подумывали о переезде в большой город, где он мог бы учиться, но так никому и не уехали. Они имели глупость верить в то, что всегда твердят белые агенты по продаже недвижимости: общество, — говорили агенты, — чтит всякого рабочего человека, который выразил ему доверие тем, что приобрел свой домик и обзавелся славной уютной семейкой.

И вот они купили домик, обзавелись «уютной семейкой» в лице Баярда — и застряли в Гранд-Рипаблик навсегда. Теперь Джон служил швейцаром и уборщиком и был очень рад, что удалось получить это место, а Мэри тоже зарабатывала — пекла пироги на продажу и ходила в богатые дома помогать прислуге в дни званых обедов.

— Да, да, капитан, я ведь вас видала несколько раз, когда прислуживала за столом у Хэвоков и у миссис Дедрик, но вы-то меня, конечно, не заметили, — сказала Мэри. И хотя эта разумная и добрая женщина, вероятно, сказала это без всякого умысла, Нийлу стало стыдно.

Он думал: «Будь у Джона Вулкэйпа ярлык «белый» и такой тесть, как Мортон Бихауз, Джон мог бы быть сейчас директором Второго национального банка, а Джон Уильям Пратт, если бы он родился негром, служил бы истопником и уборщиком. Но если мистер Пратт был бы вполне на месте и превосходно топил бы печи, с увлечением подметал и выбрасывал старые бутылки, мистер Вулкэйп был бы, наверное, менее доволен своей жизнью и, лебезя перед крупными вкладчиками, конечно, не сохранил бы того чувства собственного достоинства, которое заметно в нем теперь».

За обедом почти все время обсуждался вопрос, следует ли негру Нийлу становиться негром.

— Одно я вам настойчиво советую, мистер Кингсблад: не спешите с этим и не действуйте опрометчиво, — говорил Джон.

Нийл чувствовал, что эти люди ему уже близки, как отец и мать, — да, он о своих родных отце и матери знал меньше, чем о Вулкэйпах. Ему было бы приятно, если бы они звали его просто «Нийл», но они только заменили обращение «капитан» менее чопорным «мистер» и только иной раз то Мэри, то Джон называли его ласково «сынок».

— Не надо играть в мученика, — убеждал его Джон. — Чтобы знать, как вам следует поступить, или во всяком случае понять, чего вам хочется, вы почитайте серьезные книги о моей расе. Я вот уж тридцать лет пытаюсь их все прочитывать, да мешает то, что я — недоучка. Впрочем, мне повезло: стул истопника у печи — замечательное место для чтения.

... Когда вы почитаете и подумаете хорошенько, вы, может быть, и решите, что незачем вам переходить к нам. Нам, неграм, от этого лучше не станет, а для вашей матери, жены, дочурки это будет ужасно. Я, например, горжусь тем, что я негр. Я знаю среди своих множество простых, рядовых людей, подобных великим поэтам и героям, о которых говорится в Библии. Но белым бизнесменам не нравится, что среди маленьких людей — все равно, белых или черных — есть герои. Они пригибают нас к земле.

Во всяком случае, вы не вправе ожидать, что ваши женщины с радостью пойдут вместе с вами на такую муку. Не знаю, много ли есть жещин, способных на это? Пожалуй, они слишком благоразумны, чтобы находить счастье в мученичестве.

— Вот, сколько я ему ни толкую про Жанну д'Арк, он все стоит на своем, — пожаловалась Мэри. — Или взять хотя бы гораздо более разумную женщину — Гарриет Табмен!<sup>1</sup> А он не признает женщин — вот и все. Это старая закваска, влияние парикмахерской.

Нийл размышлял вслух:

— Собственно говоря, я вовсе не собирался объявить, что я негр! А вы, конечно, презираете негров, которые отказываются от борьбы?

Старики молча вздыхали. Наконец Джон сказал серьезно:

— Нет, не презираем. Нам грустно терять их, но мы понимаем, как им трудно. И у нас, негров, уже давно такое правило — если твой старый друг проходит мимо в компании белых и не узнает тебя, ты и глазом не моргни, чтобы его не выдать. И мы скорее язык себе откусим, чем выдадим то, что вы нам доверили. Точно так же будет молчать и наш младший сын, Райан, если вы с ним познакомитесь и захотите рассказать ему. Да, да, на него вы можете положиться скорее, чем на кого бы то ни было, хотя он и самый левый из нас и ужасно иной раз дерзит белым.

Может быть, вы заглянете к нам в пятницу вечером? У нас будут Клемент Брейзенстар из Союза взаимопомощи и один химик, Эш Дэвис...

— С доктором Дэвисом я уже знаком — он приходил к нам в банк.

— И еще, может быть, придет Софи Конкорд. Это одна сестра милосердия, очень красивая женщина — и умница. Все они ужасно любят толковать о расовом вопросе, даже больше, чем я. Может быть, на один вечер это вам будет интереснее безика или другой карточной игры, в которую вы обычно играете.

— В бридж, наверное, — подсказала более сведущая Мэри.

— Приду непременно — обещал Нийл.

— Вы им не говорите, что вы по крови негр, и вообще, мистер Кингсблад, на вашем месте я бы, пожалуй, не стал распространяться об этом. Это ничего, что вы нам сказали, для нас вы вроде как свой человек. Эмерсон, бывало, все про вас рассказывал, когда вы оба учились в школе. Вы ему очень нравились.

... Если придете сюда в пятницу, вам будет полезно поговорить с Клемом Брейзенстаром. Он черен, как ад, и родом с дельты Миссисипи — самый простой негр с плантации, в колледже не учился, но вряд ли хоть один из этих модных университетских профессоров читает столько, сколько Клем.

Ну, а Эш и Марта Дэвис, те — «средние», не такие черные, как Клем, и не родились в поле между стеблями хлопчатника, но и не такие белые северяне, дети снежных бурь, как мы с Мэри. Кожа у них янтарно-желтая, они родились на границе Севера и Юга, а вы знаете, каковы белые в тех местах — в Тенесси, Кентукки: никогда не знаешь, чего от них ожи-

<sup>1</sup> Негритянская героиня периода, предшествующего Гражданской войне в США.

дать. Сегодня они назначают негра в полицейскую охрану, завтра — линчуют его и потом помещают в «Курьере» трогательный некролог.

Нийл нахмурился.

— Я не вполне уверен, что и я не грешен перед неграми.

— Как так?

— Да вот у нас недавно служила негритянка Белфрида Грей, и я очень плохо к ней относился. Считал ее нерыхой и злокой и почти ненавидел ее, а из-за нее и всех негров. Вы ее не знаете?

— О да, мы знаем эту шлюху, — сказала миссис Вулкэйп совершенно спокойно, и Нийл был шокирован так, как если бы он услышал это слово от родной матери.

А мистер Вулкэйп выслушал Нийла с таким же невозмутимым спокойствием, как его жена.

— Да, Белфрида — дрянная девчонка, — подтвердил он, — дурной пример для нашей молодежи. Так что осуждать вас, пожалуй, не придется — разве только за то, что вы, как большинство белых, сразу же сделали вывод, будто все негры таковы. Да и для Белфриды можно найти оправдание: родители ее умерли, дед порядком одряхлел, а бабка — злобная старая ведьма. Белфрида — настоящий бесенок. Она любит дразнить польских девушек, хвастая тем, что одевается гораздо шикарнее их. Все-таки это лучше, чем быть такой, как Топси, кривляться и унижаться для потехи белых господ, или опуститься, облениться, воровать, — ведь во всем этом южане обвиняют своих цветных слуг. Да и ничего удивительного, что люди опускаются, когда им в жизни не на что надеяться и им отведено место только на кухне... В защиту Белфриды многое можно сказать.

— Ох, и надоел же ты мне твоими рассуждениями, — сказала Мэри. — Тошно слушать вечные ссылки на среду! Объяснение — не оправдание. Этак все убийцы, белые и черные, скоро начнут хныкать: «Я не виноват, я стал таким потому, что родители меня не понимали». А когда же родители понимали детей? Люди таким образом оправдывают свое пьянство и распутство даже здесь, в Файв-пойнтс. Это противно! Боруса Багдола, который торгует наркотиками и женщинами, нельзя оправдывать тем, что отец его, фермер, разорился до его рождения!

— Но даже Борус на своей шкуре испытывает, что такое дискриминация, — сердито огрызнулся Джон.

Таков был первый из тех споров о расовом вопросе, которые пришлось услышать Нийлу в Файв-пойнтс. Такие дискуссии велись там все ночи напролет, противоречивые, страстные, ученые, а иногда наивные и нескладные, когда высказывались портные, официанты, смазчики, люди, которые не покупают, как Оливер Бихауз или Джон Уильям Прагг, целые партии книг для дубовых полок у себя в кабинете, а берут книги для чтения в городской библиотеке.

Нийл сделал попытку вмешаться в спор Мэри с Джоном.

— Не думаю, чтобы среди белых было так уж много действительно вредных и злобных людей. Большинство вряд ли и знает, что существует дискриминация...

Незнакомый голос, молодой, но довольно басистый, с иронией произнес за его спиной:

— Так кто же те таинственные личности, которые создают дискриминацию?

— Мистер Кингсблад, это наш сын Райан, — сказала миссис Вулкэйп.

— Наш сын Райан, который вечно опаздывает, — добавил мистер Вулкэйп.

— Да, ваш преданный сын Райан, который почти всегда побивает противников в спорах по расовому вопросу. А кто такой наш гость?

## 21

Сержант Райан Вулкэйп в военной форме выглядел типичным англосаксом. Рост — шесть футов, два (или три) дюйма<sup>1</sup>, прямая спина и гордо откинута, как у отца, голова.

Он, паясничая, прорычал:

— Что это еще за новость? Оказывается, вы, розовые, против дискриминации?

Джон сказал резко:

— Хватит, Райан! Вот познакомься — это капитан Кингсблад из Второго национального банка.

— Этот отрадный факт мне известен, папа. Я видел, как он командует в банке... Капитан, извините меня за дерзость. Я не в духе — на то есть причины. Только что был в храме божьем и слушал доктора Джэта Снуда, это известный канзасский евангелист-фундаменталист, и притом фундаментальный негодяй. Вряд ли меня пустили бы в церковь, если бы служки знали, что я черный. Будь прокляты их червивые души и липкие рукопожатия! Но я все-таки попал внутрь и слышал авторитетные разъяснения Снуда: Иисус Христос, видите ли, желает, чтобы мерзнувшие христиане Миннесоты прогнали всех нас, негров, обратно в Джорджию... Так что вы, капитан, должны меня извинить — естественно, я разозлился, увидев в нашей убогой хижине одного из этих благочестивых фарисеев.

— Райан! Замолчи! — сказал мистер Вулкэйп.

— Райан, мистер Кингсблад по закону — не белый, — сказала миссис Вулкэйп.

«Так и знал! Не следовало им говорить».

— Он из наших, Райан. Он узнал это совсем недавно. Кстати, имей в виду, что надо строго хранить эту тайну! Он пришел к нам за советом и дружбой, а ты разговариваешь с ним, как техасский шериф!

Райан протянул Нийлу свою мощную лапу и, весело ухмыляясь, про-  
басил:

— Уж не знаю, радоваться ли или огорчаться за вас! А между прочим, я всегда находил, что вы не такой, как другие белые офицеры, — у вас вид славного малого. Теперь я понимаю, отчего. Добро пожаловать! Ей-богу, я больше ничего не скажу, жалею, что распустил язык. Но, знаете, в армии мы научились ненавидеть всех белых офицеров!

— Да за что же? — спросил Нийл. — Или вы часто наталкивались на случаи дискриминации? Я спрашиваю это потому, что мне не пришлось воевать вместе с цветными.

— Так вот слушайте, капитан, я вам расскажу. В одном лагере на Юге, где мы стояли, для белых солдат устраивались каждый вечер киносеансы или концерты в большом театре, к их услугам были шикарные комнаты, где они играли в карты и писали письма, любые автобусы, шедшие в город, и десятки баров. А для нас, негров, кино устраивали только раз в неделю, никакого уголка отдыха у нас не было, к автобусу приходилось шагать две мили, и наши автобусы ходили редко, в бары нас не пускали, а военная полиция постоянно следила за нами, так что мы чувствовали себя какими-то преступниками.

А цветные офицеры не имели никакой власти,—их сделали офицерами только для виду, чтобы умаслить черных избирателей. Негры-пол-

<sup>1</sup> 188—190 сантиметров.

ковники ездили в грязных разбитых вагонах — особых вагонах для черных! Одного негра-капитана, ехавшего в командировку, засадили в гражданскую тюрьму — а за что? В комнате для негров не было телефона — так он, чтобы позвонить своему начальнику по делу, вошел в зал ожидания для белых.

Но одним я доволен — тем, что удалось побывать на Яве и в Бирме: там я узнал, что думают туземцы о дискриминации, узнал, с какой радостью они готовы восстать вместе с нами, американскими париями, против проклятого угнетения!..

Райан вдруг остановился и сказал удрученно:

— Ох, опять тирада по расовому вопросу! Вините в этом не меня, а преподобного Снуда.

Он улыбался Нийлу, как лучшему другу, а того ужаснула такая разрушительная ненависть к белым. Захотелось отстраниться от всего этого. Расовая проблема его не касается.

Миссис Вулкэйп, пытаясь умиротворить всех, проворковала:

— Знаешь, Райан, мы встретили мистера Кингсблада утром в церкви. Он находит, что Ивэн — замечательный проповедник.

Райан только усмехнулся в ответ:

— Ты мне оставила поесть?.. Нет, не поймашь, я не разрешусь моей речью номер пять на тему о том, что все негритянские церкви еще мертвее церковью для белых. Молодчики, которые в прошлом поколении преподавали бы в воскресной школе, теперь работают на Национальную ассоциацию, а люди горячие, которые в прежние времена были бы дьяконами и вопили об аде, пошли в коммунистическую партию. Брустер — славный малый, но он все еще любимец множества «дядей Томов», лижущих ноги белым хозяевам, и он все еще способен в проповедях рассказать какую-нибудь трогательную историю о том, как белый грешник — непременно богатый и блестящий — был обращен на путь истинный бессловесным черномазым, который даже не в состоянии уплатить подушный налог для участия в выборах. Нет, мамаша, если ты хотела, чтобы я был добрым христианином и кротким агнцем, не надо было рассказывать мне о Саймоне Легри.

Пока этот добродушный головорез поглощал холодный ростбиф, миссис Вулкэйп объясняла Нийлу, что Райан мечтает организовать ферму на кооперативных началах. Но Нийл слушал без всякого интереса — он больше не мог вместить сегодня никаких расовых теорий и революционных идей.

Он обещал притти в пятницу. Райан сказал весело:

— А я не уверен, что мы примем вас в свою африканскую компанию. Вы будете страшно шокированы, когда узнаете наши истинные убеждения — те, которых мы не сообщаем ни одному белому. Представьте, мы даже не признаем обычая переодеваться к обеду!

Нийл решил, что Райан просто дурачится, и, приличия ради, надо слушать его с улыбкой и довольным видом. Но когда он шел к автобусу, с отвращением обходя цветных бездельников, важно прогуливавшихся по Майо-стрит по случаю воскресного дня, в нем кипел гнев.

«Ах, вот как, мой юный сержант, вы не уверены, примут ли еще меня в свою среду ваши единоплеменники? Мне следовало бы знать... И отчего я такой идиот? Ну хорошо, вот я и вернулся к прежней жалкой своей судьбе: будущий директор банка, белый!»

Но он ничего не мог с собой поделать. Дороги назад не было. Глаза Мэри Вулкэйп смотрели на него с грустным упреком — а ведь только что они ласково утешали его, как новообращенного сына, в горе.



Он пришел домой, не зная, кем, где и как будет отныне существовать Нийл Кингсблад.

Вестэл встретила его спокойно и весело.

— Ну, как твои ветераны? Чем вы там занимались — рассказывали друг другу, как вы храбро воевали?

— Вот слушай, что я узнал, — сказал он веско: — цветные войска в загоне, их не ценят по заслугам. Негры строят аэродромы, ведут машины под огнем — а никаких наград не получают.

— Ай-яй-яй, как нехорошо! Может, и я тоже виновата в том, что не давали им медалей? Ну, не огорчайся, я прикажу Конгрессу немедленно это уладить. Бедные черномазые! Я всем им выдам ордена Пурпурного сердца, Розового креста и Изумрудного арбуза второго класса.

— Тебе бы следовало отнестись к этому серьезнее, Вестэл, — упрекнул он ее. — Ну, я пойду вздремнуть.

— А к этому ты серьезно относишься? — пошутила Вестэл.

Раньше, чем он лег спать, его заставили посмотреть рисунок Бидди — новый проект бомбардировщика.

Он забыл открыть окна, а день был жаркий — начало лета, — и сон его был беспокоен.

Ему снилось, что он бежит, объятый ужасом, по ночному лесу, проваливаясь в болота, налетая на деревья, и ветви хлещут его по лицу, по вытянутой вперед голове. Он задыхается так, что у него колет в легких, а во рту от жажды — палящая пустыня. Он не знает, чей тяжелый топот слышит за собой, но знает, что они его ненавидят, будут пинать его ногами в пах, бить по зубам, вырвут ему глаза...

Его остановило кольцо мерцающих огоньков. Он увидел, что это глаза ищеек, припавших к земле. А за ищейками, когда вспыхнули факелы, он разглядел полукруг людей, таких страшных, каких он в жизни не видел, с лицами в складках, как морды ищеек, с холодными змеиными глазами, и эти люди двигались к нему, подходили все ближе. Подошли вплотную...

Кто-то произнес над его ухом самым обычным разговорным тоном:

— Проклятый насильник-негр! Ручаюсь вам, что этот крюк пройдет как раз сквозь его берцовую кость — точка в точку!

Он лежал на земле, и чей-то большой сапог — он ясно различал идущий от него запах навоза — чей-то сапог бил его по голове. И он лежал уже не на опавших листьях в лесу, а на цементном полу, грязном, залитом кровью, а сапог все бил и бил тяжелыми короткими ударами, и нестерпимая боль пронизывала череп...

Его поднимали, он дергался. Это поднимала его веревка, медленно затягивалась на шее петля... И вот уже он стоит на прогалине болотистого леса и смотрит вверх на себя самого, висящего на дереве и еще дергающего ногами. И видит он, что лицо у того повешенного — его собственное лицо, лицо белого человека, румяное и веснушчатое, а обнаженное тело — черное, как чугун, да, чугунно-черное, блестящее от пота в неровном свете факелов. Черные руки и ноги нелепо, механически дергаются — и он вместе со всеми остальными белыми зрителями стоит и хочет: «Глядите, как этот черный пляшет! Умора! Вылитая лягушка, черная лягушка! Глядите, глядите на этого негра! И они хотят, чтобы их считали такими же людьми, как мы! Ха-ха-ха!»

Он проснулся, но ужас не проходил.

«Ведь это могло быть со мной. Даже в Миннесоте бывали суды Линча. Если узнают, меня будут ненавидеть еще больше, чем тех, кто всегда был негром. Я еще чувствую на шее веревку.»

Нет, нельзя мне себя выдавать, не могу я итти на такую муку.. Но если моему народу это так нужно, я должен это сделать...

Однако я должен подумать о Бидди. Я не хочу, чтобы она, как Феба Вулкэйп, с ужасом думала о забитом насмерть отце. Но, может быть, она захочет сама за себя постоять? Теперь и маленькие девочки вот-какие — рисуют бомбардировщики, безжалостные»...

«Глядите, глядите, как эта черная лягушка дергается! И они хотят, чтобы их считали людьми!»

Нийл вдруг почувствовал, что ему хочется бежать к Вулкэйпам, к Мэри, но прежде всего — к Райану.

## 22

Доктор Кеннет Кингсблад подмигнул сыну, показывая этим, что у них есть секрет от женской половины семьи, и, отведя его в сторону, спросил, покашливая:

— Ну как, подвинулись твои розыски? Доказано, что мы — законные короли Британии?

Вопрос до такой степени возвращал Нийла к далекому прошлому — на полгода назад, что он удивился не меньше, чем если бы отец спросил: «Ну, так ты окончательно решил голосовать за Рутерфорда Хэйса?»

Все еще угнетенный воспоминанием о своем сне, Нийл в этот вечер пошел к родителям, как всегда, на традиционный воскресный ужин: горячий суп, холодная курица с жареным картофелем и мороженое из соседнего кафе. Бидди уложили наверху на диване, а Вестэл беседовала с матерью Нийла и его сестрой Джоан на вечную тему о прислуге и детях, — о том же, вероятно, беседовали почтенные женщины и в первобытных пещерах, и в древних английских замках, и в Китае, под крышей с колокольчиками, во времена первой династии. Сегодня был выходной вечер прислуги, когда хозяева чувствуют себя так уютно, свободно, по-домашнему в собственном доме.

На вопрос отца Нийл ответил шутливо: «С придворными документами дело пока не подвинулось, ваше величество» и торопливо заговорил о другом.

В этот вечер он внимательно вглядывался в лицо матери и нашел что-то негритянское в ее темных глазах, но затем вспомнил, как он раньше находил черты племени Чиппива в наружности Вестэл.

В увлечении Африкой не следовало забывать, что он также и потомок храбрых индейцев. Вот, например, сегодня вечером, томимый тревогой, он хотел бы быть далеко отсюда, плыть по бурному озеру в пироге индейца. Ему было весело думать, что в наследие, доставшееся ему от предков, входят не только гробухи и лемех, но и индейские пироги и ножи кафров.

Если мзрная семейная обстановка субботнего вечера не принесла Нийлу успокоения, то и шум и блеск следующего вечера ничуть не помогли ему забыться.

Это был один из почти непрерывной серии званых вечеров под лозунгом «Добро пожаловать, майор Родней Олдвик, родина гордится вами, сэр!» — вечеров, услаждавших короткий отпуск Рода. Он на днях уезжал опять в армию, чтобы «демайоризоваться» и вернуться домой уже в качестве ветерана с почтенным послужным списком. Он собирался по приезде объявить в газетах, что опять возобновил адвокатскую практику.

На этом, уже последнем и окончательно прощальном, вечере Нийл услышал, как Род, оседлав любимого конька, говорил:

— Мы, ветераны, должны дружно бороться со всеми теми элементами, которые породили разгромленный нами фашизм: я имею в виду низшие расы, которые стали изменниками и ослабили английское, американское, французское и голландское государства, дав таким образом возможность дегенерату Гитлеру напасть на Уинстона Черчилля.

Нийла вдруг ошеломило открытие, что его кумир—не только злобный, но и тупой, нудный обыватель. Не было человека несчастнее Нийла, увидевшего в этот вечер истинное лицо одного из своих друзей.

Не думайте, что после того страшного сна Нийл не спал по ночам. Мало было вещей, способных лишить его сна. Он усиленнее всего размышлял не по ночам, а во время утреннего бритья, — его приводили в глубокомысленное настроение многочисленные красоты его электрической бритвы, прелестного сочетания никеля и слоновой кости (поддельной), которая, без помощи таких пережитков феодализма, как мыло и щеточка, скользила, подобно руке любимой женщины, по его массивному подбородку, молниеносно срезая блестящие волоски и доказывая, что современная культура, пожалуй, все-таки кое-чего да стоит.

Бреясь, Нийл думал о том, что его курчавые волосы, отраженные в круглом зеркале, перед которым он сидел, похожи на шевелюру доктора Брустера. Думал о Ивэне Брустере, его серьезной простоте и доброте. И так как Брустер был баптист, как и он, то Нийл стал размышлять о высокой мудрости баптистских проповедников и их теологической программе.

Он спрашивал себя: во что, собственно, верит он, Нийл Кингсблад? В какого-то определенного бога? В личное бессмертие? Какие цели у него в жизни, кроме стремления сохранить любовь Вестэл и дать возможность Бидди расти счастливо? И за что бог покарал Вестэл, послав ей мужа негра? Или это вовсе не кара, а высокое откровение?

Держа бритву неподвижно в воздухе, Нийл признался себе, что вот уже добрый десяток лет (если не считать разговоров с Тони Эллертоном) вопросы богословия занимали его не более, чем Вашингтон и его вишневое дерево<sup>1</sup>.

Но у него же есть законный пастырь, преподобный доктор Шелли Бэнсер, священник баптистской церкви в Силвен-парке, человек разумный и приятный. Почему не допустить, что этому ученому священнику известно о боге и бессмертии нечто, скрытое от простого рабочего и от банкира, и что церковь наняла доктора Бэнсера именно по этой причине, а вовсе не потому, что он — душа общества, любитель гольфа, отлично выполняет церемонии венчания и крещения и является надежным импровизированным оратором в кампаниях по проведению займов?

Итак, во вторник вечером Нийл отправился с визитом к доктору Бэнсеру и привел его в сильное замешательство, спросив напрямик, что ему известно о боге и истине?

Приятно было пройтись в летний вечер мимо кленов и свежеполитых лужаек Силвен-парка. Баптистская церковь представляла собой громоздкое сооружение из серого и красного камня, а рядом помещался ветхий деревянный приходский дом, имевший какой-то постный вид,

<sup>1</sup> Имеется в виду исторический анекдот о том, как Георг Вашингтон в детстве срубил вишневое дерево и сознался в этом отцу. В американских школьных хрестоматиях — пример правдивости для детей.

хотя миссис Бэнсер (она была уроженка Огайо) пыталась придать ему возможно более светский вид тунисскими портъерами, синими с золотом.

Кабинет пастора — он называл его «студией», а иногда, шутливо, своей «святая святых» (бедняга!) — являл собой смесь строгости и щегольства. На мрачном темнокрасном письменном столе стояли розы в шведской вазе, а на стене, между портретами Адонирама Джудсона и Гарри Эмерсона Фосдика, висела картина под названием «Котятя и ребята».

Доктор Бэнсер был кругленький, восторженный человек, на двадцать лет старше Нийла, продукт Брауновского университета<sup>1</sup> и богословского факультета Йельского университета<sup>2</sup>. Реденькие волосы, епископский голос — и штатский костюм с красным галстуком. Пастор угостил Нийла хорошей сигарой — или, скажем, относительно хорошей.

— Мой мальчик, я того мнения, что предпочитать вульгарную сигарету сочному, тающему вкусу этой травы — признак вырождения, поэтому присаживайтесь и курите, а я отложу в сторону томик Саки. Должен сознаться, я спасаюсь от низменных будничных забот вот этой сокровищницей ума и отрешенности...

И он ловко сунул в ящик стола книгу, которую читал. Называлась она «Гнусное убийство».

К крайнему неудовольствию его преподобия, оказалось, что Нийл пришел не затем, чтобы пригласить его выступить в Клубе местных патриотов или Союзе молодых администраторов, а затем, чтобы узнать у него кое-что, да еще такое, чего не отыщешь ни в одном из справочников, имеющих в его прекрасной библиотеке. А если бы доктор Бэнсер знал и с т и н н ы е цели этого наивного прихожанина, он пришел бы в ярость и обляял бы его.

— Доктор Бэнсер, я получил письмо от одного солдата, который служил под моей командой, и он пишет, что у него возникли подозрения, будто в его жилах есть немного негритянской крови. И вот он спрашивает моего совета по вопросу, который вы можете разрешить скорее, чем я. Он женат и, видимо, очень счастлив в браке, у него два сына, и никто в его семье понятия не имеет о том, что у него какие-то предки — и, повидимому, весьма далекие — были негры. Он спрашивает меня, как будет благороднее — сказать правду семье и, может быть, друзьям или умолчать обо всем?

Доктор Бэнсер сделал вид, что серьезно размышляет — занятие, в котором он был не силен. Затем:

— Скажите, Нийл, кто-нибудь подозревает о его несчастье?

— Насколько я понял из его письма, никто.

— Он часто имеет дело с неграми?

— Сомневаюсь.

— А кстати, Нийл, в а м часто приходится общаться с неграми?

Нийл похолодел.

Стараясь говорить безразличным голосом, он протянул:

— Должен признаться, что до сих пор не имел дела ни с какими чер...

Нет, он не скажет «черномазыми», хотя бы даже этим себя выдал! И он закончил:

— ... ни с какими неграми, кроме прислуги и проводников в спальнях вагонов.

<sup>1</sup> Общедоступные учебные заведения, типа так называемых «народных университетов».

<sup>2</sup> Одно из наиболее привилегированных высших учебных заведений в США.

— Я это спрашиваю потому, что в таком случае вы вряд ли способны понять всю глубину несчастья этого бедняги и даже, я бы сказал — религиозную сторону этого.

«Боже, какое облегчение!»

— А вот мне, Нийл, случайно пришлось много сталкиваться с чернокожими. В Брауне, например, я жил почти рядом с одним негром и неоднократно (раз шесть, я думаю, не меньше) заходил к нему и старался обращаться с ним, как с равным. Но этим людям, даже тем из них, которые получили университетское образование, всегда не по себе в обществе белых, ибо мы нашу культуру унаследовали от отцов и дедов, и поэтому она для нас нечто вполне естественное.

Мы знаем и мы рады тому, что и они — дети милосердного господ, и, быть может, когда-нибудь, через сто или двести лет, они своей психологией почти не будут отличаться от нас. Но сейчас они все, даже те, в чьих жилах очень небольшая доля этой дурной крови, чувствуют, что они — низшие существа, и настолько сильно, что белому невозможно и полчаса просидеть с ними и разговаривать откровенно и смело, как вот мы с вами.

Потом уже здесь, в Гранд-Рипаблик, я работал с неграми в разных комитетах, заседал с ними за одним столом и, таким образом, имел возможность узнать их ближе. Но по-настоящему я узнал их только на Юге. В качестве — ха-ха-ха! — интерна, что ли, я провел целый месяц в одном богоугодном заведении в Шривпорте, в Луизиане, — и там я понял, что негров на Юге изолируют не для того, чтобы их унижить, а чтобы защитить от злонамеренных людей обеих рас — до той поры, пока они не вырастут умственно и способны будут бороться с жизнью, как вы, и я, и всякий белый человек.

Поймите: я считал бы непростительной изоляцией в качестве постоянного установления. Нет никаких причин заставлять американских граждан ездить в отдельных вагонах и есть отдельно от других, — если они американские граждане в полном смысле слова, но я очень опасюсь, что этого не решат о себе утверждать даже и наиболее развитые из наших черных друзей!

Никто не признает так охотно, как я, малейшие достижения черных, например, в севообороте, в разведении свиней, в кулинарии. Но пастырю приходится заглядывать в глубочайшие недра жизни, и мы — великие реалисты. И как же нас ненавидят за нашу честность и прямолинейность! Что ж, пусть ненавидят, — я всегда говорю, что это только хорошо рекомендует нас, ха-ха-ха!..

Однако вернемся к вашему солдату и решим, что ему делать. Если его никто не принимает за негра, так я не вижу никакого греха в том, что он будет молчать и останется официально белым. В сущности, никто из нас не обязан сообщать людям все, что ему известно, ха-ха! Все-таки, если вы с ним настолько близко знакомы, что не боитесь его этим обидеть, посоветуйте ему держаться как можно дальше от белых, иначе расовые признаки рано или поздно непременно выдадут его, как раздвоенное копыто выдает дьявола. Вот у меня, например, после жизни на Юге такой наметанный глаз, что я бы его сразу изобличил. Словом, вы ему дружески посоветуйте быть тише воды, ниже травы, держать язык за зубами и жить себе потихоньку да полегоньку, как полагается, ха-ха-ха! Понятно?

— Да, пожалуй, это будет... — У Нийла уже пропал всякий интерес к богословским доктринам, которые мог изложить ему Бэнсер. Но им овладело искушение, знакомое всем нам. Часто хочется расспросить

священников, судей, врачей, сенаторов и полисменов-регулирующих, каковы их истинные мысли, когда они сидят у себя дома в ванне, не забронированные мундирами.

— Доктор Бэнсер, вам, конечно, приходится сотрудничать в разных комитетах не только с неграми, но и с евреями?

— Да, частенько. У меня даже один раввин обедал раз, за семейным столом, вместе с миссис Бэнсер и нашей дочкой и малышом. Надеюсь, после этого вы не станете отрицать, что я — отчаянный либерал?

— Ну, а как насчет негров, доктор? Вы сочли бы возможным пригласить к обеду негра, если это, скажем, ученый проповедник?

— Та-та-та, Нийл, не пытайтесь прижать меня к стене! Я уже вам сказал, что я — священник новой школы. Я ничего не имею против того, чтобы, скажем, на каком-нибудь съезде сидеть рядом с представителями негритянской интеллигенции. Но позвать кого-нибудь из них к себе обедать — о, нет, друг мой! Это было бы нехорошо по отношению к ним. Им чужд наш образ жизни и образ мыслей. Могли бы вы вообразить негра, какое бы богословское образование он ни получил, в приятной и непринужденной беседе с миссис Бэнсер, которая увлекается Скарлатти и клавирами и окончила консерваторию в Форт-Уэйне?

— А какого вы мнения о здешнем баптистском проповеднике-негре, докторе философии, фамилия его, кажется, Брустер или что-то в таком роде?

— Я встречал этого «доктора» Брустера. Что ж, он производит впечатление очень приличного и скромного человека.

— А чем объяснить, что в нашей церкви нет прихожан-негров, да и случайно к нам не заглядывает во время службы почти никто из них?

— Когда они «заглядывают», как вы изволили легкомысленно выразиться, то наши церковные старосты, по моему распоряжению, объясняют им, что хотя, конечно, каждый чернокожий — наш брат и желанный гость, но ему гораздо лучше молиться среди своих, в церкви на Файв-пойнтс. Думаю, что наши старосты очень ясно дают им это понять, — так и надо!..

Некоторые молодые священники со мною несогласны. Они ведут себя так, как будто они — наемные агенты рабочих союзов и разных еврейских и негритянских организаций. Нам говорят, что господь наш Иисус Христос преломлял хлеб с ворами и грешниками. Но нигде не сказано, что он сидел за одним столом с неверующими и бунтарями, с разрушителями христианства, корыстными агитаторами, — все равно, белыми, черными или желтыми. Понятно это вам, мой друг?

— Да, теперь мне все стало понятнее. Большое спасибо, доктор, — сказал Нийл.

## 23

В банке мистер Пратт обратил внимание на мрачную рассеянность Нийла и со свойственной ему легкой шутливостью сказал, хихикая:

— У вас такой мечтательный вид, Нийл, уж не влюблены ли вы?

Но даже в эти дни, когда решалась его судьба, Нийл оставался «одним из наших надежнейших молодых сотрудников», и пункт ветеранов давал банку желанные текущие счета демобилизованных: пускай сейчас эти люди ходят в обтрепанных солдатских шинелях — завтра они будут акушерами, арендаторами музыкальных автоматов в трактирах или откроют фабрики леденцов.

Среди ветеранов, приходивших за советом к Нийлу, оказалось неожиданно много негров, и Нийл уже с тревогой спрашивал себя, не Райан

ли их направляет к нему, и что именно он им сообщил, и вообще не грозит ли ему разоблачение. Но он не смел ни о чем спросить.

Все это было вступлением к предстоящей ему в пятницу вечером встрече с цветной интеллигенцией.

В этот вечер он настоял, чтобы автомобиль взяла Вестэл, так как он «должен опять пойти на собрание ветеранов», и отправился к Джону Вулкэйпу пешком и в автобусе.

Эмерсон уже вернулся в свою часть, но Нийла встретили Джон, Мэри, Райан, и Эш и Марта Дэвисы. К удивлению всех присутствующих, да и его собственному, он обрадовался доктору Дэвису, как давнему закадычному другу, вновь найденному после разлуки.

Легкая, плавная походка и выделявшаяся на гладкой коричневой коже золотая цепочка-браслет, на которой он носил свои ручные часы, делали Эша Дэвиса похожим скорее на завсегдатая парижских бульваров, чем на американца, а черными усиками он напоминал французского артиллериста — его легко было представить себе в небесно-голубом мундире. Служивцы Эша по лаборатории, хотя и считали его человеком с причудами за страсть к теннису, музыке и ботанике, однако признавали, что он серьезный химик-исследователь, хорошо изучивший производство пластических масс. Он работал три года в лабораториях Парижа, Цюриха и Москвы, и за годы, проведенные в Европе, почти забыл, что он — негр, и считал себя просто человеком.

Как ни тяжело было ему вернуться в великую «серую» республику, он решительно сделал это. Никто не слышал от него восторженных рассказов о том, как он блаженствовал за столиками кафе «Селект»<sup>1</sup> среди белых представителей богемы. Нехватка химиков в военное время помогла ему получить ответственную должность на заводе Уоргейта. Он наивно верил, что его оставят там и после войны, и, покончив с «жизнью на колесах», они с Мартой купили себе безобразный домик на Кано-хейтс и перестроили его.

Эш вел трудовую, полезную и чистую жизнь и, если не считать обшества Марты и их дочери Норы, был почти анахоретом. Он уважал в Вулкэйпах и Брустере настоящих граждан и борцов, но эти люди не ценили тех ученых и остроумных разговоров, которые были коньком Эша.

Марта, миловидная голгушка с блестящей темнокоричневой кожей, была уроженка Кентукки, дочь чернокожего адвоката. В колледже она серьезно изучала драматургию — вот почему ее дочь Нора носила имя героини «Кукольного дома»<sup>2</sup>. Марта никак не могла согласиться с тем, тем, что ее супруг «нахальный негр, не знающий своего места». В ее глазах он был серьезнейший ученый, благороднейший человек, веселый товарищ и нежнейший из мужей.

Марта прилагала все усилия к тому, чтобы более бедные члены негритянской общины не считали их с мужем «выскачками». Для такого рода подозрительности у бедняков были некоторые основания. В каждом городе имелось достаточное число таких негров, которые, разжившись на торговле разными средствами для рощения волос или возгордясь тем, что служат в суде, забывали хижину своих дедов и стремились пролезть в так называемое лучшее цветное общество, блиставшее дебютантками кофейного цвета и такого же цвета лимузинами, педерастами и пролажными поэтами, собиравшимися в салоне мадам Нуар-Мозамбик, и охотничьими завтраками, на которых гости для пушего эффекта

<sup>1</sup> Кафе литературно-художественной богемы в Париже.

<sup>2</sup> Пьеса Ибсена.

щеголяли в красных фраках, — завтраки эти упоминались в светской хронике газет (негритянских).

Нийл не знал о существовании такого «лучшего общества», ненавистного Марте Дэвис. Он делал неизменную ошибку всех новообращенных, воображая, что негры не могут быть такими самодовольными, ограниченными пошляками, как белые. А между тем, разрешите вам сказать, они тоже могут в любое время облачаться в гофрированные манишки и, усвоив тридцатипроцентный раствор лондонского акцента, быть такими же нудными, как господа с Парк-авеню. Нийлу предстояло еще сделать много открытий насчет цветной расы, а затем уже, в свете этих открытий, лучше узнать и белых.

Вулжэйпы, Дэвисы и Нийл сидели, искали тем для разговора и, найдя, тут же отбрасывали их. Наконец, хлопнула дверь, в комнату вошел человек, похожий на талантливого, обаятельного комического актера, и все закричали: «А, Клем!»

Клемент Брейзенстар, известный районный агент Союза взаимопомощи, вышел из низов. Он был сын простого негра-испольщика с Дельты Миссисипи, и самая фамилия его происходила от названия какой-то тамошней плантации. В колледже Клему учиться не пришлось, но он читал — и много! — доставая книги из-под земли, в свои юношеские годы, когда колесил по всей стране, был поваром, коридорным, продавцом удобрений, газетным репортером, организатором. В настоящее время на Клеме лежала обязанность находить для негров подходящую работу, обличать тех чернокожих фермеров, которые ленились изучить устройство газомоторов и правила кооперативных закупок, и наконец (этого ему начальство не поручало, это он делал по собственной инициативе) бесить белых директоров колледжей, одобрявших изоляцию негров. Клем любил виски, земляные орешки, Толстого и бокс. Он говорил вполне прилично по-французски — научился в Марселе в годы первой мировой войны — и сносно по-итальянски и еврейски. В то время, как Вулжэйпы были совершенно «обесцвеченные» северяне, а Дэвисы — приятно-коричневого цвета, напоминавшего об арабах и садах Альгамбры, — в Клеме Брейзенстаре пораженный Нийл увидел типичный образец того, что проповедники ненависти называли «черная мартышка с Дельты». Малорослый, с ухмыляющейся обезьяньей физиономией, вертлявый, как петрушка, Клем был черен, как ночь, черен и блестящ, как новенький лист черной копировальной бумаги. Казалось, он черен не только снаружи, как Ивэн Брустер — например, а весь насквозь, до мозга костей. Губы у него были почти лиловые, ушные отверстия отливали чернотой, белки глаз имели желтый оттенок и даже ладони были не розовые, а темноватые. Лицо Клема неизменно сохраняло комическое выражение, в особенности тогда, когда он был настроен серьезно, потому что тогда он смеялся и над собой и над всеми.

Его губы были в постоянном движении, выбрасывая насмешливые словечки, лоб напоминал бурлящий водоворот морщин. Он пленял своим безобразием, как бостонский бульдог, — и при всем том этот человек с темной и блестящей кожей, такой веселый и уверенный в себе, был прекрасен, как черный дрозд, беззаботно усевшийся на колеблемом ветром тростнике.

Говорил Клем с акцентом, представлявшим смесь миссисипского, гарлемского и гнусавого средне-западного. Клем часто, говоря о себе и своих знакомых, употреблял слово «ниггер», но никогда недруг не произносил его при нем безнаказанно. Большинству окружающих Клем казался необыкновенным, оттого что он был совершенно естественный,



нормальный человек, которого никогда не сковывала ни честолюбивая семья, ни школа, ни какие бы то ни было чековые книжки.

— Знакомьтесь, это — капитан Кингсблад, наш новый друг, и притом добрый друг, — сказал Джон Вулкэйп.

Клем приветствовал Нийла дружелюбной улыбкой простого человека, которая не стоила ему никаких усилий. Он привык умиротворять или обличать белых точно так же, как подбадривать или разносить в пух и прах чернокожих.

— Как жизнь, капитан? Ну-с, братья и соратники, всегда приятно вернуться в Гранд-Рипаблик, с его «прелестями прогресса без малейшей дискриминации». В автобусе, в котором я ехал сюда, я сидел рядом с красивой дамочкой из Центральной Европы и ее сыном, славным таким нацистским шенком. Он глядел, глядел на меня, да как заорет: «Мама, смотри какой смешной негр!» А она отвечает самым теплым колоратурным сопрано, какое я когда-либо слышал: «Это безобразие, я напишу в афтопусное управление о том, что нас, американцев, запикируют вместе со фсяким спродом!»

Клем громко смеялся, рассказывая о том, как его оскорбили. Изумленному Нийлу еще предстояло узнать, что такова привычка наиболее неисправимых чемпионов расовой борьбы. Ничто их так не забавляет, как собственные поражения.

Да, они сохраняли веселость, но в разговоре неизбежно проговаривались «новому белому другу» о некоторых испытаниях, выпадающих на долю «граждан низшего сорта». Рассказывая о своей родине — пограничных штатах<sup>1</sup> — Эш Дэвис говорил, улыбаясь:

— Больше всего убивает бедного Самбо<sup>2</sup> непоследовательность дискриминации. В одном городе Юга ему дозволено покупать в любом магазине, и подниматься на лифте с парадного хода, и жене его можно примерить платье раньше, чем его купить. А в другом городе, в каких-нибудь сорока милях от первого, негр не имеет права войти ни в одну приличную лавку для белых, а если вздумает, так его арестуют. И даже в двадцатипятиэтажных домах, где помещаются одни лишь учреждения, негра пустят только в грузовой лифт на черной лестнице. В течение ряда лет мы, парии, свободно покупаем журналы в общем зале ожидания на вокзалах, — и вдруг какой-нибудь долговязый остолоп-полицейский арестовывает нас за то, что мы вошли в зал для белых.

Капитан Кингсблад, нас возмущает не только унижительность этого обособления: ужасно то, что невозможно угадать, когда самый невинный ваш поступок — например, то, что вы поклонились монахине — захотят расценить, как преступление, и избьют вас до смерти. Вот это-то вечный страх и неизвестность и заставляют многих робких людей хвататься за бритву.

Конечно, есть и такие негры, что хвалят Юг, так как там, благодаря изоляции, некоторые черные купцы богатеют за счет всех остальных своих соплеменников. В нашей прессе теперь идет спор о том, уходить ли нам на Север, где нас вымораживают, или оставаться на Юге, где нас сжигают. Так или иначе, среди негров постоянно слышны толки о том, что их обманули.

Клем Брейзенстар закричал сердито:

<sup>1</sup> Имеется в виду граница (до Гражданской войны) между Севером и Югом.

<sup>2</sup> Нарцательное имя негров.

— Скажите, ради бога, вы опять затеваете на всю ночь дискуссию по расовому вопросу? — и, усевшись поудобнее на диване, приготовился участвовать в этой дискуссии.

Нийл сказал поспешно:

— Прежде чем вы покончите с этим вопросом... (кто-то засмеялся), я хотел бы услышать ваше мнение насчет одного письма... я получил его несколько месяцев тому назад из армии от моего школьного товарища — он служит на южных островах Тихого океана. Можно мне прочесть вам кусочек этого письма?

Неопределенное хмыканье его собеседников, повидимому, означало согласие — и Нийл начал читать:

— «В последнее время у меня неприятная должность: я военный следователь. И, знаешь, я с удивлением замечаю, что теперь совсем иначе стал относиться к неграм. Их очень не любят в армии. Белый солдат дружелюбно относится к людям любой другой расы, но не к негру, потому что от негра он не видит той веселой любезности, с которой все белые относятся друг к другу, — а это очень важно, когда люди живут в такой тесной близости. Несомненно, среди негров есть отличные солдаты. Но в каждой военной тюрьме негров втрое больше, чем белых, и сидят они там за отлучки без разрешения начальства, за неподчинение прямым приказам, за половые преступления, за то, что пускают в ход ножи, за кражи у других солдат. И при этом все они лгут вдохновенно, без удержу. Таким образом, те из наших парней, которые до войны мало сталкивались с неграми, вернутся домой с сильным предубеждением против них».

Нийл ожидал взрыва негодования, но ответом было лишь молчание без всякой многозначительности. Воинственный сержант Райан Вулкэйп через минуту сказал равнодушно:

— Ваш товарищ по психологии своей — типичный полицейский. Он интересуется не хорошими, а скверными солдатами. Он понятия не имеет о бесчисленных доблестных цветных частях, как, скажем, 761-й танковый батальон, у которого громадные заслуги. Но зато он, наверное, знает басню, которую распространяют господа, подобные ему, во всей Азии и Европе: что у всех нас, цветнокожих, есть хвосты. Как после этого негру не быть веселым и любезным!

Все захохотали, а Клем Брейзенстар скомандовал:

— Довольно ораторствовать, Райан, слезай с ящика<sup>1</sup>, и поговорим толком. Капитан, то, что пишет этот следователь, отчасти верно — и тем необходимее вам, белым, ради себя самих, что-то круто изменить. Старые «дяди Томы» пели аллилуйю, когда с ними обращались не хуже, чем со скотом, но от нынешней нашей молодежи вы этого не дождетесь. Они читают книги. Скажем прямо — современный негр требует себе всех прав современного белого — всех! И он не скулит и не вымаливает их, он будет за них драться! Вы, белые Яго, создали революционную армию из тринадцати миллионов Отелло мужского и женского пола. Разумеется, цветные не любезны с белыми джентльменами на войне. Их война за свои права для них важнее. Я вырос в лачуге у речки, в которой плавали дохлые собаки и человеческие экскременты, в лачуге, где даже не было уборной. Все лавочки на плантации, все скупщики хлопка нас грабили и не давали нам посмотреть счета. Кое-кто из негров, выросших в таких же условиях, стали воровать у тех, кто обворовывал нас. И какую же травлю подняли вы, белые!..

Изолированы! Джон и Мэри, Эш и Марта — изолированы наравне с такой старой калошей, как я! Изолированы! Нам сказано, что мы, все

<sup>1</sup> На ящиках обычно стоят уличные ораторы.

равно как свиньи, недостойны соприкасаться с людьми, — и после этого ваш приятель, военный сыщик, требует, чтобы мы были послушными, милыми парнями с душой нараспашку!

Разделение рас! «Отделять, но предоставлять одинаковые удобства». Чёрта с два! Новенькие пассажирские вагоны для белых — и нужники на колесах для благодетельствованных черных. Новые кирпичные здания для школ белых детей—поглядите на фото в воскресной газете!—и некрашенные сараи со скамьями без спинок вместо парт для наших негритят, «пиканинни» как вы их называете. Ни единой парты! Пускай черные бесенята пишут на коленке, если уж им непременно надо учиться писать, — а в этом разумные люди сильно сомневаются.

Разделение! Школьные автобусы для ваших драгоценных птенцов, — а наши могут шлепать пешком за пять миль. Больницы с мраморными полами для вас — и бойни для нас. Самая тяжелая, самая опасная, самая черная работа — для негра! И каждый белый полицейский выдумывает против нас свои собственные законы, чтобы сильнее нас прижать. Он действует, как провокатор, он же — и судья наш и палач, все вместе. А потом приходит ваш приятель и жалуется, что мы не хотим сообщать наши секреты ему на ушко! Ну и ну!

Клем оглушительно захохотал, ласково глядя на Нийла. И так же ласково Марта Дэвис пропела, обращаясь к Нийлу:

— Мистер Кингсблад, на Юге каждый белый обязательно вам расскажет, что в юности у него был закадычный приятель—лилово-черный повеса, его советчик и товарищ во всех похождениях, самогонщик и сводник, славный парень Джим! Ни один белый не расскажет вам, что он дружил с непьющим и трудолюбивым мальчиком. Он не знал, что такие негры есть, — он и по сей день этого не знает.

А добросердечные, милые женщины Юга! Они будут трогательно ухаживать за «цветной», если у нее тиф, но будут возмущены, оскорблены, если у нее окажется «какая-то психология».

Нас гнетет на Юге не только самое ужасное — вечная боязнь, что нас могут линчевать, сжечь, забить до смерти. Об этом иной раз и забываешь... — только не в душные жаркие ночи, когда грозовые зарницы похожи на разрывы снарядов. Тогда лежишь в темноте, неподвижно, прислушиваешься и замираешь от ужаса, если донесется шум автомобиля, шаги, голоса — страшно, что могут притти белые, а от них добра не жди.

Но даже мучительнее этого страха—скрытые пощечины на каждом шагу. Мелочи. Ведь на Юге столько любовного внимания уделяют мелочам — розам, дедовской сабле, стихам Ланье, веселым спорам о том, что лучше—толочь или шинковать мяту для джулепа<sup>1</sup>. Да, мелочи, надписи «Только для негров» — вот что кричит такой требовательной негритянке, как я, что она — нечистая.

Окончив колледж, я была около года учительницей далеко на Юге. Я верила всем известной басне — будто бы белые любят, чтобы учителя-негры были особенно опрятны и аккуратны и подавали этим пример детям. У меня был старый расхлябанный автомобильчик, и я собственноручно выкрасила его белой краской. Вот раз в субботу приезжаю я в город (а перед тем я вымыла свою машину, и она вся блестела, как стеклышко) в очень хорошем настроении, гордая своим новым белым костюмом и белыми туфельками. И перчатки на мне были новые, белые! Выхожу из машины у аптеки и встречаю одного препротивного фермера—этакий старый чурбан, желтый, как дождевой червь, — и он, проходя

<sup>1</sup> Южный коктейль на мяте.

мимо меня, нацелился и выплюнул целую струю табачного сока прямо на дверцу моего чистенького автомобиля. А все белые вокруг захохотали. Тогда я поняла, что над входом в ад написано: «Только для негров».

## 24

Клем Брейзенстар запротестовал против того, что они говорят только о таких мелочах, а не о страшных расправах с неграми на Юге, например, о том, как вернувшемуся с фронта солдату-негру полисмен выбил глаза дубинкой. Клем объявил, что такими разговорами о мелочах они наскучат новому белому другу и, кроме того, это унижает мужское достоинство его, Клема, — ведь он южанин.

Опять все засмеялись, один Нийл не смеялся: он был в ужасе. Он сказал настойчиво:

— Но ведь ни в одном северном штате не бывает таких зверских расправ с неграми.

— Конечно, бывают, — ответил Клем невозмутимо.—А «расовые погромы»? Но главное не это, главное—«рабочий потолок»<sup>1</sup>. Опытные специалисты, учителя, стенографистки прямо заявляют, что их не берут на работу не из-за их непригодности, а из-за цвета их кожи. А рестораны... В нашем штате закон обязывает их пускать негров—так они что делают? Почти повсюду или заставляют «копченых» ждать, или так пересолят обед, что те не могут есть. Ну а как вам нравится то, что неграм, которые работают на оборону на военных заводах, запрещено пить из тех же кранов, из которых пьют священные белые? Черного, который привык каждый вечер купаться, безусловно можно легко сделать горячим патриотом, если ему запрещают купаться даже в проточной воде вместе с каким-нибудь фермером-янки или «хиллбилли»<sup>2</sup> из Тенесси, который искренно уверен, что ванна изобретена для того, чтобы в ней держать червяков для рыбной ловли...

Нет, нет, Белый Отец наш, скажем прямо: на вашем демократическом Севере негров не линчуют, то есть линчуют не часто, но здесь нам каждый миг твердят, что все мы—грязные, ходячая зараза, что мы преступники. А верят они в это? Нет, чёрт их возьми, не верят! Они сперва себя уговаривают, что это так, потом внушают это другим — и таким путем избавляются от черных конкурентов, могущих занять выгодные должности, на которые они сами метят.

Но больше всего меня удивляет то, что здесь, в Гранд-Рипаблик, презренному эфиопу не дозволяется вступать в члены ХСМ — Христианского союза молодежи, организации, призванной распространять учение Христа. Они боятся, что он своим коричневым телом загрязнит плавательный бассейн и заразит слабых внуков и правнуков тех белых, которые посылали деньги африканским миссионерам. ХСМ! Им бы надо называться АДП — Арена для подхалимов!

— Я не знал, что в Гранд-Рипаблик происходят подобные вещи, — покорно сказал Нийл.

— Знаете, что меня больше всего задело за живое? — вмешался Райан.—В начальной школе я был дружен со всеми белыми—и мальчиками и девочками. Мы плавали вместе, строили крепости из песка, зимой вместе катались на коньках, на салазках с горы, и я в них видел настоящих товарищей. А когда мы выросли, они узнали, что я «цвет-

<sup>1</sup> Невозможность для негра продвинуться выше данной должности или рода работы.

<sup>2</sup> Прозвище жителей глухих горных районов.

ной», и стали об этом открыто говорить. Когда я пришел в гости к де-вушке, с которой мы много лет вместе играли у них во дворе, мне ска-зали, что ее нет дома, но я видел, как она потом вышла из дому с одним белым прыщавым парнем, которого мы все презирали. Изоляция, капитан? Не-ет! Просто-напросто карантин!

Джон Вулкэйп заметил кротко:

— А мы с Мэри не очень страдаем от дискриминации. Конечно, иной раз и раздражает, когда сядишь у себя в подвале, а наверху какой-ни-будь двенадцатилетний мальчишка-белый орет: «Эй, ты, Джони, куда тебя чёрт унес?» Впрочем, этого и всякий белый уборщик может ожи-дать. Ну а что касается ресторанов и кино — мы предпочитаем сидеть дома и не рисковать, что нас там обидят. По вечерам мы читаем, или слушаем радио, или играем в карты со знакомыми и никогда никуда не выходим. Мы с Мэри не любим скандалов и шума, и так нам покой-нее: никто нас оскорблять не будет, из собственного дома нас никто не выгонит. Мы любим свой дом, и здесь мы в безопасности.

— До поры до времени!—сказал Клем резко.—На Юге неграм по-легчало—реже линчуют, больше негров голосует на выборах, в некото-рых местах черным учителям даже платят столько, сколько белым. Зато на Севере теперь все хуже и хуже — белые любезно стараются для ме-ня, чтобы я не сидел без дела.

— Да,—подтвердил Эш Дэвис, — северянина ждет великое будущее, в нем скрывается некий синтетический Ли<sup>1</sup>. Да вот вам пример—мистер Пит Снитч; знаете Иллинойскую фирму «Сталелитейные заводы брать-ев Снитч?». Он купил себе дом в Южной Каролине, чтобы уезжать туда на зиму. Прошло два года — и он теперь более южанин, чем все корен-ные жители Юга.

Он когда-то был пудлинговщиком на заводе, а теперь у него миллион, и он и его женушка жаждут каких-то аристократических традиций — подлинных вальтер-скоттовских аксессуаров: боевой конь, бьющий ко-пытом землю, плющ и все такое. А на Юге у них обстановка для этого подходящая: магнолии, экзотические птицы, белая колоннада, долина, где когда-то дрались на дуэли знатные кавалеры, почтительные бедняки (по крайней мере, они говорят почтительно). Единственный оставшийся в живых представитель того рода, в чей дом Снитчи вселились, как ку-кушки в чужое гнездо, работает в Бирмингэме, в редакции одной из газет, — так что мистеру Снитчу уже кажется, что он купил вместе с до-мом и фамильные привидения — духи прабабушек в кринолинах. Он стал аристократом по купчей и южанином при помощи лингафона, по которо-му учится южному произношению. Но ему еще нужно доказать свою ро-довитость, а, как известно, самый лучший способ — это издеваться над низшими. И так как мы, африканцы, не можем похвастать его прекрас-ным англо-саксонским пивным румянцем, то нам отведена роль низших, и он орет на нас грубее, чем какой-нибудь тюремщик в Каролине. В каж-дом общем разговоре в Боллингтон-холле полковник Снитч первый все-гда начинает выкрикивать: «Ведь вы же не хотели бы, чтобы ваша дочь вышла за негра?» Да, да, вы, северяне, далеко пойдете по линии рыцар-ской доблести и искусства владеть бичом!

Знаете, как я переделал одну старую поговорку? «Попав в Рим, по-ступай, как римляне, но не уверяй, что это ты выдумал Рим».

---

<sup>1</sup> Генерал Роберт Ли, командовавший армией южан в гражданскую войну 1861—1865 годов.

Разговор о дискриминации велся уже в несколько истерическом тоне и начинал смущать Нийла. Но разговор этот скоро прервало появление Шугэра Гауза с судками.

Шугэр родился среди гростников Луизианы, но умудрился каким-то образом изучить устройство машин и станков. Он зашел сейчас к Вулкэйпам по дороге на завод Уоргеята, где работал механиком. Работник он был превосходный и поэтому рассчитывал, что его оставят на заводе и после войны. Не уступая в наивном оптимизме Эшу Дэвису, Шугэр купил себе двухкомнатную хибарку, где жил «холостяком» со своим выросшим без матери сыном Бобби, легконогим танцором, забавлявшим весь Файв-пойнтс комическими плясками под джаз.

Нийл понимал речь Шугэра только наполовину, так как тот говорил с акцентом Черного пояса, тягучим, как черная патока. Он был похож на индейца: тонкие губы, узкий ястребиный нос, высокая статная фигура. Так выглядела бы статуя судьи Тимберлэйна, высеченная из базальта. Шугэр пришел в рабочем костюме — синей бумажной блузе и комбинезоне, романтичном, как всякая рабочая одежда.

Его попробовали втянуть в общий разговор, но Шугэр заявил, что он не может ничего сказать насчет дискриминации в Гранд-Рипаблик — разве только то, что здесь, как и везде, цветных всегда принимают на работу в последнюю очередь, а выгоняют в первую очередь. Так не все ли равно негру, где жить? Всюду одно и то же.

— А как вы после Юга переносите нашу холодную зиму?—осведомился Нийл.

— Мистер, в Луизиане при пяти градусах выше нуля в дырявой хижине холоднее, чем здесь в моем оштукатуренном доме при сорока градусах ниже нуля.

— Шугэр хочет только иметь место, куда класть свою шляпу. Он человек разумный и не знает того постоянного ощущения ненадежности и бесплодности всех усилий, которое убивает нас с Мартой,—заметил Эш.

— Вы, образованные, слишком чувствительны и нервны, доктор. Вы не знаете, каково рабочему человеку, — сказал Шугэр.

— Вот еще! — запротестовал Эш. — Когда я окончил колледж, я пошел служить поваром в салон-вагоне богача, — ох, как вспомню этого невыносимого субъекта и попойки в поезде! А по окончании аспирантской работы первая моя служба была в каком-то вертепе, выпускавшем патентованные средства. Там я, в промежутках между составлением химических формул, упаковывал ящики и перетаскивал их на грузовик.

— Слишком «нервны»! — передразнил Шугэра Клем. — Занервничаешь тут, когда в автобусе женщина пересаживается, чтобы не сидеть с тобою рядом... Софи! Орлица моя!

В комнату неслышно вошла темнокожая девушка, и Мэри представила ее Нийлу:

— Это Софи Конкорд. Она — сестра милосердия в районной больнице. Софи, это мистер Кингсблад, наш новый знакомый.

— Я видела мистера Кингсבלада в банке, — сказала Софи и добавила, как бы нехотя: — Он там действует весьма энергично. И выглядит весьма импозантно.

Она разглядывала его без малейшего стеснения, а он решил, что она самая красивая из всех женщин, каких ему приходилось встречать, и наименее чопорная.

Софи Конкорд, уроженка Алабамы, была женщина таких же лет, как Нийл, высокого роста, как Вестэл, с таким же открытым лицом, как у той, но в ее фигуре было больше манящих изгибов и чудесных линий, которые волновали даже такую благонравную ломовую лошадь, как

Нийл. Рот у Софи был крупный, кожа почти такая же темная, как у Эша Дэвиса, густокоричневая, атласная. Обнаженные руки, цвета сушеного инжира, блестели, как полированные, на белом фоне старенького вечернего платья из искусственного шелка.

Софи когда-то пела во второразрядных ночных клубах Нью-Йорка. Ее принимали в тех кругах Гарлема, где сверкали блески и лилось шампанское.

Но ей было глубоко противно кривляться перед белыми посетителями, которые смотрели на нее, разинув рты. Она вдруг стала преувеличенно добродетельна, дала некий рыцарский обет (спетый под джаз) и после трех тяжелых лет учения стала сестрой милосердия, очень умелой, терпеливой, самоотверженной — и весьма независимой и дерзкой.

Она с усмешкой говаривала, что лучше ухаживать за вшивыми детьми, чем за белыми джентльменами в ночных клубах, которые смотрят на тебя масляными глазами. И даже требовательный Райан признавал, что Софи — «дельная работница, хотя и наводит на мысли о духах «Кобра» и разных там кружевных наволочках».

— Наш новый белый приятель, кажется, славный малый, — во всеулышание объяснял Клем Софи. — Мы весь вечер угощали его разрушительными теориями в объеме второго семестра, а он и не поморщился. Подозреваю, что в нем есть капля шоколадной крови!

Все засмеялись, кроме Вулкэйпов и Нийла, у которого захолонуло сердце.

— Да, это на вас похоже — немедленно угощать пропагандой беднягу, который просто хотел узнать про Джо Луиса. Вы уже, наверное, успели надоесть ему так же, как и мне, своими ораторскими выступлениями по расовому вопросу, — сказала Софи и, выразив таким образом протест, немедленно сама начала атаку. — Скажите, мистер Кингсблад, вы — один из тех белых благодетелей, которые считают долгом посещать трущобы, или вы настоящий друг негров?

— Если бы вы только знали, как о н настоящий! — сказал Нийл.

— Он славный, хороший человек, — горячо вступилась за него машина Вулкэйп.

— Чудно, чудно! — Голос Софи, даже когда она отчаянно старалась говорить иронически, напоминал Нийлу мрак летних сумерек, мерцающий светляками. — Большинство белых считает нас подозрительными и нелюдыми. Может, это и правда. У нас у всех есть позорный опыт «дружбы» с белыми, которые приходят к нам и твердят о том, какие мы замечательные, а потом за спиной смеются и делают из этого забавный анекдот для знакомых. Есть и такие белые, как Суини Фишберг, или Коп Андерсон, — им все равно, какого вы цвета, лишь бы вы были друг, так же, как все равно им, брюнет вы или рыжий. Но на одного такого белого приходится десяток других, которые притворяются друзьями только тогда, когда хотят нам что-нибудь всучить — швейную машину, или какую-нибудь церковную или политическую доктрину. А еще есть такие, которые проповедуют «социальное равенство для бедных цветных братьев» — между делом, когда они не заняты благодетельными посылками в Англию, Томасом Вульфом,<sup>1</sup> Дэли<sup>2</sup> и монсиньором Шином.<sup>3</sup> Приходят к нам и разные неудачники, которым не повезло среди белых: выброшенные за борт женщины, безработные репортеры, проповедники без кафедр — все они уверены, что среди негров их будут чтить и горя-

<sup>1</sup> Американский писатель.

<sup>2</sup> Известный актер.

<sup>3</sup> Католический прелат в США, ярый реакционер.

чо любить, ибо негры жаждут покровительства всякого «серого»<sup>1</sup> который случайно прочитал биографию Букера Вашингтона<sup>2</sup>. Они нас здорово смешат, эти драгоценные белые друзья! Так что имейте в виду, мистер Кингсблад, мы будем к вам присматриваться так же осторожно, как и вы к нам.

Пока Софи поучала его, как миссионер, Нийл любовался ею, как женщиной. Мягкими бесшумными движениями она напоминала кошку — бронзовую кошку, чья бронза под пальцами превращается в нежную плоть. Груды казались твердыми, как бронза, но на ощупь, наверное, были мягче кошачьего тела. Вот о чем думал Нийл. Наконец, он опомнился и сердито тряхнул головой.

— А вы способны любить нашу расу в целом, не стремясь ласкать ее представительниц, — как вы думаете, Кингсблад, разочарованный белый?

Шугэр Гауз встал, забрав свои судки, и сказал, медленно растягивая слова:

— Как хотите, а белые, с которыми я вместе работаю, мне больше по душе, чем те умники, о которых толковала мисс Софи. У нас на заводе они или делают с нами свое пиво и колбасу, или ненавидят нас — и тогда говорят это нам не словом, а ломом. Ну, будьте здоровы!

У Шугэра язык ворочался туго, он путал слова, и они выходили с трудом, словно из вязкой глины. Но Нийл видел, что Шугэр больше не «ниггер», не получеловек, о котором, если бы он оставался на Юге, даже самые добродушные белые говорили бы: «для негра он довольно приличен». Шугэр стал здесь, на Севере, человеком, как Уэбб Уоргейтили Джон Вулкэйп, только характер у него был более веселый.

Нийл вдруг вспомнил, что он сегодня за весь вечер не слышал ни от кого тех примитивно образных выражений, которыми пестрят все романы о южных неграх, не слышал и позолоченных вариантов тех историй, что рассказывались о Гарлеме, о кокаине и отвратительных видах разврата. Если не считать специфических негритянских словечек, которые они нарочно вставляли иной раз в разговор, эти люди (новое откровение для Нийла!) говорили совершенно таким же языком, как все его белые знакомые, все, с кем он встречался в банке, в армии, в университете. Только у них все выходило ярче и веселее.

Клем разглагольствовал:

— Да, дядя Бодейшес, — надо рассказать мистеру Кингсбладу о дяде Бодейшесе. Он — белый, но имеет «на задворках» чернокожих родственников. Этот олух первый пустил в ход фразы: «среди моих ближайших друзей есть и евреи» и «я целиком за профсоюзы, но ненавижу всяких посторонних агитаторов». Дядя Бодейшес авторитетно объясняет, что изоляция необходима, иначе негры все женились бы на белых женщинах! Этого осла разве убедишь, что большинство из нас гораздо охотнее женятся на такой женщине, как Софи, чем на какой-нибудь альбиноске, Моя собственная фрау, дай бог ей здоровья, не белая и не желтая, как все вы тут. Нет, у нее кожа, как первосортный черный лак. Но если бы мне хотелось жениться на розовой, и она пошла бы за меня, я бы ни минуты не колебался.

Когда кто-нибудь вопит об опасности браков между белыми и неграми, будьте уверены, что он ищет «идейных» оснований так оклеветать своих цветных работников, чтобы можно было платить им гораз-

<sup>1</sup> Южанин.

<sup>2</sup> Известный негр-педагог.



до меньше, чем белым, да еще чувствовать себя при этом их благодетелем. Но прежде всего дядя Бодейшес утверждает, что «негритянский вопрос неразрешим». Это звучит чертовски авторитетно, как приговор ученого этнолога. Но вывод отсюда только один — если вопрос о неграх неразрешим, то вопрос о дяде Бодейшесе имеет лишь одно решение: красивая могила в Форест-Лауне!.. Скажите ради бога, Мэри, дадите вы нам сегодня кофе с пышками или нет?

Мэри подала кофе и пышки. Пышки были замечательные.

Держа чашку в руке и склонясь к красивой негритянке, Нийл, может быть, и не похож был на человека, переживающего драму. В Софи Конкорд, в ее скользящем взгляде и томном голосе воплотилась для него вся соблазнительно-неведомая, мифическая Африка, и он думал: «Этой женщине творить бы волшебные заклинания, а она с увлечением толкует о фондах на лечение детского паралича».

Как новообращенный, Нийл мечтал сблизиться с этими людьми, ему хотелось, чтобы они называли его просто по имени, как они называли друг друга, но все продолжали величать его «мистером». Когда он раз, обмолвившись, назвал доктора Дэвиса «Эш», его «осадили» тем же официальным «мистер». Он учтиво называл Софи «мисс Конкорд», но, глядя, как она при этом откидывает голову и встряхивает темными завитками, бормоча «О, господи!», он томился желанием увидеть ее среди угарного веселья ее бродвейских ночных клубов, а не за кофе с пышками на Майо-стрит.

Обращаясь к ней одной, он выпалил:

— Как вы представляете себе будущее вашей расы?

Он сейчас очень гордился своей способностью вести «умные» разговоры.

У Софи, как и у Вестэл, был острый язычок.

— Что это за разговор, мистер Кингсблад? Что-то вроде тех вопросов, которые задает по телефону страховой агент: «Как вам спалось нынче ночью?» или: «Ну, как вообще делишки сегодня?»

— Может быть и так. Но только мне действительно хочется это знать.

— Зачем?

— Затем, что... мисс Конкорд, мне так симпатичны все ваши друзья, которые здесь собрались... и вы!

— Мистер, ни один белый банкир не оказывал мне столько внимания с тех пор, как я перестала работать в Гарлеме в «Тигровом диване». А в те времена один белый, крупный финансист и негроненавистник, пожелал притти ко мне на квартиру «посмотреть мои гравюры» и готов был преподнести мне сколько угодно тех «гравюр», которые печатает государственное казначейство. И вот...

— Перестаньте!..

— Что с вами?

— Я серьезно хочу узнать побольше о неграх. Я — смиренный ученик.

— Господи помилуй! Послушайте-ка, что говорит этот человек!

— В каком колледже вы учились, Софи?

— Кол-ледже?

— Вы, видно, из тех образованных алабамских девушек, которые непременно хотят казаться дикими африканками.

— Эге, мистер, вы делаете успехи! Но в колледже я училась только один год — и занималась, увы, только историей Франции!

— Я не ожидал, идя сюда, что встречу столько людей вашей расы более начитанных, чем я.

— Не обманывайтесь на этот счет. Большинство совсем не таково.

— Но вот вся компания здесь такова. Не издевайтесь над бедным белым глупцом. Расскажите мне о себе, Софи.

— Мистер, разве вам не ясно, кто я? Я — та прекрасная, воспитанная в монастыре нью-орлеанская окторонка, та пылкая девушка-рабыня с лучистыми глазами и длинными черными косами, что стоит на возвышении, почти голая, пылая жарким румянцем под наглыми взглядами плантаторов (или, скажем, театральных агентов) в касторовых шляпах. Но один молодой человек в толпе, благородный рыцарь Кингсблад из Кентукки, пожалел ее, и скоро на галлее таинственной старой усадьбы близ Лексингтона можно было увидеть неслышно скользящую закутанную фигуру — глядите, вот она, вот она, бедняжка!..

Послушайте меня, дорогой мистер Кингсблад: не окружайте вы нас романтическим ореолом! Мы — рабочие люди, трудимся с утра до ночи и хотим одного: чтобы всех негров принимали не только на черную работу и платили им столько же, сколько и белым; тогда высокообразованная цветная девушка пойдет служить регистраторшей за 32 доллара 75 центов в месяц, вместо того, чтобы работать всю жизнь в прачечной. Вот вам и вся правда о нас!

После этого разговора они с Софи стали друзьями.

Нийл, наконец, рассмотрел, как она одета: длинное белое платье и варварская золотая жакетка, кольцо с громадным топазом, который не вязался с тем, что она только что говорила.

«Обязательно надо запомнить, как она одета, чтобы рассказать Вестэл», и он добросовестно рассматривал Софи, пока не сообразил, что вряд ли он станет рассказывать Вестэл о туалете Софи и вообще что-либо об этой озорной особе с трезвым умом.

Когда снова начался разговор о расах — эта тема привлекала их так же неотразимо, как котенка бумажный шарик, — Нийл узнал, что всякий раз, как благожелательно настроенный белый спросит: «А достаточно ли будет неграм, если...», ответ всегда бывает: «нет». Он услышал много любопытного о чернокожих судьях, врачах, военных корреспондентах негритянских газет. Он узнал, что есть негры-буддисты и негры ортодоксальной еврейской веры, негры-коммунисты, негры-масоны, негры — члены клубов «Чудаков» и «Оленей» и студенческих научных кружков. Он узнал о неграх-подонках, ненавидящих всех еврейских лавочников, и о неграх, достигших такого высокого положения, что они презирают всех других негров.

Они неизбежно должны были притти к пресловутому второму вопросу — и Нийл сказал конфузливо, обращаясь к доктору Дэвису:

— Наверное, вы уже не раз слышали тот вопрос, который я хочу задать... Вот говорят, негры доказали, что они — низшая раса, уже одним тем, что не построили в Африке никаких соборов и Парфенонов. Что вы скажете об этом?

Под общий смех доктор Дэвис ответил, сохраняя серьезность:

— А вы пробовали строить Парфенон там, где летают тучи мух це-це? Наш народ строил немало, наряду с другими рабами, в Египте и Риме. А как вы думаете, кто построил дома на наших плантациях — их владельцы? А сколько в наше время есть молодых негров-архитекторов — это вам известно? Нет, мистер Кингсблад, не верьте, что негры — менее способные архитекторы, чем белые, как бы красноречиво ни убеждал вас в этом тупоголовый проповедник, который в церкви, сколоченной из некрашенных досок, кричит, что «неисповедимая рука

господня создала негров неспособными строить Парфеноны!»... Ого, уже второй час! Я ухожу!

Нийл чувствовал, что он открывает какой-то новый мир, чуждый, неведомый, как луна, черный, как мрак ночи, и светлый, как холмы под утренним солнцем, мир увлекательный и опасный.

— Я влюблен в этих людей! — говорил он себе.

## 25

— Не знаю, как вы, миллионеры, а я должна идти домой, потому что я рабочий человек, — сказала Софи Конкорд.

«Эту самую фразу я слышал как-то от Вестэл».

Марта Дэвис предложила отвезти Софи домой в своем автомобиле.

Эш сказал:

— А я пойду пешком и провожу мистера Кингсблада до автобуса... Ему лучше не ходить одному ночью. Здесь бродят какие-то темные личности — не все негры, есть между ними и белые. Даю слово, что не буду по дороге говорить о расовом вопросе, хотя окончательно излечиться от этого невозможно.

Прощаясь с Мэри Вулжэйп, Нийл сказал ей тихо, чтобы не слышали остальные:

— Я чудесно провел вечер. Но все еще не знаю, решусь ли я сказать даже этим друзьям, что я негр.

— А я вовсе не убеждена, что это нужно, вовсе не убеждена! К чему напрашиваться на те унижения, о которых вы здесь сегодня слышали?

На Майо-стрит за темными завесами в окнах кое-где еще светились огоньки — там не спали, и из комнат над каким-то магазином донесся взрыв визгливого хохота. Улицы были полны теней — может, это крались в темноте люди, а может, темнели мусорные бочки, во всяком случае, Нийлу было не по себе. Эш молчал, и Нийл видел, как внимательно он провожал глазами каждого бродячего кота, каждого чернокожего, прикурнувшего на подвальной решетке.

Когда они пришли к стоянке автобуса, Нийл решил пойти дальше, до Кано-хейтс, и проводил Эша до его дома.

Домик у Эша был маленький, с плоской крышей. Но по широкому окну, занимавшему весь угол здания в виде стеклянного фонаря, можно было заключить, что это дом в новом стиле, не имевшем ничего общего с тюдоровской и кейп-кодской архитектурой Силвен-парка. Нийл слышал, как мистер Пратт осуждал этот новый архитектурный стиль, называя его «анархистским», но ни разу еще не бывал в таком доме.

Эш буркнул: «Зайдите, выпьем чего-нибудь», и Нийл очутился в комнате, которая ему одновременно и очень нравилась и отталкивала своей обдуманной оголенностью, отсутствием всяких безделушек и украшений. У комнаты было два центра — громадное угловое окно, из которого видна была сеть бледных огней далеко внизу, в Файв-пойнтс, и строгий камин неполированного камня, без полки. Несколько стульев с грубошерстной обивкой имели необычную форму, в ней чувствовалось больше внимания к удобствам людей, чем к требованиям Чиппендала...<sup>1</sup> На стене, покрытой чем-то похожим и на металл и на обои, висела только одна картина, какая-то свистопляска треугольников. На маленьком пианино — похожее на черную глыбу произведение неизвестного скульптора.

— Так вот они каковы, эти модные дома, — сказал Нийл с восхищением,

<sup>1</sup> Стиль английской мебели XVIII века.

— Да, так это называется, — отозвался Эш, смешивавший коктейли у стенного шкафчика.

— А какой архитектор строил его вам?

— Я сам, если в этом деле вообще участвовал архитектор. Здесь было что-то вроде сарая, и мы с Мартой его перестроили — вот и все. Знаете, Кингсблад, этот дом — символ моего позора. Кажется, я его перестроил только назло Люсиану Файрлоку, а тягаться с «высококультурными» хуже, чем тягаться с Джонсами. Вы Файрлока знаете?

— Это заведующий отделом рекламы на заводе Уоргейт — тот, что приехал с Юга? Да, мы немного знакомы.

— Он из тех, кто на Юге называется либералом. Университет Вандербильда и прочее... Такой либерал хочет, чтобы мы, черномазые дьяволы, знали свое место, и в то же время ему нужно приобрести репутацию очень терпимого человека. Он согласен, чтобы мы изучали все то, что изучает белый, но делали это под столом. Вот этот самый Файрлок живет через два дома от меня, в ужасном, старом «новом ковчеге» с украшениями, похожими на полипы, — единственное, что он мог себе позволить в трудное военное время. Бедняга! Узнав, кто его сосед, он всполошился. Правда, на Юге он привык к тому, что вблизи живут черномазые, но им полагалось быть бедными, смиренными и благодарными. Увидев меня в первый раз, он смерил меня презрительным взглядом. Но потом его детишки стали играть с моей Норой, и мы теперь полузнакомы. Хуже всего то, что я нравлюсь бедняге больше, чем все другие соседи, но он ни за что не хочет в этом сознаться.

Когда я перестраивал этот дом, я сначала не отдавал себе отчета в том, что гонюсь за «стилем модерн» (который несомненно представляет собой фрейдистскую форму пуританизма) только ради того, чтобы произвести впечатление на Файрлока. К сожалению, я достиг цели, и всякий раз, как Файрлок проходит мимо, я вижу, что он с завистью посматривает на дом. Можно считать, что я действовал под влиянием низменных побуждений?.. Комната эта так дьявольски строга, что я мечтаю иной раз о кресле-качалке из золотистого дуба, и чтобы над креслом висела картина — старая церковь в лунную ночь. Я — ротарианец<sup>1</sup> в одеянии профессора...

Нет, это неверно! (Боже, как я сегодня разболтался! Это оттого, что я почти все вечера сижу дома и молчу). Я вовсе не делец и не ярый агитатор. Я хотел бы жить в «башне из слоновой кости», играть Баха, читать Иейтса и Мелвиля, преподавать историю химии и алхимии, быть профессором, а не клячей, которая тянет ляжку в лаборатории. Но белые ученые не принимают меня в свою среду, так что я пытаюсь стать ревностным борцом за свою расу. Это — роль, а актер я плохой...

Я люблю моих друзей, которых вы сегодня видели, но Клем, по-моему, слишком настойчив и резок, Райан — уж слишком одержим коммунистическим сектантством, Софи — слишком усердно имитирует бойких белых дам, а Джон и Мэри, которых я искренно люблю, — люди ограниченные. Для меня провести приятно вечер — значит посидеть у камина с Джорджем Муром и помолчать. Мне не легко, поверьте, вопить о наших правах, хотя я горячо убежден, что они должны быть нам предоставлены.

Зачем я все это вам говорю? Вероятно для того, чтобы вы знали, что и мы и наша «пропаганда» не так примитивны, как это кажется.

---

<sup>1</sup> Член Клуба деловых людей. Эти Ротари-клубы объединяют наиболее преуспевающих представителей различных профессий.

Да и вы не такой простой человек! Мне кажется, у вас какой-то особый интерес к нашей расе. Вы безусловно не филантроп-любитель. В чем же тут дело? Я вижу перед собой человека, у которого, может быть, есть что сказать мне, который мог бы стать мне именно таким другом, какой мне нужен. Я не хочу много распространяться на эту тему, но...

— Эш, дело в том, что и в моих жилах, вероятно, есть какая-то доля негритянской крови...

Эш не выразил ни сочувствия, ни удивления. Он только сказал тихо:

— Так вот оно что! Что ж, может быть, этим следует гордиться. Может быть, вы станете участником другой войны — войны черных за свои права.

— Но я трушу... боюсь, что узнают... боюсь людей, на мнение которых мне в сущности наплевать.

— Когда вам понадобится прибежище или хотя бы совет, мистер Кингсблад, я буду рад, если вы тогда придете ко мне.

— Приду непременно. До свиданья, Эш.

Доктор Дэвис ответил с явной запинкой:

— До свиданья... Нийл.

Он брел домой через кварталы, населенные мелкими служащими и рабочими, по улицам, похожим на узкие проходы между ящиками в темном складе, и в душе его надежда уже вытесняла страх. Его попрежнему тревожила мысль о предстоящем ему, быть может, будущем негра, но эта перспектива уже не была ему ненавистна, как прежде. В душе он уже перешагнул барьер, отделявший его от Эша, Софи, Райана, Клема. Он был уже с ними.

Когда она осторожно вошел в спальню, Вестэл проснулась, но только ласково пошутила: «Ну и долго же ты сегодня кутил с твоими ветеранами!» — и опять заснула.

Он был удивлен: как могла его любимая жена не почувствовать сразу, что нынешний вечер — самый критический в его жизни? А Софи? Она поняла бы?

Вестэл и Нийл уезжали, как и каждое лето, на две недели отдыхать в снятый ими коттедж на северном берегу Верхнего озера. Перед отъездом они были приглашены на обед в отель «Пайнлэнд» мистером Эшиелом Денвером, кассиром Второго национального банка, который пожелал отпраздновать успех Консультации для ветеранов, оказавшейся весьма доходным делом.

В розовом свете ламп, горевших в стенных канделябрах на фоне помпейских фресок «Фезоле», их проводил к накрытому столу, сверкавшему серебром и розами, величественный, как сенатор, Дрэксел Гриншоу, с темнокоричневым лысым черепом и подстриженными седыми усами.

Ковыряя вилкой сардины, в изнеможении распростертые на ломтиках холодного поджаренного хлеба, Вестэл поглядела на величественную спину уходившего мистера Гриншоу и сказала одобрительно:

— Вот настоящий старомодный негр, правда? Наверное, любит свиные отбивные и арбуз и играет в кости.

— Он славный старик, — поддержал ее мистер Денвер. — Никогда не бывает развязан и не пытается изображать из себя белого. Он знает свое место, делает, что прикажут, и за все благодарит, а будь на его

месте кто-нибудь из этих нынешних молодых нахалов, тот бы обязательно держал себя так, как будто он — хозяин отеля.

Однако миссис Денвер была не вполне убеждена, что Дрэкселу следует позволить дышать и жить.

— А по-моему, он становится что-то уж чересчур фамильярен! В такое опасное время надо крепко стоять за традиции, иначе мы докажемся до окончательного морального разложения. Не могу сказать, чтобы мне нравилось, что черный лакей держит себя, как какой-нибудь знатный белый. И вообще я не понимаю, почему в ресторане, который считается первоклассным, не выгонят всех негров и не заменят их славными расторопными официантами — конечно, американками, а не этими дурами шведками или норвежками.

— Нет, а по-моему, во «Фъезоле» все черные официанты очень славные. Одно только меня всегда смущает — никак не могу их друг от друга отличить, — сказала гордая своим свободомыслием Вестэл, глядя на суетившихся неподалеку от стола трех официантов, из которых один был плотный, приземистый и совсем черный, другой — худощавый, кофейного цвета, третий — очень рослый, очень светлокожий и в очках. — А ты можешь, Нийл?

— Конечно. В каждом из них я вижу его индивидуальные черты.

Миссис Денвер сказала с присвистом — в ее голосе всегда чувствовалось, что она слишком туго затянута в корсет:

— Ах, Нийл, если даже вы их различаете, ведь вас, надеюсь, тоже раздражает этот старый хлопотун?

— Наоборот, нравится. Он славный старый джентльмен.

— Джентль-мен? О, господи! Очень странно, что вы употребляете такое слово, говоря о черномазом!

После парадного обеда они поехали к Денверам, дом которых находился сразу же за домом Нийла, и вскоре туда пришли и другие соседи: Дон и Роза Пенлос и торговец красками, обоями, линолеумом и другими предметами искусства, исколесивший всю страну Седрик Стаубермейер с женой. Начался приятный и «серьезный» разговор, и Нийл имел возможность сравнить круг культурных интересов преуспевающих белых с «примитивным» мировоззрением тех негров, которые беседовали с ним три дня тому назад в доме чернокожего швейцара.

— А знаете, в последние дни здорово потеплело.

— Да, но июнь был ужасно холодный.

— Разве? А мне он не казался холоднее обычного. Во всяком случае, особенного холода я не замечал.

— В самом деле? А мне казалось, что как будто холоднее, чем в прошлом году.

Такого рода репликами они обменивались весь вечер без всякого усилия мысли. Впрочем, миссис Стаубермейер была начитаннее и даже, можно сказать, образованнее других:

— Удивительное дело — вот уж десять лет прошло, а кажется, будто только вчера мы были в Риме! Мы видели в Вечном городе все, все: и руины — очень древние, и Ватикан, и аэродром, и даму в английском кафе — она англичанка и она так удивилась, так удивилась, потому что сначала она нас приняла за местных старожилов... и это понятно, потому что нам повезло — мы там очень хорошо устроились, жили не в гостинице, а в пансионе и познакомились с настоящими итальянцами, их было там несколько человек, и они нам все объясняли. И еще там жил такой интересный француз — он чудесно говорил по-английски, ну совсем так, как Седрик или я, и — можете себе представить—

он нам рассказал, что у него здесь, в Гранд-Рипаблик, живет двоюродный брат!

Но мистер Стаубермейер внес в восторженное повествование жены расхолаживающую ноту:

— Мы этого двоюродного брата и не подумали здесь разыскивать, потому что я подозреваю, что французик-то был еврей, а вам известно, как я отношусь к евреям,—да и вы бы относились не лучше, если бы вам пришлось вести с ними дела. Я и сказал жене: А ну его к чёрту! За границей я терплю иностранцев, там они мне даже нравятся (только не их образ жизни и не их способ вести дела!), но пускай себе сидят за границей, а здесь они нам не нужны.

Круг их интересов не ограничивался все же погодой и впечатлениями от путешествий. Они подробно обсудили перспективы осенней охоты на фазанов, потолковали о грязных делишках своего депутата в конгрессе (за которого они тем не менее будут голосовать и на следующих выборах, для того чтобы не прошел какой-нибудь демократический кандидат рабочих и фермеров), о том, что мистер Джонс покупает дом мистера Броуна, а мистер Броун сильно пьет. Со знанием дела сравнивали цены на дамские чулки в универсальном магазине Тарра, в магазине «Beaux Arts» и в магазинах Дулута, Миннеаполиса и Сент-Поля. Наконец, миссис Денвер воскликнула:

— Ах, боже мой, мы так заболтались, что я и не заметила, как вечер прошел. Неужели уже так поздно? Но вы же не собираетесь еще уходить, Нийл?

Он, конечно, тут же собрался.

## 26

Волны Верхнего озера плескались меж обнаженных темных корней берез, кедров и сосен, в бревенчатой хижине пахло влажной свежестью. Нийл и Вестэл ныряли в холодную воду и выскакивали, блаженно визжа, а на малых озерах, в глубине густых лесов Эрроухеда, где вода теплее, они катались на лодке, удили окуней и развлекались стрельбой по плавающим в воде консервным жестянкам. Но и эта мирная жизнь не успокоила душевной тревоги Нийла.

Они находились в древней стране индейцев Чиппива. Здесь, должно быть, Ксавье Пик проплывал в своей лодке в тени этих утесов, направляясь в Сандер-Бэй. И здесь еще до сих пор, неподалеку от их хижины, сохранилась территория индейцев Чиппива. Нийл носился с идеей внушить Бидди любовь к краснокожим братьям и постепенно подготовить ее к тому, что она хотя, конечно, и останется славной белой девочкой, но по крови — немножко индианка и немножко негритянка, — и все это очень мило и естественно.

Как всякий мыслящий родитель во все времена истории, Нийл утешал себя, говоря: «мое поколение — банкроты, но зато новое, что придет нам на смену, переделает мир! Они будут добродетельно ходить на выборы все, даже в проливной дождь, никогда не будут пить больше одного коктейля за раз и навсегда покончат с войнами».

Раз он и Бидди, катаясь, остановили автомобиль у небольшого лагеря женщин и детей Чиппива, которые летом жили в шалауах и продавали туристам свои изделия—корзинки и игрушечные пироги из березовой коры.

— Бидди! Посмотри на индейских ребятишек, какие они забавные, правда? Не хочешь ли поиграть с ними, ну, например, в разведчиков, и жечь костры и все такое?

— Нет.

— Но почему же, дочка?

— Они грязные.

— Маленькие индейцы — грязные? Да что ты!

— Да, грязные.

— Ну, может, они и грязные, но ты подумай — они тебе покажут шкуры бобров и... гм... боевые уборы из перьев. Разве это не интересно?

— Нет.

— Ну что ж такого, если они немного грязные? Не все ли тебе равно? Это просто сажа от печки, в которой у них стряпают. Ведь и папина девочка тоже иногда приходит со двора здорово перепачканная.

— Они точь-в-точь негры!

— Ну так что же?

— А негры гадкие.

— Разве ты их знаешь?

— Знаю.

— Ну, каких же ты знаешь негров, кроме Белфриды?

— Девочку Еву.

— Ева вовсе не негротянка. Она белая.

— Она гадкая.

— Позволь тебе сказать, мисс Элизабет, что ты сама — очень-очень гадкая девочка.

— С локончиком на лбу?

— О, чёрт!

— Ага, папа, ты сам так говоришь, а мне не позволяешь! Да, сказал, сказал! Чёрт! Чёрт! Чёрт!

Используя свои преимущества, как настоящая женщина, ликующая Бидди, беленькая, румяная, была так прелестна! Нийл чувствовал, что любит ее до безумия, и мозг его холодным камнем давило сознание, что все эти забавные мелкие предрассудки, укоренившиеся среди людей, разрушительнее бомб и огромных самолетов.

У него было две недели досуга. Вестэл все время проводила с ним и, так как он знал, что она теперь «белая жена цветного человека», он внимательно присматривался к ней во время их прогулок по скалам, густо поросшим лишаями. Он находил, что Вестэл не так умна и не так знает жизнь, как Софи Конкорд, что она не такая темпераментная и красивая, как та. Но он любил в Вестэл ее чистоту и спокойную уравновешенность. Она, что называется, превосходный тип молодой американской матроны — опрятная, крепкая и ловкая спортсменка, начитанная — или, скажем, довольно начитанная — и интересуется всем на свете. Вестэл была добродетельна, как подобает обитательнице Силвен-парка, но смеялась над сентиментальностью. У нее несомненно были все достоинства, кроме какой бы то ни было индивидуальности.

За эти несколько недель Нийл понял, что без страданий и сомнений нельзя стать человеком в полном смысле слова. А Вестэл за свою жизнь не испытала даже никаких физических страданий, кроме родов, не испытала ни сомнений, ни одного сильного потрясения.

У нее было одно несомненное достоинство, ставившее ее выше большинства так называемых добродетельных женщин: она никогда не проявляла сознательной жестокости. Но Нийл начинал приходить к заклю-



чению, что и бессознательная жестокость тоже может быть весьма действенной.

Вестэл, вспоминая детские годы, любила петь: «Енот<sup>1</sup>, енот, ах, как мне хочется побелеть».

«Это обо мне и о Бидди. Я — «енот», «осел», «пугало». Я — чудище, и такой прекрасной даме, как Вестэл, даже не может притти в голову, что она меня оскорбляет».

Принц примчался откуда-то и, отряхиваясь, поднял целый фонтан грязи. Вестэл стала бранить его:

— Не стоило давать тебе другое имя, пес! Какой ты Принц, ты просто негодный грязный Ниггер!

И, говоря это, она доверчиво улыбалась Нийлу.

Было ясно, что если бы Вестэл узнала о его чувствах к неграм, она сочла бы их не то безумием, не то неприличной причудой. К чему же брать на себя такую нелепую роль? Две недели жить среди колдовской красоты севера, серых скал, оранжевых мхов, в сладком аромате сосен, скользить в красном челноке по синеватой, как сталь, глади громадного озера — разве этого недостаточно, чтобы окончательно исцелиться? Они с Вестэл купались — вода была такая холодная, что дух захватывало, и, несмотря на хромоту, Нийл носился повсюду, как мальчик, и вернулся в город исцеленным от своего безумия.

Вернулся энергичный молодой банковский деятель — б е л ы й .

## 27

В том, что Нийл будет когда-нибудь директором банка и притом с окладом в десять раз б<sup>о</sup>льшим, чем оклад мистера Пратта, Вестэл была настолько уверена, что об этом не стоило и говорить. Ее интересовал уже только вопрос о будущем доме, который соответствовал бы высокому положению Нийла. Нийла забавляла ее идея откупить половину Холма у Бертольда Эйзенхерца и построить там тот идеальный дом, о котором мечтает каждая женщина. Он любил ее поддразнивать:

— А нельзя ли вам предложить дом новейшего образца, весь из окон и штукатурки, я видел такой дом, когда... ну, видел где-то.

Нет, это ей не нравилось! Она не одобряла этот модный стиль, холодный и странный. Она хотела бы иметь каменный особняк в стиле нормандского замка, но с верандами, где можно спать, с обшитой сосновыми панелями Комнатой Веселья, где будет коктейль-бар и кукольный дом для Бидди, а в нем («может, это уже сумасбродство?»)... в нем ванная для кукол с настоящим водопроводом!

— Разве это так уж важно? — спрашивал Нийл.

— Ужасно важно, потому что, пойми, детство бывает только раз в жизни.

Обсуждая устройство этой будущей «нормандской» темницы, они так увлеклись, что решили пока купить хотя бы газовую плиту новейшей системы.

Война с Японией кончилась, и Вестэл, радуясь предстоящему возвращению их друзей с Тихоокеанского фронта, выражала не меньший восторг по поводу того, что теперь заводы вместо оружия опять начнут изготавливать всякие драгоценные предметы домашнего обихода: туалетные столики из пластмассы, хрустальные кофейники, автоматы для мытья посуды. Она уже мечтала о туалетах, которые сошьет дочке из

<sup>1</sup> Кличка негров.

еще невиданных доселе тканей, когда Бидди (лет через двенадцать) поедет учиться в Бринмор.

За утренним чаем Вестэл предложила Нийлу:

— Я сегодня днем заеду за тобой в банк, и ты угостишь меня завтраком в ресторане, а потом мы пойдем вместе посмотрим автоматическую плиту, которая покорила мое женское сердце. Это не плита, а настоящее сокровище, жемчужина, цветок, драгоценный камень, и я ее буду беречь больше, чем добродетель — она ценнее уже тем, что практичнее.

Оказалось, что плита действительно обладает большинством тех качеств, которые восхваляла Вестэл, и Вестэл, пожирая ее глазами, радовалась:

— Когда мы ее поставим, даже наша убогая кухня будет выглядеть так нарядно, как наш будущий особняк.

Нийл вздохнул.

— Но ты же не разлюбила наш нынешний дом, не правда ли?

— Ах, Нийл, как бы я ни бредила будущими дворцами, я попрежнему обожаю нашу лачужку, наш собственный угол, который не может у нас отнять даже самое сумасбродное и неистовое демократическое правительство. Разразится кризис — так мы удалимся в свои владения и будем выращивать лук в ванной комнате и будем счастливы и беззаботны, как кузнечики. Как ты думаешь, кузнечики средней величины очень счастливы?

Она кивком головы указала на продавца, который, сложив руки на груди и устало горбясь, стоял за прилавком.

— Я думаю, он уступит еще пять долларов, если ты поторгуешься, как еврей. Попытайся.

«Наверное, евреям так же мало нравятся подобные фразы, как моим единоплеменникам выражение «потеет, как негр»... Ах, оставь это! У тебя прелестная жена, чудная газовая плита, и ты же решил забыть всю эту расовую истерию».

В тот день к его столу в банке подошел Эш Дэвис и, садясь, сказал официальным тоном — на тот случай, если кто-нибудь подслушивает:

— Мистер Кингсблад, могу я вас попросить уделить мне минутку?

— Здесь никого нет, Эш.

— Нийл, я опять к вам в качестве просителя. Дурные новости. В Южной Каролине несколько солдат-негров, вернувшихся с фронта, арестованы за убийство, которого они не могли совершить. Софи и я собираем деньги на адвоката. Дайте, сколько можете. И честно предупреждаю — если вы сглупите и дадите хоть цент, это будет только началом: я начну вас сосать, как пиявка, и всегда вопить: «Дай! Дай!»

Нийл прикинул в уме, сколько он может урвать из своих денег, и написал Эшу чек на немного большую сумму. Он соскучился по Эшу, Софи, Клему, по спокойному юмору и уничтожающей силе их речей.

— Когда можно будет опять встретиться со всеми вами? — настойчиво спрашивал он у Эша.

— Клем уехал на несколько недель. А может быть, вы сегодня придете ко мне обедать? Кроме нас с Мартой, будет, вероятно, только Софи, если я успею ее предупредить. Вы вечером свободны?

На этот раз Нийл солгал Вестэл уже почти автоматически. Он с огорчением сознавал, что не способен больше делить ее восторги по поводу новой газовой плиты. Она была высокомерная знатная леди и в то же время — бедный доверчивый ребенок.

Вечером, когда он сидел с Дэвисами и Софи за столом, который появился откуда-то из-за книжных полок и превратил этот конец комнаты в

столовую, он не знал, о чем говорить с ними. Их мир был закрыт для «нашего мистера Кингсблада из Второго национального банка». И чем больше «табу» была для него Софи, тем больше искушали ее нежные руки, коричневые и блестящие, как кожа тюленя, то спокойные, то движущиеся с гармонической точностью.

Нийл ел рассеянно (на обед был отличный грибной суп и битки по-гамбургски) и спрашивал:

— О чем у вас спор? Кто этот «турок», о котором вы говорите, и почему он — гад?

Софи ответила как-то устало:

— Это один негр, Вандербильд Литч, ростовщик,—единственный негр во всем городе, в котором мы подозреваем квислингга... Впрочем, вам это неинтересно.

— Отчего же?

— Что вам до наших будничных забот и хлопот? У нас вывеска «Только для негров», так что вам, капитан, вход воспрещается.

«Молчи! Не говори ей, что ты тоже негр! Держи язык за зубами! Ни чего не говори! Ты уже разболтал Эшу и Вулкэйпам — хватит!»

И, едва успев подумать это, он сказал тихо:

— Наоборот, Софи, разрешается, потому что и я — отчасти негр. Я это недавно узнал.

Софи даже рот открыла от неожиданности, а ее пальцы, с зажатой в них сигаретой, как темные стебли камыша застыли в воздухе. Видно было, как быстро поднималась и опускалась ее грудь. Затем изумление сменилось выражением трагического сострадания. Сестра милосердия, простая провинциальная девушка была искренно огорчена за него, но девичка с Бродвея сказала вслух:

— Бросьте дурака валять!

Нийл сидел и слушал, как другие говорили о нем. сердечно, без церемоний.

— Ах, хитрый бесенок! — смеялась Софи, — подумать только, как он все время ловко скрывал это. Я и не подозревала...

— Но я же вам говорю — я сам только недавно узнал.

— Правда, правда, он и сам не знал, — подтвердил Эш тоном школьного учителя.

— Не выдумывайте! — весело огрызнулась Софи. — Как вы могли не почувствовать в себе эту кровь, Нийл? Если вы черный, вы всё на свете, вы человек с живой плотью, с ногами, с глазами, вы чувствуете, как в вас бурлит древний мамбо-джамбо, дух Африки!

— Будет тебе, Софи! — сказал Эш.

— Это я тряхнула стариной — в Гарлеме любили такие фразы,—но, честное слово, я искренне не понимаю, как человек может носить в себе гены Конго и думать при этом, что он принадлежит к племени уродов с крепкими кулаками и вялыми душами, которые называют себя белой расой! Во всяком случае, поздравляю вас, товарищ!

— Прекрати, я тебе говорю! — опять остановил ее Эш. — Нийл, ее буйная африканская кровь — это чистейшая мистификация, точно так же, как ее отвращение к белым. Белые бывают разные, и у них много достоинств. Софи сознательно все преувеличивает, она из тех, кто ничего не забывает и желает исправлять мир. Но...

Такие «но» встречались во всем, что говорили Эш и Софи — только Марта обходилась без них, потому что она ничего не говорила. Чем ближе Нийл узнавал этих людей, тем сложнее казались ему они сами и их двойственное отношение к нему, как к другу, которого следует защитить, и как к новообращенному, которого необходимо использовать,

как рекламу в интересах расы. Не очень-то считаясь с его чувствами, они размышляли вслух:

— Хотя это, может быть, и трудновато — особенно вначале! — но все же, пожалуй, хорошо бы вам выступить открыто и заявить, что вы — негр. Как вы думаете?

Но потом они решили, что лучше пока оставить его в покое.

Нийлу раньше и в голову не приходило, что новость о его происхождении, которая может стагь для него позорным клеймом или ореолом, может быть оглашена не им самим, а кем-либо другим. Признание вырвалось у него мгновенно и непоправимо, и он понимал, что он теперь всецело в руках этих трех людей и Вулкэйпов, которые могут его выдать или не выдать. Но легкую греховую смягчало сознание, что теперь Софи, Эш, Марта для него свои люди. Когда Софи поднялась, он сказал:

— Я провожу вас до автомобиля.

Он сел рядом с нею в ее старенький двухместный автомобиль и взял ее за руку — никогда еще не держал он такой горячей руки, от нее исходил тот удивительный жар, который не измеряется никаким термометром. Она была прохладная и гладкая — и в то же время горячая и какая-то колючая.

Однако Софи, только что восхвалявшая необузданные страсти диких джунглей, оставалась холодна. Когда же Нийл спросил настойчиво:

— Если все узнают, что я негр, могу я надеяться, что вы мне тогда замените тех, кого я утрачу? — она сердито на него прикрикнула:

— Какого чёрта вы хнычете? Вы потеряете только тех, кого герять не жалко! Не ждите, приятель, что мы, чернокожие, станем жалеть человека, который имел счастье оказаться чернокожим!

Впрочем, она тут же смягчилась:

— Ну, ну, мой мальчик! (Совершенно таким же тоном любящей жены говорила с ним Вестэл). Мой проказник получил шелчок и повесил нос. Ну ничего, ничего, мама утешит своего мальчика!

Она вдруг поцеловала его. И что это был за поцелуй, какая была в нем близость, и нежность, и откровенность желания! Никто еще никогда так не целовал его. Но Софи тотчас проворно отодвинулась.

— Ах, извините, я не целую белых! А у вас только сердце негра, мозги все же еще белые, младенческие. До свидания!

Он смотрел вслед грохотавшему по мостовиям автомобилю.

«Не могу я поступить так с Вестэл. Как она сегодня радовалась своей плите! Я должен вырваться из этого африканского мира. Он слишком сложен для таких детей природы, как мы с Вестэл. Пратт, я возвращаюсь!»

Все вернулись с фронта, все его друзья: Род Олдвик, атлет Джуд Броулер, франтоватый Элиот Хансен. Они были здесь, и все единогласно утверждали, что, как бы ни бурлило во всем мире, старина Нийл все такой же, он ничуть не меняется.

Дни шли за днями, а Нийл не виделся ни с Эшом, ни с Софи. Они с Вестэл приглашали к себе на обед Джуда или Элиота с их женами, и, незаметно для себя, он снова стал полноценным, солидным молодым банкиром. Его «расовая авантюра» казалась сном — нет, кошмаром. Рядом с трезвым здравомыслием приятелей, его прежние фантазии казались ему сентиментальными, и он уже склонен был думать, что Родней Олдвик — его идеал, которому он всегда стремился подражать и в танкклассе, и в игре в хоккей, и в манере носить свободно повязанные

шелковые галстуки, — не способен на ту жестокость к цветным солдатам, которую он ему приписывал.

Как-то в Федеральном клубе он слышал разговор насчет этих цветных солдат—говорили Род и другой демобилизованный, полковник Леви Тарр. Род был только майор, но Нийлу казалось, что он—более майор, чем Тарр — полковник.

Леви Тарр занимал должность помощника заведующего в универсальном магазине своего отца. Он был высокий, худой, в очках, и хотя было известно, что он провел блестящую контратаку в «Бельгийском выступе», никто не мог себе представить этого торговца лентами в бою, размахивающего саблей или вообще действующего ею, тогда как, глядя на Рода Олдвика, легко было подумать, что он ест пшеничную кашу кинжалом, почесывается штыком и пишет любовные письма саблей.

Нийлу пришлось поддакивать, хотя и неуверенно, Роду, высмеивавшему полковника Тарра, который нервно хвалил черных солдат. Затем им овладело прежнее смятение, когда оказалось, что кузина Патриция, дочь дяди Эмери Саксинара, энергичного торговца насосами и клапанами, — ярая защитница негров. Она была хорошенькая девушка, до войны — замкнутая, пылливо ко всему присматривавшаяся. С войны (она была младшим лейтенантом Женской вспомогательной морской службы) она вернулась совсем другой — стала шумливой, всем живо интересовалась и обо всем имела свое мнение. Она хвалила негров-моряков и раз вечером удивила Нийла следующей импровизацией:

— Я хочу опровергнуть слух, будто «Дочери американской революции»<sup>1</sup> — это женский отряд Ку-Клукс-Клана: в Клане негров нет, а в организации ДАР их должно быть великое множество, так как во время американской революции первый убитый солдат был негр.

— Какие гадости ты научилась говорить, Пат, во время этой дамской войны! — вознегодовала Вестэл.

А Нийл молчал, расстроенный.

Род Олдвик пришел к ним обедать со своей красивой, холеной женой Джэнет. Бидди позволили лечь спать попозже, чтобы она могла поздороваться с «дядей Родом», и она немедленно завладела им. Родителям она объявила, что ей нужно поговорить с ним, и если ей позволят посидеть еще полчаса, то она два с половиной дня не будет капризничать.

— Вы удивительно умеете обращаться с детьми! Я уверена, что и со своими солдатами тоже, — сказала Вестэл Роду.

За обедом Род говорил о своем сыне Грэхеме, чье будущее было обдумано заранее во всех подробностях. Грэхему минуло только девять лет, но судьба его была уже предрешена отцом. Он должен был, как и отец, учиться в Лоренсвиле и два-три лета провести в Кэлверской военной академии, потом благополучно окончить Принстонский университет, изучать юридические науки в Гарварде (чтобы потом работать вместе с отцом в его конторе), поступить в Национальную гвардию, быть джентльменом, жениться на настоящей леди и, когда придет время, защищать англо-американскую цивилизацию и адвокатское сословие от итальяшек, евреев, китайцев и Пан-исламистского союза. И если ему повезет, он будет не простым майором, а генерал-майором.

<sup>1</sup> Женская реакционная организация, членами которой могут быть только потомки участников войны за независимость США.

Чувства имеют свою логику, быстро действующую и непонятную. И в силу этой логики Нийл подумал об Уинтропе Брустере, сыне преподобного Ивэна Брустера. Уинтроп — счастливец: его не потащат в обитом бархатом гробу через Принстон и офицерский клуб, и он может с честью оставаться независимым бедняком.

Повинуясь той же логике чувств, Нийл на другой день, вопреки принятому им решению быть осторожным, подъехал к домику доктора Брустера близ Майо-стрит.

Он не вполне отдал себе отчет, зачем, собственно, туда едет. Он не придумал, что сказать, когда вошел и увидел удивленного Ивэна, жену его Коринну (которая была не так черна и далеко не так сердечна, как муж) и детей, Уинтропа и Тэнкфул, подлинных янки, чей род жил в Массачузетсе с тех пор, как сюда бежал их черный предок-колониист. Прибыл он сюда если не на «Мэйфлауэр», то подпольными путями, а это одно и то же!

На этот раз Нийл не стал лгать Вестэл. Он просто сказал по телефону Ширли, что, быть может, не придет домой к обеду: дела!

## 29

Уинтроп и его сестра были немногим светлее отца, волосы у них были такие же курчавые и носы такие же, как у него, но в них чувствовалось больше уверенности американских граждан. Спокойная доверчивость, с которой они смотрели на Нийла, и манера прямо держаться придавала им вид не рабов с хлопковых полей, а обыкновенных американских школьников, какими они и были, — необычной была только их удивительная мягкость и вежливость.

Когда постоянно слышишь в школе, что американцы — самый храбрый, самый богатый и самый великодушный народ в мире, нельзя не проникнуться некоторой гордостью, и эта гордость не так уж неприятна в детях, если она умеряется культурным воспитанием дома.

Нийл вошел, неуклюжий и растерянный, объясняя хозяину, что он не может забыть его проповеди. «Проходил мимо.—дай, думаю, зайду на минутку». Уинтроп смотрел на него влюбленно, как на сильного старшего брата, а Тэнкфул решила, что он как раз такой человек, за которого она всегда мечтала выйти замуж, но до сих пор не встречала. Не в пасторском облачении, а в домашнем костюме—коричневой куртке, мягкой белой сорочке и каком-то неприятательном синем галстуке — доктор Брустер был похож скорее на почтового чиновника, чем на священника, и, если более правильная речь и более богатый запас слов, чем у Нийла или Рода Олдвика, выдавали в нем священника, зато он был гораздо жизнерадостнее их. Он смеялся, как смеется человек с мощной грудью, большим ртом и добрым сердцем. Жена его отнеслась более настороженно к незваному белому гостю, — более недоверчивая, чем муж, она не хотела рисковать безопасностью своей семьи. У нее черты лица были тоньше, чем у Ивэна, прямой нос был словно выточен из коричневого агата.

Нийл подозревал, что оба—и муж и жена—с беспокойством ждут, чтобы он объяснил, зачем он пришел. Вполне естественно — он и сам хотел бы это знать! Говорили о погоде, о местных городских новостях, сидя в тесной комнатке, в которой было еще теснее от старинной пишущей машинки, стоявшей на некрашеном столе, сколоченном самим хозяином, и множества книг по истории, богословию, антропологии, наваленных на дряхлые стулья, отзывавшиеся на малейшее сотрясение с чуткостью сейсмографа.

Уинтроп был рад, что у них в гостях мужчина — авось он понимает что-нибудь в электричестве. Потом он спросил:

— А вы в школе были радиолюбителем?

— Нет, но у меня был товарищ, который с этим делом много возился, и я ему помогал.

— Так пойдемте вниз, в подвал, посмотрите мою установку.

Нийл пожалел, что для него эта комбинация проводов и трубок в крошечном погребе была просто грудой утиля, и когда Уинтроп похвастал: «А я без труда ловлю Миами», он возымел к нему большое уважение.

— А ты беседуешь по радио с каким-нибудь другим любителем?

— Да. С одним парнем из Далласа, в Техасе.

— Он — цветной?

— Не знаю, я у него не спрашивал. Скорей всего — белый, говорит глупости о Гражданской войне. Да не все ли равно? — нетерпеливо сказал Уинтроп, и Нийлу стало совестно.

— А о чем вы с ним толкуете?

— Больше всего про испанский теннис. Я обязательно когда-нибудь изучу его. Но, конечно, по-настоящему меня сейчас интересует только радиолокатор. Вы согласны со мной, что у него большое будущее?

— Конечно, — сказал Нийл, которому о радиолокаторе было известно только то, что это — какая-то штука, помогающая пароходам увильгивать от айсбергов.

Уинтроп продолжал болтать:

— В университете я хочу специально заняться электротехникой. Я поступлю в университет нынче осенью.

— Я тоже там учился, — вставил Нийл.

— Здорово!

— А не рано ли тебе в университет?

— Ну, нет, что вы! Мне уже семнадцать! Вы знаете, что я весной окончил школу с отличием? — Уинтроп сказал это не хвастливо, а с простодушной гордостью. — Конечно, мне было легко учиться, потому что меня готовил папа. Мы за два года прошли с ним четырехлетний курс математики. Что я у вас хочу спросить, мистер Кингсблад: вы, должно быть, много удили легом в Эрроухеде?

— Много. Там в Собильском озере водится северная щука.

— Вот бы туда! Ночевать в палатке, плавать, удить — ух ты!.. Вот это жизнь! Не то что сидеть и слушать вечные разговоры о расах. Кому это нужно? Теперь только дикари не знают, что цветные и белые одинаковы, совсем как черные и белые котята. Ну, вот вы, разве не знали этого всегда?

— Н-нет... гм... не всегда. — Нийл поспешил переменить тему и воскликнул с воодушевлением: — А почему бы и тебе не поехать на лето в Эрроухед? Я бы тебе указал чудные места.

Мальчик отвернулся и неохотно пробормотал:

— Вы забываете... ни в одно из этих дачных мест цветных не пускают. Даже папу и маму туда не пустят. Нет, видно негров никогда не перестанут обижать! И про этот расовый вопрос всё так и будут говорить, говорить... И потом нам ехать куда нельзя — у нас мало денег. Мне придется все лето работать, чтобы подкопить денег на университет.

— А где же ты работаешь, Уин?

— Знаете, я ничего не мог найти подходящего... Ходил в Электрическую компанию, но там мне отказали — и очень грубо... То же самое

в радиомагазине. Так я нанялся мыть полы на вокзале, в зале ожидания и в мужской уборной.

Надо было, однако, как-нибудь объяснить хозяевам цель своего визита. И когда они с Уинтропом пришли из подвала, Нийл сказал миссис Брустер:

— Позвольте мне сказать вам кое-что, хотя вы это, конечно, сами знаете: у вашего Уина исключительные способности. Я просто горжусь, что открыл его. Дело в том, что я, и по собственной инициативе и по заданию банка, как раз изучаю вопрос о культурном росте так называемых национальных меньшинств в нашем штате — финнов, поляков, негров и... и литовцев и... (его познания в географии были исчерпаны) и вообще всех! Надеюсь, вы мне разрешите бывать у вас в качестве ученика.

Ивэн Брустер принял его, как своего, еще до того, как он родился. Казалось, что Коринна Брустер примет его после того, как он вырастет.

— Знаете, какая у меня к вам просьба: позвоните доктору Дэвису и миссис Дэвис и, может быть, еще мисс Конкорд, и позвольте мне угостить всех вас обедом в закусочной, которую я заметил, идя к вам. Вы извините, что я так поздно вас приглашаю, но если вы не возражаете, то я...

Они не могли отказать такому серьезному ученику.

По дороге в бар Уинтроп и его сестра шли по обе стороны своего нового взрослого друга, повиснув один на его левой, другая — на правой руке, и наперебой рассказывали о своем шенке-колли, Алджерноне Суинберне.

«А что было бы, если бы нам сейчас встретился Род Олдвик?»

Почти все помещение бара занимала длинная буфетная стойка, но здесь сгояли и столики вроде ломберных и стулья из плетеной проволоки. Салфетки на столах были бумажные. В меню перечислены грудинка, ветчина, бифштекс по-гамбургски и филе — последнее уже кончилось. Подавали молодые официантки, жевавшие резинку, очень услужливые, но неопытные. Ресторан был, как все дешевые рестораны в этой стране, где демократия началась с пищи, одежды и громких слов и часто наводит на мысль, что тем дело и кончится.

Большинство обедающих были негры-рабочие, некоторые в комбинезонах. Увидев тут Джона и Мэри Вулкэйп, Нийл с чувством человека, у которого теперь есть в мире негров хорошие друзья, поздоровался с ними радостнее, чем если бы это были Эшиел Денвер с женой. И, кушая ветчину с капустой, он теперь уже свободнее вмешивался в разговор Брустеров, Софи и Дэвисов о делах их общины.

Надо ли удивляться тому, что разговор главным образом шел о невзгодах негров? Нийл уже и раньше слышал многое из того, что говорилось здесь, — но ведь и все то, что имели сказать мистер Пратт и мистер Денвер о невзгодах банкиров, Род Олдвик — о невзгодах серьезных адвокатов и охотников на уток, ему тоже приходилось слышать от них неоднократно.

В этот вечер его новые друзья в ресторане с наибольшим оживлением говорили о преподобном докторе Снуде — повидимому, самом протестивном субъекте во всем Гранд-Рипаблик.

Когда главные секты — методисты, баптисты и просвитериане — от стенаний и аллилуйи незаметно перешли к таинственно-освященной готике и литературным обзорениям с кафедры, тогда в Америке замученные тяжким трудом люди стали понемногу переходить в новые церкви: здесь им обещали, по крайней мере, спасение душ, если большой зар-



платы ждать было нечего, здесь их побуждали громогласно ругать дьявола, папу и Уолл-стрит, в виде компенсации за то, что нельзя ругать открыто хозяев. На чердаках торговых складов и в пустовавших магазинах вырастали такие мудреные новые секты, как «Церковь божия во Христе через спасение библией» или «Собрание святых избранных божиих», состоявшее из десяти усталых мужчин и женщин, восьми молитвенников и четырех скамеек.

С чисто американской предприимчивостью духовные вожди, которые в менее культурные времена были бы фиглярами, знахарями или странствующими модистками, увидели, что можно очень недурно прожить, если самих себя назначить священниками или даже епископами, и, заарендовав какое-нибудь помещение, открыть в нем церковь. Работа не утомительная — громко вопить и тихо причитать, да на каждом собрании трижды производить сбор денег среди верующих.

Среди этих современных предприимчивых Барнумов<sup>1</sup> в Гранд-Рипаблик был некий Джэт Снуд, не окончивший даже средней школы и тем не менее именовавший себя доктором богословия. Он был владельцем большого сарая на углу Саус-Чэмплэйн-авеню и Ист-Уинчелл-стрит, на южной окраине города, и усиленно рекламировал это убежище, которое он романтически именовал «Скинния пророчеств господних. Основана на Священном писании: Христос за всех и все за Христа!»

Надо сказать, что почтенный доктор не мог ни в одном городе оставаться дольше пяти лет, ибо у него в запасе было только пятнадцать проповедей и пятьдесят водевильных трюков, и даже своим темным, забитым, жующим резинку слушателям он в конце концов надоедал. Но пока он был популярен, его финансовые дела шли блестяще, ибо он щекотал нервы религиозным восторгом, выкриками о геенне огненной, и внушал служанкам-шведкам, немецким приказчикам бакалейных лавок и монтерам-американцам надежду, что если они не могут встретиться с Хайремом Спэрроком в Федеральном клубе, то зато для них возможно общение с богом и его ангелами и душами святых избранных — в скинии доктора Снуда, где каждый жертвует добровольно, сколько может (но часто!). Снуд выкрикивал звучные многосложные слова, сдабривая их сочным жаргоном и усиливая впечатление джазовыми модуляциями голоса. Он давал им понять, что если их обижают снобы из коренных американцев, так ведь они и сами могут быть снобами и в свою очередь презирать и обижать всех евреев, негров, католиков и социалистов.

Эш Дэвис объяснил Нийлу:

— У нас в городе таких Снудов несколько, но Джэт ведет наиболее крупную игру. Они подготовили из своих чад духовных отличное пополнение для Ку-Клукс-Клана. Когда эти банды рыцарей христианства избивают до смерти запуганных и ни в чем неповинных негров и сжигают их дома, они не так уж комичны. Вы — друг нашей расы, Нийл, не можете ли вы что-нибудь сделать с этим Снудом?

— Обязательно постараюсь, — обещал Нийл, сознавая, что, конечно, ничего не сделает.

К их столу подошел молодой человек в военной форме капитана воледушных сил, стройный, подтянутый, с улыбающимся светлокоричневым лицом. Нийлу пояснили, что это капитан Филипп Уиндек, что до своего вступления добровольцем в армию он был студентом старшего курса

<sup>1</sup> Владелец крупнейшего цирка в Америке.

технологического института в Миннесоте, а в годы войны стал летчиком и много раз выполнял военные задания в Италии.

— Знаете, — сказал он Нийлу. — Я, собственно, больше не имею права носить военную форму, но у нас сегодня была встреча фронтовых товарищей. Завтра опять надену комбинезон.

— А чем вы занимаетесь?

— Да вот хочу прежде всего заработать немного денег и жениться, а там поеду доучиваться и увезу жену с собой. Я рассчитывал, что, имея технические знания и опыт летчика, легко смогу найти работу, но на аэродром и на автомобильные заводы меня не приняли. Все-таки мне повезло — я устроился опять в гараже, где работал до поступления в институт: буду мыть и смазывать машины. Дрэксел Гриншоу, мой будущий тесть, предлагал устроить меня в ресторане — убирать посуду со столов. Но я решил, что лучше мыть автомобили — меньше будет страдать мое воинское самолюбие. А то подумайте — вернувшийся с войны герой, который давал себе слово не возгордиться, когда его встречали мэр и два оркестра, — и вдруг белые, бывшие рядовые, будут орать на меня: «Эй ты, черный ублюдок, живее поворачивайся!»

Эта жалоба была встречена дружным хохотом, и сам Филипп смеялся вместе с другими. Негры, как всегда, считали, что лучше смеяться над неблагодарностью республики, чем скулить и падать духом. Не смеялся только Нийл — он негодовал. Когда этот ветеран итальянской кампании, а значит его боевой товарищ, сразу отнесся к нему дружелюбно, он почувствовал к нему что-то вроде благодарности. А когда пришел Райан Вулкэйп, уже расставшийся с армией и с военной формой, он его встретил, как брата.

Да, Нийл увяз глубоко — он и сам не знал, как глубоко он увяз.

Как всякая хорошая женщина, довольная тем, что ее нового возлюбленного ласково приняли в семейном кругу, Софи Конкорд, наблюдая встречу Нийла с Филиппом, потом с Райаном, его отношение к детям Ивэна, сияла от гордости. Она первая сказала Нийлу:

— Брустеры и Дэвисы собираются сегодня на заседание какого-то комитета. Ну как же, они ведь не могут дня прожить без заседания! Комитеты — это тот вид наркотиков, который быстрее всех входит в привычку. Так давайте пойдем вчетвером — Райан, Фил, вы и я — в «Веселый джаз» и полюбуемся на черномазых в их самом не-комитетском виде! Ведь вы же — типичный мягкосердечный любитель прогулок по трущобам. Вы знакомитесь с Эшом и Ивэном и немедленно делаете вывод, что все мы — чистые сердцем интеллигенты, изгоняющие бесов из людей нашей расы. А вот пойдите поглядим на тех, кого надо наставлять на путь истинный — ах, до чего они ненавидят это! Не знаю, как бессловесный негр с плантации, но городской франт или богатый негр, доктор Мелоди, безусловно не дадут насильно повести себя в эфиопское Царство Духа. Во всяком случае, пойдите в кабак, посмотрим на трясогузок.

В «Веселом джазе» было много шума и много мишурного блеска, но не так много пагубных соблазнов, как надеялась романтическая душа Нийла. Большой зал украшали розовые с золотом трельяжи с искусственными орхидеями. Оркестр состоял из барабана, пианино и кларнета, насилуемых тремя жирными веселыми неграми в малиновых фраках и золотых котелках, и знакомил Гранд-Рипаблик с творениями Дюка Эллингтона. Цветные матросы и солдаты танцевали (некоторые с белыми женщинами, фабричными работницами) плотно прижавшись друг к

другу, потому что зал был так набит людьми, как будто здесь было самое дорогое из нью-йоркских увеселительных и потогонных заведений. Молодые негры и черные или пепельно-желтые негритянки пересмеивались, но говорили мало и танцовали с присущей им грацией и изяществом.

Нийл только с некоторым опозданием заметил, что за соседним столиком сидит Борус Багдол, хозяин «Веселого джаза», а с ним нарядная девица в зеленом тюле, что эта девица — Белфрида Грей, и оба весело ему улыбаются. Он пожаловался в своей компании:

— Вот сидит наша бывшая горничная Белфрида, которая почему-то меня ненавидит. У этой девчонки трудный характер. Только, ради бога, Райан, не накидывайтесь на меня! Я знаю, сейчас вы угостите меня социалистической пропагандой и скажете, что она — жертва окружающей среды.

— А почему бы и нет? Вот давайте все подсядем к ним, а потом и потолкуем с нею. Я ее знаю с детства. Вы оттого против нее настроены, что, вероятно, в первый раз имели культурное удовольствие получить щелчок от простой служанки!

Глядя на эту Белфриду, которая столько месяцев спала близко — через коридор — от него, Нийл к своему крайнему удивлению открыл, что она — вылитая Нэлл Гвинн, только вырезанная из черного дерева: те же глаза, улыбка, тот же задор и та же смелая гибкость морали. С томностью хорошенькой торговки апельсинами, оскорбляющей лорда, она сказала протяжно:

— О, да это мистер Кингсблад! Вот не ожидала вас встретить в таком вертепе! А я-то думала, что вы ходите только читать лекции в воскресную школу!

— Вы отлично знаете, что я никогда не преподавал в воскресной школе! — возразил Нийл. Его мужское достоинство было задето.

— А я слышала, что преподавали.

— Чем же вы теперь занимаетесь, Белфрида?

Белфрида и Борус обменялись взглядом, как будто услышав очень нелепый вопрос, но затем Белфрида, пожалев невоспитанного белого, снизила до ответа:

— У меня теперь собственный косметический кабинет. Нас две компаньонки — я и еще одна девушка. Клиентура у нас самая отборная, дамы из высшего круга, жены пасторов... но вы не думайте, что если вы знакомы со мной, так можете и с ними завести знакомство — ничего не выйдет! У всех у них уже есть ловкие мужчины с туго набитым карманом.

Она посмотрела на Нийла с вызовом, потом на Софи — неприязненно, потом на Боруса — и фыркнула.

Нийл сказал заискивающе:

— Надеюсь, у вас не очень неприятные воспоминания о нас, Белфрида?

— Нет, ничего, — ответила она небрежно. — Вы всегда молчали, как истукан, но миссис Кингсблад — молодчина. У нее есть «изюминка». Никто не станет требовать особой сообразительности от белой, но она — такая умница, что почти могла бы сойти за цветную. Ну, я вас все-таки рада видеть, мистер.

— Э... э... Белфрида, я жалею, что мы с вами не поладили. Пожалуй, в этом больше всего виноват я.

— Да, вы! Видно было всегда, что вы ожидаете от меня только низости — вот я и стала низкая. Господи, я же выросла не в гостинной!

Я выросла в дыре у чистильщика обуви, и все белые мужчины пробовали мною попользоваться, когда мне не было еще и тринадцати лет...

Когда я к вам поступила, я сначала обрадовалась: «вот какая у меня чудная комнатка», но потом вы и ваша Вестэл лезли туда, когда меня дома не было, и потешались над моими вещами... И вот я вам что скажу, мистер: когда изо дня в день приходится застилать чужие постели, это так надоедает, что уже пороха нехватает держать в порядке свою собственную. И думаешь — вот есть хоть одно местечко, где никто не может тебе запретить быть неряхой и переворачивать все вверх дном. Но и тут мне не было от вас покоя. И вы все шушукались обо мне — всё шу-шу, да шу-шу!

— Белфрида, мне ужасно жаль...

— Ладно, забудем это. Ну, очень приятно, что встретила вас...

«Наш мистер Кингсблад» почувствовал, что его отпускают, и поперхнувшись начатой фразой, покорно отошел к своему столу вслед за безмолвной Софи, ухмылявшимся Филом и иронически наблюдавшим Райаном. Но не дав им задать вслух вопрос «Ну как?», который вертелся у всех на языке, он воскликнул:

— Она великолепна!

Мисс Софи Конкорд не стала дразнить его тем, что его «осадила» его бывшая кухарка. Наоборот, она проворчала тоном ревнующей жены:

— А скажите, милый мой, у вас с этой черной мисс Белфридой были очень близкие отношения? А?.. Вот что я хотела бы знать!

В боковой ложе «Веселого джаза», за одним из столов, всегда собирались старейшины цветной колонии: Дрэксел Гриншоу, чистильщик обуви Уош и проводник «Борупа» Мак, когда он заезжал в город навестить сестру. Сегодня с ними сидел еще механик Шугэр Гауз.

Так как Дрэксел был будущий тесть Филадельфия Уиндека, Фил мирился с величественным старым рыцарем камчатных скатертей и потащил Нийла в ложу к Stammtisch<sup>1</sup> трех «дядей Томов».

Они, видимо, были недовольны тем, что один из тех, кто им давал на чай, нарушил их интимную джентльменскую беседу.

— Мистер Гриншоу, вот капитан Кингсблад. — искренний друг нашей расы, желал бы услышать мнение ваше, Мака и Уоша, так как все вы действительно считаете, что все белые — дураки?

Дрэксел искоса посмотрел на Нийла и сказал, покашливая:

— Нет, нет, Фил. Зачем же так? Просто им редко удается заглянуть по ту сторону разделяющих нас дверей.

Проводник Мак, глядя на Нийла смело, почти как на равного, подхватил:

— Я уверен, что капитан Кингсблад меня извинит за откровенность, ведь он один из тех немногих больших людей, которые могут себе позволить ездить в «Борупе»... Я так считаю: белые — отличные люди, но все они большие дети и за ними глаз нужен, они плохо разбираются во всем — не то что мы, которым приходится сгибаться в три погребели перед каждым коммивояжером. Белые мне напоминают некоторых цветных с Дельты, которых все мы знаем: они верят во все, что им говорят закон и пасторы. Их, бедняг, и винить за это нельзя.

Дрэксел сказал:

— Нет, я о белых более высокого мнения, чем ты, Мак. Возьмем хотя бы такого человека, как мистер Хайрем Спэррок. Ни один негр никогда не наживал столько миллионов, сколько он, а для этого надо иметь голову на плечах... И раз он дал мне на чай пять долларов!

<sup>1</sup> Stammtisch — стол для завсегдатаев (нем.).

Нийл думал: «Они уже почти забыли, что я — белый... Впрочем, ведь я уже не белый. Способны они угадать во мне негра?».

Мак между тем говорил презрительно:

— И что же? Этот мистер Спэррок — еще больше ребенок, чем все они. В тех пилюлях, что он постоянно глотает, нет ничего, кроме сахара, мне его врач сказал, доктор Дровар, и еще он сказал, что можно ему давать есть все, что он захочет.

Тут и Шугэр Гауз решил подать голос:

— Вы, конечно, старше меня, джентльмены, так что уж извините рабочего человека, что я хочу вмешаться в ваш разговор: на мой взгляд, белые — большие хвастуны. Вот, к примеру, наш мастер. Спрашивает у меня: можешь машину наладить? Ну я, конечно, наладил, а он походил вокруг, как индюк, а потом и говорит управляющему: «Вот видите, что я сделал!» Впрочем, если им негр помогает, они не делают ему подлостей и не так много врут про него. Я все присматриваюсь, чтобы знать, как с ними обходиться, с сукиными сынами.... Ах, извините, капитан, извините, сэр!

Все трое усталились на Нийла, как важные черные филины, усевшиеся в кружок. Через некоторое время перешли к политике. Только Дрэксел никак не мог расстаться с волнующей темой и продолжал говорить. Он прошел хорошую школу раболепства перед белыми, но он столько белых наблюдал, когда они пьянствовали и распутничали в его ресторане, что они больше не вызывали в нем благоговейного страха. И если нашелся белый, желающий знать правду, — что ж, пожалуйте!

— Как обходиться с белыми?—подхватил он слова Гауза.—Белому от негра одно нужно: чтобы его ублажали. Будь смиренным и покорным, играй с ним в «дядю Тома», лъсти ему, чеши ему спину — и заодно очисти карман... Это я вам только объясняю, капитан, как говорят некоторые негры.

— А я этого не люблю, — возразил Мак, — хотя, конечно, умею...

Почтенный Уош закашлялся от смеха:

— Ты это умеешь, а я — делаю! Они — настоящие младенцы, им соска нужна. Но у них есть страшные ружья и очень крепкие веревки, — и вот я говорю: «Вам дядю Тома надо? Ладно, нате вам дядю Тома» и замазываю глаза этим дуракам. Конечно, я не о вас говорю, мистер!

— Мы, чернокожие, давно славимся своим юмором и смирением, — сказал капитан Филипп Уиндек. Но улыбкой он просил у Нийла прощения.

Нийл провожал Софи домой—она жила неподалеку от Майо-стрит. Он говорил:

— Много жизни и красок во всем, что я видел сегодня. И оттого, может быть, я уже чувствую себя подлинным сыном вашего народа. Все они... я не знаю ничего более мужественного, чем смех над самим собой.

— Мой благожелательный, но незрелый друг, в отношениях между людьми не должно быть слова «они», а только — «мы».

Прощаясь с нею у дверей ее квартиры, Нийл был в нерешимости: поцеловать ее или нет? Она же не испытывала такого рода сомнений. Уйдя от нее, он некоторое время не столько думал о Софи, сколько сравнивал Уинтропа Брустера с любимым сыном Рода Олдвика. Но на чьей же стороне он, Нийл? Какая сторона имеет право требовать от него верности, в которой он когда-то присягал как солдат? Побуждаемый чувством, которое было ему ясно, но в котором он не хотел

себе признаться, он вернулся к дому Ивэна Брустера. За окном виднелась могучая фигура, склоненная над письменным столом.

Доктор Брустер вышел отворять, похожий в своем халате на Поля Робсона в роли Отелло. Войдя, Нийл сказал ровным голосом — такому человеку нельзя лгать, как лжешь какому-то Бэнсеру:

— Хочу сообщить вам одну вещь, доктор. Мне надо поскорее сбросить это с плеч, пока я не стал опять благоразумен. Я выяснил, что во мне есть немного негритянской крови — от далекого предка. Я рассказал об этом Эшу, Софи, Вулкэйпам, но пока ни одному белому. Как ваше мнение, должен я признаться в этом открыто?

Он ожидал, что Ивэн прорычит: «Разумеется!», и тогда он, Нийл, рассердится и будет защищаться. Но Ивэн только ахнул и сказал: «Не знаю... не знаю». Он стоял и широко открытыми глазами смотрел на Нийла, похожий больше на воинственного шекспировского мавра, чем на благопристойного доктора философии, ученого — и почтового чиновника. А Нийл рассказывал о Ксавье Пике, и, кончив, спросил отрывисто:

— Ну, как же, по-вашему, мне следует поступить?

— Я еще не могу сказать. — Ивэн как-то странно поднял свои большие руки, словно хотел его благословить. — Но думаю, что нет необходимости оглашать то, чего фактически нет. Ведь, ваше теоретическое родство с моей расой — это только предрассудок американцев.

— О! — Нийл был разочарован (никто не хочет, чтобы он добровольно выступил!), но вместе с тем он испытывал и заметное облегчение.

— Нийл, когда я думаю о все более энергичных нападках на мой народ со стороны таких скотов, как Джэт Снуд, когда я вижу, как крестом Христовым разжигают костры для наших мучеников, тогда хочется сказать: «Да, конечно, оставь отца и мать свою, покой и свободу и положение в обществе, и иди к нам». Но я не знаю! Чёрт возьми, дайте мне подумать прежде, чем вмешаться в вашу жизнь. Приходите ко мне через несколько дней и... может быть, вы попробуете помолиться?

Нийл сделал вид, что соглашается, но ему почудилось, что он слышит смех Райана

Возвратясь, наконец, благополучно в Силвен-парк, где святые вроде Ивэна Брустера были так же немислимы, как и гады вроде Снуда, Нийл пытался бороться с собой.

«Неслыханное идиотство! Человек достаточно ответственный, человек, у которого есть обязанности, бежит к негру-фанатику и скулит: «Ах, сэр, скажите, можно мне бросить жену и дочь и дом для того, чтобы накачиваться джином в компании Белфриды в «Веселом джазе?»»

Никакие рассуждения не помогали. Ему вспомнилось, как он, когда был студентом, зашел раз в церковь и услышал выкрик белого проповедника-оклахомца: «Когда господь доберется до вас, вы можете барахтаться, и вопить, и реветь—все равно, уж он вас не выпустит!»

Он решил послушать преподобного доктора Снуда (проверить, действительно ли этот проповедник так красноречив и так опасен, как говорят) и для этого поехать вместе с Вестэл на глухую окраину грешного города. Ибо, хотя Нийла и сильно влекло к Софи, ему и в голову не приходило, что привязанность его к жене может от этого уменьшиться — психологическое явление, которое во все времена приводило в ярость свободных женщин, отбивавших мужей у законных жен. Забав-

но, что, когда он предложил Вестэл эту экскурсию в трущобы, Вестэл запротестовала:

— Ты меня удивляешь, Нийл, честное слово! Выдумал тоже, итти слушать такого гнусного ку-клукс-кланщика, как этот негроненавистник Снуд!

— О, я, конечно, целиком против его идей. Я очень уважаю негров, — сказал Нийл мягко.

— Вот как! С каких это пор?

«Что с нею будет, если я скажу ей, вот сейчас скажу правду? Выдержит ли она это? Эй, Кингсблад, не дури!»

В этот вечер ранней осени у них была в гостях кузина Нийла, Патриция Саксинар, демобилизованный офицер флота, — и они взяли и ее с собой, хотя Патриция и объявила, что она «не охотница слушать тьяканье мелких шавок».

«Скиния пророчеств господних» выглядела так же убого, как хлев, в котором родился Спаситель, но рекламировалась гораздо энергичнее. Это был сарай, вмещавший от восьмисот до девятисот человек и сколоченный из старых досок, так плохо покрашенных, что видны были все старые дыры от гвоздей. Пройдя через заросшую сорняками вонючую свалку с валявшимися повсюду негодными шинами и полусгнившими старыми башмаками, вы оказывались у входа в скинию и могли прочитать объявление аршинными буквами: «Правда о международном заговоре, разоблаченном словом Божиим и доктором Снудом».

Внутри неоштукатуренные стены были покрыты красной сыпью плакатов. В дальнем конце сарая висело нечто вроде диаграммы, из которой явствовало, что Наполеон, Том Пэйн и все Рокфеллеры и Вандербильды находятся в аду. Надежда, что этим в высшей степени отрадным зрелищем они смогут бесплатно развлекаться во веки веков, утешала бедняков — булочников, мясников и рабочих, наполнявших «дом молитвы». Эта публика вносила сюда приятную семейную атмосферу: повсюду сидели одетые по-воскресному труженики, отцы и матери с детьми, сосавшими длинные леденцы. То была соль земли, которую рука диктатора могла превратить в селитру.

Патриция была взволнована.

— Славные, простые люди! И, верьте слову, они были бы от души рады хорошенькому суду Линча, который нарушил бы однообразие их существования. Как поклонница Авраама Линкольна, я их люблю, но... будь я евреем, или итальянцем, или негром, я бы панически боялась этой компании любителей Ветхого завета, которой командуют Снуды.

Нийл вспомнил: а ведь Пат — в такой же степени родства с Ксавье Пиком, как и он сам. Изможденные, бледные лица, окружавшие их, представлялись ему в зловещем свете факелов, как в том страшном сне, который снился ему недавно.

В ожидании начала службы люди прохаживались в глубине скинии, болтали о том, о сем, — все сходились на том, что в последнее время житья не стало от постоянных дождей и от махинаций Ватикана. Дети гонялись за собаками, а собаки — за жуками. Миссис Снуд, увядшая, забытая женщина, стояла за импровизированным прилавком из гладильной доски и продавала номера журнала «Трубный глас» с видами Иерусалима и портретом полковника Чарльза Линдберга.

Церковные старосты, солидные люди, напоминавшие каменщиков, в солидных синих костюмах, словно сделанных из камня, с приветливым видом уминали, как известь, всю эту человеческую массу, загоняя ее на шаткие складные стулья и на деревянную эстраду. Оркестр заиграл

«Алло, центральная, дайте небо!» и перешел на иступленное: «Внимайте, поют ангелы, вестники божии», и в это время современный представитель ангелов-вестников, преподобный доктор Снуд, вскочил на эстраду, встал посреди нее на колени, склонив голову (но не настолько, чтобы нельзя было сосчитать посетителей), и во весь свой громовой голос стал читать молитву, заверяя Всевышнего, что если он ныне будет внимать ему, Снуду, то услышит, как он разрешит множество самых запутанных и таинственных загадок.

Затем Снуд вскочил — очень резко, как будто он не был только что занят таким потрясающим делом, как разговор с богом, — и подбежал к кафедре, на которой стоял графин с водой и лежала библия и пучок иммортелей. Но прежде чем приступить к проповеди Откровений, главной цели сегодняшнего собрания (если не считать сбора пожертвований), он заставил собравшихся спеть три гимна и, дирижируя, так размахивал руками, как будто ворон пугал. Потом стал распекать своих чад духовных за то, что они скупятся класть звонкую монету (его подлинное выражение) в церковную кружку.

Снуд производил впечатление не жреца-мистика, не опасного демагога, не простого мошенника, а честолюбивого местечкового бизнесмена, весьма изобретательного по части выставок в витрине и довольно жестко поступающего со своими должниками. Этот человек мог сыграть роль динамита для своих последователей, а ведь он был только коротконогий, квадратный, лохматый торгош в восьмиугольных очках без оправы — последняя новинка техники.

Он бубнил, он был невежда, он был тупица. Но его выручали два великих дара: замечательный голос, на котором он играл, как на губной гармонике, и еще более замечательное отсутствие принципов. Ему было все равно, кого линчевать, лишь бы ему, Снуду, были обеспечены его шесть тысяч долларов в год. Он, естественно, немного кичился тем, что достиг такого высокого положения, так как на заводе колючей проволоки, где он работал когда-то, он получал двадцать два—двадцать три доллара в неделю, и большинство товарищей смеялись над ним и уверяли, что никогда он большего не добьется.

Часто после собраний закрытых религиозных кружков он говорил шутя:

— Мы с матерью не имеем достаточно сильного желания питаться икрой и пить шампанское, но мы непременно побываем в Атлантик-Сити и раньше, чем умрем, съездим в Святую землю, и жить будем в самых лучших отелях.

Его часто сравнивали с Авраамом Линкольном и Хью Лонгом, как, возможно, будущего вождя Простого народа. Джэт еще молод — он родился в начале девяностых годов — и он, может быть, еще покажет себя скептикам-журналистам, которые считают его смешным и ничтожным.

Снуд начал проповедь с решимостью человека, принимающего холодный душ.

— Не проповедь читать я пришел сегодня сюда! Нет, просто хочу пожаловаться вам. Мне начинает здорово надоедать, и господа богу тоже начинает здорово надоедать то, что банда евреев-коммунистов, которая правит нами в Вашингтоне, отдает наши заработки и вверяет воспитание нашего дорогого потомства проклятым агентам Рима и Москвы!

Далее следовали комментарии к событиям. В основном он толковал их совершенно так же, как высококультурный майор Родней Олдвик. Он разъяснил слушателям, что существует международный заговор евреев-банкиров, английских аристократов вроде сэра Криппса, совет-



ских интриганов, магометанских священников, агитаторов-индусов, католиков и американских рабочих лидеров (это я говорю не о рядовых членах профсоюзов, братья мои, ибо и мы с вами к ним принадлежим. Я имею в виду крупных прохвостов — продажных лидеров).

Затем он рассказал, что англичане — потомки затерявшихся в пустыне племен Израиля, что при помощи вычисления размеров Великой пирамиды можно предсказать почти всё — за исключением разве того, будет ли завтра дождь и не испортит ли он пикник. Это старушка-Пирамида вряд ли может для них сделать, хотя он, Снуд, слышал о ней удивительные вещи.

Еще удобнее для гадания пользоваться Откровениями и книгой Езекииля, главы тридцать восьмая и тридцать девятая. Упомянутая в Библии земля «Рос» — несомненно Россия, а «Мосох» — Москва. Он скрипел:

— Старички засели в сенате Соединенных Штатов, хлопочут, шумят, злятся и потеют — только подмышками, голова у них не потеет, потому что не работает. А из-за чего вся эта суега? Старые козлы пытаются сообразить, что же собственно происходит между Россией и дядей Самом. Так вот, если бы сенаторы наши пришли ко мне и спросили: «Доктор, что будет?», — знаете, что я им ответил бы? «Ребята, — сказал бы я, — сейчас я открою священную книгу, и вы узнаете точно, что будет».

Но вы думаете, люди будут настолько разумны, что изберут меня в сенаторы? Как бы не так! Хотя здесь неподалеку, на ферме в Тамаракском районе, есть одна славная старушка, добрая христианка, которая аккуратно вносит пожертвования на наше дело, — благослови ее господь! — так вот она пишет мне, что каждую ночь на коленях молится, чтобы меня избрали в сенат и чтобы я поехал в Вашингтон, тогда господь через меня сможет вмешаться в управление страной.

Но я ей в ответ написал: «Нет, сестра моя, я думаю, что здесь, в дорогом Гранд-Рипаблик, где столько игроков, и агностиков, и сводников, труды мои нужнее и угоднее богу. И если только некоторые никчемные христиане, у которых наглухо застегнуты сердца и карманы, захотят время от времени приходить сюда с дарами, более приятными господу, чем жалкий гривенник или четвертак, то мы обратим в бегство и дьявола, и евреев, и левых и создадим царство божие именно здесь, в этом маленьком городе, как некогда оно зачалось в бедном селении Вифлееме — я имею в виду Вифлеем не у нас в Америке,<sup>1</sup> а в Святой земле.

К концу, после перерыва, который был посвящен сбору денег и прошел удачно, голос Снуда окреп, зазвучал ритмично и низко, как гул медного колокола.

— Сегодня я мало говорил о наших цветных приятелях, но приходите завтра вечером, и я вам кое-что открою насчет этих проклятых детей Ваала, которых господь сотворил черными за древние грехи и сделал навечно слугами белого человека. Я вам расскажу о замыслах евреев, которые хотят, чтобы мы все оказались под черной пятой этих вырожденков, — нечто такое, о чем газеты боятся писать, такое, что вы будете слушать и дрожать.

Не пришло еще время возродить Клан,<sup>2</sup> но когда мы это сделаем, я хочу, чтобы все вы, дорогие братья во Христе, поняли, что это значит — водрузить на высоком месте крест животворящий, что такое огонь очищающий, книга, в которой мы черпаем мудрость, и бич и веревка,

<sup>1</sup> Бетлэем, или Вифлеем, — центр стальной индустрии в штате Пенсильвания.

<sup>2</sup> Ку-Клукс-Клан.

которыми господь сам изгонял меня из храма и которые мы пустим в ход против черных демонов. Они бежали с благодатного Юга для того, чтобы тысячами вторгнуться в наши заводы, наши рестораны, даже наши дома и постели! Приходите завтра вечером, и вы узнаете кое-что!

А теперь... О, любящий господь наш, кроткий Иисусе, сделай так, чтобы наша весть, не благодаря силе и красноречию нашему, а твоей милостью тронула сердца всего страдающего человечества! Помолимся, братья!

Они ехали домой в щедром сиянии сентябрьской луны. Нийл молча вел машину, примолкла и Патриция, сказав ворчливым тоном: «Этот Снуд — маг и волшебник, он вносит такую путаницу в мозги, что сумел внушить мне одновременно любовь к коммунистам — и к католикам».

Болтала только Вестэл, перескакивая с одного на другое:

— Мне он не понравился, а вам? По-моему, он вульгарен, он невежественнее даже этих шутов, негритянских проповедников, которых всегда передразнивает Род Олдвик. Помнишь, Нийл: «Братья, вы крадете больше арбузов, чем разрешается даже черным детям господа бога».

Она громко засмеялась, а Нийл подумал, что не столько ужасный Снуд, сколько милые шуточки таких женщин, как Вестэл, могут заставить его уйти навсегда к «шуту-проповеднику» Ивэну Брустеру.

Когда он снова пришел к Брустерам — прямо из банка, — ему пришлось дожидаться Ивэна, который еще не вернулся с почтамта. Наконец, он появился — в старом свитере, в котором он ничем не отличался от любого рабочего. Он положил Нийлу руку на плечо, а в глазах его было такое выражение, как у византийских святых — ласковое, пристально-неподвижное, чуточку безумное.

— Присаживайтесь, Нийл. Знаете, на что я отважился? Сделал вылазку в Силвен-парк и несколько раз прошел мимо вашего дома. Я видел во дворе миссис Кингсблад и вашу дочурку. Они меня, наверное, даже не заметили, я старался ничем не привлечь их внимания. А если и увидели, так подумали: «вот идет какой-то черный, должно быть, к знакомой кухарке, здесь по соседству».

А жена и дочка у вас замечательные. Так как они — ваши, я осмелился полюбить их. И я думаю: имею ли я право сделать что-либо такое, что вовлечет их с нами в борьбу униженных?

Нет. Это — моя участь, но я не считаю, что они должны ее разделить, да и вы тоже! Может быть, ваши обязанности по отношению к этому ребенку и этой красивой, веселой, уверенной женщине выше долга по отношению к нам, если вообще можно говорить о каком-то вашем долге по отношению к нам. Я не могу даже обещать, что господь укажет вам путь. Если вы сейчас в это не верите, то вы уже никогда не уверуете. Нийл, не говорите никому ничего!

Галопом влетел Уинтроп — это была его обычная манера входить — и закричал:

— А, капитан! Вы меня научите играть в джинрамми<sup>1</sup>?

— Научу, если ты будешь звать меня «Нийл».

— Ладно. А капитаном нельзя? Страх как люблю военные титулы! — сказал будущий американский ученый.

<sup>1</sup> Карточная игра.

Это вышло случайно — тут не было никакого сознательного намерения. Он встретил Софи Конкорд на улице, предложил ей завтракать вместе, она утвердительно кивнула головой. Он и не вспомнил о том, что это его «компрометирует», пока не спросил у нее:

— Куда же мы могли бы пойти, как вы думаете?

Но как только он задал этот вопрос, он вдруг почувствовал, что он означает, и пришел в ужас от того, что сделал. Ведь это значило сказать женщине, которая и умнее и лучше воспитана, чем все, кого он знает: «Не забываете, что вы — негритянка. Где же найти такой грязный кабаk, куда пустят такое чудище, как вы?». И, вероятно, уже один этот вопрос равносителен изнасилованию.

Но Софи ответила не виновато, не жеманно, а обычным деловым тоном:

— Можно пойти в «Шейкер-шикен-шэк». Это кабачок для негров на старой Северной военной дороге, на левой стороне, сразу как свернете с Биг-Игл-Ривер. Там и встретимся? Хорошо, значит завтра в час.

Он говорил себе, что незачем так волноваться, как будто ему предстоит завтра жениться или быть повешенным. Он — степенный человек, женатый человек, банковский работник без страха и упрека, и он просто-напросто хочет позавтракать в обществе женщины гордой и порядочной, сестры милосердия. Тем не менее, он весь этот день и весь вечер чувствовал себя виноватым перед Вестэл, боялся, что его уволят, если кто-нибудь увидит его в притоне для негров, и казался самому себе таким же отвратительно-распущенным, как Кэртис Хэвок.

Задавая себе прямой вопрос: «Каковы, собственно, твои дальнейшие намерения относительно этой женщины, если допустить, что ты сможешь их осуществить?», он не нашел ответа, кроме сомнительного объяснения, что если он когда-нибудь перейдет на положение негра, ему нужен человек более близкий, чем Эш Дэвис, и более мужественный, чем Вестэл.

То есть — нужна будет Софи.

Ресторан «Шикен-шэк» представлял собой кое-как выбеленную хибарку из старых досок, низенькую и ветхую. И когда белый джентльмен подъехал к этому заведению в своем автомобиле и решил войти внутрь, то хозяин, маленький старичок-негр, два здоровенных черных официанта и с полдюжины негров-посетителей — все уставились на него, ожидая какой-нибудь неприятности. Их примитивный опыт говорил им, что белый всегда приносит с собой счета, повестки и беды.

— Я... я здесь должен встретиться с мисс Софи Конкорд, — начал он.

— Вы знакомы с мисс Конкорд? — спросил хозяин неохотно.

— Ну разумеется.

— С сестрой милосердия?

— Да.

— Темнокоричневой девушкой?

— Д-да, пожалуй, что так.

— Никогда о ней и не слыхивал. Вы не туда попали, мистер!

Тихий, шипящий смех раздался за спиной Нийла, со всех сторон, пополз по всей комнате. Но прежде чем он успел возмутиться таким грубым проявлением расовой ненависти, влетела Софи, запыхавшись от быстрой ходьбы, бросила хозяину «Как живете, Панги?», а для Нийла не нашла ничего более подходящего, чем замечание «Чудный день сегодня».

«Панти» неохотно указал им стол в уединенном уголке на дальнем конце бара, в нише с портретами Каунта Бейзи<sup>1</sup> и «Шоколадного мальчика»<sup>2</sup>, и спросил:

— Будете есть свежую южную черепаху?

— Две порции жаркого по-мерилендски — и больше не приставайте к нам, Пант,—сказала Софи. Потом Нийлу:—Страшная дыра, правда?

— Ну, не такая уж страшная.

— Нет, более, чем страшная. Но я к ней привыкла. И во всяком случае, как раз такое место, какие выбирают белые джентльмены, когда хотят добиться своего от нас, бедных красивых женщин.

— Софи, я знаю, что вы любите острить и все такое... Ведь вы же не думаете серьезно, что я вас пригласил завтракать с какими-то... гм...

— Дурными намерениями? Да, у меня была такая игривая мысль.

— Честное слово, вы меня огорчаете! Откуда вы это взяли?

— Разве это не единственно возможная связь между нами? Я вам не пара. О, я имею в виду не разницу в оттенке кожи. Только какой-нибудь Снуд с умом десятилетнего ребенка способен в наше время придавать значение такой глупости. Я хочу сказать другое: я — рабочая, я — менее, чем ничто, и притом я — непримиримая, я — чума, я — муха, которая постоянно жужжит и раздражает преуспевающих господ вроде вас. Мы не поладим — все равно, что кошка с собакой.

— Кошки с собаками иногда ладят между собой и даже спят вместе, Софи.

— Ну, ну, насчет последнего вы поменьше разговаривайте, мой светский друг.

— Какой там к чёрту светский! Я житель городской окраины и гораздо меньше, чем вы, видел эту блестящую светскую жизнь. Я такой наивный провинциал, прямо скажу — деревенщина, что (даю вам честное слово!) до сих пор подходил к вам без всякой задней мысли. Но, собственно, я не вижу, почему мне нельзя влюбиться в вас и сделать вам все принятые в таких случаях гнусные мужские предложения. Какие есть возражения?

— А вот давайте посмотрим. Первое — вы меня не знаете.

— Мы с вами знали друг друга уже через пять минут после первого знакомства.

— Второе — вы мне не так уж нравитесь.

— Опять ложь. Вот и сейчас выражение вашего лица говорит, что я вам нравлюсь.

— Ах, это... это просто для приличия. Такое лицо полагается делать сговорчивой девушке, когда она сидит с мужчиной в таком подозрительном кабаке.

— О, господи! Софи, вы сами знаете, что я бы гораздо охотнее пригласил вас в «Фьезоле».

— Или к себе домой?

Минута тишины, звенящей, как металл. Затем Нийл сказал довольно сухо:

— Знаете, человеку надо дать время.. не говорю уже об этичности такого приглашения дамы сердца в дом, где имеется жена. Не могу я за какие-нибудь полгода преобразиться из кассового автомата в пропагандиста равенства рас, который ораторствует на ящике из-под мыла. Слишком много лет ушло на то, чтобы стать кассовым автоматом. Я не могу принять вас у себя дома, пока я там, дома, не найду самого себя.

— И как еще посмотрит на это Вестэл? Ага, вот видите! Вас пере-

<sup>1</sup> Джазовый пианист-негр.

<sup>2</sup> Известный боксер-негр.

дернуло уже от одного того, что я назвала эту женщину «Вестэл»! Да, да, Нийл! Бедненький, вы с молоком матери всосали предрассудки, каких свет не видал со времен феодализма. Пожалуй, я и могла бы вами увлечься, потому что вы такой широкоплечий и плотный, и белый, и рыжий, прямой и честный — точно так же, как я любила моего последнего любовника за то, что он был тонкий, черноволосый и хитрый. Но нет, хватит с меня тайных любовных интрижек! Я — сестра милосердия, свое дело знаю. Я — американка и страшно горжусь этим. Когда я люблюю Верхним озером или долиной Рут-Ривер, или высокими берегами Миссисипи за Ред-Уинг, душа во мне трепещет, и я бормочу: «Живет там девушка с разбитым сердцем». И вспоминаю я тогда, что принадлежу к восьмому поколению американцев! А мы, потомки древних родов, очень разборчивы в любви...

Если бы у вас достало мужества объявить, что вы негр, и вас бы бросила эта холодная, как лед, женщина, — да, да, я это знаю, я ее не раз видала издали на собраниях санитарного комитета, — и если бы вы тогда прибежали ко мне, несчастный, обиженный, я могла бы полюбить вас — и горячо, мой мальчик! Но вы ведь этого ни за что не делаете. Вы чего-нибудь испугаетесь и уцепитесь за свою мамашу-Вестэл и опять будете образцом банкира и более белым, чем даже сам Стоунуолл Джексон!<sup>1</sup>

— Может, вы и правы... Может, вы и правы, Софи!

Он смотрел, не отрываясь, на ее вишневые губы, на линию груди под жакеткой простенького костюма. Он видел в ней женщину, чувственную и пленительную, он видел в ней человека, который яростно борется за свои права, который на себе испытал всю силу людской злобы и казнит ее смехом. Он любовался этим капризным и насмешливым ртом, которого никогда не замыкал ни один низкий или мелкий расчет, теплым коричневым тоном ее щек — по сравнению с нею все женщины Силвенпарка казались какими-то обескровленными жертвами «бледной немочи». Но еще больше, чем ее физическое обаяние, восхишала его решительность ее характера.

— Нет, — сказал он резко, — вряд ли у меня хватит мужества объявить правду. Все против меня. И вы правы — я люблю Вестэл.

— И вы это говорите мне!

— Но, быть может, она неспособна поддержать меня, если мне придется туго. Да и как можно от нее этого ожидать? Она воспитана в убеждении, что господь бог создал вселенную только для того, чтобы могли существовать клубы светской молодежи. Так если... если вы мне будете нужны, вы придете?

— Сомневаюсь.

— Отчего?

— Милый мой, я совершенно утратила традиционную преданность негра доброму белому «массе», ведущему роковую борьбу за то, чтобы быть избранным представителем от Плантагенетского округа. Я могла бы вам предложить только любовь во вкусе Казановы, — мне даже приятно воображать, как я целую вас, как эти руки молодого северного бога обнимают меня, но я не даю воли таким непростойным мыслям, как и вы не даете воли своему влечению к медсестре Конкорд. Наш великий прощальный поцелуй уже позади. Ах, Нийл, Нийл, дорогой мой Ромео в однопроцентном растворе, из вас мог бы выйти замечательный негр новой формации, если бы вас не воспитали истинно-христианским провинциальным белым джентльменом! Но так уж оно есть, и, значит, прощай навек, то есть на несколько недель!

<sup>1</sup> Генерал конфедератской армии во время Гражданской войны в Америке.

— Вздор!

— Мистер Кингсблад!

— То, что мы с вами поговорили так откровенно, я бы сказал, грубо откровенно относительно Вестэл, уничтожило между нами все перегородки. Теперь я вечно буду у вас на совести, Софи.

— Нет, только в моей телефонной книжке. Будьте счастливы, дорогой мой... Чёрт меня возьми, если я когда-нибудь полюблю вас, проклятый иорктуанский фельдфебель!

Нежность к Софи и Эшу сделали то, что он теперь с возмущением слушал все, что говорилось белыми о неграх, а такие высказывания приходилось слышать часто, так как среди граждан Гранд-Рипаблик все росла неприязнь к цветным рабочим, которых во время войны терпели, как патриотов.

Наступили волшебные дни золотого и багряного октября перед долгой северной зимой. Прежде Нийл в такую погоду играл в гольф и ходил на охоту, а теперь он эти последние дни перед вторжением льда и снега носился, припадая на раненую ногу, по теннисным площадкам силвен-паркского клуба со своей быстроногой и среброрукой подругой Вестэл.

У теннисного клуба не было настоящего дома — только бревенчатая хижина, похожая на сельскую школу, здесь хранились мячи, ракетки и имелись шкафчики с напитками.

В этот день хотелось безмятежно радоваться жизни — он был так хорош! Белые фланелевые костюмы игроков, хлопанье ракеток, веселые крики счетчиков, солнце, воздух, движение, осенние листья под ногами. После игры отдыхали на складных стульях за площадкой, отдавали дань виски с содовой. Были здесь ветераны войны Элиот Хансен и Джуд Броулер с женами, Кэртис Хэвок, брат Нийла Роберт со своей Элис, Рита Кэмбер, жена чудака-доктора, подполковник Том Кренвей, только на днях вернувшийся из армии в свою типографию, и его жена Вайолет, которая с жаром бралась за все общественные и благотворительные дела и потом замораживала их.

Все это были закадычные друзья и соседи Нийла, и он был им благодарен за нежную предупредительность, с которой они во время игры принаравливались к его хромоте, портя себе удовольствие. «Во всем мире не встретишь таких добрососедских отношений между людьми, как у нас на Среднем Западе, — размышлял Нийл. — Здесь нет того раболепства низших перед высшими, той войны за первенство между женами врачей, адвокатов и коммерсантов, которые создают такую душную атмосферу в Европе, Англии и английских колониях, включая и Новую Англию. Все эти люди вокруг — мои преданные друзья и знаменосцы демократии».

Разговор шел о заметке в сегодняшней газете, сообщавшей, что накануне вечером в «Веселом джазе» кого-то слегка пырнули ножом. По этому поводу заговорили о том, что с каждым днем в Гранд-Рипаблик приезжает все больше негров. Подполковник Кренвей объявил, что пора, наконец, уяснить себе, какое место негры занимают в нашей культуре, и все охотно стали высказываться по этому вопросу. Оказалось, что Кэртис Хэвок узнал «истинную правду про черномазых» от своих товарищей-моряков, уроженцев Юга, а подполковник Кренвей не раз бывал в гостях у соседних плантаторов, когда находился в учебном лагере на Миссисипи, и там ему открыли такие тайны, в которые редко посвящают северян.

Большинство слушателей проявили должный интерес к докладу Кренвея —Хэвока, только Рита Кэмбер и Нийл Кингсблад сидели молча, да Вайолет Кренвей жеманно задала несколько «скептических» вопросов. Вайолет любила, глядя прямо в выпученные глаза филантропов и других старых греховодников, заявлять им, что такая уж она от природы свободомыслеящая, и ничего с собой поделатъ не может. Вайолет была членом всех существующих в городе комитетов и кружков, высказывалась и за и против почти всякой модной идеи и была известна не столько своей деятельностью, сколько тем, что повсюду выставляла напоказ свой красивый бюст и томные глаза. Сейчас она сообщила всей компании, что знает негров как свои пять пальцев, изучила их досконально. Под этим надо было понимать, что у нее когда-то была кухарка-негритянка.

Так, общими усилиями, было сформулировано американское кредо по негритянскому вопросу, которое мы здесь приводим в общих чертах.

Судить и даже говорить о неграх имеет право только коренной житель Юга или северянин, который приобрел на Юге виллу и проводит там каждый зимний сезон. Зато уж все южане, все равно — профессора ли в Чэпел Хилл или благочестивые вдовы в Блэкджэк-Холлоу — являются высшими авторитетами по вопросам психологии, биологии и истории негров. Но, разумеется, в понятие «все южане» отнюдь не входят южные негры.

В младенчестве все северяне (белые), в том числе и простые рабочие текстильных фабрик, имели цветных няnek «мамми», к которым они и их отцы (все их отцы были полковники) сильно привязывались.

Негры все без исключения, хотя бы и совсем светлые, ленивы, но добродушны, вороваты, развратны и склонны к убийству, но очень ласковы к детям, и все они любят распевать веселенькие лирические песенки о рабстве. Это называется гимны; они мелодичны, но странные.

Все негры так чтят богоподобного Белого человека, что ни один из них не хочет, чтобы его по ошибке приняли за белого, с другой стороны — все негры хотят сойти за белых и считаться белыми.

Это называется Логика, самый любимый предмет в южных колледжах (для белых).

Каждый белый на Юге, встретив любого негра, хотя бы этот негр был судья или член конгресса, непременно скажет: «Эй, Джим, черная образина, вот тебе доллар, да пройди на кухню, тебя там покормят на славу!» У всех белых Юга одна забота — чтобы негру жилось хорошо, а так как этого больше всего хотят и сами негры, то получается отрадная картина: негры на Юге — наиболее высокооплачиваемая, обеспеченная наилучшими жилищами и наиболее глубоко и широко образованная группа африканцев, какую знала история.

Это называется Новый индустриализм на Солнечном Юге.

Негр — не совсем человек, он — помесь обезьяны с полковником. Доказательство: у всех у них такие крепкие черепа, что (как убедительно показали опыты в Луизианском университете) можно бросить негру в голову кокосовый орех или колотить по ней кузнечным молотом или громадным камнем, а ему покажется, что его целуют бабочки.

Это называется Наука о неграх.

(В действительности же все сводится к одному: «А вы бы хотели, чтобы дочь ваша вышла за негра?»)

Все негры, включая и ректоров университетов, и ученых биофизиков, всю жизнь только и делают, что либо торчат на кухне у белых, либо

пьянствуют, играют в кости, ходят на какие-то странные собрания за городом и торгуют марихуаной<sup>1</sup>.

Люди, утверждающие, что у негра и психология, и социальные инстинкты, и способности к работе на производстве такие же точно, как у белых, именуется «смутьянами», а проповедуемая ими ересь — «мешаниной путаных недоношенных идей», и милые женщины должны отвечать этим смутьянам так: «Будь здесь мой муж, он бы отхлестал вас за то, что вы вбиваете неграм в голову всякие глупости». Такое поведение официально именуется «лояльностью» или «наследием наших доблестных борцов за родину» и щедро оплачивается разными Ли и Джексонами, выпускающими в Голливуде патриотические конфедератские фильмы.

Если даже психопаты, которые не перестают критиковать отношение белых к черномазым, кое в чем и правы, то они ведь не предлагают никакого выхода. И поставим себе за правило совершенно игнорировать этих циников, которые не способны найти практическое решение для всей проблемы в целом. Я им всегда говорю: «Вы великие умники, но что, по-вашему, должен делать я?»

Для всех негров — первейшее удовольствие драться ножами, но негры-солдаты все трусят, увиваются от боя, боятся жестокости и всех видов холодного оружия.

Этот раздел называется Нравы негров.

Поскольку все негры — лодыри, ни один из них не зарабатывает более одиннадцати долларов в неделю, но, так как все они сумасбродно расточительны, то из этого заработка каждый транжирит восемьдесят долларов в неделю на покупку шелковых сорочек, радиоприемников и на взносы в погребальное братство «Аллилуйя»...

(Дело тут не в предрассудках, а просто каждый волен выбирать себе компанию по вкусу. И позвольте вас спросить: вы бы хотели, чтобы ваша дочь, или сестра, или тетка вышла за цветного? Ну, скажите по совести!)

Все негры, переселившиеся с Юга в Чикаго, постоянно там зябнут, в особенности в июльские дни на прокатном заводе. Они не перестают тосковать по Югу, по его теплу, цветущим хлопковым полям, магнолиям, pekanовым орехам, овсянке, свиным отбивным, арбузам, кукурузному хлебу, банджо, тюрмам и конгрессменам. И стоит им увидеть настоящего южанина, как они со всех ног кидаются к нему и признаются, что жалеют, зачем покинули Юг и своих естественных, богом данных благодетелей и опекунов, южан белой расы.

Негры-мужчины обладают такой необычайной половой силой, что вызывают грешные желания у всех белых женщин, и все негры такие грубые скоты, что ни одна белая женщина, кто бы она ни была, не может увлечься кем-либо из них.

Это называется Биология.

Все негры, живущие в болотах, очень счастливы и хохочут до упаду над претензиями чернокожих врачей, адвокатов и вообще всех этих мнимых «интеллигентов».

(Ну что бы вы, например, сделали, если бы какой-нибудь здоровенный черномордый верзила явился к вам и заявил: «Я путался с вашей дочерью — ну и что же тут такого?» Поверьте мне, так и будет, если эти ослы начнут зарабатывать не меньше нас с вами).

Все люди смешанной крови ничего не стоят. (Этими сведениями мы обязаны англичанам, их же мы должны благодарить за первый импорт к нам изрядного количества рабов). Таким образом, мы теперь знаем,

<sup>1</sup> Наркотик, который вводят в сигареты и продажа которого запрещена в США.



что мулат не имеет ни гордости и творческих талантов белых, ни терпения и веселости черных. И если столь многие мулаты — люди одаренные и высоконравственные, так это оттого, что в их жилах изрядная доля белой крови. А если у многих чистокровных негров наблюдается такая же высокая нравственность и таланты, так это ровно ничего не значит: их нравственность — не нравственность, их таланты — не таланты.

Это называется: Этнология, Евгеника или Уинстон Черчилль.

Негритянские газеты полны вранья о несправедливости белых к черным, и, по-моему, следовало бы деликатно вправить мозги их редакторам, показав им издали веревку.

Это называется благородным воспитанием.

Все негры, в том числе и Уолтер Уайт, Ричард Райт и генерал Бенджамин Дэвис, носят очень нелепые имена, например: Сим Соубелли, Клеопатра Гатч или Я Воскресну (имя) Пипсвик (фамилия). Это показывает, что все негры — шуты. Как бы это вам понравилось, если бы ваша дочь стала миссис Я Воскресну Пипсвик?

Это называется Генеалогией.

Если писатель выводит в своем романе или рассказе негра, поступающего, как нормальный американец, значит этот писатель либо ничего не понимающий северянин, либо предатель, который подрывает основы цивилизации.

Когда захотите высказаться об образовании негров, вы непременно начните с фразы «Раньше, чем летать, им надо научиться ходить» — это звучит глубокомысленно и оригинально. А затем, когда разговор пойдет о Наследственности, вы с мудрым видом объявите: «Ноги выше головы не растут». Это — диалектический прием, называемый «аргументацией при помощи метафоры», излюбленный прием женщин и священников.

Все негры — народ никчемный и не энергичный. Вот почему они за время войны сумели создать такое мощное движение, ставящее себе целью толкать белых каждую среду в 3 часа 17 минут, что им завидовал сам германский генеральный штаб. А белых женщин довели до того, что те — о, ужас! — вынуждены сами делать всю работу по хозяйству. В течение семи месяцев все негритянки кричали белым хозяйкам: «К Рождеству вы будете стряпать у меня на кухне!» Я знаю, что это правда, потому что слышал это от моей тетушки Аннабель, достойнейшей женщины.

Возможно, что где-нибудь на Юге, в глуши, и существует небольшая дискриминация, но на Севере, конечно, нигде ее нет.

А в общем можно со всей авторитетностью сказать, что негритянский вопрос неразрешим.

Не помню, рассказывал ли я вам анекдот о негре-проповеднике, который кричал своей пастве...

После того, как таким образом было сформулировано «Американское кредо», Джуд Броулер выразил сомнение:

— Пожалуй, кое-что тут немного преувеличено.

Но Вестэл Кингсблад, обучавшаяся в Вирджинийском колледже, возразила твердо:

— Ничуть! По-моему, Том дал в общем верную картину.

А братец Роберт, пра-пра-правнук негра-островитянина, Ксавье Пика, с воодушевлением объявил:

— Надо было бы издать такой закон, чтобы считалось уголовным преступлением выдавать себя за белого, если в тебе есть хоть одна кап-

ля негритянской крови. Если бы такой тип, скрыв правду, женился на одной из моих дочерей, я бы его задушил собственными руками!

Но руки, которые Роберт поднял для наглядности,годились больше для подписывания деловых бумаг, чем для столь жестокой расправы с обманщиком.

Нийл молча посмотрел на брата, посмотрел на остальных — своих друзей и соседей, этих милых, добрых, великодушных и образованных людей.

Вайолет Кренвей пропищала, втайне восхищаясь собой в роли мыслителя:

— Все вы упускаете самое главное. Черномазые не так уж плохи. Некоторые из них — те, кто получил образование — такие же, как мы — почти. Но все они вносят только беспорядок и путаницу оттого, что хотят слишком быстрого уравнивания с белыми. Они должны предоставить все нормальному течению, рассчитывать не на нашу помощь, а только на свои собственные усилия, и постепенно прийти до таких успехов, что мы, белые, вынуждены будем их признать. Я всегда твержу своим цветным знакомым: да, да, я знаю, что среди вас есть непризнанные таланты. Я сама по натуре настоящая бунтовщица и согласна с вами: черномазым надо хватать все, что возможно. Но позвольте вам напомнить одну вещь, которой вы не приняли во внимание: была война. Европа еще не оправилась от нее, повсюду безработица и все такое. У нас, в Америке, — та же картина. Разумеется, я целиком за равноправие и, быть может, даже социальное равенство чернокожих в будущем, когда-нибудь, когда наступит для этого подходящий момент, но неужели вы не видите, что для этого сейчас не время?

Нийл понял, хотя никто ему не объяснял этого, что слова Вайолет — самое злобное и в то же время самое бессмысленное из всего, сказанного здесь сегодня.

## 32

Сошла позолота осени, на улицах было грязно, подходил ноябрь. Однажды утром Нийл завтракал в ресторане с секретарем Торговой палаты Рэнди Спрусом, Люсьеном Файрлоком, который приехал из Джорджии — там он работал в газете, а здесь заведывал отделом рекламы у Уоргейта — и Уилбером Фетерингом — этот тоже переселился сюда с Юга, но его появление скорее напоминало мѳргановские рейды<sup>1</sup>.

Уилбер был последней сенсацией в деловых кругах города — маленький, щеголеватый сорокапятiletний мужчина, битком набитый двадцатидолларовыми бумажками. Он был родом с Миссисипи, сын разорившегося бакалейщика, но предпочитал выдавать себя за сына плантатора. В одной из своих речей в Клубе патриотов Рэнди сказал о нем: «Уилбер, может быть, такой же южанин, как пряная тамале<sup>2</sup>, но он в то же время севернее снежного бурана и стремительнее летающей торпеды».

Прожив шесть лет в Гранд-Рипаблик, Уилбер сохранил акцент жителя Дельты, но обогатил свой лексикон крепкими выражениями, подслушанными на Чиппива-авеню.

Помимо задачи — питать свой текущий счет в банке, Уилбер считал своей миссией разъяснять гражданам Гранд-Рипаблик расовую проблему. Он твердил им, что увеличение местной колонии негров, которая с

<sup>1</sup> Джон Хонт Морган — генерал армии конфедератов во время Гражданской войны, прославившийся своими кавалерийскими рейдами в тыл противника.

<sup>2</sup> Южное блюдо — мясной фарш в кукурузной шелухе.

1939 года увеличилась до двух тысяч человек, то есть составляла почти два с четвертью процента всего населения города (согласно арифметики Уилбера, это было 98<sup>1</sup>/<sub>4</sub> процентов), грозит вызвать расовые погромы.

Нийл встретился с этими тремя в обшитом кленовыми панелями баре «Зеленая гора» при отеле «Пайнлэнд», они выпили по коктейлю и перешли в «Фьезоле» завтракать. Присутствие цветных официантов дало повод к разговору о негритянском вопросе.

— Ошибка ваша в том, — сказал мистер Уилбер Фетеринг, — что вы здесь видите в неграх запас рабочих рук для тех случаев, когда нужно сорвать забастовку и насолить профсоюзам. Это можно было раньше, а теперь проклятые союзы начали принимать черномазых в члены, как настоящих людей.

— По-моему, он прав, — заметил Рэнди.

Они услышали, как Гленн Тартан, управляющий отеля, спросил у кого-то из официантов:

— Где мистер Гриншоу?

— Вот! — завопил Уилбер. — Вот вам пример того, о чем я говорил. Мистер Гриншоу! Это о черномазом лакае! Никто из вас, северян, не понимает, как надо обращаться с черными обезьянами!

Люсьен Файрлок запротестовал:

— Я тоже на заседаниях комитетов часто называю негров «мистер».

— Ах, это с вашей стороны просто желание порисоваться, Файрлок, — отрезал Фетеринг. — Ну, а я ни разу за всю свою жизнь не называл ни одного цветного «мистер», «миссис» или «мисс» — и не назову, видит бог, не назову! И вот вам, так сказать, философия всего этого дела: в тот момент, когда вы обращаетесь к одному из этих сукиных сынов со словом «мистер», вы как бы признаете, что он не хуже вас, и тогда вся эта шумиха о верховенстве белых ни черта не стоит!

Файрлок, которого когда-то очень высоко ставили в университетских кругах Джорджии, опять запротестовал:

— Неужели нужно всегда говорить о неграх с такой ненавистью?

— Ненавистью? Я черных не ненавижу, они меня до смерти раздражают. Это такие хитрые и вороватые мартышки! Все они кричат о своих правах, а когда встречают белого, который их раскусил так, как я, они хохочут, как сумасшедшие, и признаются, что им в тысячу раз лучше жилось в рабстве. Но вы ведь новоявленный южный либерал, один из тех, кто считает возможным приглашать черных к себе на обед.

Люсьен сказал серьезно:

— Нет, я горячо стою за обособление рас, это устраняет всякие конфликты. Но нужно строго следить, чтобы негры имели те же удобства, что и мы. Вот, например, здесь в Гранд-Рипаблик есть один негр, химик, доктор Эш Дэвис, и я считаю, что он заслуживает всего самого лучшего, хотя вовсе не собираюсь ходить к нему в дом или приглашать его к себе.

— Слышал об этом негре, — фыркнул Фетеринг, — и на вашем месте я не стал бы хлопотать о том, чтобы он пользовался одинаковыми с вами удобствами. Уже одно только назначение его — гнусная несправедливость по отношению к какому-нибудь молодому белому, который учился, трудился, рассчитывал занять хорошее место, и вдруг оказывается, что жирный грязный негр, «липовый» специалист, благодаря ловким интригам и попустительству белых, захватил это место! Кровь кипит, когда видишь такие вещи!

...Или возьмите здешнего старшего официанта. Разве у него хватило порядочности сказать Гленну: «Пожалуйста, хозяин, не называйте меня

«мистер». Мне неловко перед благородными белыми гостями». Как бы не так! Вы, янки..

И тут он сказал, — он в самом деле сказал это:

— До двенадцати лет я не знал, что «чёртов янки» — это одно нераздельное слово.

... Вы, янки, его избаловали, и он таким останется, пока его не приласкают кнутом.

Нийл чуть не вспылил, но его выручил Люсьен, сказав отрывисто:

— Ах, Фетеринг, будет вам рассуждать, как сенатор из Миссисипи!

— Ничего! Сенаторы из Миссисипи, может, и глубокие провинциалы, но по этому вопросу они высказываются совершенно правильно. Слушайте, у этого старшего официанта, говорят, дочь замужем за негром-дантистом! Подумать только, чтобы негр ковырял у белых людей во рту своими толстыми черными пальцами! Его бы следовало выгнать из города, и, может, мы это еще сделаем! Когда-нибудь вы еще будете рады, что приехал к вам такой человек, как я, и расшевелил тут кое-кого, чтобы предупредить неприятности от черномазых.

Нийл задыхался.

«Чёрт бы побрал всех белых, всех до одного! Когда же я заговорю? Когда выступлю?»

«Дядя Бодейшес», он же Фетеринг, продолжал:

— На Юге у нас в ресторанах служила целая армия почтенных цветных лакеев, которые говорили «сэр» всякому белому, хотя бы он был ночной сторож. Но пришлось выгнать очень многих и заменить белыми девушками, потому что этих «антрацитов» развратила болтовня образованных негров о так называемой «дискриминации», которой у нас нет и в помине. С удовольствием повесил бы всякого смутьяна, который помог хотя бы одному негру поступить в колледж! И я знаю, в глубине души вы, Файрлок, со мной согласны.

— Нет, не согласен.

— О, я и сам по природе человек терпимый. Я люблю собак. Но когда мой пес вывалился в навозе и, как ни в чем не бывало, является в комнаты и желает сесть со мной рядом за стол...

Нийл больше не слушал. Он встал и вышел.

Он сидел в баре «Зеленая гора» с кленовой мебелью и люстрами со стеклянными подвесками. Старательно пил все время один и тот же стакан воды и твердил себе с дрожью: «Я должен сказать, я должен сказать», — размеренно, словно бесконечно отбивая такт. Когда он, наконец, бесшумно вышел в вестибюль, он увидел негра, очень темного, красивого, стройного, в хорошем английском костюме. Негр стоял у конторки регистратора.

Регистратор кричал:

— Мистер Тартан, мистер Тартан, выйдите, пожалуйста, сюда!

Год назад Нийл, конечно, не остановился бы, ничего бы не видел и не слышал. А сейчас он слушал, как Гленн Тартан объяснял незнакомому негру:

— Да, конечно, доктор, я знаю, что в Миннесоте есть такой закон, и закон, надо сказать, несправедливый, и для нас обидный. Те, кто его утвердил, здорово брыкались бы, если бы закон заставлял их давать приют людям, которых они не хотят пускать к себе. Закон — законом, но вы поймите — я вижу, вы умный человек — поймите: наши приличные посетители постоянно жалуются на то, что негры лезут сюда. Так если можете пойти куда-нибудь в другое место, мы будем вам очень признательны.

Негр и его жена молча пошли к выходу. Нийл догнал их уже у дверей.

— Мне думается, вы найдете довольно чистый номер в гостинице «Блэкстон» на углу Астор и Омага в Файв-пойнтс.

Мужчина ответил:

— Не сочтите меня грубияном, если я скажу, что мы, негры, не привыкли к такой любезности со стороны белого.

— Слава богу, я не белый. Я негр, — услышал вдруг Нийл собственный голос.

### 33

Нийл увидел неподалеку отца, который сметал в кучу последние опавшие листья. Он пошел к нему, рассеянный, печальный, как будто только что распрощался навсегда со множеством людей.

Дом доктора Кеннета Кингсблада был самый старый в Силвен-парке: тридцать лет! Он был деревянный, когда-то коричневый, а теперь бурый, и изобиловал таким множеством архитектурных украшений, что не было возможности все их разглядеть, запоминался только висящий в воздухе балкон третьего этажа и папоротник в глазированном коричневом горшке за кружевными занавесками на окне цельного стекла, выходившем на веранду. Домик был уютный, как маленькие поэмы Лонгфелло.

Доктор Кеннет шумно отдувался:

— А, мальчик! Очень хорошо, что ты, наконец, заглянул к нам, идя мимо. Мы теперь знаем, что ты жив. Вы, кажется, живете на Севере, в Гранд-Рипаблик, мой друг?

— Да... если это можно назвать жизнью. Термометр все падает и падает!

— Я от кого-то слышал, что вы теперь в банке служите. Непременно напишите мне об этом подробно!

— Боюсь, что тебе не понравятся такие скандальные подробности.

— Ну, довольно шутить, сынок, расскажи, как подвигаются твои розыски. Меня не очень волнует эта легенда о королевском происхождении, но все-таки я считаю, что голубая кровь кое к чему обязывает, а у тебя кровь — голубая. Алая, белая и голубая. *Noblesse oblige!*

Нийл сказал беззвучно, не желая быть жестоким, но и не особенно стремясь смягчить удар:

— Папа, у тебя, быть может, кровь красная, белая и голубая, но у меня, согласно твоей собственной классификации, — просто черная. И я ничего против этого не имею.

— Какого чёрт... Что за шутки!

— Я узнал, что в мамином роду был негр, а значит, я негр по крови.

— Я тебе повторяю: брось эти шутки! Они мне не нравятся.

— Мамин предок по женской линии, колонист, был чистокровный негр, и притом женат на индианке. Неужели она тебе ничего об этом не рассказывала?

— Твоя мать никогда ни единым словом не упоминала о такой небывлице! В жизни не слыхивал подобной гнусной выдумки и слышать не желаю! Твоя мать из хорошего французского рода — и больше мне ничего знать не нужно! Господи помилуй, Нийл! Неужели ты хочешь доказать, что твоя родная мать, моя жена, — эфиопка?

— Я ничего не собираюсь доказывать, папа.

— Вся эта история — мерзкая клевета, и если бы не ты, а кто другой посмел повторить ее, он мигнуть бы не успел, как я бы его упек в тюрьму — это я тебе говорю. В тебе нет ни одной капли крови индейцев или черномазых!

— Почему ты не можешь сказать «негров»?

— Не могу и не хочу и не буду!.. Боже мой, Нийл, твой отец не может не знать, какие у тебя предки, и поверь мне, в тебе нет ни капли поганой варварской крови. Мне ли не знать этого, ведь я... я... бактериологию изучал! О, Нийл, дорогой мой сын, ради всего святого пойми, что это страшно серьезно! Даже если бы это было правдой, ты обязан был бы скрывать ее ради матери и ради твоего ребенка. **Обязан!**

— Папа, я старался, но не знаю, долго ли еще смогу это скрывать. И не уверен, что я так уж этого хочу. Быть может, я люблю многих цветных больше, чем белых.

— Не говори так! Это безумие, это предательство, измена своей расе, и стране, и религии. И это сильно повредило бы тебе в банке! Скажи, кто... гм... кто был этот мнимый предок?

— Ксавье Пик. П-и-к.

— Но почему тебе вдруг взбрело в голову, что этот субъект был цветной?

— Я узнал это от бабушки Джули, от Исторического общества, из подлинных писем Ксавье.

Он рад был бы пощадить своего доброго, простодушного отца, но он должен был мобилизовать себя на борьбу с Уилбером Фетерингом, и он не видел ничего плохого в том, что его мать будет общаться с Мэри Вулкэйп больше, чем с миссис Фетеринг.

Доктор Кеннет в конце концов изнемог. Он умолял Нийла:

— Ты молчи хоть до тех пор, пока я не обдумаю все, пока это не уляжется у меня в голове!

Нийл понимал, что это значит — молчать до конца жизни, но он ответил словами, которые даже ему самому показались обещанием.

В тот холодный осенний вечер, в столовой темносиних и бронзовых тонов (на камине — часы-корабль, признак респектабельности) Бидди вырезала из бумаги человечков, не желая ложиться спать, хотя уже давно прошел положенный час (это повторялось каждый вечер). Вестэл писала письма и одновременно слушала радио — передавали хоккейный матч, а Нийл просматривал в «Тайм» отдел «Коммерция и финансы», и временами, глядя на то вспыхивавший, то бледневший свет электрических лампочек в камине, твердил себе, что вся эта чепуха насчет негритянской крови не должна его интересовать, что ее просто больше не существует и что он поступил чудовищно, — можно ли было не предвзвешивать, как отец примет его сообщение!

Звонок с улицы. Вестэл пошла открывать. Вернулась и сказала небрежно:

— Там тебя спрашивает негритянка... Говорит, что из какого-то благотворительного комитета.

Она опять села писать, не ощутив никакого инстинктивного страха, а между тем она только что впустила в свой дом Софи Конкорд.

Софи решительно отказалась войти в комнаты.

— Нет, поговорим здесь, в передней. Тсс, не так громко! Я виделась с Ивэном Брустером. Мы, ваши друзья, решили, что не следует никому открывать правду. Мы боимся, как бы вы не выкинули что-нибудь мелодраматическое. Поймите, мы привыкли к этому с рождения, а вам зачем брать на себя такую муку? Оставаясь белым, вы сможете делать столько же для нашего народа... Ух, как же мы вас доить будем! Не спорьте, Нийл!.. Я могла бы, конечно, поговорить с вами по телефону, но хотелось увидеть ваш дом и вашего ребенка и еще раз посмотреть

на вашу жену. Она красива, как скаковая лошадь. В вашем вкусе. Ну, до свиданья, дорогой, и держите язык за зубами!

Софи скрылась в серых волнах мокрого снега. В столовой Вестэл спросила рассеянно:

— Что это за женщина?

— Медсестра из городской больницы. Мисс Конкорд.

— А... Да, Нийл, говорила я тебе, что Джинни Тимберлэйн выписала из одного австрийского магазина в Нью-Йорке чудную вязаную жакетку, вышитую, из синей шерсти? Пожалуй, закажу и я себе что-нибудь в этом роде.

Нийл вполне одобрил такое решение.

А в середине ноября доктор Кеннет Кингсблад, не посоветовавшись с Нийлом и не объясняя никому, в чем дело, созвал всю родню на семейный совет.

## 34

Нийл был в Федеральном клубе на вечернем заседании финансовой комиссии, когда его позвали к телефону. Отец сказал:

— Мне и маме нужно тебя повидать... да, сегодня, сейчас же! Это очень важно. Не можешь ли ты по дороге заехать к нам—не позже, чем минут через сорок?.. Хорошо.

Нийл и не подозревал, что там собрался семейный совет и что даже Вестэл будет там. Насвистывая, вошел он в тесную, застланную брюссельским ковром прихожую отцовского дома, оттуда в парадную гостиную — и остолбенел, увидев, что здесь вся родня в сборе. Сидели на стульях, обитых материей «под гобелен», под картинами, изображавшими первых колонистов, катанье на санях, виды Венеции. Сидели на кушетке цвета яичного желтка и просто на полу, рассматривали друг друга, пепельницы-сувениры, альбом Всемирной выставки в Нью-Йорке.

Всего, вместе с Вестэл, Нийлом и его родителями, здесь собралось пятнадцать обеспокоенных людей, и никто из них, кроме доктора Кеннета, не знал, для чего их созвали. Были здесь Роберт и Элис, и брат Элис — не кто иной, как сам Хэрролд Уиттик, предприниматель в области радио и рекламы, сестра Нийла Китти с мужем Чарльзом Сэйуордом, младшая незамужняя сестра Джоан, затем вся ветвь Саксиноров — дядя Эмери, тетка Лаура и Патриция. Чтобы придать собранию еще более официальный характер, доктор Кеннет пригласил и таких столпов общества, как отец Вестэл Мортон Бихауз и брат его Оливер, старшина адвокатского сословия в Гранд-Рипаблик, единственный человек в городе, знавший толк в наполеоновском коньяке и одах Пиндара.

Оливер Бихауз был мужчина невысокого роста, дородный, с большой, усеянной веснушками лысиной, окруженной жиденьким венчиком светлых волос. Его мучнисто-белое и веснушчатое лицо всегда имело хмурое выражение, как будто его возмущало зрелище предательских атак на капитализм. Мортон, выше ростом и на четыре года моложе брата, был похож на него, только вместо оливеровских веснушек у него было одно небольшое желтое пятно на правой щеке.

Пат Саксинар, Вестэл и Джоан, сидя в уголке, тихонько пересмеивались, забавляясь старомодностью этого дома и старших родственников, которые вполголоса разговаривали, пытаясь угадать причину созыва этого парламента. Мать Нийла, хрупкая и замкнутая, сидела молча, а доктор Кеннет, таинственный и непроницаемый, суетился, угощая гостей лимонадом.

Так выглядела скамья присяжных заседателей, когда вошел Нийл.

Ему улыбались со всех сторон, ибо каждый знал: если в самом деле

надвигается какая-то беда, то на кого же можно больше положиться, чем на славного Нийла, у которого столько здравого смысла.

Доктор Кеннет с испуганным видом взмахнул руками и воскликнул:

— Ну, а теперь, молодежь, вставайте с пола и усаживайтесь как следует. Оливер, вы — туда, в большое зеленое кресло. Так. Теперь прошу внимания!

Мой сын Нийл, которым мы до сих пор справедливо гордились, у которого такие прелестные жена и дочурка, поразил меня, сообщив об одном своем намерении. Я решительно осуждаю то, что он хочет сделать, можно даже сказать, я в ужасе. Насколько я знаю — даже Вестэл не имеет об этом ни малейшего понятия, и я безусловно не допущу, чтобы он сделал что-нибудь, пока не посоветуется со всеми вами и не объяснит вам все. Нийл!

Доктор Кеннет тяжело плюхнулся на шаткий золоченый стул, и у Нийла сжалось сердце от жалости к отцу. Но он выступил вперед и заговорил серьезно, как человек, стоящий на эшафоте и уже не ожидающий помилования:

— Я узнал, что род моей матери — ей об этом, быть может, и неизвестно — происходит от некоего Ксавье Пика, жившего в годы 1790—1850. Он был храбрый и почтенный человек, один из пионеров Северной Миннесоты, — таким предком можно гордиться. И он был чистокровный негр, так что фактически все мы, его потомки, либо негры, либо их близкие родичи...

Ему не дали договорить — его голос потонул в яростных выкриках, протестах, уверениях, что он сошел с ума. Вестэл вспыхнула от невысказанного негодования и удивления, что Нийл ей ничего до сих пор не говорил. Вспыхнула и застыла. Только мать Нийла и Пат Саксинар оставались совершенно спокойны.

Нийл поднял руку, и крикуны постепенно умолкли. Тогда он подробно рассказал о том, что слышал от бабки Джули и что выяснил доктор Вервейс, и в заключение сказал:

— Несколько месяцев тому назад мне было бы страшно или стыдно рассказать вам это, а теперь я понял, что стыдно нам должно быть только за все те притеснения, которые веками терпели в нашей стране негры, индейцы, люди желтой расы.

Оливер Бихауз, не вставая с места, начал наступление:

— Итак, молодой человек, вы намерены исправить это зло тем, что причините страшное зло всем нам, вашим друзьям и родным, у которых всегда находили только ласку и поддержку, и погубить даже собственную жену, мою родную племянницу! Нельзя ли перестать жалеть себя одного и выступать в роли мелодраматического героя? Мне думается, на сегодня довольно этого бесстыдства!

— Убирайтесь к чёрту! — предложил Нийл.

— Что-о?

— Вы слышали, что я сказал. Довольно вам тут изображать Верховный суд. Может быть, я и молчал бы и никому из посторонних ничего бы не рассказывал, если бы папа не созвал эту инквизицию, а вы не назначили сами себя судьей. Но раз уж так вышло, так надо решить, следует ли мне честно сказать всем правду о том, кто мы такие?.. Ах, мамочка, как мне тяжело, что я тебя впутал во все это!

Реплики взволнованных членов семейного клана были не такие внятные и осмысленные, какими мы приводим их здесь, — они сливались в общий гул причитаний, воплей, ругани, протестов, угроз Оливера, и чего-то похожего на смех Пат Саксинар. Наконец, доктор Кеннет объявил:



— Нийл, очевидно все мы тут сойдемся на том, что если ты обещаешь и впредь ничего не говорить чужим людям, мы постараемся забыть эту историю.

Так как Нийл уже сказал Вулкэйпам, Эшу, Софи, Ивэну, то он не нашел, что ответить. И отец продолжал все с большим жаром и красноречием:

— Ты твердил, что стоишь за правду, но где же тут правда — объявить собственную мать, родившую тебя, негритянкой, когда она явно белая?

— Я не...

— Да ведь ее, и бабушку, и твою дочку, и твоих братьев и сестер ни один нормальный человек никогда не примет за негров — кого угодно примет, а их нет! — уверял доктор Кеннет. — Не думаю, чтобы тебе было приятно увидеть свою Бидди грязной нищенкой, отродьем ниггера.

— Никогда она не будет грязной нищенкой, останется такой же, как была. Она не изменится, измениться должны будут только ваши понятия. И, пожалуйста, перестань употреблять кличку «ниггер». Это самое меньшее, что ты можешь сделать.

— А самое меньшее, что можешь сделать ты, мучитель собственной семьи, это не придирается к словам и не увиливать от серьезного разговора! — прошипел Оливер Бихауз.

Доктор Кеннет из кожи лез:

— Сынок, никто не обязан говорить другим все, что ему известно. Допустим, я был бы наркоман. Ну, и что же? Не думаю, чтобы ты стал всем это разбалтывать!

Пат Саксинар пропищала:

— Но вы же не наркоман, дядя Кеннет. Или, может, вправду?

— Молчи! — вмешался ее отец. Эмери, сын бабушки Джули, которого отнюдь не приводела в восторг перспектива быть зачисленным в негры. А мать Патриции (урожденная Педик из Уиноны) добавила:

— Не время сейчас дерзить и нахальничать, Патриция. Ах, как я жалею, что позволила тебе вступить в Женскую морскую вспомогательную службу!

Брат Нийла, Роберт, попросту отрицал все целиком. Он говорил, что Нийл спятил после своего ранения на фронте, и если бы даже эта гнусная история оказалась правдой (но, разумеется, это просто фантазия бабушки Джули, у которой от старости все путается в голове), доказательств-то нет? Никто не может прижать их к стене. Письмо Ксавье Пика? Подлог!

Чарльз Сэйуорд советовал:

— Забудьте всю эту историю и не унывайте! Нет такого закона, который обязывал бы вас самих себя изобличить.

Эти слова Чарльза дали Оливеру повод произнести целую речь:

— Нийл, я обдумал все и решил, что я неправ, а ты был совершенно прав, голубчик, требуя, чтобы мы вежливо именовали темнокожих потомцев нашей нации неграми, а не ниггерами. Мы ценим высокие качества негров лучшего сорта, мы ценили их, когда тебя еще не было на свете. Разве Теодор Рузвельт, когда он был президентом, не приглашал негра Букера Вашингтона к себе на завтрак? (Смею вас уверить, что Франклин Делано Рузвельт не сделал бы этого!). Но отчаянные головы, вроде тебя, требуют для этих несчастных больше, чем они способны переварить, требуют того, чего порядочные негры и не подумали бы просить, — и тем самым вы нарушаете нормальные процессы эволюции. Одним словом, Нийл, молчи обо всем, имей же хоть каплю здравого смысла, даже полоумные кое-что соображают! И хотя, разумеется, ни-

кто из нас не захочет быть причастным к незаконным действиям, все же я вам предсказываю, что в один прекрасный день эти документы насчет Ксавье Пика исчезнут из папок Исторического общества, и тогда нам не о чем будет беспокоиться!

Веселая усмешка Оливера говорила «Не унывай, мой молодой друг», и Нийлу казалось, что он сейчас услышит традиционную фразу судьи: «Ходатайство удовлетворено». Но тишина в зале суда была нарушена Хэролдом Уиттиком, шурином Роберта. Он вдруг заорал:

— К чёрту Нийла с его правдой! Безобразие, что и моя родная сестра оказалась впутанной в эту историю. В один прекрасный день женщина просыпается и узнает, что она жена негра! А как этот скандал отзовется на моей работе, это даже жутко себе представить!

Элис поддержала его:

— Да, это возмутительно, возмутительно!

Она с ненавистью смерила взглядом Роберта и прошипела:

— Теперь я понимаю, почему ты всегда издаешь такие звуки в ванной!

Роберт, человек недалекий, любивший свой домашний очаг и домашние туфли, сказал жалобно:

— Боже милостивый, разве я виноват, если во мне и есть какая-то сомнительная кровь... Кроме того, ты слышала, что я сказал: не верю я ни одному слову — Нийл окончательно свихнулся!

— Нет, это хуже, чем сумасшествие, — вернул Мортон Бихауз.

Тетушка Лаура Саксинар с презрением взирала на всю эту вульгарную суматоху и, наконец, объявила:

— Это гнусная история, и я просто не желаю иметь к этому никакого отношения! Мой муж вам сам скажет, считает он себя чернокожим или нег. А что касается моей дочери Патриции, так на то у меня материнское сердце, чтобы чувствовать, и материнский глаз, чтобы видеть, что она безусловно не... не негрятанка -- или как вы там величаете этих уродов. Я слышала, например, что ни один из них не способен научиться говорить на иностранном языке, а Патриция говорит по-французски, как француженка.

Супруг ее, дядя Эмери, бросил ей далеко не ласковый взгляд и прорычал:

— Очень мило, что ты мне разрешаешь самому определить, какой я расы! Так вот: Нийл говорит, что его мать, родная мать — эфиопка, а она, случайно, моя сестра, и я вам заявляю прямо: ни она, ни я — не эфиопы. А если я и происхожу от какого-то Ксавье Пика... чёрт его знает кто он был, я об этом понятия не имею, но могу вас заверить, что во всяком случае — не эфиоп, и значит Нийл — тоже не эфиоп, а жаль! Как раз сейчас мне доставило бы громадное удовольствие объявить всем, что этот сопляк — самый черный из всех негров в христианском мире, и если бы не то, что он всех нас утопит... А что касается моего семейства...

Его перебила Джоан, младшая сестра Нийла:

— Ах, ради всех святых, дядя Эмери, хватит о вашем семействе! Вы женаты, и тетя Лаура обязана стоять за вас. Но я — что будет со мной? Что будет со мной! Джонни теперь ни за что на мне не женится, да еще будет кричать, что я его обманывала, а я и не думала, я ничего не знала... Ах, Нийл, Нийл, за что ты меня так! Я тебя никогда не обижала, никогда! А ты сделал меня на всю жизнь отверженной — и это всё ради какой-то дурацкой идеи о справедливости! Как ты мог сознательно сделать меня парией, которая всю жизнь теперь

должна прятаться от людей, не имея ни подруг, ни жениха. Всю жизнь... А я была так счастлива с Джонни! О, почему... как ты мог!

А старшая сестра, Китти Сэйуорд, верная подруга его детства, смотрела на него молча, напряженно, с невыразимым ужасом в глазах, словно недоумевая, как мог ее погубить тот, которого она так любила.

Нийл испугался, он уже готов был крикнуть им, что все это — сумасбродная шутка, как вдруг... помощь пришла от тихой женщины, родившей его.

В семье все относились к ней с особенной бережностью, так как она была такая хрупкая и не от мира сего. И сейчас она ощущала на своем плече любящую и утешающую руку мужа. Джоан гладила ее по голове, а Нийл с отчаянием поглядывал на нее. Но она заговорила более внятно и спокойно, чем все остальные. Когда она подняла руку, все перестали кричать и пререкаться, так что слышно было каждое ее слово:

— Пойдите! Я думаю, что Нийл, пожалуй, прав.

Дружный крик был оглушителен, но сразу сменился болезненным вниманием:

— Я никогда не могла понять, почему так важно быть белым, а не черным — не все ли равно, если тебя любят твои близкие? Но вас всех, видно, очень беспокоит это, так вот я хочу вам сказать...

Когда я была совсем маленькой, к нам два раза приезжал мой дядя, брат матери, дядя Бенуа Пейзолд. Но приезжал он только тогда, когда папы не было дома. Я потом всегда вспоминала, что он был похож на светлого негра. Мать никогда не говорила о нем. Он был игрок и потом куда-то исчез, так что я не знаю, жив он еще или умер.

Раз я спросила у матери: «дядя Бенуа цветной?», а она дала мне шлепок и велела молчать. Я это тогда забыла и вот только теперь вспомнила. Может быть, я хотела это забыть — и, наверное, мать тоже.

Я думаю, ей известно, что мы... ну то, что сказал Нийл. У матери был талисман, и она мне как-то сказала, что его привезли с Мартиники лет полтора тому назад. Потом — гораздо позже — я хватилась, что не вижу его нигде, и спросила у нее, где он, а она вдруг разозлилась и сказала, что никакого такого камня у нас никогда не было... Не знаю, может быть, это просто моя фантазия. Но не надо осуждать Нийла за то, что он хотел знать правду.

Доктор Кеннет торжествовал:

— Вот видишь, Нийл! У твоей матери хватило ума и замечательной силы воли попросту забыть о зле и видеть только доброе, как учит нас библия... Мама, я хочу, чтобы ты просто запретила Нийлу убеждать себя и других, будто эта злосчастная история не выдумка, а правда.

Но жена его сказала в раздумье:

— Я, право, не знаю, Кенни... Если это все-таки правда, тогда...

Тут Роберт впал в настоящую истерику.

— Мама! Бог тебя накажет за то, что ты делаешь меня негром, когда на самом деле я белый, я приличный человек, и мне так везет последнее время. Нет, я с ума сойду! Вы с Нийлом довели меня до сумасшествия, а между тем, всё это — гнусное вранье. И весь-то разговор идет о каком-то идиотском камне, который мог быть привезен откуда угодно, да и ты даже не знаешь наверняка, был ли он или приснился тебе! Элис! Дорогая! Неужели ты не видишь, что я белый? Все это ложь, я белый, и наши дети белые! Да, да, белые! Я не хочу погибать из-за этого психопата Нийла! Я белый — и горе тому мерзавцу, который попытается доказывать обратное! Посмотри на меня, Элис!

Элис посмотрела.

Голос Патриции Саксинар прозвучал четко и холодно:

— Все вы уверены, что вы выше цветных, а вот я в этом вовсе не уверена. На войне меня бесило отношение белых к очень славным цветным морякам, и мне всегда хотелось что-то такое сделать против этого, и теперь, когда оказывается, что и я сама — цветная, я сделаю!

На этот раз хор был катастрофически грозен и длилось это довольно долго, а Нийл тем временем подошел к жене.

Она упорно молчала. Когда же он пробормотал:

— Ну что, Вестэл?

Она ответила:

— Мне надо подумать... Сам понимаешь — я несколько удивлена.

Во втором часу ночи она взглядом дала понять Нийлу, что пора домой. Ничего не было решено, отец Нийла склонен был не ложиться всю ночь и изливать свои чувства в восклицаниях, — при таких условиях Нийлу и Вестэл было неловко уходить, но они все-таки ушли, пустив в ход превосходный стратегический маневр — внезапную глухоту ко всему. И вот новоявленный негр Нийл оказался один-на-один со своей белой женой. В предстоящей борьбе у него не было союзников.

### 35

Их дом был в трех минутах ходьбы. Всю дорогу Вестэл молчала, но рука ее доверчиво лежала в руке Нийла. Только когда они подошли к дому, она заговорила самым естественным тоном, без гнева и без преувеличенной осторожности:

— Нийл, голубчик, почему ты до сих пор это от меня скрывал? Я бы постаралась понять и помочь.

— Я все собирался тебе сказать. Папа поднес мне сегодня неожиданный сюрприз раньше, чем я успел обдумать, что и как сказать. Но ты и сейчас можешь мне помочь. Главный вопрос вот в чем: заявить ли об этом открыто? Ведь это правда.

— Тсс! Помолчи, успокойся. Я знаю, как ты хочешь поступить, потому что знаю тебя.

Она на мгновение закрыла ему рот ладонью и втолкнула его в переднюю. Потом, не выпуская его руки, как будто они снова были юной влюбленной парой, она повела его наверх, в бело-розовую комнатку, где спала Бидди, свернувшись тугим клубочком — она иначе не засыпала, а в ногах низенькой кровати, точно так же свернувшись калачиком, спал Принц.

— Погляди на нее, Нийл. Я знаю, ты ее никому в обиду не дашь, ты не стерпел бы ее позора. И даже если правда, что Пик был негр, ты это скроешь от людей, ты не погубишь ребенка ради того только, чтобы можно было тщеславиться своей правдивостью. Но ведь все это насчет Пика — неправда, я уверена в этом так же, как в том, что ты любишь меня! Тут вышла какая-то ошибка, бабушка Джули от старости стала забывчива, напутала, и, кроме того, она вообще ехидная старушонка, прах ее возьми! Мы все выясним, и окажется, что был еще другой Ксавье Пик, или как его там — о, боже, как я его ненавижу! Вот увидишь, все разъяснится и кончится благополучно. Нийл! Да посмотри ты на этого ребенка — вся розовая, золотая, кожа, как атлас! Нет в ней негритянской крови!

Но Нийл вспомнил Фебу Вулкэйп, такую же розовую, золотую, с атласной кожей, а ведь она была негритянка.

— Ладно, увидим, — вот все, что он мог ответить Вестэл.

На другое утро отец телефонировал, что семейный совет под председательством адвоката Бихауза вынес следующее решение: просить Нийла держать язык за зубами.

Через несколько недель от доктора Вервейса из Государственного исторического общества прибыла копия найденного в архивах общества письма Ксавье Пика к майору Джозефу Реншоу Брауну:

«Бобров, о которых вы спрашиваете, нынешней зимой немного. Белые грабят наши леса. Я все думаю о вас, белых. Конечно, в глазах индейцев я тоже белый, так как для них всякий, кто не индеец, — белый. Но, знаете, я, пожалуй, предпочел бы, чтобы меня считали индейцем...

Вы мне сказали: «Почему вы не хотите бросить всем им вызов и носить свое черное лицо, как знак почета?» Но с какой стати я буду объясняться или оправдываться в чем-то перед ними и вообще думать об этом? Разве, если у человека, скажем, рыжие волосы, он извиняется в этом перед людьми, у которых волосы черные, или каштановые, или соломенного цвета?

Вы, белые, постановили, что господь создал вас по своему образу и подобию, но кто из вас видел его? Вы видели ген. Сиблея и видели губерн. Рамзея, но кто из вас лицезрел господя? Может быть, он — темнокожий, как индейцы и я, или, может быть, многоцветный, а может, и совсем бесцветный, как скала в лунном свете.

В последнее время я часто читаю священное писание и вычитал текст, который словно предназначен для вас, белых: «Кто ненавидит меня, ненавидит и отца моего». Простите, что пишу так неразборчиво, пальцы у меня плохо двигаются, я на прошлой неделе отморозил руки, спасая в порогах миссионера, у которого опрокинулась лодка. Он у меня спрашивал потом: «А вы и эти язычники-индейцы умеете читать и писать?»

Нийл читал и восторгался: «Вот она — королевская кровь, которой Бидди может гордиться!» Но тут же высмеял сам себя. Он так и слышал насмешливый голос Клема Брейзенстара: «Беда с вами, мулатами! Обязательно вам надо чем-нибудь кичиться, подавай вам высокое положение и все такое, а нам всем только бы хорошую работу да хорошую сигару!»

Декабрь ледяной дорогой шел к Рождеству. Родственники избегали Нийла, он встречался с ними только когда этого требовали какие-нибудь неотложные дела, и на таких совещаниях один только Чарльз Сэйуорд держал себя по-человечески — просто и неумолимо враждебно. Остальные члены семьи были или раздражены или отчаянно корректны.

Пат Саксинар теперь часто забегала к Нийлу и Вестэл. С увлечением, которое совсем не нравилось Вестэл, она болтала с Нийлом таким тоном, как будто оба они были конспираторы-подпольщики, и рассказывала анекдоты о том, как яростно Хэрролд Уиттик и Элис следят за Робертом, обнюхивают его со всех сторон, чтобы проверить, действительно ли он совершил такое гнусное преступление — позволил себе родиться негром.

Вестэл больше не заговаривала с мужем о «другом Ксавье Пике», и Нийл догадывался, что, сознательно не желая верить, она в глубине души уже знает правду и ни на что не надеется. Она часто сажала Бидди к себе на колени и подолгу смотрела на нее.

Нийл вспомнил, как она в прошлом году суетилась и бегала по магазинам, закупая все к Рождеству, а теперь она вздыхала: «красивых

вещиц все еще так мало в продаже, не стоит, пожалуй, и пытаться достать новые украшения для елки, пустим в ход прошлогодний хлам». Нийл с грустью замечал, что ее жизнерадостность исчезает. В этом виноват был он и его погоня за социальной справедливостью.

Они все-таки сделали попытку превратить рождественские закупки в праздник. Завтракали вдвоем в «Фьезоле», поглядывая на ничего не подозревавшего Дрэксела Гриншоу, как на нежеланного родственника. После завтрака пробрались сквозь людской поток в магазин Тарра. Леви Тарр, еще четыре месяца тому назад — полковник, теперь учился опять потирать руки и с почтительным вниманием выслушивать покупательниц, желающих, чтобы им уступили электрический холодильник за сорок девять долларов девяносто пять центов. Леви водил Нийла и Вестэл по всему отделу игрушек, а когда супруги с немного натянутой таинственностью разошлись в разные стороны, чтобы купить подарки друг другу, Леви шепнул Нийлу, что он может купить для Вестэл замечательный бриллиантовый убор: браслет, серьги и ожерелье.

Выйдя из магазина, Нийл и Вестэл побрели к мрачному парку, где оставили свой автомобиль. Из замечаний, сделанных Вестэл по дороге, самым веселым было следующее:

— Ох, какая масса машин. А я думала, что за время войны их совсем не стало! Видно, для счастливицков ничто не изменилось! Посмотри на тот лиловый «родстер»<sup>1</sup>! Силы небесные, да ведь в нем катит не кто иной, как жуткий ниггер Борус Багдол... Ох, прости, мой друг! Честное слово, я забыла, что... Извини! Понимаешь, мне все еще трудно привыкнуть...

Вся родня пришла к молчаливому соглашению, что Нийл пока ничего никому говорить не должен. Когда же именно кончится это «пока» — не было уточнено. Нийл жил в постоянном страхе, что новость просочится благодаря растерянности брата Роберта, или ярости дяди Эмери, или чрезмерной отваге Патриции, или коварной мстительности Хэролда Уиттика. Сколько человек уже знает? Пятнадцать в их семье да восемь-десять негров. Слишком много! А кто еще, кроме этих, знает, подозревает, кто злорадно следит за ним, держа наготове спичку, чтобы взорвать все его благополучие?

Вот, например, на ужине у Элиота Ханзена Вайолет Кренвей сказала ему, хихикая: «Да ведь известно, что вы рыжие, все — оригиналы». На что она намекала? Откуда она может знать о фразе в письме Ксавье насчет рыжих и черноволосых?

А на ежегодно устраиваемом Экли Уоргейтом катанье на санях Помона Браулер вдруг запела французскую песенку странников «Dans ton chémin» — с какой целью? На этой фиесте Нийл испытывал гнетущее предчувствие, что он расстанется навеки с легкой жизнью белого. Весело настроенные гости мчались в санях через большой сосновый лес к громадному дому Экли Уоргейта, стоявшему над замерзшим озером. Здесь были все старые друзья Нийла. Сосны, как факелы, бледная вечерняя заря вдали, в конце лесной дороги, женщины, горячий пунш, традиционные песни.

Да, все это очень мило, но почему Экли с таким странным вниманием наблюдает за ним?

Нийл почувствовал себя в безопасности только тогда, когда он раз днем, перед самым Рождеством, отправился в Файв-пойнтс с маленькими подарками для Брустеров, Дэвисов и Вулкэйпов (только для Софи он не купил подарка — боялся сделать промах).

<sup>1</sup> Открытая двухместная машина.

Как всегда, часок посидел с Мэри (он бывал у них почти каждую неделю). Он находил отраду и успокоение в этой неторопливой беседе о пустяках, как раньше — в таких же беседах с матерью и Вестэл: сидел, задумчиво грыз печенье и серьезно обсуждал вопрос, понизилась ли сегодня утром температура до двадцати двух или до двадцати трех градусов.

— Не надо принимать все так близко к сердцу, сын, — неизменно говорила ему Мэри. — Вы и сами не знаете, как много у вас любящих друзей.

У Брустеров он застал дома только Уинтропа, который уже учился в университете и теперь приехал домой на рождественские каникулы. Этот типичный «веселый молодой студент» в свитере и мокасинах встретил его с шумной радостью.

— Нийл! А я только что узнал, что вы перешли в нашу расу! Как я рад!

— Кто это тебе сказал?

— А я подслушал, как отец и мать говорили — они здорово за вас беспокоятся.

С преувеличенной сердечностью пожимая руку своему юному поклоннику, Нийл в душе злился. Мало ли кто еще мог услышать их разговор! Так легко все может выйти наружу! «Ну и пусть!» — подумал он, но без особого воодушевления. Но он был горд тем, что самолюбивый мальчик тянется к нему, как к другу, при котором можно обойтись без напускного цинизма, этого обычного орудия защиты от взрослых, тупых и любящих поучать.

— Нийл, может быть, вы в самом деле будете участвовать в нашем движении и придадите ему новые формы! Хорошо бы, если бы вы могли унять чересчур обидчивых цветных, они требуют, чтобы в наших газетах то слово писалось сокращенно «н...р» и бесятся, когда компания глупых белых ребяташек распевает какую-нибудь старую, как мир, песенку о неграх. Вы их хорошенько высмеивайте! Знаете, Нийл, ведь вы бы могли стать одним из вождей нашего народа.

Нийлу польстила такая вера в него. Он столько дней уже ежил от сознания, что все родные шушукуются о нем и тайно по ночам ведут разговоры по телефону. Куда бы он ни шел, что бы ни делал, семья стояла перед ним и смотрела на него.

Чарльз Сэйуорд, который всегда был самый веселый и разумный и порядочный из его свойственников, теперь решительно его чуждался. Он спокойно отверг и его, Нийла, и всякие нелепые предположения, будто Китти может иметь примесь «черной крови». Чарльз отличался косностью маленького человека, отлично знающего свое маленькое дело, и Китти теперь искала у него той нежности, которую находила когда-то у брата... «Брата этого звали Нийл, он недавно умер — очень прискорбно, разумеется, но не будем об этом говорить».

Некоторое сочувствие к себе Нийл находил только у матери, Вестэл и Патриции. Но мать, при всей своей кротости, тоже была против него. Она утверждала теперь, что, подумав, вспомнила совсем другое: что дядя Бенуа был не цветной и не игрок, а почтенный человек белой расы, по профессии — инкассатор.

Так подошло Рождество, пародия на былые праздники. В этом году традиционный семейный обед происходил у Роберта. К обеду не приехали ни Сэйуорды, ни Бихаузы, а остальные родственники изливали зловещую нежность на самоуверенную юную девушку, которую они называли «бедной Бидди».

Весь день шел снег, и время от времени кто-нибудь замечал с наигранной веселостью: «Как славно! Нынче настоящее белое Рождество». А Нийл, услышав это, всякий раз говорил себе: «Значит, даже Рождество имеется для белых отдельное».

Родственники не остались, как бывало, до ужина, а под разными предложениями разошлись к трем часам. Проводив Вестэл и Бидди домой, Нийл буркнул: «Пойду немного проветрюсь», — и поспешил к Эшу Дэвису, чтобы почерпнуть там уверенности.

А у Эша он застал не только Софи, которая потрепала его по руке и вообще была сегодня воплощенная кротость и нежность, но и Люсьена Файрлока, того неугомонного и любезного южного либерала, который работал у Уоргейта. Разговор шел о роли негров-скульпторов в том мире, который прежде представлялся Нийлу каким-то сплошным непроглядным мраком, а теперь оказался таким оживленным, многоцветным и неожиданным, как тропический вольер.

Люсьен сказал Нийлу, словно оправдываясь:

— Дэвисы и Нора так хорошо относятся к моим малышам, — вот я и решил зайти к ним... А теперь мне уже пора.

Нийлу хотелось посидеть с Софи, но он подумал, что Вестэл и Бидди — одни в рождественский вечер. Шагая по улицам сквозь сыпавший снег, он размышлял о том, что мог бы любить Софи чисто платонической любовью, а к Вестэл его привязывает любовь плотская и, видно, в этой борьбе победит плоть.

Софи ему сестра, его второе «я». Как в детстве Китти была его товарищем и в играх и в маленьких бунтах против отца, так теперь Софи была его товарищем в величайшем из всех бунтов. Но Вестэл — его любовь. Каждая мысль чернокожей девушки из Алабамы была ему знакома и понятна. А каждая мысль женщины, с которой он вместе учился в средней школе, играл в теннис, и вот уж семь лет спал в одной комнате, была для него чуждой и удивительной. — и оттого он любил эту женщину больше всех на свете и мечтал когда-нибудь покорить ее сердце и даже понять ее.

Один раз он понял ее, знал, как она поступит и что скажет, но тогда она и не могла поступить иначе, она сделала то, что было давно предусмотрено другими. Ей даже и не предлагали тогда высказываться о человеке, готовом погубить и ее и себя во имя любви к богу, в которого он не очень-то верил.

Он засгал Вестэл веселой, как птица. Она показалась ему немногим старше Бидди и еще более беззащитной, чем та. Бидди в жизни всегда будет наступать, а не обороняться, и, запугав судьбу, победит ее. Скромная, нетребовательная Софи как-нибудь проживет — в госпитале, или в монастыре, или в подозрительном кабаре, а энергичная Вестэл, гордость светской молодежи, непременно растеряется, ей не справиться с жизнью без поддержки какого-нибудь мужчины — отца, мужа, сына или духовника.

Он целовал ее, и они были очень счастливы вместе в этот вечер. Они сами готовили ужин — Ширли ушла на славянскую вечеринку. Они уложили Бидди и сели ужинать в кухне за сверкающий чистотой стол. Ели яичницу и говорили о гнусностях Кэртиса Хэвока, о прекрасных качествах папы Кеннета, о том, сколько может стоить цельное стекло для окна в гостиной.

«Да, пожалуй, можно будет поставить новые стекла», — решили они весело в эту черную ночь после черного рождественского дня.



Среди членов Федерального клуба никогда не бывало ни одного еврея, ни одного музыканта или учителя, а демократов очень мало. Не существовало никакого постановления о том, чтобы их не принимать. Но в нем и не было надобности.

Здесь исконные миллионеры Гранд-Рипаблик, вроде Хайрема Спэррока, играли каждый вечер в бридж или трик-трак и ровно в одиннадцать пили горячий годди. Хотя лакеи клуба и не были англичанами по происхождению и не были обучены в аристократических домах, тюдоровский стиль физиономий членов клуба действовал на них так успешно, что через какие-нибудь полгода лакеи уже выглядели англичанами. И если кто-нибудь из завсегдатаев замечал в этом склепе чуждый элемент, он подзывал какого-нибудь Джимса и говорил внушительно:

— Кто этот тип? Гони его вон!

Тесный круг членов клуба был оскорблен нашествием на город новой промышленности и пребывал в безмятежной уверенности, что в Гранд-Рипаблик и без того имеется достаточно капиталов. Как им было не знать этого — ведь большая часть этих капиталов принадлежала им.

Никто не осмелился бы рекомендовать в члены клуба Рэнди Спруса или Уилбера Фетеринга. Кэртиса Хэвока забаллотировали, несмотря на то, что отец его занимал солидное положение в обществе, а Нийла Кингсблада приняли главным образом потому, что он был зятем Мортона Бихауза. Брат его Роберт попал в члены клуба лишь по какой-то счастливой случайности — такие промахи на выборах бывали редко.

В жизни высшего общества Гранд-Рипаблик не было события значительнее, чем ежегодный вечер холостяков в Федеральном клубе, который устраивался обычно между Рождеством и Новым годом и давал возможность членам клуба удрать от юных членов семьи и родственников, особенно назойливых и шумливых в эти праздничные дни, и насладиться прелестью мужской застольной беседы — это было все равно, что блаженно греться на солнышке. Смокинги в этот вечер были обязательны, бараньи отбивные — тоже, и никогда их здесь не оскорбляли салатами или мороженым. Весь этот пир был точной копией того холостяцкого обеда, который Д. Морган Старший дал когда-то в честь короля Эдуарда VII, только в Федеральном клубе он назывался ужином и происходил в ресторане «Пилсбери», где дубовые столы, голландские изразцы и оловянные пивные кружки создавали подходящую атмосферу.

В этом году холостяцкий ужин украшало своим присутствием самое избранное общество — Спэрроки, Уоргейты, Бихаузы, Гранники, Тарры. Хэвок, Тимберлэйн, Дровер, Марл, Пратт, Трок, один генерал, один капитан 3-го ранга и один епископ.

Нийлу, испытывавшему теперь всегда чувство человека, который ходит по обледеленому скату крыши, не хотелось ехать на этот ужин, но ехать надо было в угоду мистеру Пратту. Он предусмотрительно взял с собой золотой портсигар и оставил дома свои новые убеждения. Во время разговора перед ужином ему приходилось довольно быстро лавировать, чтобы избежать общения с братом Робертом и Хэлом Уиттиком, — и он укрылся под защиту Рода Олдвика.

После ужина все священнодействовали за трубками и высокими кружками с горьким пивом. Большинство из них терпеть не могли пива — и, когда были выполнены требования приличия, они заказали виски с содовой и со льдом.

Затем — ноги на стол (это тоже было обязательно для всех, исключение делалось только для подагриков, составлявших приблизительно

шестьдесят процентов членов клуба), и начиналась ежегодная каноническая программа под названием «Из седой старины» — короткие шуточные беседы, иногда перемежавшиеся сообщениями финансового характера, которых не следовало разглашать. Сохранение тайны почти гарантировалось присутствием и согласием Грегори Марла, высокого молчаливого мужчины, которому по наследству достались обе газеты, выходявшие в Гранд-Рипаблик.

Председатель клуба, доктор Рой Дровер, предоставил слово Роду Олдвику.

Доктор Дровер обычно придавал беседе шуточный тон, но на этот раз он сказал серьезно и с ударением:

— Не обещаю вам, что сегодня мы доберемся до коротких рассказов. Майор Олдвик, наш друг Родней, имеет кое-что вам сказать — и настолько важное, что я не буду ограничивать его никаким регламентом.

Низко остриженная голова, широкие плечи и тонкая талия Рода вызвали в памяти разные слова из Киплинга: саиб<sup>1</sup>, поло, сардар<sup>2</sup>, тиффин<sup>3</sup>, долг, власть, нищий, туземец, порода, пария, кровь. Вспоминались фразы вроде «легким тоном ответил сын полковника: Во мне говорит кровь моего рода», «Сына вашего я возьму, и мы сделаем из него Квислинга» и другие в том же роде. Да и голос Роднея, когда он заговорил, звучал совершенно как рывканье на плацпараде, но с некоторой адвокатской отделкой.

Его очень радовало — так, по крайней мере, он заявил — поведение всех наших белых войск в Европе. «Самым обычным явлением среди нас, нашим главным оружием были не пули, а бескорыстное мужество!» Но затем Род сделал оговорку: он вынужден заявить, что одно его разочаровало — поведение на фронте евреев и негров.

Евреям он посвятил десять минут вдохновенного красноречия, потом перешел к неграм:

— Лидеры так называемых национальных меньшинств любят распиныться в своих бунтарских газетах, но на поле чести эти ворчуны поджимают хвосты, в особенности темнокожая братия. Если позволите сказать прямо, по-солдатски — это просто сволочь и больше ничего!

(Нийл посмотрел на брата, который сморщился, как от боли, на Уэба и Экли Уоргейтов, у которых на заводе работали специалисты-негры. Уэб был в очках — типичный средний бухгалтер, озабоченный только своими балансами, а Экли — такой же бухгалтер, только сортом помельче и еще не знающий забот о балансе).

Род заговорил еще решительнее, отчеканивая каждое слово:

— Я не имею предрассудков, армия и флот не имеет предрассудков, и у бога, я полагаю, их тоже нет. Мы думали, что прошлая война научила цветную брагию честно делать свое дело. Мы всячески их в этом поощряли — произвели даже одного негра в генералы, а целый ряд других — в полковники! И если в армии и проводилось когда-либо разделение рас, так это было только по желанию их собственных главарей, откровенно признавших, что черным солдатам не под силу равняться по белым.

Я видел во время одной атаки, как кроткий белый сержантик в очках удерживал целую банду черных солдат, которые хотели удрать с поля боя, и во главе этой компании был здоровенный парень, имевший еще наглость быть в чине капитана. Когда этот капитан увидел меня,

<sup>1</sup> Господин (инд.).

<sup>2</sup> Начальник (инд.).

<sup>3</sup> Завтрак (инд.).

он только идиотски заржал... Но зато все негры проявляли изрядную удаль, когда лезли со своими вонючими любезностями к наивным французским крестьянкам.

Ужаснее всего того, что я лично наблюдал, был один инцидент, показывающий чудовищную подлость и жестокость негров: я слышал, как негр — вероятно он был пьян — имел наглость сказать здоровенному американскому ирландцу, сержанту военной полиции: «Меня, наверное, отправят, как инвалида, на родину. Когда я туда попаду, я за тебя обслужу твою девушку». Уж не знаю, законно это или нет, — не знаю и знать не хочу, — но этот хам был похоронен без почестей!

(Смех и аплодисменты.)

— Где же выход? А выход, я полагаю, один — об этом вам может сказать и наш новый товарищ и член клуба, Люсьен Файрлок: полнейшая и золяция, которая с таким успехом проводится в южных штатах и, бог даст, скоро будет потребована всеми и повсюду у нас на Севере. Я хотел бы, чтобы в следующую войну негров даже не брали в строй, а мобилизовали всех в рабочие команды и разрешали носить не военную форму, а только комбинезоны.

(Нийл посмотрел на Файрлока, сидевшего рядом с Дункеном Броулером, заместителем директора завода Уоргейтов. Люсьен, как ему показалось, чувствовал себя несколько неловко — то ли от комплиментов Рода, то ли с непривычки класть ноги на стол.)

— А теперь, — продолжал Род, — я хочу сказать вам еще кое-что о неграх, которые живут у нас, в Гранд-Рипаблик. Когда мы, призванные к оружию граждане, ушли сражаться за наши семьи, здесь было еще очень немного чернокожих — все больше старожилы и хорошие работники вроде Уоша, который чистил всем нам башмаки, когда мы еще были мальчишками, и делал это с удовольствием, и мы все его любили и уважали, да благословит бог его старую черную шкуру!

Но вот мы, солдаты, вернулись домой — и видим, что сюда нашли дорогу сотни цветных наихудшего сорта, а за ними повалили с Юга нежеланные гости, все их неумытые, вшивые родственники; на Юге, конечно, страшно рады, что от них избавились. Следовательно, у нас тут вырастет такой многолюдный «черный город», что расовые погромы станут неизбежны, а всему виной наш ложный либерализм и наивная терпимость по отношению к неграм...

(Майор Родней Олдвик никогда не употреблял клички «ниггер». Он, даже участвуя в линчевании, вероятно сохранил бы корректность).

— В Гранд-Рипаблик уже имеется около двух тысяч этих детей Африки, а скоро их будет не две, а двадцать тысяч, и прекрасный город будет загажен, заражен, загублен — если мы не примем соответствующих мер.

Я по собственной инициативе навел справки о некоторых черных агитаторах, которые пытаются разрушить всю нашу систему распределения труда, и хочу рассказать вам, что это за птицы. Большинство из вас о них никогда и не слыхивали, а между тем они готовятся отнять у вас ваши предприятия, джентльмены, и имеют изрядные шансы на успех, если вы не проснетесь и не начнете действовать во-всю!

(Почувяв, что запахло детективной мелодрамой, все слушатели подняли головы.)

— Они хотят принудить профессиональные союзы (которые до сих пор почти не принимали черных в члены или обезвреживали их, объединяя в отдельные «липовые» организации) открыть неграм свободный доступ в ряды своих членов. Таким образом, любой черный хам-землекоп сможет попасть в союз, да еще и занимать там всякие должности.

Скоро какой-нибудь черный представитель союза явится к вам в кабинет, сядет, не сняв шляпы, закурит пятидесятицентовую сигару, пустит вам дым в лицо и начнет объяснять, как вы должны вести свое собственное предприятие, которое вы создали, потратив на это лучшие годы жизни. Да... И угольно-черные девки будут отстаивать свое «право» ходить в одну уборную с вашими дочерьми и благородно воспитанными секретаршами.

А вы, люди свободных профессий, вы, врачи и мои коллеги-юристы, и даже духовенство, не воображайте, что вас это не коснется. Если вы сейчас не начнете действовать, на вас насядут и заставят нанять черных секретарей и кассиров... Нет, подумать только, что все вы, деловые люди, столпы общества, проглядели этот заговор у себя под носом!

Речь вызвала сенсацию. Все знали, что Род Олдвик славный малый, бравый солдат, блестящий адвокат, но никто не подозревал в нем мыслителя и такого оратора! Что вы на это скажете? Почему бы такого в будущем не избрать в губернаторы или сенаторы Соединенных Штатов?

— А теперь, для того, чтобы вы могли защитить себя, свою честь и свое дело, я вам по секрету назову имена главарей заговора. Это все негры, получившие образование, занятые легким трудом, и никто из них не имеет ни малейшего права вторгаться в рабочие организации.

Самый опасный из них — некто Клемент Брейзенштейн, профессиональный агитатор с темным прошлым. Он живет не здесь, — только приезжает тайно по вечерам, чтобы начинать своей дьявольской стряпней головы местных (и должен сказать, очень способных) предателей. Среди этих местных — один ветеран войны, Райан Вулкэйп, которого вышвырнули из армии за нарушение дисциплины, и Сюзен (ее называют еще Софи) Конкорд, которая служит в городской больнице, — жалованье ей платят из налоговых сумм, то есть из моих и ваших кровных денег, а она ведет возмутительную пропаганду в каждой негритянской хижине в городе!

С ними заодно какой-то Брустер, черный шарлатан-пастор, имеющий большое влияние на свою аудиторию. Одураченные им люди называют его «евангелистом», а он использует свою церковную кафедру для того, чтобы распространять красные теории о бунте рабов. И еще в этой компании бывший подручный какого-то шарлатана, выпускавшего патентованные лекарства, — в наш город он явился в роли ученого-химика и называет себя «доктором» Эшером Дэвисом.

Вся эта милая компания держит постоянную связь с еврейскими бюрократами в Вашингтоне, которые тайно замышляют сделать постановления КУТО<sup>1</sup> — основой нашего законодательства и заменить ими наш Американский уклад жизни. Они хотят заставить всех промышленников принимать на работу банды черных, все равно — нужны они им или нет. По всей Америке они готовят такую грандиозную революцию — от консервных заводов Новой Англии до студий Голливуда. Если не хотите поверить мне на слово, джентльмены, почитайте сами гнусные газеты негров.

Здесь, в Гранд-Рипаблик, они особенно коварны и ежевечерне встречаются с некоторыми белыми — и не евреями, не какими-нибудь жуликами и бродягами, а людьми нашего круга!

Торжествующий взгляд Рода, обегая слушателей, скользнул по лицу Нийла, и Нийл ответил на него без слов: «Ладно, Род, я готов». А Род уже гремел опять.

<sup>1</sup> Комиссия по урегулированию трудовых отношений.

— Присутствующие здесь сегодня Уоргейты и Дункан Броулер заслуживают нашей живейшей благодарности за то, что великодушно дали возможность огромному числу черных джентльменов показать, на что они годны.

Теперь пучеглазые молодчики левого толка в Вашингтоне утверждают, что цветные братья оказались не хуже белых, такими же аккуратными, дисциплинированными и умелыми работниками. Но я уполномочен заявить, что Уэб, и Экли, и Дункан пришли к совсем иному выводу: отныне на заводах Уоргейта мы увидим иную картину, в которой будет гораздо меньше сияющих черных рож.

(Нийл взглянул на Экли и вспомнил, как все веселились на его лесной даче недели две тому назад. Экли и отец его имели смущенный вид, но ничего не возразили Роду.)

— Как видите, джентльмены, я не смешил вас традиционными анекдотами. Ибо те из нас, кто стоял под пушками врага, не могут веселиться, пока не будут уверены, что вы сохраните для нас то, за что мы воевали и что сохранили для вас: чистую, честную, предприимчивую, признающую лишь свободную конкуренцию Америку наших предков!

Слушатели барабанили оловянными кружками по столу и, бурно аплодируя, ломали от восторга свои глиняные трубки. Нийл подумал: «Вот оно! Пора!»

Доктор Дровер потребовал тишины, желая в ответной речи поблагодарить оратора, но встал Нийл. Он заговорил бесстрастно, как человек, делающий самое обыкновенное сообщение, — и все приготовились внимательно слушать. «Это молодой Кингсблад — знаете, из Второго национального, зять Морта Бихауза. Дельный парень с прекрасным будущим».

— Я был в армии чином ниже майора Олдвика, — начал Нийл. — Но вынужден возразить ему...

Он видел, что Родней пристально смотрит на него.

— Джентльмены, все то, что говорил Олдвик о неграх-солдатах, наполовину — трескучие фразы, наполовину — сознательная ложь. Все это — ядовитый вздор!

Род привстал и хотел перебить его, но Нийл сказал твердо:

— Тебе не мешали говорить, Род, теперь моя очередь.

Доктор Дровер попытался какими-то звуками напомнить, что он — председатель, но доктор Генри Спэррок заорал:

— Дайте же ему говорить!

Со всех сторон бормотали: «Не мешайте!» — и один голос произнес зловеще: «Это интересно!»

Роберт Кингсблад вскочил и, перегнувшись через стол, закричал:

— Молчи, Нийл! О, боже!

Но Нийл уже закусил удила:

— Олдвик ни слова не сказал здесь о храбрости негров и о возмутительных попытках офицеров и унтер-офицеров из южных штатов развратить нашу армию, заразив ее своими предрассудками. Я и не ожидал ничего другого от такого политического карьериста, как Род Олдвик. Но должен сказать, что в его заявлениях относительно доктора Дэвиса и доктора Брустера и мисс Конкорд нет ни слова правды, он даже имена их переврал. Мне стыдно, что я сидел и слушал все это, потому что я...

Истерический голос Роберта (быть может, он и не сознавал, что говорит вслух) умолял:

— Не надо, не делай этого, Нийл!

— Потому что, — договорил Нийл, — и во мне есть доля так называемой негритянской крови.

Все молчали, как парализованные.

— Во мне только одна тридцать вторая этой крови, но, по понятиям Люсьена Файрлока и его друга, мистера Фетеринга...

Голос Файрлока был ровен:

— Он мне не друг, Нийл.

— ... Согласно распространенному среди южан мифу, который они всучили примитивным карьеристам вроде Олдвика, даже эта капля негритянской крови делает меня стопроцентным негром. Что ж, хорошо! Я согласен. И никого из своих друзей я так не уважаю, как доктора Дэвиса и доктора Брустера и мисс Конкорд и мистера Брейзенстара! Я очень рад, что я негр, джентльмены, и я смотрю оптимистично на будущее нашей расы. Думаю, что сказал достаточно.

— И я так думаю! Даже слишком достаточно, — протяжно сказал Бун Хэвок.

Среди общего говора Нийл различил вопль Пратта, что все это — глупая шутка, истерические отрицания Роберта и обрывок спора между Файрлоком и Дунканом Броулером о квалификации Эша Дэвиса. Весь этот шум вдруг утих, его покрыл бешеный крик Буна Хэвока, тучного железнодорожного подрядчика, который заорал на Броулера:

— Что вы тут затеяли спор, способен ли какой-то эфиоп отличить пробирку от своего пальца! Неужели вы не понимаете, как это ужасно: член нашего клуба публично признается, что он негр, и позорит всех нас! Наплевать на черных солдат...

Полковник Леви Тарр начал:

— А мне не наплевать! Это дискриминация...

Но доктор Рой Дровер резко перебил его:

— К чёрту все эти разговоры! Как председатель, я предлагаю сейчас же, не сходя с места, принять заявление от мистера Нийла Кингсблада о выходе его из членов клуба.

Нийл смотрел не на Дровера, а на Рода Олдвика, спокойного, злобно улыбавшегося.

Встал Грег Марл:

— Рой! Раньше чем поступить так или иначе, я предлагаю разойтись по домам и подумать, а завтра вы можете назначить комиссию для переговоров с Нийлом. Я же обещаю вам, что пока ничего не появится в моих газетах и (поскольку это будет от меня зависеть) не станет известно телеграфным агентствам, если, конечно, все вы будете молчать.

Судья Касс Тимберлэйн сказал внушительно:

— Умно ли Нийл поступил или нет, но он мужественный человек. И давайте не будем терять головы.

Экли Уоргейт (Нийл часто играл с ним в шахматы и выигрывал) закричал:

— Разумеется, голову терять не из-за чего, но свое мнение я уже и сейчас могу сказать: я всегда считал Нийла добрым приятелем, я охотно принимал его у себя и хорошо к нему относился. И я возмущен тем, что он выдавал себя за белого, обманом вкрался в мой дом и, как равный, встречался с моей женой и детьми. Я хочу заверить его и всех вас, что этого больше не будет.

Джуд Броулер — милый человек! — самый старый и самый преданный из друзей Нийла, встал и объявил:

— По-моему, это чепуха! Все мы знаем, что Нийл замечательный парень и добрый товарищ. Какое значение имеет одна тридцать вторая

негритянской крови? Он — самый белый из всех присутствующих здесь белых, и я буду стоять за него.

Поднялись бурные протесты — и под этот шум Нийл вышел из зала. Он был утомлен. Он не мог больше слышать их голоса. Между ним и этими белыми словно опустилась завеса. Отречься от белой расы было важнее, чем уйти из Федерального клуба.

Джуд Броулер догнал его в вестибюле и буркнул:

— Дружище, ты ужасный идиот, незачем было выбалтывать этот секрет, но мы за тебя постоим. Приходи с Вестэл к нам обедать — ну, скажем, во вторник, в Новый год, — и мы все обсудим. Придете? Ну, чудесно!

## 37

В столовой Вестэл, в нарядном халатике, вязала — занятие для нее необычное.

— Ты застал меня врасплох, я вяжу для тебя шарф. Не успела оканчить его к Рождеству — экая досада! Теперь это будет подарок к Новому году... Что такое, Нийл, что случилось? Нийл! Почему ты стоишь и молчишь? Ох, Нийл, неужели... у з н а ли?

— Род Олдвик так нападал на негров, что я не выдержал и сказал при всех, что я тоже негр. Как странно это звучит: «Я негр».

— Странно, да. Еще бы не странно! Странно, что я — жена цветного. Что Бидди — цветная, и жизнь ее навсегда испорчена. Да. Странно. И надо скорее, скорее что-нибудь сделать, чтобы люди забыли о твоей восхитительной публичной исповеди. Но я не знаю — что?

Она бросилась к телефону, вызвала доктора Кеннета и попросила приехать к ее отцу, Мортону Бихаузу, — там они встретятся. Позвонила отцу, потом в Федеральный клуб — Роберту. Одеваясь у себя в спальне, в то время, как Нийл стоял и растерянно наблюдал за ней, она просто-напросто:

— Только бы ты опять чего-нибудь не ляпнул при отце!

— Я ничего не буду говорить!

Она улыбнулась вымученной улыбкой:

— Ну, если ты обещаешь ничего не говорить — или не говорить того, я, пожалуй, постою за тебя... Но, может быть, я тебе больше не нужна? Может быть, я недостаточно хороша для жены цветного?

— Не глупи.

— Я не знаю, что и думать. Ты же способен был так поступить со мной. Я-то многое могу выдержать — то есть так я думала раньше, — но Бидди...

— Вестэл, ни к чему все это. Мне кажется, дело очень просто. Раз я — негр, значит негр. И Джуд Броулер — вероятно, и многие другие — поддерживают меня, одобряют мое желание быть честным.

— Мне следовало бы тебя возненавидеть. А я — не могу, сейчас еще не могу. Вот я гляжу на тебя, такого как всегда — рыжего, румяного и славного, — и чувствую к тебе то же самое, что и до сих пор... А что если дядя Оливер сумеет доказать, что вышла ошибка, что ты вовсе не негр, ни чуточку не негр?

— Тогда я пойду к ним добровольно. Эш, Ивэн, Фил, Софи, Вулкэйпы мне дороже, чем Род Олдвик и доктор Дровер и Оливер Бихауз.

— Что это за таинственные друзья, о которых я в первый раз слышу? Черномазые?

Он вдруг удивился, что она не знает тех, кто для него — самые замечательные люди на свете.

— Это — негры, которых я уважаю и ценю за доброту, и мужество, и ум, и...

— О, господи! Ты стал невозможен.

Резиденцию мистера Мортон Бихауза можно охарактеризовать одним словом: основательность. Тридцать лет ушло на то, чтобы обдуманно выбрать окончательное место для ночных туфель, найти буфет соответствующей прочности и солидности. В этой цитадели, где, казалось, и воздух был дубовый, как панельная обшивка стен, доктор Кеннет, в пиджаке и клетчатом пальто, надетых второпях на пиджаму, ожидал сына. Он напоминал вспугнутого, машущего крыльями аиста, Роберт — надменного вола, а хозяин дома сидел молча, и все в нем было совершенно неподвижно, кроме глаз. Когда медленно вошел Нийл, Роберт сказал:

— Вот что, Нийл: я говорил с мамой по телефону, и она категорически отрицает все. Она требует, чтобы ты попросил членов клуба собраться снова и сказал им, что с тобой просто был припадок.

Заговорил Мортон Бихауз:

— Это все равно, что какое-нибудь частное лицо приказало бы Конгрессу собраться. Слишком поздно. Я ведь был там сегодня, — и скажу вам, Нийл, лучше бы вы убили мою дочь, чем сделать с нею такую гнусность. Само собой разумеется, она вас немедленно оставит — просто из уважения к самой себе.

— Нет, — сказала Вестэл.

— Вот как? Ну подожди, пока Лоррэн Уоргейт и Джэнет Олдвик перестанут тебя узнавать на улице, — сурово заметил ей отец.

— А я и не стану ждать — я первая перестану им кланяться.

Мортон был все так же спокоен:

— Будь молодцом, дорогая, выкинь его из головы. Я так и знал, что ты будешь стоять за него — Бихаузы всегда верны в любви и дружбе. Но после того, как ты докажешь свое благородство, ты согласишься со мной, что этот малый, твой муж (пока!), самый невообразимый эгоист, позер, подлец, самый строптивый из всех олухов и хамов, какие позорят наш город!

Роберт струхнул, но, верный своему клану, зарычал на Мортон:

— Мы не желаем больше слушать ваши дерзости, Мортон!

— Безусловно не желаем, — поддержал его доктор Кеннет, и Роберт подкрепил свое заявление следующими словами:

— Отец и я любим его, хотя он и психопат. И думаю, что ваша дочь тоже его любит. А, значит, и говорить как будто больше не о чем. Все сказано.

Но сказано было еще не все, о, далеко не все — так что Нийл и Вестэл вернулись домой только в четвертом часу ночи. Когда они вошли в детскую, Бидди проснулась и заплакала. С отчаянием в душе они кое-как успокоили ее и улеглись, но уснуть не могли. Вестэл говорила:

— Я крепко тебя люблю и останусь с тобой — пока смогу. Пойми, я не гожусь в мученицы. И, повидимому, я даже недостаточно развита умственно, чтобы равняться с твоими любимцами-неграми.

— Перестань!

— Как я могу перестать?

И так до рассвета — дождливого, тусклого, как железо.

На другой день учтивый Верн Эвондин, секретарь Федерального клуба, сообщил Нийлу по телефону, что в полдень заседала комиссия и «приняла его заявление об уходе». Затем Верн выразил надежду, что «ваша почтенная супруга и мисс Элизабет хорошо проводят праздники».



— Не совсем, — сказала Вестэл, подслушивавшая этот разговор у добавочного аппарата.

Как все мужья, он поверил в свою легкую и окончательную победу, поверил, что Вестэл простила ему такое проявление дурного вкуса, как то, что он родился негром. А она, как все жены, даже очень хорошие жены, дала ему успокоиться — а потом нанесла удар. Однажды, в конце хмурого декабрьского дня, в час, когда человек особенно беззащитен, они весело решили, что не пойдут сегодня в гости к Нортону Троку, и тут Вестэл неожиданно обрушила на голову мужа следующие слова:

— Не думай, что если я не реву и не брыкаюсь, значит, меня не возмущает то, что мы нигде, нигде не можем больше бывать из-за твоего дурацкого положения! Иногда я начинаю видеть в тебе негра... Надеюсь, это пройдет, но мне уже кажется, что ты волочишь ноги при ходьбе и глупо ухмыляешься...

— Неужели тебе, действительно, все негры представляются такими?

— Да, именно такими — все. И мне чудится на твоём лице какая-то ужасная темная тень. Ох, я всегда терпеть не могла черномазых и их противную слащавость, которая их выдает с головой. Они сами понимают, что они — низшая раса.

Нийл спросил — не особенно кротко:

— А ты знаешь близко хоть одного негра, кроме Белфриды?

— Да! Тебя, и твоего косноязычного брата Роберта, и твоих сестер!.. Ах, милый, прости! Честное слово, мне совестно, мне так совестно, что я готова дать себе пощечину за эти слова.

— А что же такого в твоих словах? Ведь это правда.

— Честное слово, Нийл, я все могу вынести, только не это твоё хладнокровие, и силу, и мудрое отношение к моим выходкам. Я этого не вынесу.

На этот раз дело не дошло до ссоры, настоящие мучения были впереди.

Ужин в Федеральном клубе был в четверг 27 декабря. Банк, где служил Нийл, был открыт в пятницу весь день, а в субботу до полудня, и затем весь день в понедельник, накануне Нового года. И все эти дни автомат, которого называли «наш мистер Кингсблад», был очень занят — сидел за окошечком кассы, давал советы ветеранам (спросить у них совета он бы побоялся), обсуждал с мистером Праттом вопрос о протирке окон.

Разговаривая с ним, мистер Пратт беспрестанно откашливался, торопливо и не к месту улыбался, а Нийл спрашивал себя: неужели случилось такое чудо, неужели Пратт героически решил не обращать внимания на миф насчет его негритянского происхождения. Он заметил, как воровато бегали по сторонам глаза Пратта, и понял, что добрый человек старается незаметно взглянуть на его ногти... проверить, синие ли у него лунки, как у всех негров.

Нийл похолодел, как дворцовый часовой, на которого диктатор поглядывает чересчур пристально. В воздухе пахло катастрофой. Впрочем он был в безопасности, пока какой-нибудь клиент не заявит о своём желании иметь дело с цветным.

При раздаче годовых премий, когда всем служащим полагалось выражать удивление и благодарность за отцовскую заботливость банка (некоторых из них действительно иногда ожидали сюрпризы), когда все выстроились кружком, словно венок из маргариток, в кабинете директора, Нийл убедился, что он не исключен из платежной ведомости. Но когда наступила его очередь принять конверт и выслушать стерео-

типную фразу от мистера Пратта, Пратт кашлянул и сказал: «Я сейчас вернусь» — и Нийл получил свои золоченые кандалы не из бескровных рук директора, а из широкой лапы мистера Эшиела Денвера!

«Значит, не уволили! Но все же я начинаю думать, что первым заместителем директора мне уже не быть».

Дело, конечно, вышло наружу. Но не сразу, а постепенно.

Все свидетели скандала в Федеральном клубе обещали, разумеется, хранить молчание. И, как водится, каждый доверил тайну кому-нибудь из своих знакомых. Всю первую неделю Нового года газеты молчали об этом скандале, но местная радиостанция, где властвовал весьма недовольный Нийлом мистер Хэролд Уиттик, в передаче, именуемой «час местной хроники», обещала через несколько дней сообщить «широкой публике» (заправила радиостанции были самые отчаянные сторонники «широкой гласности») подробности позорного инцидента, обнаружившего, что один известный на Среднем Западе финансист вел постыдную двойственную жизнь.

Нийл и Вестэл, услышав это, обменялись испуганным взглядом.

Накануне Нового года Джуд Броулер позвонил по телефону:

— Послушай, дружище, я в очень затруднительном положении. Моя жена и отец просто рвут и мечут из-за того, что я хочу открыто тебя поддержать. Так что, пожалуй, лучше вам завтра не приходите к нам обедать, я боюсь, что вам будет неприятно. Но в душе я на твоей стороне. На этой неделе мы с тобой обязательно где-нибудь вместе позавтракаем.

Джуд больше не звонил.

До скандала в клубе Нийл и Вестэл собирались вместе встречать Новый год на парадном вечере в Загородном клубе. Теперь пришлось остаться дома, и настроение у них, конечно, было мрачное. Нийл тревожился:

— Вряд ли все-таки меня уволят со службы, как ты думаешь? Что мы тогда будем делать?

— Не знаю. Мы до сих пор были так уверены, что всегда будем жить хорошо. Неужели папа Мортон перестанет давать мне карманные деньги?

— Что ж такое, если и перестанет? Проживем как-нибудь, — это было сказано без всякого воодушевления.

— Наверное, — размышляла вслух Вестэл, испуганная новыми перспективами, — наверное, в Америке очень много семей, которые встречают каждый Новый год с беспокойством, неуверенные в завтрашнем дне.

— Да, вряд ли мой знакомый, Джон Вулкэйп, швейцар и уборщик, сейчас, встречая Новый год, раздумывает, не взять ли ему свои капиталы из «Дженерал моторс» и вложить их в недвижимость.

— Ах, не носись ты так со своими друзьями, борцами за справедливость! Что за противное самодовольство! Не вижу особой твоей заслуги в том, что ты родился негром! Почему ты не можешь забыть об этом, когда ты со мной? Ведь стараюсь же я изо всех сил забыть это!

— Ты права. Я, наверное, скоро стану таким же фарисеем, как Коринна Брустер.

— Что это еще за Коринна? Ты, видно, встречаешься со все новыми и новыми людьми, а я никого из них не знаю. Нийл, ты отходишь от меня все дальше и дальше! — Ее голос из печального стал резким: —

Это не та ли черная красавица, что как-то вечером приходила к тебе сюда?

— Нет, другая. Видишь, какой я имею успех. Ты, кажется, ревнуешь, Кис? Весьма польщен этим! — Он пытался придать разговору беспечный и интимный тон.

За весь этот день накануне Нового года к ним зашла одна только Патриция. Она изливала свой восторг по поводу того, что она теперь — цветная (она только сейчас узнала о существовании Гарриет Табмен<sup>1</sup> и «Национальной ассоциации содействия культурному прогрессу цветного населения»), и своей экспансивностью раздражала старого ветерана расовой борьбы Нийла, точно так же, как он всегда раздражал Коринну...

В одну минуту первого доктор Кеннет поздравил их по телефону таким дрожащим старческим голосом:

— Дорогой мой мальчик, я крепко надеюсь, что в наступающем году у вас все будет благополучно. Я постараюсь уладить... Во всяком случае, да благословит тебя бог!

«Если у папы начнут дрожать и руки, это сильно отзовется на его практике. Может быть, мне не следовало... Поздно я спохватился!»

Вестэл все время очень старалась при Бидди быть беззаботно веселой. Все в ней как будто твердило: «Ты видишь, деточка, твоя мама очень счастлива». Но Бидди смутно чувала, что по дому бродит призрак страха, и из каких-то обрывков разговора сделала вывод, что в этом виноваты негры. Поэтому с невинной мстительностью всех «дорогих малюток» она восстановила прежнюю кличку Принца и носилась по дому, крича: «Ниггер, Ниггер, Ниггер!»

Вестэл, дрожа от какой-то смутной ярости, шептала Нийлу:

— Что если это услышит в соседней квартире Кэртис Хэвок? Он, должно быть, уже все знает от отца. Но если я попробую остановить Бидди, она начнет кричать еще громче.

В один январский вечер они опять услышали тонкий крик: «Ниггер, Ниггер», мешавшийся с воем метели.

— Пойду наверх и заставлю ее замолчать! — сказала Вестэл со вздохом.

Но Нийл спросил:

— А ты уверена, что это кричала Бидди?

<sup>1</sup> Негритянский лидер и героиня периода, непосредственно предшествовавшего Гражданской войне.

*Перевела с английского М. Абкина*

*(Окончание в следующем номере.)*



---

---

# КРИТИКА И ПУБЛИЦИСТИКА

*Обсуждение злободневных проблем литературной критики*

## 1

### НОВАТОРСТВО И ФОРМАЛИЗМ

Л. СКОРИНО

★

#### ОБ ЭСТЕТСТВУЮЩЕЙ КРИТИКЕ И ЕЕ ПОДЗАЩИТНЫХ

**Н**епреложная истина, гласящая, что форма существенна, а содержание невозможно вне формы, казалось бы, безоговорочно признана всеми. Но, читая статьи и рецензии последних лет, можно не без удивления убедиться, что конкретная критика, приняв это положение теоретически, на практике и по сей день грешит рецидивами формализма. Вопреки ясному требованию марксистской эстетики рассматривать художественное произведение, как диалектическое единство формы и содержания, немало наших критиков в своих работах отрывает одну от другой эти неразделимые части единого целого.

Эстетствующая, то есть, как правило, стыдливо формалистская критика, скрывая свои истинные намерения, делает некое необходимое число поклонов в сторону содержания, а затем обращается к изучению «чистой формы». «Тематическая» критика, аскетически закрывая глаза на форму, ибо «от нее же все грехи и соблазны», исследует только идейное содержание, отдавая эстетическую сторону художественного произведения на откуп скрытым и явным формалистам. Последние, как это молчаливо признается многими литераторами, якобы и являются непревзойденными специалистами по вопросам новаторства формы, по жанрам и сюжетам, по всяким там «остранениям», «торможениям», «нанизываниям» и прочим хитростям ремесла.

Но так ли уж сильна эстетствующая критика в вопросах формы? Присмотримся, что у нее получается на практике, а для этого обратимся к дискуссии,<sup>1</sup> возникшей

по поводу поэмы С. Кирсанова «Небо над Родиной».

В статье «На подступах к трагедии» П. Антокольский, объявив, что поэма Кирсанова—это «новизна смелая и уверенная», выступил с защитой права поэта на формальное новаторство.

Но кто же, собственно, против новаторства? Важно лишь уяснить, какое содержание вкладывается в понятие «новизны» и куда критик зовет поэта направить творческие поиски. На этот вопрос П. Антокольский дает по существу бесплодно-формалистский ответ. Суть поэмы С. Кирсанова, как он считает: «в новизне находки, которая может и должна быть противопоставлена традиционной обычности». Под «традиционным» критик понимает «напетое многими голосами до нас». Эта стыдливо приглушенная формула скрывает знакомую мысль, которую в двадцатых годах воинствующий формализм выражал яснее и откровеннее: «Новая форма является не для того, чтобы выразить новое содержание, а для того, чтобы заменить старую форму, уже потерявшую свою художественность».

Порочная формалистская идея весьма живуча и нет-нет да и прорвется, как шило из мешка, в статьях эстетствующих критиков. В годы войны мы прочли в статье К. Чуковского «О пользе творчества»<sup>1</sup> следующее определение: «Творчество — всегда изобретение, и сила его влияния на массы — в творческой новизне его сюжета и стиля». Итак, критики-эсты все еще считают, что сущность новаторства заклю-

<sup>1</sup> См. «Литературная газета», 13 декабря 1947.

<sup>1</sup> «Литература и искусство», 6 марта 1943.

чается в поисках новой формы, в противопоставлении ее «традиционной обычности».

Марксистская же критика учит нас, что начинать надо с обращения к новому жизненному содержанию, ибо только оно и может послужить основой для возникновения новой формы. Существо спора о творческих поисках, о новаторстве заключается в том, что формалисты тянут писателей к комнатной игре в бирюльки, в «торможения» и «нанизывания». А марксисты зовут к отражению жизни, к активному вмешательству в ход исторического процесса. Таковы два пути, две эстетики.

П. Антокольский заботливо оберегает С. Кирсанова от критики, которая, чего доброго, отговорит его «новаторствовать». Но каждый раз, когда С. Кирсанов пробует следовать эстетским советам, он неизменно терпит творческие неудачи. Характерно, что даже его защитник П. Антокольский жестко ограничивает значение поэмы «Небо над Родиной». Поэма, по его мнению, так сказать, еще только эксперимент, проба, а отнюдь не произведение, которое войдет в историю литературы. П. Антокольский прибегает к деликатной метафоре: «Летные машины бывают серийными и пробными, то есть такими, которые требуют испытания. То же самое и летчики. Одни из них совершают смелые рейсы на любые расстояния на испытанных машинах. Другие испытывают новые». И добавляет: «Работа и тех и других необходима и ценна». Но это едва ли может утешить талантливого поэта С. Кирсанова. У него достаточно творческих сил, чтобы претендовать на большее, чем подобное экспериментаторство на пользу другим поэтам или испытание «пробных машин». А на это, до конца его дней, хотят обречь поэта заботливые критики-эстеты, которые старательно пытаются оградить его от «традиционной обычности» советской литературы, от угрожающей ему возможности создать одно из тех произведений, какие, по ироническому выражению П. Антокольского, «и дойдут, и пройдут, и распространятся».

Какие же непреходящие эстетические ценности открывает П. Антокольский в поэме С. Кирсанова? Во имя каких самодовлеющих формальных «завоеваний» поэт должен приносить жертвы, писать для узкого круга литературных гурманов вместо

того, чтобы вывести свою поэзию на общенародный простор?

При ближайшем рассмотрении оказывается, что итог, который подводит П. Антокольский «новаторским» достижениям Кирсанова, весьма незначителен. Критик подвергает поэму «Небо над Родиной» сугубо формалистическому анализу и, естественно, не видит ее реальных недостатков, равно как и реальных достоинств, а поэму и не может доказать собственного тезиса о превосходстве этой поэмы над «традиционной обычностью». Вся «новизна» поэмы, согласно критику, заключается в обновлении старых традиционных приемов. «Ходовой и общедоступный» хорей, указывает П. Антокольский, звучит в поэме «по-новому: как волевая сила». Это — первое достижение. Второе — облака, «привлекавшие с древнейших времен всех поэтов мира своей невесомостью», как «безмолвный фон всякого лирического пейзажа», заговорили, «перебивая друг друга». Третье — введен подобный античному хор стихийных сил. Новизна, якобы, в том, что одухотворение природы имеет основой не «архаистические» представления, «свойственные, скажем, классикам античности или ложно-классикам». «Нет! — восклицает П. Антокольский, — советский поэт по-другому, по-своему раздвигает толщу мироздания». Как же это? — полюбопытствуем. П. Антокольский отвечает: «...бережно, дисциплинированно, со знанием, неизбежным в умственном хозяйстве советского человека. В этом новизна метода».

Но какая же это новизна, если все дело сводится к тому лишь, что поэт «владеет навыками точного знания» и «богатством материалистической культуры». Поэты прошлого, начиная хотя бы с Лукреция Карра, как известно, совсем не чуждались естественных наук. Основой творчества многих крупных поэтов была материалистическая культура их времени, и в своих произведениях они выступали зачастую в полном соответствии с требованием П. Антокольского, как «физики, метеорологи, и географы, и астрономы». И тоже подчас вводили в поэмы стихийные силы, не покидая при этом почвы современного им естествознания.

Взяв С. Кирсанова под защиту, Антокольский, однако, не смог ответить на ос-

новой вопрос, из-за которого идет спор — в чем же новаторство советского поэта? И это естественный результат того, что критик рассматривает «Небо над Родиной», оставаясь в плену бесплодного эстетского метода, вместо того, чтобы решительно атаковать формализм на его поэтическом плацдарме.

Весьма знаменательно, что сам С. Кирсанов категорически расходится со своим «защитником» во взглядах на поэтическое новаторство, что явствует из его собственной статьи, напечатанной задолго до дискуссии о поэме «Небо над Родиной». В своем очерке «В. В. Маяковский» («Октябрь» № 4, 1947) С. Кирсанов, говоря о традициях поэзии Маяковского, о том, чему у него обязаны учиться молодые поэты, изложил свое поэтическое credo. И характерно, что в противовес П. Антокольскому Кирсанов резко и страстно отмежевывается от эстетства и формализма.

В образе Маяковского для него воплощен идеал истинного новатора. «Творчество Маяковского, — пишет С. Кирсанов, — это университет советской поэзии. Он провозгласил новые принципы и проверил их на практике... он защитил новую поэтику «поверх зуб» вооруженными войсками» стихов».

Основы этой новой поэтики С. Кирсанов ищет не в пределах литературного ряда явлений, а в самой действительности. Изменилось отношение поэта к миру, эпоха потребовала от него, чтобы он стал участником великого революционного преобразования жизни. Кирсанов говорит, как о принципиально важной особенности того нового типа поэта, который воплощен в Маяковском, о «явной и действенной партийности» его поэзии. Отсюда изменение поэтического метода: уже немислимо больше созерцательное повествование, описание событий «объективным» свидетелем, стоящим над схваткой. В новой поэзии звучит голос нового человека — непосредственного участника битвы. Но и этого мало! Рассказ участника может также оставаться простым, хотя и взволнованным, свидетельством, а должен быть призывом к действию. «Когда вестовой прибегает в штаб и сообщает о ходе боя, требует помощи — это не просто рассказ, — восклицает С. Кирсанов. — Когда самолетом спешит в Москву посланец из Сиби-

ри, чтобы сказать: «Завод построен, нужны еще машины и люди!» — это не просто рассказ. Таков и «эпос» Маяковского — синхронный эпос самого события и участия в нем».

Способность поэта расширять личное до масштабов социального, а к социальной проблеме относиться, как к личной, — это и есть, по определению Кирсанова, принципиальная особенность поэзии Маяковского.

Итак, основа поэтического новаторства, считает С. Кирсанов, не в освежении старых форм, как это видится П. Антокольскому, а в борьбе за полноценное выражение нового содержания. «Одним из обязательных принципов новой поэтики, — говорит С. Кирсанов, — Маяковский объявил новаторство. Без нового отношения к явлениям, без новаторства поэтического выражения Маяковский не мыслил новой поэзии». В развитие этого положения Кирсанов приводит слова Маяковского: «Нас интересует поэтическое культурное производство. Изобретение» — и добавляет, что великий советский поэт не признавал и не мог признавать за изобретением самодевялющего значения. «Поэтическое «изобретение», — подчеркивает Кирсанов, — было необходимо, чтобы придать поэзии энергию для выполнения новых функций».

Именно с позиций поэзии «явно и действительно партийной» С. Кирсанов провозглашает право поэта на путь «безостановочного новаторства», нелегкий и непротоптаный, на «творческий риск». Он стремится к борьбе с «инерцией отсталой формы», «отсталой образности», за которыми скрыто для него отсталое отношение к явлениям действительности.

Таковы теоретические позиции, с которых С. Кирсанов ставит вопрос о новаторстве, заранее возражая своим будущим защитникам и апологетам.

Он не боится порвать с эстетствующей критикой, которая во имя спасения «чистой формы» от посягательств на нее тенденции уводит художников на путь бесплодных формалистских изощрений, и, замалчивая все подлинно новое, своеобразное, что возникает или могло бы возникнуть в творчестве тех или иных поэтов, поднимает на щит их пороки и ошибки.

От жалкой, ведущей в творческий тупик, «поэзии для поэтов» спасается С. Кир-

санов, ища себе опору в революционной традиции Маяковского. Из заколдованного круга эстетских теориек он прорывается на волю к подлинному новаторству. Одна-

ко С. Кирсанову далеко не всегда удается осуществить в своей поэтической практике провозглашенную им теоретическую установку.

### О НОВАТОРСТВЕ СМЕЛОМ И НОВАТОРСТВЕ С ОГЛЯДКОЙ

Что же произошло с поэмой С. Кирсанова, почему его новаторство оказалось спорным?

Мы можем не согласиться с доводами В. Александрова, который, полемизируя с Антокольским по поводу поэмы «Небо над Родиной», утверждает, что все беды проистекли от того, что «форма драматического произведения», в котором действуют Ветры и Облака и прочие им подобные персонажи, «утратила свой внутренний смысл», то есть, что устаревшая форма не соответствует новому содержанию, а потому кажется «придуманной, нарочито литературной и странной». В. Александров тщательно перечисляет и второстепенные погрешности формы, обнаруженные им в поэме. Он возражает против инструментовки дум летчика на «у», против передачи речи моторов шумами и скрежетаниями, «где уж гут думать о человеческих переживаниях, когда столько внимания расходуется на звукоподражательные и ритмические рекорды», педантично ловит поэта на мелких заимствованиях — строки у Бальмонта, строфы из «Колоколов» Эдгара По и т. д.

Но все эти упреки поэту нас несколько не убеждают в правоте критика. Представим себе, что, вняв ему, С. Кирсанов уберет строки, вызывающие подозрение в заимствовании, произведет тщательную «дозировку аллитераций», инструментует своего летчика не на «у», а на «а» или, еще лучше, вернет ему звучание естественной человеческой речи. Тогда как? Произведет ли это переворот в поэме, перестанет ли она быть «эпигонской» и «формалистической», как ее сурово определяет В. Александров?

Нам думается, что обличения В. Александрова так же случайны и произвольны, как и похвалы П. Антокольского. Причина этого — в непоследовательности, половинчатости позиции критика, который, выступая против кирсановской поэмы, не имеет сил освободиться от старых эстетских методов критического анализа. Он

не видит перед собой поэмы, как единства формы и содержания. Поэтому его статья ощутимо распадается на две обособленных части: одна из них — правильные, но весьма общие рассуждения об идейном содержании поэмы, другая — мелочный анализ обнаруженных критиком погрешностей формы. Разрыв между анализом формы и анализом содержания не позволяет критику понять поэму в ее сущности, как единое целое. Здесь сказываются непреодоленные влияния эстетских теориек, которым критик вольно или невольно то и дело идет на уступки. Такой уступкой является, например, концовка рассуждений В. Александрова. Критик на протяжении всей статьи громит поэму «Небо над Родиной». Он отказывает поэту в новаторстве, обличает его в эпигонстве, объявив его поэму «пестрой витриной», «антикварно-комиссионным магазином», выдаваемым за «некое революционно-новаторское начинание». И после всего этого неожиданно сдает все свои позиции, делает нижайший поклон в сторону эстетов, восклицая: «И все же я отнюдь не считаю публикацию этой поэмы ошибкой. Было бы очень прискорбно, если бы это произведение, из-за чьих-нибудь страхов, осталось под спудом». Издание поэмы, оказывается, позволяет «внести ясность в жизненно важный вопрос о так называемой «простой» и так называемой «сложной» поэзии». Но дело в том-то как раз и заключается, что никакой ясности после прочтения статьи В. Александрова не возникает, ибо она не отвечает на основной вопрос: каково же то новое содержание поэмы «Небо над Родиной», которому не соответствует, по мнению критика, столь сурово им обличаемая, старая и эпигонская форма. И налицо ли вообще это новое содержание?

Изучение поэмы С. Кирсанова позволяет ответить на этот вопрос утвердительно, что, однако, не снимает вопроса о спорности его новаторства, его творческих поисков. Но опасности для поэта таятся от-

нюдь не там, где их видит эстетствующая критика..

Поэт в полном соответствии со своей творческой декларацией настойчиво пробивается к новой теме, к слиянию лирического и эпического начал. О поисках новой темы со всей очевидностью говорит хотя бы то обстоятельство, что поэт избрал в герои своих последних произведений участника Великой Отечественной войны, обратился к фактам и событиям живой истории наших дней. С. Кирсанов рисует подвиг Александра Матросова, стремится поэтически осмыслить и раскрыть сущность героического деяния летчика Фастелло. Однако этого еще мало. Содержание художественного произведения отнюдь не сумма новых фактов, но прежде всего новая тенденция, то есть смысл и своеобразие новых исторических событий, идейность, носителем которой является новый герой.

И спорность поэмы «Небо над Родиной», как нам кажется, как раз и обусловливается половинчатостью новаторства С. Кирсанова, робостью и непоследовательностью в отстаивании им на практике верных теоретических позиций, а отсюда и в уступках, вольно или невольно делаемых поэтом старым эстетическим канонам, старой образности.

В поэме «Небо над Родиной» отчетливо противоборствуют две тенденции: новая, связанная с ее лирическим содержанием, с героем поэмы — летчиком, и старая, претворяющаяся в эпических образах стихийных сил природы. Поэт стремится слить, сплавить эти две тенденции, не замечая их внутренней противоречивости, их взаимного отрицания.

Лирическая тема «Неба над Родиной» раскрывает нам мир чувств и переживаний нового человека, «управляющего своей судьбой», сознательно отдающего жизнь за родную землю, истерзанную взрывами снарядов, опаленную пожарами войны, за счастье простых людей. В последнюю минуту, решаясь на подвиг, герой видит «домик в переулке»:

Мать качает сына в люльке  
в тишине тревожной ночи  
и поет ему, поет,  
что в далеких тучах летчик  
продолжает свой полет.

И рядом с этим тихим домиком перед внутренним взором героя встает величественный образ Кремля — как символ правды, великого будущего Родины. И этот образ вдохновляет его на подвиг:

Пять лучей на стройной вышке,  
Раздвигая мрак и муть,  
Сквозь мельканье крупинок —  
В бой, в огонь, на поединок  
Озаряют жизни путь.

Герой предстает в поэме не одиноким в своем деянии. Он из тех, кто погибал «собою атакуя», из тех, кто шел на смерть

Для тебя, земля родная,  
Дети Родины, для вас!

Подобен ему и боец, который умирая сражался, «врывшись в обожженный прах, в обломки и колючий камень», «к своей судьбе теряя жалость», и солдат, защищающий разрушенный сталинградский дом, в котором уж «три стены, и печь, и трубы немецкой бомбой снесены».

Герой ощущает свою связь с этими людьми нелегкой, упрямой судьбы. В последние минуты жизни он не только думает о будущем, воплощенном в детях, еще мирно спящих в маленьких затемненных домах, но и слышит призыв соратников, тех, кто, как и он, защищает это будущее. Недаром слышится ему голос «дома в Сталинграде»:

Я кирпича и щебня россыпь. Я исковеркан.  
Я исколот.  
Но я прикрыт солдатской грудью — спина  
к спине, стена к стене.  
Так уступи великой просьбе: не дай врагу  
ворваться в город.  
Его пятнистому оружию не дай приблизиться  
ко мне!

Активное мироощущение героя, по замыслу С. Кирсанова, беспредельно расширяется, перерастая рамки личного, обособленного переживания, переходя из лирического плана в план эпический. Этим мироощущением пронизана вся природа, окружающая героя, вовлекаемая им в водоворот бушевающих его чувств и переживаний. В образах стихийных сил, в величественных формах и с грандиозным размахом воплощаются человеческие страсти — гневная ненависть к врагу и нежнейшая сыновья любовь к страдающей Родине. Так объясняется введение в поэму страстных лирических речей стихийных сил: Земли, Облаков, Ветра, Капли и других им подобных персонажей.

П. Антокольский превозносит этот «античный хор» стихий за естественно-физико-геологическое его содержание. В. Алексан-



дров возражает Антокольскому, опасаясь, что «говорящие стихии», несмотря на их материализм и проявленную склонность к «точному знанию», все же «не органичны» для советской поэзии, ибо... появляются «не в сказке, а в драматической поэме». «Тех читателей, которые захотят разобраться в поэме С. Кирсанова, — говорит В. Александров, — в первую очередь будет занимать, как мне кажется, следующий вопрос: насколько органично для нашей поэзии такое построение, в котором разговаривают друг с другом Земля, Облака, Тучи, Капли, Ветер, Вихрь, Мотор, Страх и т. д.?»

Да в этом ли всё дело? Пусть себе разговаривают на здоровье, важно уяснить, какой в этом смысл, к чему все это?

Нам кажется, что оба критика равно не видят существа дела, ибо какие бы оговорки при этом ни делались, оба рассматривают произведение С. Кирсанова лишь со стороны формы, то есть с узко эстетских позиций.

Но ошибка Кирсанова начинается там, где он делает уступку старому содержанию, где, стремясь к «расширению» личного, лирического начала до пределов «эпоса», переводит свою тему в план космический и ослабляет ее социальное звучание.

Традиционная тема неиссякающего потока бытия, извечной борьбы двух начал — смерти и жизни, теснит в поэме ее историческую тему — единоборства социалистического человека и его победы над фашизмом. Это не может не сказаться и на форме произведения Кирсанова.

Стихийные силы природы приобретают самодовлеющее значение, они превращаются в героев, равных человеку, и начинают собственную жизнь в поэме. Заодно с людьми стихии восстают против фашизма, перерастающего в поэме в символ разрушения, смерти, которой не может не сопротивляться стихийная жизнь, вечно, все снова и снова себя возобновляющая. Облака, проплывая в вышине, видят истерзанную землю, слышат предсмертный «хрип народов», ужасаются чудовищным пейзажам фашистской империи:

Там небо низкое согрето ужасной сажей  
и золою.  
Там странного посева цвета. Там пахнет  
дым костями жженными.  
Там очертания скелетов под свежес-  
вспаханной землей.

Образ героя поэмы — летчика — также обретает второе «космическое» значение — носителя победного жизненного начала. Он ведет борьбу со смертью в образе фашистов — «черных и костистых, марки Круппа, с костью трупа». Деяние летчика — это неизбежная победа жизни над смертью. Поэтому-то и зовут его на подвиг и земля, и небо, и облака, и все стихии природы.

Облака:  
Он ждет ответа. Ждет совета. Спешите  
летчику помочь?  
Мы тоже любим небо это. Оно — сияющий  
наш дом.  
Но вот горячий луч рассвета и нам  
приказывает: «Прочь»,  
И на сухую почву лета мы крупным  
падаем дождем...

И герой, подобно облакам, идет на жертву, и подвиг его естественен, как все проявления могучего, вечного бытия. В предсмертном озарении герой видит сущность свершаемого: «За мной — победа! Я — Икар. Я вырвал право быть крылатым! В жизнь возвращаюсь, умирая».

С. Кирсанов пытается спастись из пленя темы о космическом единоборстве силы смерти, разрушения со стихийной силой воссоздания жизни. Но выход он ищет на путях формальных экспериментов, вывернув тему наизнанку, заставив героя-летчика служить «примером» для всей природы: именно через его подвиг осмыслиется непобедимая стихийная сила жизни, что и формулируется в монологе «Тучи»:

Я все запомнила, как было. И мне  
по силам жизнь живал  
Поэт мне дал понятный голос, — снабдил  
меня душою в небе.  
Я человека полюбила И я, как он,  
упасть желаю,  
Разбиться каплями об колос и возродиться  
в новом хлебе.

Герой поэмы отнюдь «не раздвигает толщи мироздания», как пишет об этом П. Антокольский, но начинает сливаться с нею.

Эпическая тенденция поэмы благодаря этому отнюдь не ведет к возвеличанию подвига героя, но стирает, затемняет его своеобразие, приравнивая судьбу летчика к судьбе простой дождевой капли, которой предначертано от века — погибнуть во имя жизни. И в силу этого в поэме на первый план неправоммерно выдвинулись совершенно иные, чуждые замыслу поэта свойства героя. Вместо нового человека — победителя появился герой-жертва, вместо хозя-

ина жизни, переустраивающего мир, — безликая капля в потоке бытия.

Отсюда и необходимость последней части поэмы, в которой капля — второй герой поэмы, двойник летчика — повторяет его подвиг, свергаясь вниз, чтобы дать жизнь хлебу:

Капля:  
Свет  
    призм.  
        вслед  
            брызнь,  
дождь.  
вниз.  
    в рожь,  
        в жизнь!

Формалистичность произведения С. Кирсанова, которой он не избежал, заключается в том, что поэт сделал уступку старой традиционной «космической» теме и попытался ее подновить игрой элементов формы. Подчеркнутость внешних приемов, звуковые излишества, остранение композиции — все это порождено старым содер-

жанием, которое, молодясь, рядится в пышные и пестрые одежды.

Критика обязана была показать поэту, где он ошибся, где отступил от самого себя и попал в западню формалистских ухищрений. Долг критики — вдохновлять художников на подлинное, смелое новаторство и поддерживать их в безоговорочной борьбе с эстетскими теориями. На путях формализма нет и не может быть движения вперед. Формализм — это мертвый, хватающий живого, грозящий задушить все своеобразное и новое.

Задача нашей конкретной критики заключается в том, чтобы перейти в развернутое наступление на формализм, проникший из области теорий в литературную практику, в которой он кое-где окопался. Формализм — враг искусства, и его надо беспощадно выбивать со всех занятых им позиций.

#### ОБ УСТУПКАХ ФОРМАЛИЗМУ, ОБ УМОЛЧАНИЯХ И ПОЛУМЕРАХ

Способна ли дать бой формализму так называемая «тематическая»<sup>1</sup> критика, рассматривающая идейное содержание художественных произведений, но уклоняющаяся от анализа эстетического? Нам думается, что не способна, ибо, хочет она того или не хочет, критика эта идет на уступки формализму, заключая с ним некий молчаливый союз, деля сферы влияния: нам — тема, содержание, вам — форма.

Но уступки противнику, как известно, до добра не доводят. Они неизбежно влекут отступление от собственных принципиальных позиций. Изучая идейную сторону произведения вне рассмотрения вопроса об эстетическом воплощении, представители «тематической критики» невольно выступают, как формалисты «нанзанку», ибо, в свою очередь, разрывают единое художественное целое на две самодовлеющих, замкнутых в себе части. В отличие от формалистов — содержание для этого типа критиков не подчинено форме, но существует как бы рядом с формой, независимо от нее. Это и позволяет с легкой душой амнистировать слабость художественного выполнения во имя одного лишь

благого замысла автора. Отсюда и возникновение неопределенных и зачастую противоречивых рецензий, статей, в которых дается бесстрастное перечисление достоинств и недостатков произведений, без попытки объяснить, чем те и другие вызваны к жизни.

Перед нами рецензии трех авторов о трех различных произведениях: Виктора Гольцева о книге Б. Полевого «Повесть о настоящем человеке» («Знамя» № 3, 1947), П. Березова о «Кавалере Золотой Звезды» Семена Бабаевского («Знамя» № 9, 1947) и Г. Скульского о «Морских рассказах» Г. Соловьева («Октябрь» № 6, 1947).

Все три рецензии неудачны, и совсем не случайно: они основаны на порочном механическом методе анализа. Их ошибки схожи, как близнецы. Рецензии построены как бы по единой схеме, которую с полным правом можно назвать «схемой выеденного яйца», ибо она приводит к полной бессмыслице и ровно ничего не означает.

В начале рецензии каждый из авторов добросовестно излагает сущность замысла писателя и превозносит исследуемое произведение за одну лишь значительность его темы.

Затем критик переходит к конкретному анализу произведения и по существу начи-

<sup>1</sup> Условно принимаем термин, употребленный Б. Соловьевым в его статье «Заметки о критике», «Новый мир» № 3, 1948.

«нает опровергать самого себя, ибо анализ этот представляет собой пестрое соединенные противоречивых оценок, снимающих основное утверждение о ценности и значительности изучаемого литературного явления».

Все это завершается концовкой, возвращающей читателя к похвалам, выданным на-гора в начале рецензии.

Так, П. Березов, правильно отметив, что «исключительно важное явление в общественной жизни нашей страны последних двух лет — это переход многомиллионной массы людей к мирному труду, к борьбе за восстановление и развитие народного хозяйства», и указав, что в силу этого «исключительно важна в нашей литературе тема возвращения фронтовиков в родные края и их участия в успешном выполнении новой, послевоенной Сталинской пятилетки», — считает эти два правильных тезиса достаточным основанием для того, чтобы объявить повесть «Кавалер Золотой Звезды» «несомненно ценным и нужным произведением», ибо оно «посвящено этой важной теме».

Мы согласны с автором рецензии в общей оценке книги С. Бабаевского. Тем удивительнее для нас ее конкретная часть — разбор повести, который эту оценку полностью снимает. Рассматривая тему в отрыве от «художественных средств», критик запутывается в противоречиях.

Что хвалит П. Березов? «Повесть привлекательна, — говорит он. — во-первых, живыми человеческими характеристиками, во-вторых, «пейзажными зарисовками, проникнутыми глубоким чувством природы», и, в-третьих, «композиционной слаженностью».

Что он осуждает? Да то самое, что хвалил. «Композиционная слаженность», по сути дела, снимается утверждением критика, что основной конфликт произведения не разрешен, так как победа Тутариноза «выглядит в повести не вполне мотивированной и убедительной», а «любовная история Кавалера Золотой Звезды» основана на «дешевых эффектах», «полна странных похаждений и случайностей», а его отношения с таинственной смуглянкой «психологически слабо мотивированы». Критик, опровергая самого себя, доказывает дальше, что и с «живыми человеческими харак-

теристиками» дело обстоит плохо. С. Бабаевский, оказывается, «не всем своим героям дал достаточно четкую и выразительную характеристику», «характеристики не совсем продуманы, иногда явно противоречивы». К кому же это относится? Может быть к второстепенным действующим лицам? Нет, к основным героям, к положительным персонажам, которые, по мнению П. Березова, «очерчены слишком эскизно, порой они проходят перед читателем бледной тенью». Но как же тогда могла быть воплощена тема вещи о переходе «многомиллионной массы людей к мирному труду, к борьбе за восстановление и развитие народного хозяйства»? В ком эта тема реально воплотилась? В «бледных тенях» положительных героев или быть может в «группе отрицательных персонажей», которые, по утверждению критика, «изображены более полнокровно» и потому «положительные герои как бы отступают перед ними, ступеваются».

Не оставив, по сути дела, камня на камне от произведения талантливого писателя, не поняв неоспоримых достоинств его произведения, не объяснив его реальных слабостей, П. Березов, однако, увенчивает свою рецензию неожиданной концовкой: «В основном же «Кавалер Золотой Звезды» — большая удача молодого писателя». Тут только руками разведешь! Воистину: храни нас бог от таких похвал.

Случайность оценок и произвольность выводов характеризует не только П. Березова, но и двух других авторов, нами упомянутых, ибо и они строят свои рассуждения на той же порочной основе, на отрыве темы от средств ее воплощения, на раздельном их изучении. Так, Г. Скульский сначала объявляет, что в лучших из морских рассказов рецензируемого им Г. Соловьева «образ советского человека, его особенности (?!) раскрываются психологически убедительно, последовательно, с известным художественным мастерством» и что «это радует прежде всего». Затем он довольно пространно умиляется «простыми чудесными парнями» — героями рассказов. А в конце сообщает, что «рассказы книги не равноценны по мастерству», что удачен по-настоящему лишь один рассказ во всем сборнике, а другие представляют или «незавершенные наброски какой-то еще не написанной вещи», или соединение «инте-

ресных, хорошо подмеченных деталей» в «скучные и бесформенные» произведения.

Критик не видит и не показывает связи содержания исследуемых рассказов с их формой. Содержание этих рассказов, в представлении Г. Скульского существует как бы вне формы, само по себе, отгороженное от нее невидимой стеной. Ничто происходящее в пределах формы повлиять на достоинства содержания, умалить их не может, ибо форма и содержание — это для критика две замкнутых области, соседствующих, но не взаимодействующих. Они не влияют друг на друга, но заменяют одна другую. Отсутствие цельного художественного произведения, еще не возникшего из «хорошо подмеченных деталей» и «набросков... не написанной вещи», по мнению Г. Скульского, «искупается большой теплотой и свежестью темы». Эта позиция критика не может не повести к произвольности оценок, к путанице и противоречиям в его высказываниях.

Произвольны суждения и В. Гольцева в рецензии, где он ставит себе задачей дать оценку одного из лучших произведений послевоенной литературы — книги Б. Полевого, будучи, однако, не в силах что-либо в ней разглядеть и объяснить.

В зачине рецензии он сообщает: «Повесть о настоящем человеке» привлекла к себе внимание. Написанная в очень хорошем тоне, искренне и правдиво, она говорит об одной из основных и значительных тем нашего искусства—о чертах характера советского человека... Уже сама находка этой темы, этого материала,—верность творческого замысла заслуживает уважения к труду автора, внимания к нему». Одобрив тему, В. Гольцев переходит к конкретному анализу произведения, основывая его, подобно П. Березову и Г. Скульскому, на произвольных вкусовых оценках, как и они, то и дело вступая в противоречие с самим собой.

В. Гольцев правильно утверждает, что подвиг героя повести «характерен, типичен для нашего времени и нашего народа». Мересьев отнюдь не исключительная личность. «Внутренняя убедительность литературного образа» Мересьева заключается в том, что писателю «удалось раскрыть» в нем «духовное величие и непобедимую моральную силу нашего советского человека».

Но автор рецензии не удовлетворяется этим. Он переходит к недостаткам, и тогда выясняется, что Мересьеву не хватает «духовного роста». Внутренний мир его «раскрыт несколько односторонне» и вообще «образ Мересьева психологически статичен, лишен того богатства развития, которое сделало бы его еще значительнее и интересней». Таковы слабые стороны образа Мересьева с точки зрения нашего критика. Но в чем же сила образа комиссара Воробьева, который критиком противопоставляется Мересьеву. Ведь и в Воробьеве автор повести не раскрывает никаких «психологических бездн» и «богатства развития» не показывает. А положительные черты в нем те же, что и в Мересьеве: комиссар не исключительная личность, но «типичен в качестве подлинного большевика» и «в этом заключается его основное значение, его сила». В чем же все-таки преимущества Воробьева, как литературного образа, перед Мересьевым? На этот вопрос В. Гольцев ответа не дает, да и не стремится дать. Уклончивый стиль вообще присущ статье. Она основана на обтекаемых формулировках: «образ Алексея Мересьева удался автору не целиком. В главном, но не во всем». «Среди второстепенных персонажей есть люди, с их достоинствами и недостатками. Некоторые удались автору больше, другие меньше». И далее по всей рецензии: «автор поступил не совсем верно», «в повести заметна известная недоработанность», «это несколько снижает художественную ценность произведения», «заметны некоторые промахи» и т. д. и т. д.

Рекорд неопределенности побивает Александр Коваленков в маленькой рецензии-новелле («Новый мир», № 1, 1948), задуманной, как некое лирическое эссе по поводу стихов Павла Шубина. В этой «новелле» уловить мысль критика, понять, за что он ратует, почти невысказанно, настолько здесь все утверждения произвольны и бездоказательны. Критик декларирует свою позицию, как протест против вкусовых оценок: «Иногда читатель определяет свое отношение к книге расхожей и, по сути дела, равнодушной формулировкой «нравится», или «не нравится». Эта бездоказательность суждений отходит в сторону, уступая место пристрастию, когда речь идет о книге любимого или нелюбимого нами

автора, о стихах поэта, имеющего определенный творческий облик».

Но дальше никакого критического «пристрастия» обнаружить не удастся. В рецензии идет равнодушная регистрация различных, обособленных друг от друга свойств стихов П. Шубина. Выясняется, что, «различные по темам и формальным приемам», стихи эти все же одинаково «привлекают внимание читателя своей жизнеутверждающей устремленностью, большой любовью к родной земле, четкостью и внутренней дисциплинированностью». Но в чем причина одинакового эффекта разных по своим качествам стихов? И, в таком случае, имеют ли какое-либо значение различные темы и формы? Ответа на это нет. Критик продолжает бесстрастно и загадочно вещать: «При всей своей лирической традиционности, стихи Шубина не утрачивают свежести и, в лучшей своей части, как бы полемизируют с отвлеченной, скользящей по поверхности событий поэзией».

Или еще: «Сдержанность и сжатость стиха заставляет верить чувствам и наблюдательности автора, а не проверять их сомнением «а так ли это?»

Итак, «традиционность» стиха не мешает его «свежести» и даже в какой-то мере, хотя и непостижимым путем, но возвышает оный стих над «скользящей по поверхности событий поэзией». С другой стороны, «сдержанный стих» заставляет верить «чувствам и наблюдательности» поэта, а «несдержанный», эмоциональный, пламенный, очевид-

но, сейчас же заставит проверять автора сомнением «а так ли это?»

Созерцая эту схоластическую чехарду оценок, эту беззаботность по части здравого смысла, невольно спрашиваешь себя: а чем же все-таки руководствовался критик при анализе стихов П. Шубина? Явно той же самой «расхожей» формулировкой «нравится» или «не нравится», против которой он сам восставал в начале рецензии.

Эта случайность и произвольность анализа, введение критиками многочисленных оговорок—не случайны. Таков закономерный результат механистического подхода к явлениям литературы. Критик изучает составные части художественного произведения, обособив их, оторвав друг от друга тему от характеров, в которых она проявляется, стиль от идейного содержания. Он не видит целого, а потому и не находит внутренних закономерностей, определяющих соотношение частей. Вкусовые оценки неизбежно ведут к противоречиям, которые критики и пытаются смягчить эластичной системой отмежеваний.

Недостатки рецензий А. Коваленкова, П. Березова и иже с ними — это не их частные неудачи, но неудачи всех тех критиков, которые пытаются механически отделить в художественной литературе тему от ее выполнения, пренебречь критериями эстетики социалистического реализма.

## О ЗАПАДНЯХ ФОРМАЛИЗМА И БОЯЗЛИВОЙ КРИТИКЕ

Теоретики формализма посвятили очень много сил изучению законов формы и, в частности, законов сюжета, но ничего не поняли, не объяснили и все запутали. В силу этого художественная форма стала для «боязливых» критиков чем-то вроде запретной зоны, куда вступают с опаской, боясь ловушек формализма, и почву которой покидают с поспешностью, стараясь не видеть, не слышать, не вникать в то, что здесь происходит. Поэтому у «боязливых» критиков создаются фантастические представления о законах, управляющих живым организмом художественного произведения.

Г. Скульский в своей рецензии на книгу Г. Соловьева пишет: «В большинстве рас-

сказов книги нет занимательной острой фабулы. Они напоминают очерки». В чем же причина этого? Да в том, оказывается, что «все внимание автора сосредоточено на образах людей. Мастерство писателя проявляется в интересной обрисовке характеров». Критик противопоставляет друг другу фабулу и характеры, словно последние могут быть полноценно раскрыты вне событий, вне действия. Впрочем, до здравого ли смысла критику? Он озабочен тем, чтобы не попасть в формалистскую западню. Формалисты превозносят сюжет, всё ему подчиняют. Механисты просто-напросто отбрасывают сюжет, как некий соблазн, которого надлежит чураться.

Этот нелепый взгляд на сюжет настолько распространен, что пронизывает множество критических работ. Разверните наугад комплект газет или журналов—и вы неизбежно наткнетесь на поношение сюжета, на противопоставление его характерам, образам героев, увидите стремление критиков растворить сюжет в материале повествования. Один крикич пишет: «В «Радуге», как во всяком большом художественном произведении, трудно последовательно отыскать сюжет. Он в каждой черточке, каждой мелочи. Он в едином дыхании этой вещи, где образы прежде всего действуют на душу, как мелодия, как музыка». (Н. Никитин, «Литература и искусство», январь 1944). Примеры можно было бы умножить. Мы остановимся лишь на одном, на статье А. Мацкина «Человек для людей» («Знамя» № 2, 1948), посвященной анализу романа Павленко «Счастье». Критик уделяет внимание форме этого произведения, но порочная тенденция отрицания очевидного и пренебрежения законами логики действует и здесь. А. Мацкин пишет: «Счастье» принадлежит к тому жанру литературы, который принято называть проблемным: грубо говоря, это значит, что, прочитав книгу, мы продолжаем жить ее интересами, и при этом интересами, не замыкающимися в формуле «что будет дальше». Как раз сюжетного любопытства «Счастье» не вызывает». Можно только удивляться, что такой острый и самостоятельный в своих суждениях критик, как А. Мацкин, проявляет боязливость в вопросах формы и противопоставляет сюжет проблемности, то есть идейному содержанию произведения. Критик не решается признать очевидного: хороший оригинальный сюжет совсем не помещал бы роману Павленко. Сюжет там имеется (роман с Горевой), но внешний всему содержанию произведения и лишь формально его обрамляющий. А живая ткань романа не укладывается в него, ибо организуется уже другими внутренними закономерностями, дает новые, ей органичные побег сюжетных линий—Воропаев и его питомцы, Воропаев и любовь Лены, духовный рост Лены, судьба самого Воропаева, и т. д., — но линии эти не были полностью, гармонично организованы в новый, им присущий сюжет, ибо их оборвал, сжал сюжет старый, привычный, традицион-

ный. Потому-то роман и закончен, как говорит А. Мацкин, «на паузе, на полуслове».

В романе наличествует борьба нового сюжета со старым, новых жизненных закономерностей, определяющих развитие событий, со старой литературной традиционностью. И новое побеждает. Поэтому-то линия Горевой воспринимается как лишней довесок к сюжету и существенным выступает все, что связано с Воропаевым и его «питомником талантов». Критик-марксист был обязан отделить старое от нового и показать художественное своеобразие романа П. Павленко. Но А. Мацкин избрал путь пустого отвлеченного теоретизирования. Он изобретает некий «проблемный жанр», который противопоставляется им «сюжетному любопытству».

Что же это за особый жанр? Полно, да существует ли он? Ведь все настоящие произведения искусства, вне зависимости от принадлежности их к тому или иному жанру,—проблемны. Воистину здесь критик занимается «утверждением утвержденного».

Отвлеченное теоретизирование уводит критика в сторону от существа дела. Оно подменяет собой марксистское конкретное изучение эстетической стороны художественных произведений. Вместо решительного вторжения в «запретную зону» для борьбы с формалистскими противниками «боязливый» критик вступает туда с опаской, с завязанными глазами, бормоча заклинания. Естественно, что при этих условиях он не способен ни увидеть, ни осмыслить всего богатства новых оригинальных форм, какими изобилует советская литература, всего своеобразия происходящих в ней процессов. А. Мацкин утверждает, что «в послевоенном искусстве произошли серьезные изменения: одно из них, и при том наиболее заметное, выразилось в активном вторжении публицистики в художественную прозу. Старые границы, разделяющие эти жанры, оказались теперь искусственными и не соответствующими живому процессу развития. Публицистика вошла в новую прозу не на правах автономности, она как бы в ней растворилась и стала составной ее частью». Но тут мы, не колеблясь, возразим: самое «слияние» прозы и публицистики произошло лет сто тому назад, хотя бы в творчестве А. И. Герцена. Новизна этого торжественно

декларируемого явления — весьма относительна. Совершенно очевидно другое, что сплав означенных жанров в наше время имеет существенно новые качества, которых А. Мацкин, к сожалению, не раскрывает, и больше того — критик сглаживает всякое своеобразие отмеченного им явления, оговорившись, что, указывая на «слияние этих двух жанров», он имеет в виду «самый дух книг, их направленность». Таким образом, положение А. Мацкина придется распространить на всю литературу вообще.

Чувство нового — одно из необходимейших свойств, которыми должен обладать критик. А. Мацкин и в конкретном произведении послевоенной литературы, которое он анализирует, не видит нового, своеобразного, что здесь раскрывается. Герои романа «Счастье» — Корытов и Воропаев предстают перед критиком не столько в противопоставлении, сколько как две равноценных индивидуальности. Каждый из них обладает достоинствами, но и не лишен недостатков. Воропаев — «работник чистого вдохновения». Корытов — «практик», «хозяйственник средней руки, озабоченный своим прямым делом».

Воропаеву, считает критик, свойственно «чувство лидерства», полет мысли, вдохновения. «чувство перспективы, которое позволяет ему подняться над будничной обстановкой и видеть реальные пути к будущему». Но зато Корытов, восклицает А. Мацкин, «рассудителен, справедлив, настойчив в устремлении к намеченной цели, и если иметь в виду «исполнительность, деловитость, дисциплину, то еще не известно, за кем останется первенство: за «работником чистого вдохновения» Воропаевым или за уравновешенным и знающим толк в технике управления Корытовым».

В этом «объективном» анализе стираются грани между двумя образами, противопоставленными художником друг другу: и Корытов «не так плох», как кажется, и Воропаев «не так хорош», как хотелось бы. Критик, скорей, ищет того, что их сближает, чем того, что разделяет. А разделяет их многое. Речь идет о двух принципиально различных взглядах на жизнь, на служение народу.

П. Павленко решает вопрос о различных типах большевиков. Двое коммунистов —

Воропаев и секретарь райкома Корытов — резко противопоставлены друг другу. В чем же их сходство и в чем различие? Сходство в том, что оба честно трудятся для своего народа. Но несмотря на это имеются и существенные различия.

Корытов действительно субъективно честен, любит свой район, но он не знает окружающих его людей, ибо не интересуется ими. Не видя, какими свойствами эти люди обладают, что в них хорошее, что плохое, он не видит и того, какие стороны их характеров могут быть полезны и нужны для общего дела. Оторвавшись от народных масс, Корытов «не успевал расти вместе с жизнью и сам не понимал этого». Он не прислушивается к людям, не использует их опыта, а поэтому и не может ими полноценно руководить. Корытов индивидуалист, его деятельность — это своеобразное проявление индивидуализма в новых формах.

«Изучив его, Воропаев пришел к мысли, что Корытов — это работник-единоличник... Если бы он был дирижером оркестра, то, вместо того, чтобы управлять музыкантами, он, наверное, стал бы бросаться от одного инструмента к другому, поочередно играя на них».

П. Павленко в противовес Корытову «руководителю-единоличнику» выдвигает другой тип организатора-большевика, того, кто живет с народом единой жизнью. Воропаев изучает людей и опирается на них в своей повседневной работе. Это тип большевика «садовника», заботливо выращивающего каждого человека, с которым он работает.

Этот образ большевика является центральным для всей советской литературы. Еще в «Разгроме» Фадеев на первых же страницах повести таким рисовал своего Левинсона, чьи «нездешние глаза, глубокие и большие, как озера», «вбирали» каждого из окружающих его людей, «какого-нибудь Морозку, «и видели в нем многое — такое, что, может быть, и самому Морозке неизвестно». Левинсон знает о своих людях больше, чем они сами, он терпеливо их воспитывает, подымая их к пониманию великих задач, поставленных перед ними историей. Комиссар Федор Клычков в романе Фурманова «Чапаев» показан рядом с народным героем. Клычков влюблен в Чапая, но не подчиняется ему, не подпадает под

его влияние, он остается ведущей политической силой в их содружестве. Восхищение Клычкова не слепо, как у других, он видит всё—и хорошее и плохое, и чувствует на себе ответственность за этого чудесного, яркого человека: «Чапаев теперь—как орел с завязанными глазами, сердце трепетное, кровь горяча, порывы чудесны и страстные, неукротимая воля, но... нет пути, он его ясно не знает, не представляет, не видит... И Федор взялся хоть немножко осветить, помочь ему и вывести на дорогу... Если же удастся—ого! Революции таких людей во как надо!» Таково подлинно большевистское отношение к людям.

В галлерее этих образов коммунистов—«садовников» — по праву займет место и партийный пропагандист Воропаев, который создал своеобразный «питомник талантов», ибо сумел «пробудить» людей, показать им, какие огромные силы в них таятся. Он обновил свой воропаевский стиль работы с людьми. Существо этого стиля—страстный интерес к живым людям, раскрытие их внутренних «резервов», умение всегда идти навстречу событиям, а не поджидать их у «своего стола». Это творческий стиль сталинской эпохи.

В романе встает образ Великого Садовника—Иосифа Виссароновича Сталина. Тема выращивания людей тесно связана с эпизодом встречи Воропаева с вождем советского народа. Сталин расспрашивает его о людях и, одобряя Воропаева, говорит о его питомцах: «Если таким, как эти Поднебеско, — гихо, точно самому себе, сказал он, — дать силу — хорошо шагнем...» И добавляет: «Конечно, если эту силу верно направить». В словах вождя формулируется основной тезис романа: страна богата талантами, дарованиями, духовными «резервами». И коммунисты — ведущее творческое начало в народе, их задача — открыть простор галантам, «выращивать людей». Надо верно направить эту могучую силу, так, чтобы она способствовала новому мощному подъему и расцвету советской страны.

Своеобразие Воропаева заключается в том, что он принадлежит к новому поколению большевиков, к нашим современникам, партийцам сороковых годов, перед которыми уже не вдалеке, как перед Левинсоном и Клычковым, но вблизи,

реально, а не в мечте, вырисовывается величественное здание коммунизма.

И люди, окружающие Воропаева, уже не те, что окружали героев двадцатых годов. Это новые люди, выращенные советской властью, люди социалистического общества, сформировавшиеся под влиянием идей Ленина и Сталина, идей, которые в нашей стране проникли в толщу народную и утвердились в ней.

Судьба героев романа П. Павленко неразрывно связана с неизбежной победой коммунизма. Осуществлению этой великой и жизненно необходимой им цели отдают они все силы, все помыслы. Задача большевика Воропаева — в том, чтобы «правильно направить» могучую силу, окружающих его простых советских людей, то есть показать им, как они много могут осуществить, какие неисчерпаемые и многообразные жизненные возможности раскрывает пред ними уже завоеванный и прочно закрепленный социалистический общественный строй. Вот этим-то новым содержанием романа и определяется новизна взаимоотношений его героев, своеобразие судьбы Воропаева, который из побежденного, казалось бы, жизнью человека вырос в победителя — в творца новой жизни.

Новизну идей, типов и характеров, богатство и новаторство формы в советской литературе критика обязана раскрыть со всей полнотой. Осуществление этой задачи под силу лишь последовательно марксистской критике. Здесь бессильны как формалисты с их реакционным фокусничанием, так и половинчатая, колеблющаяся критика, то чужающаяся эстетики вообще, то падающая в плен эстетских теоретиков, принявших в целях маскировки защитную окраску.

Эстетствующая критика, скрытые и явные формалисты ограничивают творческие возможности художника. Порочность их теоретических принципов заключается в том, что формалисты замыкают писателей, творцов в заколдованный круг бесплодных комбинаций и перетасовок всевозможных литературных приемов. Формализм ведет к застою, заставляя писателей заниматься бесплодными выдумками всевозможных словесных трюков, возвращая их вспять на старые дороги, к давно прой-



денным этапам литературного развития. Все это разрушительно действует на искусство.

Марксистская критика зовет к подлинному новаторству. Что такое новаторство—определил тов. Жданов в своем выступлении на совещании деятелей советской музыки в связи с обсуждением вопросов ее состояния и развития, а также итогов общественного просмотра оперы «Великая дружба» Вано Мурадели.

«Здесь говорили о новаторстве,—сказал тов. Жданов. — Указывалось, что новаторство является чуть ли не главной отличительной чертой формалистического направления. Но новаторство не является самоцелью; новое должно быть лучше старого, иначе оно не имеет смысла. Мне кажется, что последователи формалистического направления употребляют это словечко главным образом в целях пропаганды плохой музыки. Ведь нельзя же назвать новаторством всякое оригинальничанье, всякое кривляние и вихляние в музыке. Если не хотят лишь бросаться громкими словечками, то нужно отчетливо представить себе, от чего старого необходимо стараться отойти и к чему именно новому надо придти». («Совещание деятелей советской музыки в ЦК ВКП(б)». Издательство «Правда». Москва, 1948, стр. 140).

Истинная новизна искусства, талантли-

вость тех или иных произведений обуславливается тем, как глубоко и полно воплощают они «дух нашей эпохи, дух нашего народа» (Жданов). Марксистская эстетика требует от художников совершенной формы, то есть совершенного воплощения вечно развивающейся и изменяющейся жизни, требует использования всего многообразия художественных форм и поэтических средств, вызываемых к жизни потребностями самого содержания.

Помочь писателям в их борьбе за подлинное новаторство, за создание эстетически полноценных произведений должна наша критика. Это одна из первоочередных ее задач. Но для этого необходимо смело проникнуть в «запретную зону», где засели алхимики от формализма, и внести в разработку эстетических проблем ясный и могучий свет марксистской науки.

Советская литература обладает большим отрядом талантливых, творчески одаренных критиков. Они обязаны развернуть идеологическое наступление на остатки формалистских теорий, проникших в литературную практику и все еще тормозящих движение нашей литературы вперед.

Борьба с этими теориями требует идейной определенности и принципиальности, и в первую очередь решительного отказа от малейших уступок формализму в конкретной критике.



## ПОИСКИ ГЛАВНОГО

(Рассказ о потерянном литературном процессе)

ЗОЯ КЕДРИНА

★

**П**редставьте себе, что вы читатель 2001 года. Вы родились при коммунизме. Вы студент литературного факультета. Вам нужно сделать доклад о становлении коммунистической поэзии, и вы хотите узнать, какой процесс происходил в литературе в те годы, когда складывался фундамент этой поэзии. Особенно интересует вас поэзия первых послевоенных лет (1946—1948 годы).

И вот вы на своей индивидуальной авиэтке или воздушном велосипеде, или, бог весть, каким ещё сверхудобным и сверхбыстрым транспортом прибываете в Ленинскую публичную библиотеку, где вам предстоит рыться в пожелтевших фолиантах толстых журналов и ломких от времени газетных листах. Вы читаете и перечитываете десятки статей об отдельных поэтах, о поэтических группах («Молодые поэты», например), национальных отрядах поэзии («Поэты Белоруссии», скажем) и даже целых поэтических направлениях. Перед вами мелькают рецензии, обзоры, дифирамбы, разносы. Вы узнаете, что многие критики, прозаики и поэты имели много различных (а нередко и прямо противоположных) мнений о поэтах, поэмах и даже отдельных стихотворениях, но вы почти нигде не находите ни малейшего намека на анализ литературного процесса, происходившего в интересующую вас эпоху. Никто из критиков не сообщает вам, что и как складывалось в поэзии этих лет, что и почему возникало или уничтожалось в ней, к чему было устремлено ее развитие.

И подобно горьковским персонажам, усомнившимся в самом существовании утопического в проруби мальчишка, вы восклицаете: «А был ли процесс? Может, процесса-то и не было?»

И чем больше вы погружаетесь в бездну статей и рецензий—тем больше утверждаетесь в своем роковом выводе. В самом деле, авторы прочитанного вами обширного критического материала проявляют солидную эрудицию и завидное понимание главных задач советской поэзии своего времени.

«Поэт достигает удачи, когда в рассказе об одной человеческой судьбе передает движение эпохи, когда наглядность, пластичность поэтического рисунка приобретают и широту обобщения», — совершенно резонно заявлял пятьдесят три года тому назад И. Гринберг в статье «Поэт и его ровесники», посвященной Е. Долматовскому («Литературная газета» № 18 за 1948 год). «Строители и защитники социализма, решая новые задачи, вырастают в новых свершениях. Только чувствующий и воплощающий этот рост поэт—достойный ровесник своего времени, своей страны». Ну, что тут возразишь? Всё верно, всё так и есть. Но вот какое значение имело творчество Е. Долматовского в ряду дел его ровесников, критик вам не сообщил.

Может быть, вопрос прояснится, когда вы прочтете статью о творчестве более сложившегося поэта старшего поколения? И вы обращаетесь к статье Бор. Турганова «Певец золотой Украины» («Литературная газета» № 12 за 1948 год), из коей узнаете множество полезных и так же, по великой «общности» своей, бесспорных истин.

Вам открывается, что «Владимир Сосяра — один из старейших и наиболее популярных поэтов советской Украины», что он «мужал и рос... вместе со всей Украиной», что он умеет «в сжатой форме лирической миниатюры раскрыть большую тему», что «в годы Великой Отечественной

войны Владимир Сосюра проявил себя достойным сыном советского народа», что «в годы войны и последовавшие за нею годы мирного труда... Владимир Сосюра создал ряд взволнованных публицистических стихотворений... и что, наконец, «не все, созданное поэтом, равноценно». Однако в своих обобщениях по поводу творчества Сосюры и его места в литературном процессе Бор. Турганов также не пошел дальше ошеломляющего открытия, гласящего, что «если отбросить в творчестве Владимира Сосюры все поверхностное, случайное, написанное наспех, небрежно, не в полную силу, то, что останется, сохраняет подлинную непреходящую ценность». Но вот о том, как разместить эту ценность в историческом времени и литературном пространстве, Бор. Турганов также позабыл сообщить потомству.

Теряя терпение и надежду что-либо понять, вы перелистали сотни страниц и узнали, что поэт Твардовский упрекал молодых поэтов в отсутствии у них «объективной темы», а критик Семён Трегуб упрекал поэта Твардовского в присутствии у него народничества вместо народности. Одни критики ругали поэтов за то, что у них есть, другие хвалили за то, чего у них нет, и наоборот. Не легче становится вам и тогда, когда вы переходите к статьям, обозревающим целые отряды литературы. Из большого трехколонника («Литературная газета» № 21 за 1948 год), принадлежащего перу Аркадия Кулешова и посвященного нужной вам теме «неразрывной связи (белорусской поэзии — Э. К.) с коммунизмом», вы узнаете, что при всех достоинствах белорусская поэзия сороковых годов двадцатого века имела «три основных недостатка...» Это «остатки формализма, стилизаторство под народное творчество, лиризаторщина». Но что, тем не менее, «лучшие произведения белорусских поэтов проникнуты советским патриотизмом» и «преданностью коммунистическим идеям...»

Про себя вы отметили, что последнее должно сказать обо всех лучших произведениях всех вообще советских поэтов этого времени, ибо советский патриотизм и преданность коммунистическим идеям являются отличительными признаками всей советской литературы в целом. Иначе как и почему называлась бы она советской?

Вы заметили вскоре, что целые абзацы

из одной статьи можно переставлять в другую и что «от перемены места слагаемых сумма не меняется», вывод остается одинаково общим и неопределенным. Несколько оживились вы, прочитав в статье В. Друзина («Звезда» № 5 за 1947 год) сообщение о существовании одного «особого направления» в советской поэзии, возглавляемого якобы Александром Твардовским. Но прочтя ниже, что к этому «направлению» относятся люди, объединенные автором статьи по принципу лебедя, рака и щуки из бессмертной басни Крылова (Сурков, Исаковский, Лебедев-Кумач), вы остыли к труду т. Друзина совершенно и даже дочитывать его не стали.

Слегка взволновала вас публикация прений XI Пленума Правления ССП. В ней вы нашли столь же категоричную, сколь малоубедительную характеристику поэзии тридцатых годов, сделанную Александром Твардовским, и его утверждение о том, что «наша сегодняшняя поэзия отличается от поэзии 30-х годов глубиной содержания, повествовательностью, достоверностью, жизненностью деталей».

Поэзия пошла на смелое сближение с прозой. Она беллетристична, она содержательна, существенна, земна.

Особенно любопытным показалось вам то, что Вера Инбер, яростно полемизировавшая с Твардовским, в этом одном вопросе оказалась одного с ним мнения. «Я позволю себе повторить однажды высказанную мной формулировку: «грузоподъемность» поэзии увеличилась. С поэзией случилось то же, что с воздухом: считалось, что воздух может держать только птиц и бабочек, а выяснилось, что он держит громадные самолёты. В этом смысле, конечно, Твардовский прав, говоря о сближении поэзии с прозой.»

Некоторое время вы тешили себя мыслью о том, что литературный процесс 46—48 годов и заключался в сближении поэзии с прозой. Но, увы, успокоились вы не надолго. Вы были прилежным студентом и вы добросовестно изучили наконец выпущенную в 1999 году институтом Мирогой литературы имени Горького «Историю советской литературы».

Из этой полезной книги вы узнали, что еще конструктивисты в двадцатых годах двадцатого века говорили о необходимости сближения поэзии с прозой, а конструкти-

вистская критика конца двадцатых годов находила, что это сближение произошло у Сельвинского в поэме «Улялаевщина».

Таким образом, став жертвой собственной эрудиции, вы снова оказались не при чём. Мальчика, то бишь процесса, все еще не было видно. Окончательно доканали вас материалы дискуссии о поэзии 1947 года и первые номера толстых журналов за 1948 год. Из них вы узнали, что «поэзия, которая является неотъемлемой частью истории народа, за этот (1947—3. К.) год не обогатилась» (выступление А. Суркова), что для отдельных поэтов (например, Решетова) «трудными оказались... поиски послевоенных тем и образов», и за два последних года они редко публиковали новые стихи (Р. Мессер «Дорога к зрелости», «Звезда» № 1 за 1948 год) и что «сравнительно скромны, если сопоставить их с достижениями прозы, послевоенные достижения наших поэтов. Еще более скромны они по сравнению с теми делами, которые творит наш народ, поэзия наша сильно отстает от времени, от живой практики современности» (Ан. Тарасенков. «Заметки о поэзии», «Новый мир» № 4 за 1948 год).

Одним словом, дело клонилось к тому, что литературный процесс второй половины сороковых годов двадцатого века сводился к отставанию поэзии от прозы и живой практики современности, а попросту говоря, к тому, что по необъяснимой причине многие поэты тех лет стали писать плохо.

Однако явиться на студенческий семинар со столь неутешительными, а главное, мало научными тезисами, было бы неприятно. И вы пришли к необходимости исследовать вопрос самостоятельно.

Подбодрив себя мыслью о том, что, если мальчик и утонул в проруби, залпленной общими словами, еще не следует, что его не было в действительности, вы пустились на поиски процесса, исчезнувшего под толстым слоем статейно-рецензионного льда.

Прежде всего вы ознакомились с той самой прозой, которую написали поэты, утверждавшие, что поэзия второй половины сороковых годов характерна своим сближением с прозой. Вы убедились, что проза эта отнюдь не свидетельствует о движении ее авторов вперед. Заговорив прозой, они не сумели приобрести «сумму идей гораздо позначительней» той, что они имели в сти-

хах. «Почти три года» Веры Инбер оказались её дневниковыми записями периода блокады, записями правдивыми и человечными, как бы дополняющими «Пулковский меридиан», теми «драгоценными песчинками быта», которым поэтесса собиралась посвятить «Пулковский». Но там, в поэме, В. Инбер перевыполнила свое поэтическое задание, написав освещенное пламенем гневного разума страстное воззвание ко всему человечеству «избавить мир, планету от чумы» фашизма. И ее поэма зазвучала медным голосом набатного колокола, а песчинки быта героических ленинградцев остались для дневников, правдивых и интересных, но не возвышающихся, однако, до мыслей и обобщений «Пулковского меридиана».

Народный и глубокий в значительной части своего поэтического творчества, Твардовский проявил в ряде глав своей прозы элементы отсталости, объявив отделенный от всего мира крестьянский двор вместительным всей своей личности, ограничив понятие родины местом, где родился, отгороженным от всей страны, а цели войны — завоеванием тишины.

Ваш престарелый дедушка, которому вы сообщили об этом странном произведении классика советской поэзии, перелистал дневники Твардовского и сказал, что если бы у всей массы бойцов батальона, которым он командовал во время Великой Отечественной войны, были такие отсталые настроения, какие встречаются в этом дневнике, то он ни одного боя не выиграл бы и ни одного бы населенного пункта не взял, потому что бойцы его были в большинстве своем сибиряки, и их дворы находились далеко от фронта.

— Мои бойцы не за тишину и не за одну только Касплю жизни свои отдавали, а за советскую власть в самом широком смысле; туда, конечно, и Каспля входит и тишина, но это лишь частица того огромного мира, в котором и вся наша страна, и колхозный строй, и Днепрогэс, и «Гренадская волость» даже умещаются, — сказал дедушка. — Очевидно, Твардовский переоценил живучесть второй души крестьянина, он ведь еще застал в юности крестьянина-единоличника. Видимо поэт упустил из виду, что крестьянин сороковых годов, ставший колхозником, утвердился в колхозном своем бытии и освободился от

раздвоения; не две души у него стало, а одна, и собственный «двор» перестал быть средоточием всех его мыслей и забот.

Они, поэты, тогда, после войны, словно демобилизовались, как по домам разъехались,—добавил дедушка.—Во время войны, пока с нами на переднем крае держались, какие замечательные вещи создавали! «Василий Тёркин», например, или вот ещё «Сын» Антокольского. У нас над ним солдаты плакали, мы его перед боем читали, перед атакой. Так вот он, Антокольский, как началось мирное строительство, снова к своему космическому жанру обратился—не строительство у него в стихах получаться стало, а крушение вселенной. Читал «Храмгэс»? Пышно, роскошно, но словно со стороны писатель наблюдает. Ну, а другие, как вот Твардовский, пошли за вдохновением в прозу, там героя искали, а герой не в прозе и не в стихах, а в народе.

— Выходит, что после Отечественной войны поэзия деградировала? — заметили вы, — откуда же тогда взялся ее, вскоре последовавший, небывалый до тех пор расцвет?

— Да я ведь не специалист по стихам, я физик, — ответил дедушка, — это уж ваше дело разбираться. Выправилось как-то потом. Стали писать получше.

И вы увидели, что разговор с дедушкой помог вам немногим больше, чем исследование критики тех лет. Дедушка, как и критики сороковых годов, сумел сообщить только одно: сначала поэты стали писать похуже, потом получше. Правда, дедушка был не специалист, но разговор этот имел неоспоримое преимущество перед кропотливым исследованием древних памятников литературной критики — краткость. Может быть, в целях сохранения времени этой семейной беседой и следовало ограничиться?

Однако что-то из выступления Веры Инбер на XI пленуме ССП затронуло ваше сознание, и вы снова обратились к нему.

«Поэзия, разрабатывая присущими ей методами то, что считалось раньше представленным прозе, расширилась и обогатилась.

Поэзия может «вобрать» в себя многие поэтические жанры. «Вбирание» поэзией романа было известно еще во времена Пушкина. Но она может «вбирать» и публицистику, и памфлет, и даже очерк.

И хотя тут так же преобладала отвергнутая вами мысль о том, что поэзия второй половины сороковых годов характерна сближением с прозой, но вы с новой силой почувствовали, что В. Инбер ходила где-то вблизи от разгадки, где-то совсем около правды.

«И я должна сказать честно, что меня не очень огорчила неудача лирического цикла «Нового мира». Это и не могло быть удачей, потому что сейчас не лирика выходит на первое место. Я сама закоренелый лирик, — мне ли хотеть, чтобы она исчезла? Но я не могу не чувствовать, что сейчас, в дни великой послевоенной стройки, не лирика держит жезл управления».

Эти последние слова В. Инбер вызвали у вас чувство протеста. Ведь вы знали, что именно лирика приобрела особо широкое и полновесное звучание в поэзии коммунизма. И одновременно с этим ощущение того, что Инбер находится где-то совсем рядом с решением вопроса, не только не исчезло, но даже усилилось. Разумеется; вы прежде всего взяли выцветший от времени фолиант «Нового мира» за 1947 год, где был напечатан тот самый лирический цикл, о котором говорила Вера Инбер. Будучи читателем предубежденным, по-началу вы нашли большинство стихов этого цикла скучноватыми. В них было немало строф, посвященных «ей», пламенных и вялых, хорошо и слабо зарифмованных, была серия разнообразных сравнений любви и любимой то с рекой, то с горным обвалом, то с прохожей странницей, то с маяком; были статичные, хотя и мастерски сделанные описания; были ригорические строфы и клятвы. Иногда это звучало даже неплохо, но знакомо-знакомо и казалось, несмотря на совершенную интимность, лишенным индивидуальности человека и колорита времени. Но вот вас остановили строки «Лирики» Кирсанова. Описывая человека в толпе, чем-то удрученного, едва борющегося со слезами, поэт говорит, что такому человеку не помочь «неподвижными словами» расспросов и утешений.

Может,  
именно ему-то  
лирика нужна? —

Скорой  
помощью  
в минуту  
подоплечь  
должна!

Пусть она  
беду чужую,  
тяжесть  
всех забот —

муку  
самую большую  
на себя Возьмет  
И поправит  
и поставит  
ногу на порог,  
и поднаться  
в жизнь  
воставит  
лестничками строк.

Конечно, вам, человеку будущего, было ясно, что здесь роль лирики сужена частным примером «скорой помощи во скорбях», и на «лестничках строк» вы также не стали бы настаивать, но это стихотворение с неожиданной для такого шеголеватого стихотворца, как Кирсанов, теплотой убеждало вас, что лирика жива и необходима для душевного здоровья людей.

И вы стали перечитывать цикл снова, и все чаще начали останавливать вас строки, строфы и целые стихотворения. Причем вы заметили, что за редким исключением, самые пламенные излияния «вечных» чувств (а их было немало в цикле) оставляли вас равнодушным, но те стихи, которые несли на себе точные приметы своего времени, волновали.

Вас тронуло стихотворение Гудзенко «Год рождения». Молодой поэт, который «лишь по стихам да по плакатам» знал о том, как делал его народ «первые шаги в социализм», в сороковых годах солдатом пришел за границу и увидел, ощутил только что освобожденный от фашистского гнета, молодой, бродящий соками жизни «мир в его невиданной красе».

В Рахове  
играли кобзари.  
в Хусте  
пели песни до зари,  
в Мукачево  
заседала власть,  
в этот миг свобода родилась,  
как у нас в семнадцатом году.

Конечно, напрасно охваченный лирическим волнением поэт пожелал своему будущему сыну судьбу солдата, как бы устанавливая этим вечную повторяемость социальных судеб поколений, но свежесть чувства, выраженного в этом стихотворении, вас привлекла.

Привлекла вас и «Улица Иванова» Евгения Долматовского, названная так в честь погибшего за нее гвардейца, такая же скромная, живая и светлая, как и он сам. Это было стихотворение традиционное: здесь человек становился улицей, как «товарищ Нетте» — парходом, но живое конкретное содержание времени не давало традиции стать эпигонством.

Душа поэта, прильнувшая к своему неку так беззаветно, что от него «ни душу, ни глаза, как руку от железа в стужу, без крови оторвать нельзя» (Львов), смотрела из этих стихов. Она стала крылатой в героических испытаниях эпохи, а поэт Леонид Мартынов, известный вам, как поэт много раз ошибавшийся, призвал людей сохранить эти крылья для мирного подвига трудовой битвы за коммунизм.

Простой человек, окрыленный своей героической судьбой, становился большим и прекрасным. Мать, растившая сына для «легкой доли» и дочь для светлого «венчанья» с любимым, вырастила героев, павших во имя жизни родины. И в их подвиге поднялась и распрямилась скорбная душа матери:

Ах, не стонет мать и не рыдаст —  
Имена родные повторяет.  
Разве она думала-рядила,  
что героев времени растила,  
В тонкие пеленки пеленала,  
В теплые сапожки обувала...

(Я. Смеляков).

И гордясь бессмертным подвигом своих современников, «противник горя и разлуки, любящий товарищей своих» поэт Светлов протягивает им на помощь руки, создавая прекрасные образы простого земного счастья, именно в этой душевной помощи лирика человеку, идущему в коммунизм, видя свой долг и свое счастье.

Никакого нам не надо рая!  
Только надо, чтоб пришел тот век,  
Где бы жил и рос, не умирая,  
Благородных мыслей человек.  
Только надо, чтобы поколенью  
Мы сказали нужные слова  
Сказкою, строкой стихотворенья,  
Всем своим запасом волшебства!  
Чтобы самой трудною порою  
Клады казались легкой на плечах...

Здесь Михаил Светлов так же, как и Кирсанов, утверждал действительную роль лирики, расширяя границы ее задания — помощи человеку на его трудном боевом пути.

И вы поняли, что лирическая подборка «Нового мира» была не собранием строк, посвященных камерным переживаниям поэтов, — она обнаруживала некоторые сдвиги в поэзии. Она свидетельствовала прежде всего о том, что самое понимание лирики стало меняться. Цикл лирических стихов разных поэтов был посвящен более чем на половину гражданским мотивам. Поэзия, как и жизнь, была в

движении. Она переставала быть тем, чем была многие годы, и становилась чем-то новым, другим. В ней происходила ломка и становление — чего? Вот этого вам упорно не говорила критика тех лет, и это предстояло вам открыть.

И вы начали сравнивать стихи авторов подборки с их же собственными, другими стихами, со стихами собратьев по перу и по теме. Вы начали думать о том, почему «теплые» стихи А. Суркова «Из тегеранского дневника» оставили вас холодным и к Персии, о которой тут говорилось, и к чувствам автора, стремившегося (в который раз!) под сень «березки», в то время, как четкие строки «Пути воды» Инбер, посвященные тому же Ирану, зажгли вашу мысль множеством вопросов? И почему тот же Сурков заставил вас из прекрасного коммунистического далека почувствовать волнение своего времени, воскликнув: «Возвысьте свой голос, честные люди, сорвите маски с убийц!..», хотя это «газетное» стихотворение было проще по мысли и грубее отделкой?

Почему «День рождения» К. Симонова, словно нарочно засыпавший снегом все пути к отъединенному от земных тревог приюту любви, не вызвал у вас того яркого ощущения индивидуальности лирического героя, какое раскрыли шероховатые строфы испанского цикла, принадлежащие перу того же поэта?

Ведь это новое стихотворение было как будто бы и более откровенным и более «личным», изящным и законченным, тогда как там, в юношески размашистых строках об Испании, автор говорил не о самом себе, и в этих стихах попадались такие невероятные вещи, как «Я умираю, но ура!»

Но там перед вами являлся поэтический образ в развитии, в движении, а здесь царил несвойственная автору статика изъятая из времени покоя.

И почему проникновенные строки о камерной грозе, отшумевшей в жизни поэтессы Маргариты Алигер, золотой денек любви и все рассуждения, связанные с ним, показались вам необязательными даже для самого автора, а опубликованный через год цикл «На ближних подступах» заставил вас загореться радостным предчувствием грядущего, хотя вы сами уже жили в грядущем, о котором говорил поэт, сами

видели тот «дым над трубой», которым стало дерево, срубленное сверстниками поэта, и писали пером, для которого они восстанавливали «светлые цеха Запорожстали». И от сознания, что эту сталь, действительно, не затуманили года, стихи Алигер стали еще ближе вам и дороже. Мало того, вы почувствовали, что они живут и для вас, как самое близкое вам и дорогое. Ведь вы так же были в пути и труде во имя еще более прекрасного завтра, и это вас предостерегал поэт:

Не думай, что разбудят нас  
Однажды поздно или рано,  
Чтоб указать нам точный час  
И день осуществленья плана.  
Не пробуй из газет и книг  
Узнать точней об этом часе.  
А хочешь видеть первый миг,  
Чем он отличен, чем прекрасен,  
Его зарю, его восход,  
Будь пристальной — пора настала!  
Гляди вокруг, спеши вперед,  
Живи на свете, как живет  
Твоя держава, твой народ —  
Затем, что вот оно, начало!

И слова эти, точно отразившие движение своего времени, как бы вышли из времени и стали новой «вечной» темой всего живущего и живого в своем стремлении вперед человечества. И вы почувствовали себя стоящим при начале нарождающегося нового, и трепет волнения — не пропустить первый его миг — охватил вас и повел к труду. И вы поняли: да, правы Инбер и Твардовский, — поэзия их времени становилась более «содержательной», «грузоподъемной», «земной». Она «вобрала» в себя многие жанры, даже те, которые считались до тех пор чужеродными для нее, как, например, публицистика.

Но происходило это не от сближения с прозой, как думали поэты, а от сближения с жизнью народа, от проникновения поэзии идеей народности и государственности. Верно подметив частности эволюции жанров, Вера Инбер была неправа все-таки в основном: лирика не отступила в тень, ибо лучшие стихи ее времени были глубоко лиричны, но содержание лирики, именно лирики, становилось всеобъемлюще широким.

Читая стихи того времени, вы обнаружили, что, даже говоря о любви, авторы редко могли оставаться в кругу только интимных переживаний. Замкнутый приют любви становился тесным для выросшей личности нового человека.

Мы не можем с тобою  
Быть в дружбе и мире,  
Если хочешь, чтоб мир  
Уместился в квартире. —

так писала поэтесса Людмила Татьяничева, обращаясь к любимому Удаленная от великих дел века, квартира эта «тесна для полётов и песен», тесна для человека, изведавшего «радость крутого подъема» и ежечасно помнящего о том, что непримиримый враг трудящихся «кормит злобою атом», угрожая счастьем и миру всего человечества. Обращаясь к любимым, поэты говорили о родине и труде во имя коммунизма.

Маргарита Алигер завещала своим дочерям священное счастье труда и борьбы.

Лучшее, самое пламенное лирическое стихотворение Александра Межирова посвящалось партии, ведущей народ к коммунизму, и называлось «Коммунисты, вперед!»

Мальчик Шура Старшинов, в детских снах грезивший тем, что он едет сражаться за свободу Испании, юношей пролил кровь, защищая Москву. Став бойцом и поэтом, искренние сердечные строчки посвятил он старой гречанке.

И опять  
Гречия в огне!

с болью и тревогой восклицал поэт. Живое сочувствие к народу, борющемуся за свою свободу и независимость, наполняло строфы стихов Старшинова подлинным лирическим волнением.

И сыновней гордой нежностью звучали слова русского солдата, обращенные к женщине далекой страны:

Но гречанка знает — как не знать —  
Горные пути родного края...  
Вновь уходит в партизанский стан —  
Старая, красивая, седая —  
Мать пелопоннесских партизан!

И вы стали искать материалы сороковых годов, которые могли бы подтвердить вам, что именно те стихи, которые были наполнены большим общественным содержанием, воспринимались в те времена как лирика. В отделе рукописей литературного музея вы нашли стенограммы читательских конференций сороковых годов.

«Теперь стихов необъясненно много пишут и хорошо, вот в чем беда! — говорил инженер крупного московского завода на общезаводской читательской конференции. — То есть, как хорошо: я тема есть, и мысль какая-то, и как будто бы современное все: и солдаты, и пушки, и победа; или пейзаж здорово написан и чувства добавляющие изображены. И никак не ска-

жешь, что тут не так—все так, а вот иной раз увидишь стихотворную строку—и скучно. (Говорит примерно то же, что бабушка и литературные критики, — подумали вы). Однако иной раз попадетс я настоящее и заберет тебя, сам не заметишь как. Вот, например, стихотворение Инбер «Путь воды». О чем оно? Как будто бы просто по отдельному частному вопросу: ирригационная система в Персии. И написано с виду спокойно, последовательно, без охов, ахов и восклицательных знаков. Вот горный поток в Персии, при самом его рождении в горах, берут в плен

Колодцы шаха. Вот он на портрете,  
Сидит, облокотясь, в глубокой думе  
О важных государственных делах.  
Красавец (да хранит его Аллах  
В его английском клетчатом костюме!)

От шаха воду насильно ведут «в мраморный бассейн министра», потом к помещику, у которого «она на пашне трудится, как вол», потом к купцу. И уже затем, истощенную и загрязненную, отпускают к народу, к «Персии самой». А она в «черном коконе чадры», под «пыльной пальмой» с ребенком на руках — пески подступают к ее порогу — ждет капли воды, как счастья. Дети ее, малолетние рабы ковровых мастерских, умирают от изнурения, «и огненная жажда красной нитью вплетается в орнаменты ковра».

Бывает, что узорный завиток  
Посмертно как бы молит о зашите.  
Ведь это чья-то жизнь у ваших ног,  
Так вы ее теперь уж не топчите.

А над всей этой тяжелой жизнью забитого нищего народа:

Диктуют убыстренья и длинноты,  
То громогласно, то исподтишка,  
Звучат американские банкноты  
И песенка английского рожка.

Меня в этом стихотворении поразила умная экономная нагрузка слова. В немногих строфах, посвященных «специальному» вопросу об оросительной системе, выражена и политика международная, и экономика, и еще что-то человеческое, большое. Я за этим стихотворением большую перспективу вижу, простор действию, мысли и чувству. Оно заставляет думать о самом главном для нас, о том, за что мы воевали. Оно волнуется, не дает успокоиться на завоеванном. Это для меня, может быть, самое главное».

А фрезеровщица этого же завода, девушка, прошедшая войну зенитчицей в Ленинграде, сказала так:



«Нас всех Твардовский своим дневником обидел. Такой он хороший поэт, мы его любим, вместе с Тёркиным его воевали, а он вдруг от всего нашего общего точно хочет отказаться и заняться своим крестьянским двором. Но мы верим, что он тут просто ошибся: по-старинке личное отделил от общего нашего дела.

Вот мы люди самые простые, а сказали бы нам тогда, в Ленинграде: чего хотите, чтобы ваш дом был цел или Ленинград?— и любая из наших девчат,—хотите верить, хотите нет,—сказала бы: пусть я погибну и мой дом, а Ленинград пусть будет советский.

У меня, знаете, как получается со стихами? Я то, что мне важно, что нравится, сразу запоминаю. Вот читаю-читаю какие-то строки, понимаю: хорошие стихи, красивые, а все-таки не мои. Понимаю, что написано хорошо, но словно не для меня, а для какого-то ценителя-специалиста, и вдруг — точно все осветилось изнутри, и строки сами в память ложатся — это моё! Будто поэт заглянул мне в душу и начал говорить то, что мне самой сказать хотелось. только я не умела.

Я очень горжусь тем, что Сурков от всех от нас имеет право сказать всему миру: «Возвысьте свой голос, честные люди, сорвите маски с убийц!» И это его стихотворение наизусть знаю. И тем, что Михаил Голодный по праву советского поэта спрашивает у виновников злодеяния ответ за черного Тома, которого линчевали, я тоже горжусь. И что Маргарита Алигер, наша советская женщина, прямо говорит Черчиллю, что мы неколебимо встали на его пути и что ему нас «ни с какого входа не миновать, не обойти».

Или вот поэт, Ярослав Смеляков, написал стихотворение о сердце Байрона.

Так вот это прямо про меня написано, про нас. Он там говорит, что сердце Байрона, погребенное в Греции, проснулось от карательных залпов и стучит.

Нету сердцу покоя  
в могиле сырой  
под балканской землей  
под британской пятой.

А в Москве у газетной витрины стоит совсем простой паренек (ведь и я девчонкой была, когда в военкомат пришла в армию проситься в сорок первом), он читает о Греции и волнуется и рвется туда, но

...не может  
в ряды твоей армии стать,  
по врагам твоей армии  
очередь дать.

Не гранату свою  
и не свой пулемет —  
только сердце свое  
он тебе отдает.

И вот поэт просит, чтобы сердце парнишки зачислили под знамена сражающегося полка.

Душной ночью  
заморский строчит автомат,  
надеяя Европу  
валютой свинца,  
но, его заглушая,  
все громче стучат  
сердце Байрона,  
наши живые сердца.

Мне от поэзии душевное слово надо услышать о своей жизни и о том, куда мне нужно идти и к чему стремиться. Я хочу от поэта услышать о самом главном, о том, зачем мы живем и что будет завтра, да не с нами только, а на всей земле. Ведь мы за всеобщее счастье кровь проливали и близких теряли столько, самых лучших. И поэтому нам мало, чтобы стихи были теплые и красивые, — надо, чтобы они были не об одном человеке, а обо всех нас.»

А преподавательница ремесленного училища сказала:

«Сейчас поэзия словно на перепутье. Война окончилась, начался новый этап, предстоит переход от социализма к коммунизму. Многие наши поэты живут еще пафосом войны, а пафос времени новый. Вот они ищут этого нового, каждый по-своему. В печати да и здесь критиковали поэтов Қирсанова, Антокольского, справедливо критиковали, но, думаю, их болезни не только следствие старых пережитков декадентства, формализма, но и ошибки, неизбежные при проторении новых путей. Они тоже ищут нового, но, может быть, не так, как следовало бы, слишком рационалистично идут эти поиски. Иногда поэты стремятся вложить новое содержание в старую форму. Иногда ищут только новых форм выражения, а надо прежде всего искать нового содержания, нового человека. Ведь мы еще сами не знаем хорошенько, какие мы стали, и частенько по привычке переоцениваем личное. Это особенно к лирике относится. Напишут в тысячный раз про то, как встречались с «ней» или прощались, и думают этим ограничиться. А все то, что не про «нее», будто бы и не лирика.

А вот послушайте, какая замечательная лирика. Индийский цикл Турсун-Заде, переведенный Адельной Адалис:

Он вернулся домой... Ветер вечером с гор  
 Возвращаются с хлопка, ведут свою весною ветерок,  
 Воздух родины чист. Месяц — свежий и тонкий — высок... соседи...  
 Что ж о доле чужой мы печалимся в братской беседе?

Я думаю, что эти стихи и есть о нас, о самом близком и личном — о судьбах трудового человечества. Разве в своем личном, «частном» разговоре мы не печалимся о народах зарубежных стран? Разве интересы нашей работы, нашего завода, нашей родины не стали близкими для нас? Разве весь наш народ — не единая большая семья?

Тихо... слышится нам, будто слышат и нас вдалеке,  
 Тихо... Кажется нам, что преграды хребтов не помеха.  
 Говорят родники на таджикском родном языке,  
 И по-русски в горах подтверждает стократное эхо.

И вот, когда, сделав множество выписок и перелистав сотни страниц, вы отодвинули в сторону листы стенограмм, процесс, поискам которого вы отдали столько времени, открылся вам в прямых словах кровно заинтересованных в своей литературе читателей.

Вам стало ясно, что уже в те времена в советском обществе складывалась новая форма человеческого сознания, приближенная к сознанию коммунистическому. Понятия личного и общего, свободы и необходимости стали уже иными, и литература тех лет возникала, как отражение действительности в свете нового сознания нового человека.

Читатели в один голос требовали, чтобы поэты говорили о самом личном и самом главном. Читатели хотели лирики. Их личное и их главное уже в те времена стало иным, чем было когда-то. Личное расширилось до общего, дом человека раздвинулся, вместив Родину, не ограниченную местом, где родился; семья включила в себя народ. И лирика, чтобы отвечать своему назначению, должна была «обратить» в себя большое содержание эпохи, включая и то, что раньше являлось предметом публицистики. Это, разумеется, был сложный и трудный процесс преодоления веками освященных понятий, процесс становления нового качества в искусстве.

Чтобы быть лириком, выражающим душевную жизнь народа, поэт должен был стать ученым, трибуном и публицистом. В этом и заключалось новаторство передовых поэтов сороковых годов. В этом и заключалось новое качество поэзии времени перехода от социализма к коммунизму, той самой поэзии, фундамент которой заложил великий Маяковский.

Этот-то процесс и проглядела критика, заметившая и отразившая лишь отдельные черты поэтического движения. Лирик уже не мог только «сопровождать» победное шествие народа, не мог ограничиваться «отражением настроения масс». Он должен был выдвинуться вперед, в первые ряды головного отряда человечества, идущего в коммунизм.

Для этого, окончательно разделавшись с грузом капиталистического прошлого, в непрестанном борении с реакционной отравой, идущей из-за рубежа, поэт должен был подняться на высоту передового мировоззрения эпохи. Уже мало было для лирика чувствовать, надо было твердо знать и вдохновенно предвидеть.

В труде и борьбе становился в поэзии сороковых годов, как главенствующий, качественно новый жанр, который условно можно было назвать жанром политической лирики, жанр, провозвестницей которого была гражданская поэзия русской классики, а основоположником — «лучший, талантливейший поэт советской эпохи». Разумеется, процесс этого становления не проходил гладко. Не все поэты сразу нашли единственно верный, новый путь развития. Иные молчали, прислушиваясь к голосам нового, иные шли впереди, проторя путь, срываясь, отступаясь, возвращаясь назад, но поступательное движение поэзии шло, и чем дальше, тем уверенней и тверже. Процесс был, он развивался.

\*  
\* \*

Остается добавить немного: счастливый конец рассказа о студенте 2001 года наступил. Сложнее с нашей критикой. Борис Соловьев («Новый мир» № 3 за 1948 год) своевременно поставил вопрос о ее недостатках и задачах. Но он занимался главным образом этической стороной вопроса. Нам же пора поставить вопрос о методологии критики, которой в лучшем случае удается верно и тонко подметить отдельные явле-

ния литературной действительности, отдельные свойства и черты того или иного автора, но очень редко удается проникнуть в процесс общелитературного развития. Таким образом получается, что мы добровольно суживаем свою задачу и сферу своего влияния на литературное движение нашего времени. Ведь конкретный разбор частных явлений поэзии (ее отдельных авторов и произведений) является лишь первым актом критической работы. Вторым и существеннейшим ее актом следует признать обобщение. Нельзя ограничиваться констатацией того, что в творчестве имярек наметились такие-то тенденции, развились такие-то и увяли такие-то, надо

объяснить, почему и как это произошло; мало отметить, что творчество вышеозначенного имя-рек представляет собою такую-то ценность, надо найти место этой ценности в общей поэтической сокровищнице эпохи. Мало констатировать то, что есть в литературе нашего дня, надо вскрыть процесс ее развития, указать его направление. Мы не устаем твердить писателям, что они должны видеть и показывать «третью действительность» жизни, ее будущее. Почему же освобождаем мы себя от этой нелегкой, но почётной обязанности: видеть и указывать не только прошедшее и настоящее нашей литературы, но и ее будущее?



## ОБИДНАЯ СНИСХОДИТЕЛЬНОСТЬ

АЛЕКСАНДР ЧАКОВСКИЙ

★

**П**роповедуя незыблемость законов капитализма, якобы присущих человеческой природе вообще, идеологические прислужники капитала пророчествовали гибель обществу, уничтожившему эти законы. Они утверждали, что социальная система, из-под которой «вынут» фундамент частной собственности, конкуренции, неминуемо полетит в пропасть. Как известно, этого не случилось: наша держава мужает и крепнет, в то время как буржуазный мир стоит на краю пропасти.

Самоотверженный героизм советских людей, проявленный ими в годы сталинских пятилеток, в дни Отечественной войны и в послевоенный период, демонстрирует всему миру, до каких нравственных вершин может подняться человек, разбивший оковы капитализма.

Свидетельством этому служит и отражающая реальную жизнь советская литература. Об одном из ее разделов, имеющем самое непосредственное отношение к реальной жизни, и хочется поговорить.

Речь пойдет о так называемых «человеческих документах»: записках, дневниках, мемуарах «бывалых людей» — авторов и героев этих произведений. И об отношении к ним литературной критики.

В чем, на наш взгляд, основная (но не единственная!) ценность лучших из этих произведений? В том, что будучи написанными активными участниками событий, несущие в себе силу документа и непосредственность авторского ощущения жизни, — книги эти неопровержимо свидетельствуют о тех новых свойствах человеческого характера, которые приобретены нашими людьми за годы жизни по советским, а не по капиталистическим законам.

• Однако ценность многих «человеческих документов» не исчерпывается их

общественно-воспитательным значением. Такая книга, как, скажем, «Люди с чистой совестью» П. Вершигоры — одно из первых значительных произведений, раскрывших нам героизм и быт советских людей, сражавшихся в тылу у врага, — обладает к тому же и серьезными литературными достоинствами. Обладает ими и ряд других книг, например, «Подпольный обком действует» А. Федорова, «В крымском подполье» И. Козлова или «Теплоход «Качетия» О. Джигурды. И вот в связи с этим обстоятельством и следует поговорить об отношении к подобным книгам нашей литературной критики.

Допустим, что писатель-профессионал избрал бы для своего произведения мемуарный жанр и написал бы книгу; подобную «Людам с чистой совестью». Нет сомнения, что в этом случае критика не ограничилась бы (совершенно необходимой) констатацией общественно-политического значения книги. Она, надо полагать, рассмотрела бы ее не только как свидетельство мужественной и самоотверженной борьбы советских партизан, но и как художественное произведение.

Однако в данном конкретном случае ничего подобного не произошло, хотя о «Людах с чистой совестью» появилось не мало серьезных статей, — в этом отношении книге Вершигоры повезло больше, чем многим другим.

Почему же статьи эти оставляют по прочтении чувство неудовлетворенности? Ведь и Е. Усевич («Знамя» № 1 за 1947 г.), и В. Смирнова («Литературная газета» № 51 за 1947 г.), и Д. Данин («Литературная газета» № 23 за 1947 г.), и С. Нельс («Знамя» № 6 за 1947г.) — квалифицированные профессиональные критики, авторы многих интересных статей. Но

лишь только дело коснулось книги «бывалого человека», критики наши, согласно некоему неписаному, но тем не менее твердому правилу, сузили свою задачу, либо ограничившись сообщением (более или менее пространном) об общественном значении книги, либо просто пересказав и снабдив комментариями ее содержание. Обратимся, например, к статье Е. Усевич.

При чтении этой большой и серьезной работы создается впечатление, что произведения П. Вершигоры просто... не существует. И не потому, что Е. Усевич не упоминает о книге или о ее авторе, — она делает это в тексте очень часто, — но потому, что критик рассуждает только о событиях и людях, описанных в мемуарах, а не о том, как эти события и люди изображены автором. И кажется, что кто-то помимо автора сообщил критику об описываемых в книге событиях, и он, критик, комментирует и анализирует их подобно публицисту, рассуждающему о явлениях действительности, еще не ставших литературным фактом. Мы не имеем возражений по существу написанного Е. Усевич. Высказанные ею соображения об отличиях совести советского человека от «добропорядочной буржуазной совести», о качествах советского командира и комиссара, о неразрывной связи советских руководителей с народом — совершенно правильные и уместные соображения. Однако их мог высказать и публицист, комментирующий, скажем, историю партизанского движения или просто пишущий о фактах партизанской борьбы, уже получивших всенародную известность.

Однако в данном случае критик имел дело, помимо всего прочего, и с литературным фактом, с книгой талантливой, писательской. Почему же не поговорить о ней, как о таковой?

Софья Нельс, например, отмечает, что «мемуарист и летописец отступают в книге Вершигоры на задний план перед художником, создающим большую эпическую картину жизни народа на одном из критических и суровых этапов его истории». Говоря об образах книги, она пишет: «Это не беллетризованные очерковые зарисовки. Это подлинные художественные образы, созданные творческой мыслью и творческой фантазией художника, отбирающего, осмысливающего реальные факты». Эти

утверждения казалось бы должны определить и методологию дальнейшего критического разбора книги. Они обязывают критика не ограничиваться восхищенным комментированием отдельных эпизодов или образов, но разбирать все произведение в целом требовательно и всесторонне. Ведь не стала бы Софья Нельс рассматривать «Войну и мир» — тоже «большую эпическую картину жизни народа» — только как историю войны 1812 года!

Воспоминания А. Федорова «Подпольный обком действует» также дают все основания для того, чтобы анализировать их не только со стороны идейной, но и с точки зрения художественной, потому что в этой книге присутствуют характеры — первое условие художественного произведения.

Автор статьи об этой книге Я. Варшавский («Знамя» № 9 за 1947 г.) пишет: «А. Федоров и помогавший ему Е. Босняцкий создали своеобразное художественное произведение, в котором есть и сюжет, и драматические положения и, отмеченные подлинной новизной, человеческие образы». Но почему же из этого недвусмысленного заявления критик не делает никаких выводов для себя? Почему дальше следует аннотационно-комментаторский текст без малейшего намека на литературный анализ «человеческих образов»?

Подобные примеры можно было бы значительно умножить, но дело тут не в том, что тот или иной критик написал неудачную статью. Нам кажется, что в критике сложилось принципиально неверное, снисходительно-графаретное отношение к самому жанру. Обычно в критической статье о книге «бывалого человека» высказывается несколько комплиментов автору, затем место критика заступает публицист, более или менее подробно пересказывающий содержание книги, причем пересказ этот время от времени прерывается стандартной ссылкой на автора, который «правдиво отобразил»... и затем ставится точка. Иногда точке предшествует утверждение, что автор мемуаров не только «летописец», но и художник.

Литературный критик-профессионал должен быть горячим и страстным публицистом. Но он должен помнить и о своих специфических литературных обязанностях. Слов нет, если книга является только «человеческим документом», только записью

фактов, тогда, естественно, суживается и задача литературного критика. Однако в применении к книгам, стоящим на грани художественного произведения, а тем более перешедшим за эту грань, «комплиментарно-комментаторская» критика не может вызвать ничего, кроме досады.

Этот недостаток критики имеет далеко не «частное» значение.

В свое время Горький неустанно призывал «бывалых людей» в литературу. Этот призыв неизбежно вытекал из горьковской оценки советской литературы, как литературы качественно новой, героем которой является человек труда, человек-деятель. Ведь ошибки и неудачи многих профессиональных писателей происходили и происходят именно от неумения показать человека в процессе его активной созидательной, точнее — социалистической, деятельности. Дело это нелегкое и, конечно, новаторское. Успех его прямо и неразрывно связан с жизненным поведением писателя, с его активным вторжением в жизнь.

И вот с этой-то точки зрения книга «бывалого человека» и в особенности такая, в которой автору удалось подняться на высоту художественного обобщения, служит прекрасным поводом для серьезного критического разговора, который очень нужен в сей нашей литературе, очень нужен писателям.

Если вернуться к книге П. Вершигоры, то можно отметить общепризнанный факт: образ комиссара Руднева является крупным достижением советской художественной литературы, именно литературы. Поэтому критику мало сказать, что Руднев — это тип советского человека-большевика, мало пере-сказать эпизоды, в которых участвует Руднев — все это гораздо лучше сделал сам П. Вершигора. Реально живший Руднев не избавляет критику от обязанности раскрыть Руднева, как литературный образ, от обязанности проанализировать все художественные средства, которыми пользовался писатель, создавая этот характер.

И это тем более важно, что проблема изображения большевика является острой, актуальной проблемой нашей литературы. А читая критические статьи о «Людях с чистой совестью», можно подумать, что реальный Руднев полностью predetermined успех Руднева, как успех литературного образа, и о писательской работе над ним не

стоит даже говорить. Если бы это было так! Десятки писателей-профессионалов стремятся вложить в создаваемые образы свойства и черты характеров виденных ими реальных людей. Но знакомство писателя даже с самым замечательным человеком далеко не всегда predetermined творческий успех.

Если о природе удач П. Вершигоры немаловажно узнать нашим писателям, то строгий и тщательный анализ недостатков его книги в неменьшей мере необходим самому автору. Как и многие другие произведения, «Людям с чистой совестью» отнюдь не свободны от существенных недочетов, и надо с сожалением заметить, что количество их отнюдь не уменьшается во второй книге воспоминаний П. Вершигоры. Нам думается, что в этом обстоятельстве есть доля вины и нашей литературной критики, не оказавшей необходимой помощи автору дружески требовательным разбором его первой книги.

Увлеченный романтизацией материала действительности, П. Вершигора иной раз теряет меру, и отдельные эпизоды его повествования лишаются правдоподобия. Такова, например, история взрыва кинотеатра «здоровенным дядей, верзилкой этак пудиков на шесть» с нелепой кличкой «Нин» (от женского имени Нина).

Все здесь, начиная с легенды о «привидении», якобы украшавшем цветами собственную могилу, и кончая сценой, в которой командир крупного партизанского соединения торгуется с пресловутым Нином о взрыве заминированного кино за пять минут до диверсии, тут же, на улице занятого карателями поселка, причем киномеханик «орет на всю улицу», — напоминает о дурных штампах приключенческой литературы.

А развязный язык, каким этот партизанский командир повествует о повешенной немцами девушке, вызывает у читающего досадное чувство неловкости. Ни автор талантливой и нужной книги, ни читатель отнюдь не заинтересованы в замалчивании ее недостатков.

Критика обязана вне зависимости от жанра произведения помогать писателю расти, а читателю правильно разбираться в его книге.

В заключение позволим себе несколько полемических строк. Критика наша, когда дело касается книг «бывалых людей», как говорилось, обычно обидно снисходительна.

Однако бывают и исключения: мы имеем в виду статью Е. Книпович («Литературная газета» № 21 за 1948 г.) о записках военного врача Джигурды «Теплоход «Кахетия».

В мемуарах «бывалых людей», как мы уже указывали выше, естественно, встречаются недостатки. Их надо критиковать, как и недостатки любой писательской книги, сурово и нелицеприятно. Однако Е. Книпович несправедлива ко всему произведению в целом. Вот как построена ее рецензия: вначале изложено содержание, причем непонятно: заслуга ли О. Джигурды в том, что Е. Книпович узнала о замечательных рейсах санитарного транспорта или критик пересказывает историю «Кахетии», известную ему лично. Затем Е. Книпович отдает «кесарю кесарево», замечая, что в книге есть «волнующие страницы о защитниках Севастополя, есть хорошие живые образы некоторых работников «Кахетии». После этого автор статьи заявляет, что «Все же, кончая записки, читатель испытывает чувство разочарования. Все, что есть в них ценного, он собрал по кусочкам, восстановил сам. Автор мало помогал ему». Происходит это будто бы потому, что «слишком часто О. Джигурда выдвигает на первый план мелкие черты, слабые стороны человека». В качестве доказательства этой мысли приводятся авторские характеристики некоторых персонажей повести, в результате которых «в сандружиннице Когтевой больше всего запоминается ее мелкое самолюбие, в докторе Масленникове — склонность к флирту, в Старошинской — страх перед опасностью».

О том, кому и что запоминается, можно спорить. Нам, например, — и верим, что и тому «читателю», от имени которого говорит критик, — запомнилось другое. Мы увидели и запомнили в книге О. Джигурды героический коллектив «Кахетии», его самоотверженный труд во время бомбежек и штормов и многое другое — хорошее и правдивое.

Е. Книпович утверждает, что О. Джигурда «нехватает изобразительных средств», — не спорим, автор еще далеко не профессионал! Но неужели в память критика не врезался рейд «Кахетии» во время снегопада?

Не запомнились старпом Заикин, комиссар Шульгин, инженер Тарлецкий? Погрузка раненых? Е. Книпович считает, что эти описания и характеристики сделаны плохими изобразительными средствами, а нам кажется, что хорошими, — не этот вопрос основной в нашем споре. Спор идет об оценке книги, страдающей многими недостатками, но в целом чистой и правдивой. Е. Книпович пишет: «запискам этим мало свойственен тот человеческий талант, который мы с такой радостью ощущаем в большинстве прочитанных воспоминаний об Отечественной войне. О. Джигурда мало умеет радоваться и удивляться своим товарищам, видеть и изображать их сущность, которая и сделала этих людей советскими патриотами, членами боевого коллектива».

Критик заканчивает свою статью словами: «несомненно, что в недостатках записок о теплоходе «Кахетия» повинна и редакция журнала «Знамя». Она должна была помочь автору организовать материал, должна была убрать все мелкое и ненужное, что заслоняет от читателя ценные, интересные стороны записок».

Здесь критик вступает в противоречия с самим собой. Уж коли нет у автора «таланта человечности», коли видит он в людях прежде всего плохое и т. д., никакая редакция не поможет ему «организовать материал». Очевидно, эта ссылка на редакцию — запоздалый рецидив комплиментарной критики, которую положено применять к мемуарам «бывалых людей». Концы здесь явно не сведены с концами.

Разумеется, записки Джигурды могли быть лучше, убедительней, шире. Но это улучшение книги было бы возможно только потому, что в основе своей она правдива, ярка и поучительна. Имевший в виду сделать полезное дело суровым и нелицеприятным разбором произведения, отнюдь не требующего обидного снисхождения, обычно вдумчивый критик в своем конкретном анализе на этот раз серьезно ошибся.

Да, книги «бывалых людей» (да и не только эти книги!) снисходительности не требуют. Но, пожалуй, в меньшей степени «противопоказаны» этому жанру и необоснованные, противоречивые оценки.



## ПОЭТ ДЛЯ ЭСТЕТОВ

(Заметки о Велимире Хлебникове и формализме в поэзии)

БОРИС ЯКОВЛЕВ

★

С амого себя поэт скромно именовал Председателем Земного Шара. Его торжественно возводили в сан Короля Поэтов, восторженно называли «крупнейшим поэтом XX века». О нем писали как о никем не превзойденном чемпионе литературного мастерства. Его уподобляли автору «Слова о полку Игореве», «чудом дожившему до нашего времени». Ученые литературоведы безоговорочно объявляли его «гениальным и определившим своим творчеством на долгое время развитие русской поэзии».<sup>1</sup> Художники-портретисты многозначительно запечатлевали его облик не иначе, как на фоне памятника Пушкину.

«Единственный наш поэт — эпик XX века», — писал о нем один из теоретиков «ОПОЯЗ»а — этого штаба филологов-формалистов. «Эпос, эпос. Новый эпос!» — то и дело восклицали «друзья Хлебникова». «Да здравствует Хлебников — создатель новой русской поэзии!», — провозглашали они<sup>2</sup>.

«В е л и к и й» — с прописной буквы, да еще в разрядку — называли Хлебникова его последователи<sup>3</sup> «Х л е б н и к о в — н а ш а э п о х а», — печатали они жирным шрифтом<sup>4</sup>.

«Вся современная культура стиха в

<sup>1</sup> Николай Степанов. Творчество Велимира Хлебникова. См. Собрание произведений Велимира Хлебникова, т. I, стр. 33.

<sup>2</sup> «Неизданный Хлебников», вып. XIX, М. 1930, стр. 15.

<sup>3</sup> Дмитрий Петровский. Повесть о Хлебникове. М. 1926, стр. 47.

<sup>4</sup> Давид Бурлюк. Предисловие к «Творениям» В. В. Хлебникова. М. 1914.

значительной мере идет от Хлебникова, и без него была бы невозможна», — утверждали «хлебниковеды». Они признали его «не только величайшим поэтом нашей эпохи, но и будущего». Но при этом всегда делалась одна знаменательная оговорка. «Он писатель для писателей, — говорил, например, о Хлебникове Виктор Шкловский. — Он Ломоносов сегодняшней русской литературы. Он — дрожание предмета, сегодняшняя поэзия — его звук».<sup>1</sup>

Так возникла легенда.

Это была легенда о великом писателе для писателей, о гениальном поэте для поэтов, только для поэтов, недоступном и непонятном читателю.

I

Да, в известном смысле, Хлебников, действительно, поэт для поэтов, но только для поэтов-формалистов, в чьих чуждых народу, безидейных, индивидуалистических, эстетских стихах внешняя — звуковая, или, скажем, ритмическая — форма господствует над содержанием, подчиняет его себе, превращая поэзию в лабораторию для словесных экспериментов. Именно формалисты-филологи и формалисты-поэты создали легенду о Хлебникове, объявили священной и неприкосновенной его сумбурную поэзию, недоступную для непосвященных; недостижимую для обыкновенного, рядового читателя.

«Глухие пусть остаются у порога», — грозно предостерегали поклонники Хлебни-

<sup>1</sup> В. Шкловский. Предисловие к «Повести о Хлебникове» Дм. Петровского, М., 1926, стр. 4.



кова. Стоит лишь на мгновение нарушить этот запрет, чтобы установить его истинные мотивы: в наследии Хлебникова представлены в их крайнем, нередко абсурдном, выражении многие из тех пороков, которые присущи поэзии формалистской или, по крайней мере, формалистским рецидивам в ней. При этом выясняется и еще одно немаловажное и небезынтересное обстоятельство: то, что упорно выдавалось (а подчас и выдается по сей день!) поэтами-формалистами за свое собственное дерзновенно-оригинальное новаторство, представляет собой на самом деле зауряднейшее эпигонство. Обратившись к наследию Хлебникова, этого поэтического патриарха формализма, можно безошибочно определить первоисточники многого из того, что не раз подвергалось критике в творчестве поэтов-формалистов.

Поэт живет в своих книгах, а не в анекдотах, рассказываемых о нем досужими современниками. Восторженным, подчас кликушеским, изливаниям эстетствующих почитателей Хлебникова должны быть противопоставлены интересы советских читателей.

В рыхлой породе, которую представляет собой поэтическое наследие Хлебникова, взятое в целом, мелькают подчас крупинки самородного поэтического золота. Но крупинки эти ничего не меняют в его общей оценке. Ведь, как метко сказал еще Толстой, из того, что там, где добывается золото, всегда много песка, вовсе не следует, что нужно наговорить много глупостей, дабы сказать в результате что-нибудь умное.

Особого рассмотрения заслуживает тема «Маяковский и Хлебников». Трудно найти в истории русской поэзии более противоположные примеры. Поистине,

...волна и камень.  
Стихи и проза, лед и пламень  
Не столь различны меж собой...

Но тем не менее именно Маяковский еще в 1922 году назвал Хлебникова Колумбом «новых поэтических материков, ныне заселенных и возделываемых нами». От своего имени и от имени Асеева, Бурлюка, Крученых, Каменского, Пастернака, Маяковский объявил Хлебникова одним из своих «поэтических учителей и великопнейшим и честнейшим рыцарем в нашей поэтической борьбе».

Хлебников действительно был поэтическим учителем Асеева, Бурлюка, Крученых, Каменского, Пастернака. У Хлебникова или, точнее, на Хлебникове, на его примере, действительно учился так называемому «языковому новаторству» и молодой Маяковский. Однако великий поэт явно грешил против исторической истины, скромно рассматривая себя лишь как одного из пионеров, заселивших и возделавших якобы открытые Хлебниковым «новые поэтические материк».

Маяковский, в отличие от Хлебникова, никогда не был «заумником». Его языковое новаторство не имеет ничего общего с хлебниковским самодовлеющим словесным фокусничеством. Он недаром отмечает в своей статье мнимость законченности напечатанных вещей Хлебникова, его «сознательное штукарство», глубоко чуждое зрелому Маяковскому, перешагнувшему через футуризм. Он недаром подчеркивает, что Хлебников «не поэт для потребителей», ибо его... «нельзя читать».

Поэт, которого нельзя читать, композитор, музыку которого нельзя слушать, художник, чьи картины нельзя смотреть, — может ли быть более тяжкий приговор для человека искусства? Однако провозгласивший этот приговор Маяковский поддерживает формалистов в их оценке Хлебникова как поэта «для производителя».

Статье-некрологу о Хлебникове, написанной под непосредственным впечатлением от его смерти, предшествовала героическая работа Маяковского в «Окнах РОСТА». Статью предворяли такие шедевры политической сатиры поэта, как высоко оцененные Лениным «Прозаседавшиеся». В данном случае, как и в ряде других, явная противоречивость высказываний Маяковского о Хлебникове была порождена тем отставанием теоретических суждений от художественной практики, которое обнаруживается подчас в ряде выступлений великого поэта. В своем творчестве Маяковский тогда преодолел эстетику футуризма. В теоретических же высказываниях он нередко идеализировал свое футуристское прошлое. Но вот, всего лишь через несколько месяцев после статьи о Хлебникове, Маяковский в одной из передовых статей журнала «ЛЕФ» излюбленному именно Хлебниковым футуристскому лозунгу: «стоять на глыбе слова «мы» сре-

ди моря свиста и негодования», противопоставляет свой призыв: «с радостью растворить маленькое «мы» искусства во огромном «мы» коммунизма».

В дореволюционном футуризме, одним из основоположников которого был Хлебников, Маяковский видит теперь «отчаянный вопль ущемленной интеллигенции», чей стон, действительно, несется едва ли не с каждой страницы дооктябрьских произведений Хлебникова. Дореволюционному футуризму Маяковский противопоставляет свою формулу «левого искусства»: «работа плечом к плечу, со всеми, с рвущимися к победе коммуны».

Именно на этих широких и светлых путях борьбы за победу коммунизма и преодолел Маяковский футуризм, формалистские пути которого несомненно задерживали движение поэзии вперед.

Уже в статье «Как делать стихи» Маяковский решительно выступал против тех, кому «звуковая сторона кажется «самоцелью поэзии». Он видел в этом «низведение поэзии до технической работы», высмеивал поэтов, прибегающих «к аллитерации для простой игры словами, для поэтической забавы», заявлял, что совершенно «необязательно уснащать стих вычурными аллитерациями и сплосить его небывало зарифмовывать», то есть ополчался таким образом против типичных особенностей поэтической практики Хлебникова.

Выступая за непримиримую борьбу «активных агитаторов строительства коммуны против эстетов с проповедью аполитичности, против отображений задним числом и прочей архаической и мистической чуши», — Маяковский тем самым выступал и против того, кого он ошибочно объявил своим поэтическим наставником.

Камерная, глубоко индивидуалистическая, последовательно формалистская поэзия Хлебникова прямо противоположна всему направлению послеоктябрьского творчества Маяковского, подчинявшего всю свою литературную деятельность «публицистическим, пропагандистским активным задачам строящегося коммунизма». Да, Хлебников был поэтом для некоторых поэтов, поэтов-формалистов, но — в послеоктябрьские годы — перестал быть поэтом для Маяковского, для лучшего и талантливейшего поэта нашей советской эпохи. Ошибочные положения статьи Маяковского не

могут изменить исторической оценки Хлебникова.

Маяковский неудержимо шел вперед. Он рос не только идейно, но и эстетически. Он весь в движении, а об этом забывают иные литературоведы, канонизируя то, что преодолел сам поэт, вводя ненавистный «агитатору, горлану-главарю» «хрестоматийный глянец» на его ошибки и недостатки.

Напрасно поэтому «хлебниковеды» пытаются обосновать свои совершенно апологетические концепции творчества Хлебникова на статье Маяковского. Так поступает, например, Н. Л. Степанов, который все свое предисловие к стихотворениям Хлебникова, изданным в малой серии «Библиотеки поэта», — от начала и до конца — построил исключительно на этой статье.<sup>1</sup> То же в еще большей степени можно сказать и о статье Ф. Дубровской<sup>2</sup>. Влияние Хлебникова на Маяковского провозглашает и «Большая советская энциклопедия».

Апологеты Хлебникова всячески заслонялись, словно щитом, статьей Маяковского. Весьма противоречивыми положениями ее они пытались прикрыть последовательно формалистский характер наследия Хлебникова, чье творчество — от первой и до последней страницы — воплощает в себе тот самый, «чуждый советскому искусству формализм, отказ под флагом мнимого новаторства от классического наследия, отказ от народности... от служения народу в угоду обслуживанию сугубо индивидуалистических переживаний небольшой группы избранных эстетов»,<sup>3</sup> против которого не раз выступала большевистская партия.

Формализм полностью подчиняет своим псевдоноваторским формальным ухищрениям самое содержание искусства. Формализм с барским пренебрежением подменяет интересы и духовные запросы народных масс извращенными вкусами кучки рафинированных гурманов-эстетов.

<sup>1</sup> Н. Степанов. Велимир Хлебников. Вступительная статья к стихотворениям В. Хлебникова, Л. 1940.

<sup>2</sup> «Молодая гвардия» № 11, 1940, стр. 136—137.

<sup>3</sup> Сборник материалов «Совещание деятелей советской музыки в ЦК ВКП(б)». М. 1948, стр. 136.

Легенда о Хлебникове была создана я, как мы далее увидим, широко распространена именно для прикрытия формализма в поэзии, для его камуфляжа и маскировки.

## 2

Легенда о Хлебникове сбивала (да и поныне сбивает!) с толку поэтическую молодежь, уводя ее от подлинно реалистического искусства, близкого и понятного народу, к тем самым формалистическим выкрутасам, которые Ленин еще в 1919 году охарактеризовал как «нечто сверхъестественное и несуразное»<sup>1</sup>.

Выдумывая эти выкрутасы, молодые поэты, как правило, подражают не столько самому Хлебникову, сколько его подражателям, и становятся, таким образом, сами того не ведая, эпигонами эпигонов.

Подлинное новаторство всегда органично. Оно вырастает из содержания. Оно прежде всего идейно. Оно превосходит прежние лучшие образцы искусства новыми степенями художественного совершенства, обогащает поэзию новыми средствами выразительности.

Здесь новое содержание, впервые пришедшее в искусство, большие идеи, впервые обогатившие его, благородные чувства, свойственные людям новой общественной формации, — ищут себе новую художественную форму.

Бесплодное оригинальничанье формалистов подменяет эти поиски новых форм нанизыванием технических трюков, лишь варьирующих уже известные фокусы и поражающих потому только неискушенных.

Эти неискушенные, но весьма рьяно искишаемые формалистами «читатели стиха» видят в словесном фокусничестве некоторых поэтов, давно уже преодоленном ими самими, высшие образцы подлинного поэтического мастерства. Такому горестному заблуждению всячески способствуют литературоведы-формалисты, использующие любые, особенно юбилейные, поводы для того, чтобы, рекламируя Хлебникова, увести молодежь на кривые тропы формалистического эпигонства, изображаемые как эдакие автострады новаторства.

И старания формалистов, скрытых и явных, убежденных и половинчатых, шатких

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Сочинения, т. XXIV, стр. 276.

и последовательных, к сожалению, не всегда безуспешны. В опубликованных за последнее время стихах многих молодых поэтов нередко обнаруживается то тяготение к зауми, к полубесмысленной «игре слов», то весьма неуклюжее «словотворчество», то преднамеренное разрушение мелодики стиха, то вычурные аллитерации, обесмысливающие стихи, то их нарочитые затрудненность и зашифрованность, то какие-нибудь другие рецидивы, эти своеобразные родимые пятна формализма.

Еще явственнее сказываются формалистские тенденции, губительность которых не осознают их носители, в произведениях молодых поэтов, не проникших на страницы печати и оставшихся изустным достоянием литературных кружков, студий, объединений, «творческих семинаров» и т. д.

Автор этих строк имел возможность лично в том убедиться, руководя не так давно одним из литературных объединений молодых писателей. Почти на каждом собрании этого объединения приходилось разъяснять поэтической молодежи убежденность формалистских писаний некоторых ее представителей, тяготивших, как правило, к наихудшим элементам околелитературной богемы и всерьез уверенных, что на небе поэзии нет бога, кроме Хлебникова и формалистствующих пророков его.

Вот почему в наших заметках, наряду с примерами, почерпнутыми со страниц недавно вышедших сборников стихов, мы вынуждены сослаться и на старые книги, которые нередко ошибочно рассматриваются их авторами как былые творческие достижения, в чьих особенностях видит образец для подражания кое-кто из поэтической молодежи.

Многое из того, на что мы сошлемся, уже было в свое время предметом критики. Однако далеко не всегда критика доходила «до корня» этих псевдоноваторских формалистических извращений, не устанавливала их постыдно эпигонский характер. Мы попытаемся показать, что пресловутое новаторство некоторых наших поэтов представляет собой по сути дела эпигонство, а подражание им — подражание подражателям.

Центральный Комитет партии снова нацелил деятелей советского искусства на непримиримую борьбу с формализмом именно в наши дни, когда каждый советский

художник должен рассматривать себя как война, участвующего в боях против идеологического наступления международной реакции и прежде всего американского империалистического космополитизма.

Именно сейчас, когда формалистские течения стали господствующими в зарубежном буржуазном искусстве, когда декаденты «катомного века» довели его до полного распада содержания и формы, необходимо вскрыть до конца антинародную природу формализма, показать, к какому духовному краху он может привести художника.

Пример Хлебникова, столь возвеличенного не только отечественными, но и зарубежными формалистами, в этом смысле особенно поучителен.

«Формализм, как «манера», — как «литературный прием», — писал в одной из своих статей А. М. Горький, — чаще всего служит для прикрытия пустоты или нищеты души. Человеку хочется говорить с людьми, но сказать ему нечего, и утомительно, многословно, хотя иногда и красивыми, ловко подобранными словами, он говорит обо всем, что видит, но чего не может, не хочет или боится понять»<sup>1</sup>.

В этих мудрых словах основоположника социалистического реализма дана исчерпывающая характеристика наследия Хлебникова.

Хлебников действительно то не мог, то не хотел, то боялся понять окружающую его действительность.

Хлебникову действительно нечего было сказать людям, но говорил он утомительно, многословно, хотя иногда и красивыми, ловко подобранными словами.

Таков Хлебников. Но совсем не такова легенда о нем.

«Великолепным образцом противонерционного вкуса, языковой точности, широты и глубины поэтического мышления», — называли Хлебникова его поклонники.<sup>2</sup>

Аморфные, рассыпающиеся в руках читателя на строки, на слова стихи Хлебникова и — «языковая точность»!

Мистика, невежественный дилетантизм его представлений об истории, действи-

тельности, будущем и — «широта и глубина поэтического мышления»!

Всё это вещи поистине несовместные. Но «друзья Хлебникова», образовавшие в тридцатых годах специальную «группу» в составе Н. Асеева, О. Брика, В. Каменского, С. Кирсанова, А. Крученых, Ю. Олеси, Б. Пастернака, Д. Петровского, И. Сельвинского, Ю. Тынянова, В. Шкловского и других «хлебниковцев» и «хлебниковедов»<sup>1</sup>, величественно игнорировали истину во имя творимой ими легенды.

По их оценке, Велимир Хлебников «действительно владел миром», «владел им в том смысле, что знал его от мельчайших пылинок до самых крупных явлений, знал вдоль и поперек, снизу доверху, от древнейших времен до последних событий», «действительно владел миром и повелевал временем»<sup>2</sup>.

На самом деле все было как раз наоборот. Хлебников не знал мира — ни в истории, ни в современности, ни снизу доверху, ни вдоль и поперек. Точнее, он знал «до мельчайших пылинок» лишь свой собственный внутренний мир — мир мятущихся болезненных переживаний и ощущений, мир больших фантазий. Да, этот мир он, действительно, знал до тонкостей. Но ведь еще Пушкин 120 лет тому назад сказал, что тонкость вовсе не доказывает ума: «Глупцы и даже сумасшедшие бывают удивительно тонки. Прибавить можно, что тонкость редко соединяется с гением, обыкновенно простодушным, и с великим характером, всегда откровенным»<sup>3</sup>.

Пушкин видел истинный вкус «не в безотчетном отвержении такого-то слова, такого-то оборота, но в чувстве соразмерности и сообразности». Именно этих последних качеств всегда не хватало Хлебникову. Как раз соразмерности и сообразности нет ни в одном из его больших законченных произведений. Хлебников, правда, не отвергал безотчетно слова или обороты. Но зато он вполне безотчетно их использовал.

Откуда же Н. Н. Асеев увидел в

<sup>1</sup> См. издания «Группы друзей Хлебникова», вып. I—XXX, М. 1928—1933.

<sup>2</sup> «Литературный критик», 1936, № 1, стр. 185—186.

<sup>3</sup> Цит. по сборнику «Пушкин-критик». Academia. 1934, стр. 108.

<sup>1</sup> М. Горький. О формализме. «О литературе». М. 1937, стр. 434.

<sup>2</sup> Н. К. Асеев. Велимир. «Литературный критик», 1936, № 1, стр. 185.

нем «великолепный образец противонерционного вкуса» — вкуса новатора?

«Лучи Хлебникова сверкают во многих зеркалах», — не без оснований утверждал в 1930 году Юрий Олеша.<sup>1</sup>

Он забыл прибавить только, что поэтические зеркала эти, как правило, кривые, тусклые, полуразбитые или такие крохотные, в которые и взглядеться-то как следует невозможно!

## 3

Что и говорить, влияние приемов Хлебникова на некоторых поэтов, к сожалению, бесспорно. Но столь же бесспорна и вредность этого влияния, уводящего в душный, замкнутый, индивидуалистический мирок формализма.

«Я не поклонник Хлебникова», — писал в этой связи А. М. Горький. По его характеристике, Хлебников творил «словесный хаос, стремясь выразить только мучительную путаницу своих узко и обостренно индивидуальных ощущений».<sup>2</sup>

«Поэт для поэтов» — это зашифрованная, персонифицированная, олицетворенная формула «искусства для искусства». Борьба против теории чистого искусства неразрывно связана и с отрицанием самой возможности существования оторванных от народа поэтических лабораторий. «Поэт для поэтов» так же относится к настоящему поэту, как средневековый алхимик к современному химику. В произведениях «поэта для поэтов» столько же истинной поэзии, сколько подлинной науки было в ретортах алхимика. Но какие же снадобья варились, однако, в колбах столь прославленной формалистами хлебниковской лаборатории? Кратко напомним об этом.

Законченный субъективный идеализм, пошлые выпады против марксизма;

«заумь» — подмена поэзии нагромождением совершенно бессмысленных звуков; болезненное, извращенное «словотворчество», ничего общего не имеющее с нормальным языковым процессом;

словесное фокусничество, эксперимент ради эксперимента;

<sup>1</sup> См. «Неизданный Хлебников», вып. XIX, издание «Группы друзей Хлебникова», М. 1930, стр. 10.

<sup>2</sup> М. Горький. О бойкости. «Правда» 28 февраля 1934.

разрушение всего мелодического строя стиха, его ритма и метрики;

нарочитая усложненность, искусственная затрудненность поэтической речи;

случайность поэтических ассоциаций, подчиненность стиха его внешней, звуковой форме;

отказ от всех лучших традиций классики;

и, наконец, полный индивидуализм, оторванность от действительности — таковы отличительные черты формалистских произведений «великого», «гениального», «непревзойденного» и прочая, и прочая, и прочая Хлебникова. В разной степени унаследованы эти качества его эпигонами, равно как и доверчивыми жертвами легенды, которую они создали и распространили.

Отметим здесь, кстати, что легенде о Хлебникове соответствовал и его культ, получивший особенно широкое распространение как раз за последние годы. В 1922 году в Москве издавался даже «Вестник Велимира Хлебникова», подзаголовок которого («двоек и троек священные рощи, листья событий») дает более или менее точное представление о его характере. Хлебникова зачислили в классики первого ранга. Ему посвящались специальные научные исследования. Старательно собирались и публиковались не только его законченные вещи, но и всевозможные хаотические черновики, интимные дневники, записные книжки, сугубо личные письма.

С 1921 по 1948 годы издано около 50000 экземпляров более 50 книг, содержащих произведения самого Хлебникова или пространно и совершенно апологетически повествующих о нем. В литературных журналах и газетах появилось за те же годы около 100 статей и рецензий, всячески рекламирующих его «творения».

Вслед за пятитомным собранием сочинений Хлебникова,<sup>1</sup> которое, по восторженному мнению одного критика, призвано было — ни много ни мало — «перепланировать литературную обстановку XX века», и объемистым сборником его стихов вышел толстый том неизданных произведений, состоящий, по преимуществу, из всевозможных черновиков, набросков, вариантов, отрыв-

<sup>1</sup> Велимир Хлебников. Собрание произведений, т.т. I—V, Л. 1928—1933 (общий тираж 15.600).

ков, фрагментов.<sup>1</sup> Стихи Хлебникова были включены в малую серию «Библиотеки поэта».<sup>2</sup> Особенно усердствовали всевозможные мемуаристы. Различные, нередко совершенно апокрифические, воспоминания о Хлебникове публиковались не только в журналах, но и в таких наиболее распространенных изданиях, как библиотечка «Огонька», «Роман-газета» и т. д.

Хлебникова всячески навязывали читателю и особенно молодежи. Достаточно отметить, что в изданном трехсоттысячным тиражом в 1940 году учебнике для средней школы сообщалось, что Хлебников «обладал гениальным чутьем слова, его внутренней жизни (!)», создал «ряд замечательных революционных поэм» и т. д. По мнению авторов учебника, Хлебников и В. Каменский, «отбрасывая «плевелы» формализма, выросли в значительных художников, обогативших впоследствии советскую поэзию». Для подтверждения этого в учебнике воспроизводился портрет Хлебникова, школьникам в умильном тоне рассказывалось о подробностях его личного быта, приводились посвященные ему восторженные стихи.<sup>3</sup>

В новейших школьных учебниках Хлебников характеризуется гораздо сдержаннее, но он все же предстает перед десятиклассниками как один из «наиболее талантливых представителей футуризма, в творчестве которого под влиянием Маяковского, якобы, «появляются революционные мотивы».<sup>4</sup>

Мнимая революционность произведений анархиста Хлебникова — это одна из составных частей созданной вокруг него легенды.

Еще дальше, чем авторы школьных учебников, пошли сотрудники предназна-

ченных для молодежи литературных журналов. Так, осенью 1940 года на страницах «Молодой гвардии» Хлебников восторженно характеризовался как «поэт-бунтарь, новатор языка, крупнейший мастер слова и родоначальник новой стиховой культуры», провозглашалось «все большее признание его дерзновенного гения» и с особенным одобрением отмечалось, что появление стихов Хлебникова в малой серии «Библиотеки поэта» «говорит о том, что «поэт для поэтов», каким слыл прежде В. Хлебников, приближен к массовому читателю и поэзия разрушителя классических канонов делается таким образом. достоянием широкой публики»<sup>1</sup>.

Заумник Хлебников, приближенный к массовому читателю! Но даже и эти утверждения превзойдены в юбилейной статье Н. Харджиева, посвященной 60-летию со дня рождения Хлебникова и опубликованной осенью 1945 года на страницах «Литературной газеты».

В этой статье автор объявляет «совершенно неправильным представлением» отношение к Хлебникову как «поэту для поэтов». Он называет анархо-индивидуалиста Хлебникова «деятельнейшим строителем новой советской культуры». Он прославляет «историческое ясновидение» мистика Хлебникова, «его живое ощущение всей тысячелетней жизни русского народа».

«Что касается псевдокомплиментарной клички «поэт для поэтов», — пишет критик, — то она совершенно не соответствует творчеству Хлебникова, которое сильно именно прямой обращенности к миру». По его мнению, «живой голос Хлебникова должен быть услышан всеми»<sup>2</sup>.

Трудно определить, чего здесь больше: лицемерных восторгов или эстетического невежества.

Недавно один из советских музыковедов заявил, что заумные «литературные выкрутасы» Андрея Белого, Хлебникова и других ныне забыты «и, повидимому, навсегда».<sup>3</sup>

<sup>1</sup> «Молодая гвардия» № 11, 1940, стр. 156—157.

<sup>2</sup> «Литературная газета», 27 октября 1945.

<sup>3</sup> Сборник «Совещание деятелей советской музыки в ЦК ВКП(б)». М. 1948, стр. 157.

<sup>1</sup> В е л и м и р Х л е б н и к о в. Неизданные произведения. М. 1940 (тираж 5000).

<sup>2</sup> В. Х л е б н и к о в. Стихотворения. Л 1940, (тираж 10.000).

<sup>3</sup> Л. М. П о л я к и Е. Б. Т а г е р. «Литература XX века». Учебник для 10-го класса средней школы. М. 1940. стр. 232—237 (тираж 300.000).

<sup>4</sup> Л. И. Т и м о ф е е в. Современная литература. Учебное пособие для 10-го класса средней школы. Издание второе, исправленное и дополненное. М. 1947, стр. 130 (тираж 100.000).

Сославшийся на Хлебникова оратор мог бы выразиться более категорично: литературные (как, впрочем, и любые другие!) выкрутасы в искусстве отвергнуты народом не «повидимому», а наверняка. Что касается Хлебникова, то его не приходилось и забывать, ибо, несмотря на все старания эпигонов и апологетов, заузные стихи Хлебникова не проникли в сколько-нибудь широкие читательские круги. Зато совершенно излишне широкое распространение получила легенда о нем. И она, вопреки недостаточно компетентным предположениям, вовсе не забыта и сегодня.

Более того! Легенда о Хлебникове столь глубоко укоренилась в сознании некоторых литераторов, что они подчас доходят до форменного фетишизма. Так, совсем недавно на страницах «Комсомольской правды» описывалось даже «кресло, в котором любил сидеть Хлебников».<sup>1</sup>

В одном из новейших учебников для студентов учительских институтов Хлебников рассматривается среди тех подлинных художников слова, «остро осязающих «бедность языка» для «высказывания себя», у которых «возникает потребность в изобретении особого языка». И филолог-формалист, прославляя «порою удачное» словотворчество Хлебникова, это крайнее выражение антинародных анархо-индивидуалистических тенденций «лингвистики» футуризма, утверждает, что его поэтическая речь «творится не в отрыве от языка» и т. д.<sup>2</sup>

Нет! Легенда о Хлебникове все еще не забыта. Именно поэтому следует вскрыть ее смысл, показать ее подлинное значение.

Формалистская поэзия Хлебникова антинародна в самом полном и глубоком значении этого слова. Однако это не помешало не только литературоведам-формалистам, но и некоторым поэтам объявить Маяковского послушным учеником Хлебникова, доверявшим ему, якобы,

словно старшему брату,  
уводившему за руку  
в даль, по полям.

<sup>1</sup> А. Стороженко. Человек большой души. «Комсомольская правда», 19 марта 1948.

<sup>2</sup> А. А. Реформатский. Введение в языковедение. М. 1947, стр. 16 (тираж 55.000).

Потому-то так далеки от истины и посвященные Хлебникову строки поэмы Николая Асеева «Маяковский начинается!»:

Он был Маяковского  
лучший учитель  
и школьную дверь запахнул  
навсегда..  
А вы — в эту дверь  
напиратьте,  
стучите,  
чтоб не потерять  
дорогого следа!<sup>1</sup>

Приоткроем же объявленную такой таинственной дверь в поэзию Хлебникова.

#### 4

Однако прежде чем вступить в это формалистское святилище, нужно сказать хотя бы несколько слов о мировоззрении Хлебникова — идейной основе всех его высказываний и всех его экспериментов.

Путаное и сумбурное мировоззрение это было прежде всего открыто и, в известной мере, последовательно антимарксистским. Субъективный идеалист, солипсизм в философии, новоиспеченный пифагореец в историографии, усматривающий в историческом процессе лишь числовые, лжематематические «закономерности», анархо-индивидуалист и реакционный славянофил по своим общественно-политическим взглядам — Хлебников был враждебен марксизму.

Антимарксистские выпады проходят через все «паруса» и «плоскости» сочинений Хлебникова, начиная с его литературных дебютов 1909—1910 годов и кончая послеоктябрьским периодом.

При всем невежестве Хлебникова в области марксизма, его неприязнь к самому передовому мировоззрению прогрессивного человечества имеет свои причины. Это была неприязнь деклассированного буржуазного интеллигента к революционному пролетариату, неприязнь субъективного идеалиста — к диалектическому материализму, анархо-индивидуалиста — к классовой солидарности и железной дисциплине рабочего класса, рафинированного эстета — к эстетике подлинно народного искусства, близкого, понятного, родного миллионным массам трудящихся.

«У-у, недобрый!» — злобно говорит о марксистах «панночка» — героиня рассказа

<sup>1</sup> Н. К. Асеев. Маяковский начинается. М. 1940, стр. 27. См. также Н. Н. Асеев. Избранные стихотворения и поэмы. М. 1947, стр. 263, 265, 267, 277, 283.

«Велик день». «Отвергнувшие отвергнуты», — провозглашает по их адресу «с глухой настойчивостью» «Некий глас» в пьесе «Снежини». В «гласе» этом нетрудно узнать самого Хлебникова, ополчающего все силы природы против «марксиста», рассуждающего об орудиях производства.

В «шуточной поэме» «Внучка Малуши» Хлебников призывает сложить «радостный костер» из книг, терзающих молодежь как «свирепые вериги», — так характеризует он марксистскую литературу.

В «шестом парусе» «Детей выдры» Хлебников умудряется вложить антимарксистские речи даже в уста... карфагенского полководца Ганнибала. Последнему уже мало и костра из марксистских книг.

Давай возьмем же по булыжнику  
Грозить услугой темной книжнику, —

призывает он своего собеседника... Сципиона.

Этот «книжник» — Карл Маркс. «Ганнибал»-Хлебников заявляет, что Маркс вместе с Чарльзом Дарвиным «всему виною», ибо их «все слушают».

Итак пути какой-то стоимости  
О, слава! стой и мости, —

воскликает «Ганнибал». Драматург презрительно третирует экономический материализм Маркса, противопоставляя ему «Остров высокого звездного духа», который зовется... «Хлебников».

И такие-то антимарксистские выпады воспроизводились для всеобщего сведения в 1930 году, в сопровождении восторженных комментариев, прославлявших «большое эпическое произведение В. Хлебникова», «огромный масштаб захваченных им эпох и событий, объединенных общностью философского замысла» и т. п.

О своем развязном антимарксистском выступлении в научном обществе «Красная звезда» при Харьковском университете Хлебников с гордостью рассказывает и в одном из своих писем зимой 1920 года.

Этим, с позволения сказать, «теоретическим» воззрениям Хлебникова вполне соответствовала — за очень немногими исключениями — и его послеоктябрьская художественная практика.

Явно антисоветскими и антибольшевистскими настроениями проникнуты такие произведения Хлебникова, как прославленная формалистами поэма «Ночной обыск»,

рассказ «Малиновая шашка», «драма» «Зангези», множество стихотворений и т. д.

Утверждения «хлебниковедов» о том, что Хлебников «восторженно приветствовал Великую Октябрьскую социалистическую революцию и в последние годы жизни стремился воплотить в своем творчестве темы и переживания, рожденные революцией», глубоко «веря в творческие силы народа»,<sup>1</sup> весьма далеки от истины.

Наоборот! Для Хлебникова типично явно реакционное противопоставление своей личности освободительной борьбе народных масс.

И презрительно, высокомерно, третируя «толпу», несущую «оптом» знамена революции, Хлебников отказывался бросить «все свои права» анархо-индивидуалиста «будущему в печку», провозглашал полное отречение от участия в народной борьбе.

Можно привести еще немало аналогичных примеров, но достаточно и этих, чтобы показать, почему так усердно использовали хлебниковскую заумь идейные враги марксизма — филологи-формалисты.

Таков политический смысл легенды о Хлебникове.

Нельзя не подивиться поэтому политической слепоте некоторых наших критиков и литературоведов, которые не только всячески навязывали читателю антимарксистские воззрения Хлебникова, но и на все лады рекламировали их.

Вот, к примеру, что писал о Хлебникове осенью 1940 года Цезарь Вольпе. По мнению этого критика, мировоззрение Хлебникова, антимарксистский и антисоциалистический характер которого совершенно очевиден любому не предубежденному читателю, «должно быть охарактеризовано как своеобразный визионерский пантеистический социализм, как обращенность в будущее... которое поэт предугадывает не логической стороной своего мировоззрения, а внутренней интуицией, основанной на чувстве движения народной истории»<sup>2</sup>.

И не в меру восторженный критик разъясняет «визионерский смысл хлебниковского социализма», называет этот но-

<sup>1</sup> Н. Степанов. Велимир Хлебников. См. В. Хлебников. Стихотворения, Л. 1940, стр. IV и XIX.

<sup>2</sup> Цезарь Вольпе. Стихотворения Велимира Хлебникова. «Литературное обозрение», 1940, № 17, стр. 34.



воявленный «социализм» — «своеобразной гуманистической утопией», подчеркивает, что собственное «мировоззрение Хлебникова движется вне круга символистского идеализма»...

Трудно поверить, что все эти реакционные излияния критика, договаривающегося до противоположения «логической стороны» мировоззрения «внутренней интуиции» (разумеется, в пользу последней!) и приписывающего на этом основании идеалисту и реакционеру Хлебникову «чувство движения народной истории», высказаны не в 1910, а в 1940 году и напечатаны не на страницах «Весов» или «Аполлона», а в наиболее распространенном советском критико-библиографическом издании, предназначенном для массового читателя.

Антимарксистские «теоретические» воззрения Хлебникова нашли свое выражение и в его художественной практике, столь возвеличенной формалистами, создавшими легенду о Хлебникове, и теми, кто вслед за ними в эту легенду поверил.

На примере Хлебникова этот антинародный характер формализма выступает особенно отчетливо и резко.

Сейчас, когда партия снова разъяснила деятелям советского искусства ложность и губительность формалистического пути, когда она снова подчеркнула, что всевозможные формалистические ухищрения глубоко чужды советскому народу и его художественным вкусам, необходимо «разбить вредные, чуждые принципам социалистического реализма взгляды и теории»<sup>1</sup> не только в музыке, но и во всех родах искусства.

Легенда о Хлебникове, теория о «поэтах для поэтов» как раз и относятся к числу таких чуждых и вредных взглядов и теорий.

### 8

Поэзия Хлебникова — это, прежде всего, заумь, это культ пресловутого «самовитого» слова, нередко совершенно лишённого смысла и потому переставшего быть словом, превратившегося просто-напросто в членораздельный бессмысленный звук.

<sup>1</sup> «Об опере «Великая дружба» В. Мурадели». Постановление ЦК ВКП(б) от 10 февраля 1948 г. «Правда», 11 февраля 1948.

Поучительно, что сам Хлебников — в конце своего творческого и жизненного пути — осознал бесплодность заумничанья. «Вещь, написанная только новым словом, не задевает сознания... Итак трудя его—всуе!»—писал он в 1921 году.

Поэты-формалисты сделали из этих слов своего наставника несколько неожиданный вывод. Они начали под всевозможными предлогами включать заумь в свои стихи, написанные, естественно, не только заумно.

Какие только поводы ни находили поэты-формалисты, чтобы проташить в свои стихи истинно хлебниковскую заумь! На все лады подражали они (точнее: как бы подражали) цирковым оркестрам и джаз-бандам, духовым инструментам и цыганским хорам, щедро вводили в русский язык всяческие варваризмы.

Чекувамбир-вамбумбир,  
Вамбумбир...

Это Дмитрий Петровский сочиняет «Песню червоных (!) казаков»<sup>1</sup>.

Семен Кирсанов в своих «Опытах» придумал целую новеллу о гибели цирковой наездницы только для того, чтобы посмаковать заумные звуки. В другом стихотворении тот же поэт ополчился против чарльстона и джаз-банда, обрушивая на читателя под этим благовидным и благоназванным предлогом псевдонегритянскую заумь:

Бей в джаз-бенг — бинг  
банг — бунг  
У уэда,  
у оазиса  
Маун...  
У уэда,  
у оазиса  
Аоа...

Но ведь это не столько негритянский джаз-банд, сколько все тот же заумный Хлебников:

Моя, моя...  
Вей вай вуй! Это вихрь...

В принадлежащих Кирсанову стихах разных, а вовсе не только ранних лет, немало совершенно аналогичных примеров.

Одно из своих стихотворений, опубликованное в 1930 году, поэт назвал «—,§ №» и посвятил своей пишущей машинке. В стихотворении этом автор заявил, что

<sup>1</sup> Дмитрий Петровский. Избранные стихи, М. 1935, стр. 173.

ему милей,  
 чем лучший стих  
 (поэзия  
 нудна, как пролежень!)  
 порядок звуков  
 ИГУКЕНГШЩЭХ —  
 порядок звуков  
 ФЫВАПРОЛЫДЖ

Далее та же никелированная собеседница стихотворца говорит ему как «спасибо»:

ЯЧСМИТЬБЮ

Перед нами, так сказать, механизированная, «ундервудная» заумь. Только для того, чтобы обрушить ее на читателя, поэту понадобился весь этот «любовный мадригал» пишущей машинке.<sup>1</sup>

В своих поисках новых, так сказать, благонамеренных поводов для зауми Кирсанов не был одинок.

Гей-та гоп-та гундаала  
 Задымло дундаала  
 Прэндэ-андэ-дэнти-воля  
 Тнды? — рунды дундаала

Эта совершенно заумная для русского читателя «Цыганская рапсодия» Сельвинского и поныне сохраняется поэтом в его «алмазном фонде».<sup>2</sup> В совершенно аналогичном ей «Цыганском вальсе на гитаре» поэт, призвав себе на помощь все немудреные средства фонетической транскрипции, так передавал специфические особенности цыганского ромаса:

Ах, яночь-чи? Сонаны. Прох?ладыда  
 Здесь в аллеяях загалохше?го сады  
 И доносится толико стон? (эс) гит-та  
 рарары

Таратин?на  
 Таратина  
 тап?

Недаром Маяковский, пародируя эту новоявленную заумь, писал в своем поэтическом завещании советской литературе:

Нет на прорву карантина —  
 мандолинят из-под стен:  
 «Тара-тина. тара-тина  
 т-эн-н».<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Семен Кирсанов. Слово представляется... М. 1930.

<sup>2</sup> Илья Сельвинский. Лирика. М. 1934, стр. 87—89.

<sup>3</sup> Илья Сельвинский. Лирика. М. 1934, стр. 90.

<sup>4</sup> В. В. Маяковский. Полное собрание сочинений, т. X, стр. 200. Полемический характер этих строк, направленных против поэтов-формалистов, не понят, кстати сказать, даже многими литературоведами. Так, к примеру, комментирует их проф. Г. Винокур в своем ценном и содержательном исследовании о языковом новаторстве Маяковского, усматривая здесь типичный

Еще в 1913 году хлебниковские русалки пели:

Пиц, кац, пацу  
 Пиц, кац, паца...  
 Копоцамо, пипцо, пипца

И вот через много лет, вслед за хлебниковскими русалками, в поэме Сельвинского столь же заумно для русского уха начинают разговаривать «галчатами» сербские дети:

Врабац пипац  
 Врабац пипац  
 Да ми старац...  
 Врабца  
 Пипца  
 из боцца

Своеобразные звучания сербской речи использованы здесь лишь для формалистического эффекта. Отметим кстати, что за последнее время в стихах молодых поэтов все чаще появляются без перевода целые фразы, заимствованные из других языков. Так поступают, например, Марк Соболев с польской речью, Петр Панченко с азербайджанской и др.<sup>1</sup>

В своем «Пушторге», ничуть не уступая «симфонии для 24 труб с органом» одного композитора-формалиста, Сельвинский так описывал демонстрацию в столице:

И литавры  
 Вара-вры  
 Вара-вары  
 Варавар...<sup>2</sup>

Именно эта какофония за много лет до «Пушторга» слышалась у Хлебникова, писавшего:

Вравра, вравра!  
 Врал, врал, врал!  
 Гул гулготы. Это рокота раскат.

Но ведь такие натуралистические звукоподражания, подобные совершенно аналогичным упражнениям композиторов-формалистов, действительно напоминают не то бормашину, не то, если не «музыкальную», так поэтическую «душегубку».

Изощреннейший формализм здесь смыкается с самым что ни на есть примитивным натурализмом.

Элементы заумничанья, странное, и, разумеется, эпигонское по своей природе.

«случай, где звукоподражание функционирует, как прямая речь» (Г. Винокур. «Маяковский — новатор языка». М. 1943, стр. 112).

<sup>1</sup> «Огонек», 1947, № 52, стр. 19; «Октябрь», 1947, № 2, стр. 113—118 и др.

<sup>2</sup> Илья Сельвинский. Пушторг. изд. 2-е, М.—Л., 1931, стр. 132, 173.

тяготение к зауми сказывается и на некоторых стихотворениях поэтов последнего призыва. Так, Семен Гудзенко, словно подражая, к примеру, не столько Хлебникову, сколько Дм. Петровскому, начинает вдруг кокетничать «заумью венгерских сел...», а Николай Грибачев любоваться экзотическими наименованиями сел румынских<sup>1</sup>.

Формалистские ухищрения — вот единственная причина появления зауми в стихе, какие бы мотивировки ни измышлялись для этого стихотворцем.

Оговоримся, что, приводя и в дальнейшем изложении такие сопоставления, мы меньше всего заподозреваем некоторых поэтов в прямом литературном заимствовании у Хлебникова. Разительные совпадения между их стихами и его «творениями» вскрывают прежде всего общность формалистской эстетической базы или, по крайней мере, некоторых из ее основополагающих принципов.

Только осознав всю губительность такого родства, можно до конца преодолеть рецидивы формализма, болезни стойкой, опасной, заразной, иногда даже и эпидемической, а прежде всего социальной. Впрочем, ныне на Западе формализм меняет свою социальную базу. Из мансард он переселяется в салоны. Из недуга деклассированной мелкобуржуазной интеллигенции он становится модной болезнью самих заправил продажного и растленного искусства империализма. Именно оттуда распространяется теперь его фильтрующийся вирус.

## 6

Поэзия Хлебникова — это напряженное, искусственное, нередко совершенно извращенное, болезненное словотворчество, загромождающее поэтический язык плохо придуманными уродливыми словами, ненужными человеческой речи, засоряющими и загрязняющими ее. Свои словотворческие поиски Хлебников мотивировал... бедностью русского языка, чьи поистине неисчерпаемые словарные богатства не знают себе равных.

<sup>1</sup> Семен Гудзенко. После марша. М. 1946. См. также «Знамя», № 7, стр. 68. Николай Грибачев. Визитори, «Огонек», 1947, № 12, стр. 18.

И это снобистское отношение к великому и могучему русскому языку, языку Пушкина и Лермонтова, Некрасова и Маяковского унаследовали от Хлебникова некоторые современные поэты. Хлебников высокомерно рассуждал о русском языке. И вот уже и Сельвинскому становится «скучно творить все смиренней и смиренней на одном языке, истощенном без соли». Он

... хотел бы сказать: «Le soleil mariné»,  
А должен сказать: «маринованное солнце»<sup>1</sup>

И Сельвинский выступал «за помесь французского с нижегородским», призывал держать курс «на новый язык латинизированного разноречья».<sup>2</sup>

Именно такое презрительное отношение к родному языку наталкивает поэтов-формалистов на безудержное «словотворчество».

Одна из книг сподвижника Хлебникова, неутомимого «словотворца» Дмитрия Петровского, открывалась такой, повидимому, программной «Уставной» поэма:

Найти язык, — не растеряться.  
В то время, как века уж он, —  
Старорежимный рад стараться  
Учить словесности закон.

Мы суффиксы введем в глаголы,  
Деепричастия в предлог,  
Дабы бы не могли монголы  
Так скоро изучить наш слог.

Любопытно отметить, что эти анекдотические опасения формалистов перекликаются с воззрениями неких провинциальных «пролеткультовцев», которые договаривались в свое время до изобретения особого «пролетарского» литературного языка, не доступного буржуазным и мелкобуржуазным писателям.

Еще в 1916 году Хлебников придумывал всяческие «изморяды». В полном соответствии с ними находятся такие «экспериментальные» кирсановские неологизмы, как «пролежабль», «держабль», «диризяблик», «дирижаворонок», «дирижяблоко», «плодыни», «счастливовое дерево».

Именно от Хлебникова у кирсановской Золушки

<sup>1</sup> Илья Сельвинский. Великий океан. См. антологию «Русская советская поэзия», М. 1948, стр. 354.

<sup>2</sup> Илья Сельвинский. Пушторг, Изд. 2-е, 1931, стр. 35.

Ничегосподи нет в ларце,  
ничевоблы у ней в лотке,  
ничевоспинки на лице...

Ведь это же истинно хлебниковские:

Оияющая вольза  
Желаемых ресниц  
И ласковая дольза  
Ласкающих десниц

Ведь то самое, что Кирсанов учиняет с префиксами-приставками, Хлебников устраивал с суффиксами. Такова у него вся эта «журчалъ», «бежалъ», «стональ», «плекаль», образованная по аналогии с «печалью», все эти «родуны», «бывуны», «радуны», «ведуны», «седуны», «владуны», подражающие колдунам; все эти «сонногимечтоги в чертогах-грезогах», восходящие к «тревогам», все эти

Поюности рыдальных склонов  
Знаюности сияльных звуков  
и т. д.

И за такие-то мертвые, неуклюжие слова соратники Хлебникова объявляли его дошедшим «в своей расовой самобытности... до гениального выявления русского языка с его типическими особенностями в смысле современного понимания».¹ Эдакие «словоновшества» Хлебникова, по мнению некоторых наших не в меру восторженных критиков, «представляют собой тонкие и глубокие попытки проникновения в дух русского языка», стремления пробудить в словах «дремлющие в них образные смыслы»².

Только сугубо формалистскими воззрениями на литературу, как на арену для фокусов, а не на трибуну для воспитания народных масс, можно объяснить эти и подобные им высказывания.

Еще в 1914 году в первом томе «творений» Хлебникова фигурировали «любины», «любитени», «любеди», «люботява», «любиния», «Любрава», «Любер», «Любр» и т. д.³

Но вот через двадцать лет Кирсанов выступает со своей «Люботаникой», в которой он срывает «голубую люблилию и скромный кукушкин люблен», «пучок любарвинок и самый несчастный люблютик», вы-

ступает против «тюльпанных люблуковиц», разрывает в куски «эти люблистья и бедные люблепестки», обещает построить «чудесный люблюминг» и т. д. и т. п.

Все эти немудреные упражнения воспроизведены в книге, заманчиво озаглавленной «Но во е». Но что же нового, новаторского в этих нехитрых упражнениях на тему, заданную Хлебниковым еще в 1907 году! Ведь все это истинно-хлебниковские «любяжеские любавы и любравы любоев», «любочь любимый Любекой» или «любравствующий любравник любачеств».⁴

Именно этого обстоятельства, повидимому, не понимает молодой поэт Виктор Урин, пытающийся, по примеру своих формалистских наставников, заняться совсем уж потешным словотворчеством.

«Петуховать», «беспощадничать», «лягушечья ква-квачная вода». «П о б е д и н» — как «гордое имя» новорожденного, «Ах, Майка в майке», Киевщина, которая легла перед поэтом «не садами, а садинами», призыв к самолетам:

Очертания букв принимайте,  
пусть над миром летят  
две шестерки

бе иш  
о д р л  
«п а п а».<sup>5</sup>

Таково немудреное «словотворчество» Виктора Урина, лишь кажущееся юному автору новаторским, а на самом деле ребячески эпигонское, ибо то, что поэт совершает с помощью наборщиков в 1946 году, более трех десятилетий тому назад уже учинял в своих «продукциях» верный Санчо-Пансо все того же Хлебникова — Алексей Крученых.

Необходимо при этом подчеркнуть принципиальное отличие языкового новаторства Маяковского от «словотворчества» Хлебникова.

Количество неологизмов Маяковского никогда — даже в самую начальную пору его поэтической работы — не переходило в специфические качества хлебниковских «творений», нередко сплошь, как паутина, сотканых из неологизмов, столь же непрочных, как паучьи нити.

Неологизмы Маяковского (за ничтожными исключениями!) прежде всего понятия

¹ Василий Каменский. О Хлебникове. См. В. В. Хлебников «Творения», (т. 1, М. 1944).

² Цезарь Вольпе. Стихотворения Велимира Хлебникова. «Литературное обозрение», 1940, № 17, стр. 33.

³ В. Хлебников. Творения, т. 1, М. 1914, стр. 24—25.

⁴ В. Хлебников. Любох. Сборник «Дохлая луна», М. 1913.

⁵ Вл. Гор Урин. Весна победителей. М. 1946, стр. 62.

ны читателю. Их смысл прозрачно ясен. Они почти неизменно опираются на общенациональные формы словопроизводства. Так вслед за «кудреватыми Митрейками» в стихах Маяковского высмеиваются «мудреватые Кудрейки». Так в этих стихах поэты-формалисты «мандолинят» по аналогии со словом «барабанят». Так возникает в них «песенно-есененный провитязь», «амурно-лировая охота», «бронзы многопудье», «чахоткины плевки».

То же можно сказать и о таких неологизмах Маяковского, как «китиха», «сплошной долой», «усастый нянь», «штыкастый еж», «скрипкины речи», «идеал муссолиний», «керзонья тактика», «муссолиниться», «цеределить», «чемберлениться», как, наконец, его знаменитые, вошедшие в язык эпохи, «прозасадавшиеся» и т. д..

Глубокая национальность и потому понятность, доступность неологизмов Маяковского читателям совершенно очевидны. Как небо от земли, далеко языковое новаторство Маяковского от беспредметного словотворчества поэтов-формалистов.

## 7

«В нем нет души, но есть духи», — сказал как-то о себе Хлебников. Да, именно души — мысли, идеи, чувства не было, как правило, в его поэзии. Душу поэта заменили в ней одурачивающие читателя духи различных формалистических ухищрений.

Поэзия Хлебникова — это почти непрестанное, бесконечно утомительное словесное фокусничество, это эксперимент ради эксперимента, это замена поэзии, обращенной к народу, бесплодными лабораторными изысканиями поэта-алхимика.

Именно этой особенности хлебниковского творчества рьяно подражали поэты-формалисты.

Хлебников писал целые «поэмы» так, что их можно было читать не только слева направо, но и справа налево. Именно так, к примеру, написал его знаменитый «Разин», в котором «утро чорту», «лепет и тепел», «гор рог», «ворона норов» «рознь зорь», «ура жару» и другие столь же наивные «перевертни» изображают — по прихоти автора — то «Путь», то «Бой», то «Дележ добычи», то «Тризну», то «Пляску», то «Пытку», то какие-нибудь другие эпизоды эпопеи Разина.

Лавры Хлебникова обеспокоили его подражателей, и вот уже Сельвинский культивирует и пропагандирует по примеру Хлебникова: «обратную (палиндромическую) рифму типа

«Ворон — норов»  
«Взором — Морозов»  
«Врозь — зорь»  
(«Улялаевщина»)

«Щель — лещь»  
«бук — губ».  
(«Командарм 2»)»<sup>1</sup>

Поучительно, что поэты-формалисты смыкались здесь с Давидом Бурлюком, продолжающим эпатировать своего, теперь уже американского буржуазного читателя.

Этот старейший соратник Хлебникова писал еще в 1930 году:

Борода... а добр?  
Нет зод. Тень лоз... и порок.  
Порок... жирный короп...<sup>2</sup>

Именно хлебниковскую школу «перевертня» прошла, вслед за Ильей Сельвинским и... Давидом Бурлюком, кирсановская «Золушка», провозглашающая:

Чур меня. чур...  
Оборочу...  
ягу  
в уголь,  
каргу  
в курган...  
ужас  
в сажу

И наконец:

згарь  
в юрь.  
марь  
в гурь  
и т. д.

Золушкин «заговор» — это просто-напросто выдуманная поэтом мотивировка для «перевертня», напоминающая ту «замотивированную» заумь, о которой мы уже писали выше. Вслед за «перевертнями» позаимствованы у Хлебникова и многие другие словесные фокусы.

В 1935 году в Москве были открыты первые линии метрополитена. Вот один из наиболее своеобразных стихотворных откликов на это событие:

Малиновое «М»  
Мое метро...  
Мало местов?  
— Милые, масса места...

Поэт долго еще эксплуатирует богатства русского словаря. Когда же ему

<sup>1</sup> И. Сельвинский. Кодекс конструктивизма.

<sup>2</sup> Д. Бурлюк. Энтелехизм. Нью-Йорк 1930.

больше недостает слов на «М», он величественно заставляет «слова начинаться на букву «М»:

МЕТИ МОЕЗД МЕТРО МОД МОСТИНИЦЕЙ  
МОСОВЕТА  
МИМО МОЗДВИЖЕНКИ  
К МОГОЛЕВСКОМУ МУЛЬВАРУ!  
МОЖАЛУЙСТА!<sup>1</sup>

Что это — новаторство? Остроумное техническое изобретение? Свежая словесная шутка? Оригинальный версификаторский трюк? Ничего подобного! Ведь еще лет за пятнадцать до Кирсанова все тот же Хлебников писал:

Младенец матери мука  
Мот мощи, мот медов...  
Медовый мальчик, мышь и молот  
Медами морося во мраке.

И задолго до того, как Кирсанов «героически» заставил слова «начинаться на букву «М», именно в стихах Хлебникова раздавался не благовест, а «моговест мощи», шагал не богатырь, а «могатерь», действовал не силач, а «могач», прославлялись «могровые очи, могатые мысли, могобные брови» и т. д. Столь же подражательны и многочисленные аналогичные эксперименты в стихах Сельвинского.

В одном из написанных за годы Великой Отечественной войны «Сказов» Леонида Мартынова немецкий фашист:

Смеется  
Гордым смехом  
Превосходства не тая!  
— Долихо —  
Хо!  
Хо!  
Хо!  
Я — ха-ха-ха!  
Це-фал!

Зловредный фашист, сам того не ведая, пародирует все того же Хлебникова, закончившего свою поэму «Прачка» таким аккордом:

Что варишь,  
Товарищ?  
Из аха и уха  
Уху  
Добавь сюда:  
— Эх!  
— Их!  
— Ох!

Для Хлебникова характерно незатейливое пристрастие к игре слов, искусственному нанизыванию омонимов, к тяжеловесным каламбурам. В годы гражданской войны он писал:

«Орлы в Орле» — «Крошу Шкуру»  
Легли, разбиты, шкурой мамонта  
Шкуро и Мамонтов.

<sup>1</sup> Семен Кирсанов. Новое. М. 1935, стр. 92—93.

Прошло несколько лет, и в полном соответствии с первоисточником Кирсанов описывал, как красноармейцы

В петлю Петлюру всадили точно  
В Махно махнули, задрали Шкуру  
И вот затюкан Тютюник прочно.

Это явно унаследованное от Хлебникова чрезмерное влечение к каламбурам все и поныне не преодолено поэтом до конца. Так, в своих «Стихах войны», собранных воедино в 1945 году, Кирсанов целое стихотворение о победоносном наступлении советских войск превращает в нагромождение омонимов, повествуя о бойце, который «наступает на врага», «наступает сапогом» на всякую нечисть, «наступает так, что «долгожданный рассвет наступает» и т. д.

Наступенье — ты потепленье (?)  
исцеление родины пленной (?)  
Наступление — испеленье...<sup>1</sup>

На такой игре в слова построено все стихотворение, звучащее явным диссонансом среди таких прекрасных образцов военной лирики поэта, как его стихи: «Горсть земли», «Дети», «Сын и отец», «Два дуба», «Вчера в Москве», «Болотные рубежи», «Завещание» и многие другие.

Подражают Хлебникову и другие современные стихотворцы. Так, в одном из недавних поэтических сборников мы читаем, что некоей «малиновой ранью»

Лебеди плывут над Лебединью  
А в Медыни золотится мед.  
Птица-Скопа кружится в Скопице,  
А в Серпейске ржавой смерти ждет  
Серп горбатый в дедовском овине.

Это уже не Хлебников и не Кирсанов, а Сергей Марков забавляется плохонькими каламбурами<sup>2</sup>.

К Хлебникову восходят и практикуемые многими поэтами-формалистами всевозможные ухищрения рифмовки. Для Хлебникова весьма характерны строки, в которых

Пли по  
Глазам мостовой  
Шляпы.

Особенно часто прибегал в свое время к такому приему Семен Кирсанов, писавший, например, в стихотворении «Крым-шоссе»:

И в то авто  
я вто-  
пан...

<sup>1</sup> Семен Кирсанов. Стихи войны. М. 1945, стр. 35, 45, 77 и др.

<sup>2</sup> Сергей Марков. Радуга-река. М. 1946, стр. 115.

Но вот уже не Хлебников и не Кирсанов, а совсем молодой поэт А. Мышкин пишет в стихотворении «Март»:

— Начинаем!  
 март рукой мах-  
 ну л. Приказ его прим! —  
 В министерствах и райкомах  
 Гулко хлопает дверьми!<sup>1</sup>

«Р у к о й м а х»... — «р а й к о м а х», — чем отличается такая вычурная, плохо придуманная рифма от хлебниковского «шли по — шляпы».

Редакция журнала, опубликовавшая это стихотворение, напрасно, так сказать, «рукой мах — нула» на эстетическую требовательность к молодым поэтам, воскрешающим худшие технические приемы формализма, приносящего в жертву претенциозной «небывалой» (хотя бы и очень скверной!) рифме, тому самому «рифматизму», над которым посмеивались уже сами футуристы, смысл стихотворной строки.

Все эти, и многие подобные им формалистские трюки нередко заимствованы у Хлебникова или эпигонски продолжают бесплодное экспериментаторство его подражателей. Так мнимое новаторство снова оказывается самым заурядным эпигонством...

Легенда о Хлебникове — это легенда о гениальном новаторстве, опрокидывающем все старые традиции литературы. Создатели и распространители этой легенды забывают, что новаторство, как метко сказал А. А. Жданов в своем недавнем выступлении на совещании деятелей советской музыки, «отнюдь не всегда совпадает с прогрессом», ибо нельзя называть подлинным новаторством «всякое оригинальничание, всякое кривляние и вихляние...»<sup>2</sup>

Именно таким кривлянием были и остаются всевозможные технические ухищрения поэтов-формалистов.

— Кой-кого треплет лихорадка, — говорил о них в свое время М. И. Калинин, — обязательно надо им и исковеркать, и слова какие-то вертлявые придумать. Что Пушкин! Что Лермонтов! Очень уж обыкновенно и просто, в зубах навязло... Ну-ка, закрутим и запутаем по-чудному, чтоб спанталыку читателя сбить. Читаю и не

понимаю, а если и понимаю, то злюсь и протестую. Так было, когда я символистов да футуристов читал. Не понимаю! А ведь, поди-ка, авторы-то думают, что они оригинальные новаторы... Но ведь ни капли у них нет искреннего чувства — всё от фокусов, от притворства, от формалистической игры... Этаким новатор начнет уродовать слова да нагромождать в одну кучу — и такой кавардак в глазах и в голове, что хочется отчураться и окна настежь открыть. Создается мода, а неустойчивые даровитые люди слепо подражают ей, и вот глядишь — дарованья-то и вянут. А творить — значит петь своим голосом. Быть самим собой — значит идти своей дорогой, а не плестись в хвосте, не напяливать на себя плаща с чужого плеча. Ничего нет противнее позы, вывертов, фиглярства в поэзии, в искусстве...!

## 8

«Хлебниковым был разрушен впервые мелодийный канон в поэзии...», — восторженно отмечал Николай Асеев<sup>2</sup>.

Поэзия Хлебникова — это разрушение музыкальности и ритмичности поэтической речи. Подобно композиторам-формалистам, изгнавшим из своей музыки мелодию и заменившим ее какофоническими сочетаниями звуков, Хлебников разрушал обычные метры, тающие в себе неисчерпаемые возможности ритмической выразительности. Он искал нарочито затрудненные ритмы, далекие как от поэтической, так и от обычной разговорной речи, напоминающие полубредовое бормотание душевно больного.

Зарошь  
 дебошь  
 ворошь  
 студошь  
 жарошь  
 сухошь  
 мокошь  
 темошь, —

писал Хлебников. В его «стихах» ревел

отец  
 о тех  
 и стан ее  
 уже  
 наг  
 и та уже  
 жена

<sup>1</sup> «Смена», 1947, № 3, стр. 5.

<sup>2</sup> Сборник материалов «Совещание деятелей советской музыки в ЦК ВКП(б)», М. 1948, стр. 140—141.

<sup>1</sup> См. Ф. Гладков. О Михаиле Ивановиче Калининне. «Новый мир», 1946. № 7—8, стр. 189.

<sup>2</sup> Николай Асеев. Дневник поэта. Л. 1929, стр. 138.

Поэтам-формалистам чрезвычайно понравились хлебниковские двухсложники и односложники, лишаящие стихотворный ритм даже отдаленного сходства с нормальной человеческой речью, немислимой без чередования ударных и безударных слогов.

Приведем несколько примеров, показывающих, как назойливо однообразно такое формалистское шукарство. Перед нами, так сказать, трафарет, штамп «новаторства», как ни противоестественно сочетание этих слов.

Вот, к примеру, у Семена Кирсанова в очередном стихотворении-упражнении на заданную версификаторскую тему, а «повести» «Шахта № 1», посвященной социалистическому соревнованию шахтеров читатель обрушивается

в —  
мрак,  
стынь,  
глубь,  
вниз,  
в ночь,  
в ствол,  
в гул,  
вниз...

От современной поэтической повести читатель переходит к философской, в некотором роде, поэме «Золотой век», и снова:

Жар.  
Суть.  
Тишь.  
дюн...  
Пыль  
с губ  
лишь  
дунь!

Не изменил Кирсанов этому, ставшему уже трафаретным, приему и в своем «Небе над Родиной»:

Крыть!  
Грызть!  
Бить!  
Мять!  
Взять!  
Сбить!  
Гнать!  
Гнать!  
Страх  
Лють!  
Боль!  
Смерть!  
Furecht!  
Blut!  
Tot!  
Schmerz!

Так говорят в «драматической поэме» Кирсанова немцы.<sup>2</sup> Но точно таким же

<sup>1</sup> С. Кирсанов. Тетрадь 1932, М. 1933, стр. 33—34 и 55.

<sup>2</sup> «Октябрь», 1947, № 8, стр. 78—79.

ритмическим аккордом заканчивается вся поэма:

Свет  
призм,  
вслед  
брызнь,  
дождь,  
вниз,  
в рождь  
в жизнь!<sup>1</sup>

Но ведь перед нами уже не немцы, а дождевые капли, символизирующие в поэме силу жизни!

Одними и теми же ритмическими средствами поэт оперирует и в философской поэме, и в повести о современности, и в сатирических, и в трагических эпизодах своих произведений. Одни и те же средства использует он, и клеймя зло и восхваляя благо. Не ясно ли, что здесь формальный момент несколько не подчинен смыслу, замыслу, а приобрел совершенно самостоятельное, самодовлеющее значение. Но ведь это же и есть формализм!

Сторонники односложников могут сослаться, конечно, на «Наш марш» Маяковского, в котором тоже:

Дней бык пер  
Медленна лет арба.  
Наш бог бег  
Сердце наш барабан

Но ведь это не столько «Наш марш», сколько «Марш футуристов», опубликованный впервые 15 марта 1918 года в «Газете футуристов» и перепечатанный через год, как раз под этим заглавием, Давидом Бурлюком в одноименной томской газете. Именно от футуризма пришли в эти стихи Маяковского такие аграмматические да, по существу, и логические обороты, как строки: «Есть ли наших золот небесней?» или «Видите, скушно звезд небу!». Именно от футуризма с его теорией «звуковых повторов» здесь так навязчива аллитерация.

Недаром эти стихи так не понравились Ленину, что он некоторое время даже шуточно называл Маяковского автором «Их марша».

Великий поэт вскоре окончательно перешел на позиции социалистического реализма, а его бывшие спутники — формалисты тщетно пытаются законсервировать рецидивы футуризма в его раннем послеоктябрьском творчестве. Споры нет, с односложниками мы изредка встретимся и в других произведениях Маяковского, но то будут

<sup>1</sup> «Октябрь», 1947, № 8, стр. 92.



марши, в которых к ритму приспособлен «такт ноги», а вовсе не лирические пейзажи, как например у Каменского, философские поэмы, как у Кирсанова, или просто-напросто совершенно бесцельные ритмические упражнения самого Хлебникова...

## 9

Стиль Хлебникова—это нарочитая усложненность ассоциаций, это путанный для самого поэта шифр, искусственная затрудненность поэтической речи.

Один из основоположников русского декаданса как-то признался в минуту откровенности, что можно говорить о понятном понятно, о непонятном — непонятно, о непонятном — понятно, и, наконец, о понятном — непонятно. Вот именно этим последним способом и написана преобладающая часть хлебниковских стихов.

Недаром он еще в 1910 году задумывал произведения, «где права логики времени и пространства нарушались бы столько раз, сколько пьяница в час прикладывается к рюмке». Недаром он всячески восхвалял... опечатки.

«Вы помните, какую иногда свободу от данного мира дает опечатка, — писал он в 1920 году. — Такая опечатка, рожденная несознанной волей наборщика, вдруг дает смысл целой вещи и есть один из видов соборного творчества и поэтому может быть приветствуема, как желанная помощь художнику».

И здесь, вслед за Хлебниковым, выступают поэты-формалисты. Они подобно Хлебникову «с жадной надеждой» кидаются «на буквы, рыща таких же ценных ошибок».

Мнимая значительность, «непонятное о понятном» — отличительные особенности формализма, который искажает, зашифровывает действительность, а не отражает и образно обобщает ее. И вот уже не Хлебников, а Заболоцкий различает «только знаки домов, растений и собак».<sup>1</sup>

В прежних стихах Заболоцкого самый заурядный бык описывался как «на четырех ногах большое существо».

Нет, недаром, как признавался сам поэт в стихах, озаглавленных «Вчера, о смерти размышляя...», для него «птицы Хлебникова пели у воды».

<sup>1</sup> Н. Заболоцкий. Вторая книга. Л. 1937, стр. 9.

Только распрощавшись с этими птицами, поэт начал за последнее время выходить на реалистическую дорогу.

Истинно хлебниковской мнимой многозначительностью проникнуты многие стихи Пастернака, в которых

... в Начале  
Плыл Плач Комариный Ползли Мураши  
Волчцы по Чулкам Торчали.

И напрасно воскрешает эту старинную пастернаковскую интонацию Павел Антокольский в своем «Путевом журнале», записи которого опубликованы недавно на страницах «Огонька».

«Рождается песня. И к людям. Приходит. Помочь.» — пишет поэт в одном из стихотворений о Ленинграде. В другом стихотворении «Концерт в Киеве»:

Скрипичные вихри, свиваясь жгутом,  
Полосуют толпу, как попало!  
Чтобы помнила все! Навсегда.  
И не смела Забвеньем Хвалиться!  
Только памятью. Вечной. Горда!<sup>1</sup>

Странные интонации, чуждые нормальной человеческой речи, совершенно загадочные для читателя ассоциации, понятные лишь поэту и его узкому кружку, типичны для поэтов-формалистов. И здесь повторяются даже не Хлебников, а самые первые опыты русского декаданса, восходящие к концу прошлого столетия.

Тень несозданных созданий  
Кольхается во сне,  
Словно лопасти латаний  
На эмалевой стене. —

писал Брюсов в «Русских символистах». Чего-чего только не вкладывали восторженные истолкователи в эти строки! На самом же деле в них вполне реально описана одна из комнат дома Брюсовых, в кафелях больших голландских печей которой отражались лапчатые тени больших латаний, стоящих у окон<sup>2</sup>.

Загадочное сравнение, в котором критика отыскивала тайный сокровенный смысл, оказалось заурядной натуралистической подробностью домашнего быта поэта, вполне неизвестного читателям. Сколько же таких натуралистических деталей зашифровано в стихах поэтов-формалистов!

<sup>1</sup> «Огонек», 1947, № 51, стр. 22—23.

<sup>2</sup> См. Валерий Брюсов в автобиографических записях, письмах, воспоминаниях современников и отзывах критики. М. 1929, стр. 87.

«И чем случайней, тем вернее слагаются стихи навзрыд», — заявляет Борис Пастернак.

В этом двустишии, демонстративно открывающем собой, кстати сказать, последнее издание избранных произведений его автора,<sup>1</sup> довольно точно сформулирован один из самых основных принципов поэтики Хлебникова и его последователей. Как бы ни были различны по своей манере, лексике и фразеологии, ритму и синтаксису Хлебников и, скажем, Пастернак, их объединяет нечто общее. Это общее — импрессионистская случайность поэтических ассоциаций, подчиненность стиха внешней звуковой форме.

Слепо повинаясь именно таким фонетическим ассоциациям, Хлебников пишет «протени и притоны», призывает: «Трата в труд и трение, геките из озера три». Именно по этому, по мнению Хлебникова,

Война и меч, вы часто только мяч  
Лаптою занятых морей.

Вот типичные для Хлебникова строки:

С коз  
Буду писать сказ...  
Усталый устами  
А ветер  
Он вытер...  
Ветер утих И утих  
Вечер утех  
У тех смелых берег  
О милой смолой...

Как постыдно для поэта такое рабское преклонение перед звуковой формой. Но именно это и составляет, оказывается, предмет гордости поэтов-формалистов!

... в нем увлекательна линия ассоциаций,  
Поразительная неестественность их, —

писал Сельвинский в стихах героя своих «Записок поэта».<sup>2</sup>

Но вот как чужеродны те же фонетические ассоциации в поэме Семена Кирсанова э... Марксе:

У Маркса был  
мпроиздание ум,  
уйма ума  
и если б не умер — —

<sup>1</sup> Борис Пастернак. Избранные стихи и поэмы. М. 1945, стр. 5.

<sup>2</sup> И Сельвинский И. Заявки поэта. М.—Л. 1928, стр. 53.

весь СССР,  
как студент МГУ,  
одавал бы зачеты  
Марксовой думе.<sup>1</sup>

Известную дань воздает поэт этому принципу формализма и в поэме «Небо над Родиной», где, скажем, остаются

трупы после их тропы.<sup>2</sup>

От Хлебникова пришли в стихи Леонида Мартынова такие формалистские строки, как, скажем, «Те девы-Евы чрева королевы» и т. д.<sup>3</sup>

Ничем не отличается это поэтическое чревоуветствие от воспроизведенных на страницах только что вышедшей поэтической антологии стихов Михаила Зенкевича:

Мороз... мороз...  
Морозило сто лет... сто лет...  
Мир рос... мир рос...  
Сто лет... сто лет...  
Мороз, и обморок, и морок...  
Мороз и сумерка... он умер...<sup>4</sup>

«Простирая «прости» грая, я вран врат влатых весной», — писал Хлебников.

Истинно хлебниковские назойливые фонетические ассоциации превращают в форменный ребус и многие стихи Бориса Пастернака:

В эмали — луг. Его лазурь  
Когда бы зябли, — соскоблили,  
Но даже зяблик не спешит  
Страхнуть алмазный хмель с души.<sup>5</sup>

«На мой взгляд — плохо, — писал в 1922 году о подобных стихах Горький, — когда человек, поддаваясь нервной и пошловатой суеде будних дней, начинает говорить ее трепанным языком. Если кажется, что это своеобразно и ново, то — по существу — это распыление души»<sup>6</sup>.

Борис Пастернак напрасно не прислушался к этому предупреждению великого писателя. Наоборот, он провозгласил в своих стихах эстетические принципы прямо противоположные горьковским:

<sup>1</sup> С. Кирсанов. Товарищ Маркс. М. 1933, стр. 20.

<sup>2</sup> «Октябрь», 1947, № 8, стр. 70.

<sup>3</sup> Леонид Мартынов. Эрдцинский лес. Омск. 1946, стр. 37 и др.

<sup>4</sup> «Русская советская поэзия», М. 1948, стр. 224—225.

<sup>5</sup> Борис Пастернак. Избранные стихи и поэмы М. 1945, стр. 49

<sup>6</sup> Цит. по книге Б. Бялика «О Горьком». М. 1947, стр. 241.

Поэзия, когда под краном  
Пустой, как цинк ведра, трюизм,  
То и тогда струя сохранна.  
Тетрадь подставлена. — струись!

Эти строки, страшные своей идейной опустошенностью, своей воинствующей безидейностью, написаны в 1922 году. Но их настойчивое повторение во многих последующих сборниках поэта превращает их в поныне незабываемое «кредо», в символ веры формализма, для которого идеи ничто перед звуками, содержание рабски подчинено форме.

## 11

Поэзия Хлебникова — это нигилистическое отрицание классического наследия, всех завоеваний и достижений предшествующей поэтической культуры. Особенно показательным в данной связи отношение Хлебникова к Пушкину, этой донныне непревзойденной вершине русского поэтического искусства.

«Пушкин, — писал Хлебников, — изнеженное перекаати-поле, носимое ветром на-слаждения туды и сюды». Назойливо призывал он современников сбросить «вязанку прошлого (Толстых, Гомеров, Пушкиных)». «Пушкин нам жалок», — высокомерно заявлял Хлебников. Пушкин, по его мнению,

лягушкой квакает  
В болотах Евгения-Онегина.

Простота и ясность пушкинского стиля, чудесный, нерушимый пушкинский союз «волшебных звуков, чувств и дум», идейность, историчность пушкинского творчества, его глубокая народность — всему этому Хлебников был органически враждебен.

Вот почему совершенно несостоятельно утверждение «хлебниковедов» о том, что Хлебников, якобы, «более чем все другие русские поэты XX века связан с культурой классического стиха».<sup>1</sup>

Друзья и последователи Хлебникова всячески подчеркивали свою ненависть к классическому, особенно пушкинскому, наследию. Стоило Хлебникову в одном из своих черновиков обмолвиться строчкой: «глаза казни», как кликушествовавшие «друзья» возопили: «Глаза казни — это идет из чистейшего ощущения русского эпоса.

<sup>1</sup> Н. Харджиев. Велимир Хлебников. «Литературная газета», 27 октября 1945.

Это национальней всего Пушкина»<sup>1</sup>. Не удивительно, что автор этих строк — Юрий Олеша — сам эпигонски подражал хлебниковской прозе.

Неприятие Пушкина объединяет Хлебникова и с некоторыми другими поэтами.

Так, в 1933 году Сельвинский саркастически признавался читателю о своей «мечте» стать

Вяловато-съедобным, как слива.  
Тепловатым, как пушкинский стих.<sup>2</sup>

Глаголом жгущий сердца людей огненный пушкинский стих формалистовавший поэт объявлял «тепловатым»!<sup>3</sup> А ведь такие рецидивы футуристского нигилизма, к сожалению, не единичны.

«... Люблю стихи Хлебникова больше Пушкина», — писал в свое время Николай Асеев, писал давно — в январе 1917 года. Но именно этими словами открывал он двенадцать лет спустя свой «Дневник поэта».<sup>4</sup> Былой футуристский эпатаж приобрел здесь уже прочность предрассудка. Легенда о Хлебникове пустила уже глубокие корни в сознании самих ее создателей. В те годы Маяковский совсем по-иному относился к классическому наследию. Еще весной 1924 года он, ссылаясь на «Евгения Онегина», над которым всячески издевался Хлебников, призвал «учиться этим максимально добросовестным творческим приемам, которые дают бесконечное удовлетворение и верную формулировку взятой, диктуемой, чувствуемой мысли».

«Конечно, мы будем сотни раз возвращаться к таким художественным произведениям, — заявил тогда Маяковский, — и даже в тот момент, когда смерть будет накидывать нам петлю на шею, тысячи раз».

Еще через несколько лет Маяковский восторженно характеризует Пушкина как прекраснейшего, гениальнейшего, величайшего выразителя поэзии своего времени, как «наиболее замечательнейшего за все время существования России поэта».

<sup>1</sup> См. «Неизданный Хлебников», вып. XIX, М. 1930, стр. 13.

<sup>2</sup> И. Сельвинский. Лирика. М. 1934.

<sup>3</sup> См. «Неизданный Хлебников», вып. XIX, М. 1930 стр. 13.

<sup>4</sup> Николай Асеев. Дневник поэта. Л. 1929. стр. 8.

В послеоктябрьские годы Маяковский быстро преодолел свои былые футуристские заблуждения по отношению к классическому наследию. И здесь позиция великого поэта была прямо противоположна позиции Хлебникова и других формалистов, попиравших лучшие традиции классики, отвергавших их, «как якобы «устаревшие», «старомодные», «консервативные».<sup>1</sup>

12

И, наконец, поэзия Хлебникова — это поэзия поэта-индивидуалиста, для которого единственно реальная действительность — его собственный внутренний мир, единственная подлинная ценность — собственное дарование.

Поэзия Хлебникова — это претенциозное гениальничание литератора, не признанного народом, бесконечно далекого от него. И эта последняя по счету, но, быть может, первая по важности особенность в разной, конечно, степени унаследована иными поэтами.

Гениальничание было своеобразной религией Хлебникова. «Художникам будущего» он завещал «смотреть на себя как на небо и вести точные записи восхода и захода звезд своего духа».

Мой белый божественный мозг  
Я отдам, Россия, тебе,  
Будь мною, будь Хлебниковым, —

писал он уже в послеоктябрьские годы.

Я был единственной скважиной,  
Через которую будущее падало  
В России ведро, —

писал Хлебников незадолго до кончины.

«Долой литераторов-сверхчеловеков!» — гласит принцип большевистской партийности. Хлебников и некоторые из его последователей как раз и изображали себя на все лады именно такими «сверхчеловеками».

Обращаясь в 1934 году к советским читателям, Василий Каменский весьма скромно относил себя к числу «гениальных детей современности».<sup>2</sup>

Я чувствую в себе чужое тело  
Гения невероятной мощи.  
Надевшего меня, как брюки. —

<sup>1</sup> «Об опере «Великая дружба» В. Мурадели». Постановление ЦК ВКП(б) от 10 февраля 1948 г. «Правда», 11 февраля 1948.

<sup>2</sup> Василий Каменский. Избранные стихи. М. 1934, стр. 15—16.

столь же скромно признавался Сельвинский в своих «гимназических стихах», отнесенных автором, правда, к 1919 году, но зато опубликованных для всеобщего сведения ровно через десятилетие и повторенных еще много лет спустя!<sup>1</sup>

Эта грагикомическая поза казалась давно преодоленной поэтом, и вдруг снова — осенью 1943 года, над групами заживо погребенных в Аджимужайских каменоломнях героев Отечественной войны, Сельвинский произносит «Сонет», в котором, обращаясь к самому себе, как к «бедному гению» «печальному одному и нелюдиму», заявляет:

Попрежнему ты к вечному стремишься!  
Пускай тебя не покидает мысль  
О том, что отзвук из грядущих далей —  
Тебе нужней и лавров и медалей.<sup>2</sup>

Эта поза «бедного гения», не понятого современниками и возлагающего потому большие надежды на потомков, неожиданно объединяет Сельвинского с теми композиторами-формалистами, которые тоже ведь исповедывали «теорию» о том, что их чуждые народу произведения будут поняты и оценены по заслугам через «сто поколений».

В сонете Сельвинского выражена в поэтической форме та самая гнилая «теория», по которой, — как отмечается в недавнем постановлении ЦК, — «непонимание музыки многих современных советских композиторов народом объясняется тем, что народ якобы «не дорос» еще до понимания их сложной музыки, что он поймет ее через столетия...»<sup>3</sup>

Отмечая непонятность стихов Хлебникова для читателя, один из критиков называл в 1940 году чрезвычайно глубокой мыслью о том, что Хлебников «еще слишком сложен, слишком впереди своей литературной эпохи и что его поэзия найдет читателя только через несколько десятков лет».<sup>4</sup>

<sup>1</sup> И. Сельвинский. Лирика, 1937, стр. 18.

<sup>2</sup> И. Сельвинский. Крым—Кавказ—Кубань. М. 1947, стр. 177.

<sup>3</sup> «Об опере «Великая дружба» В. Мурадели». Постановление ЦК ВКП(б) от 10 февраля 1948 г. «Правда», 11 февраля 1948.

<sup>4</sup> Цезарь Вольпе. Стихотворения Велимира Хлебникова. «Литературное обозрение». 1940, № 17, стр. 33.

Так смыкаются воззрения поэтов и критиков-формалистов.

«Такие рассуждения, — говорил недавно А. А. Жданов в своем выступлении на совещании деятелей советской музыки в ЦК ВКП(б), — означают отрыв от народа. Если я — писатель, художник, литератор, партийный работник — не рассчитываю, что меня поймут современники, то для кого же я живу и работаю? Ведь это же ведет к душевной пустоте, к тупику».

Народность искусства — в смысле не только его идейной близости, но и доступности, понятности многомиллионным массам — таков важнейший критерий эстетики социалистического реализма. То, что говорил А. А. Жданов, прекрасно выражая точку зрения большевистской партии о музыке, может быть с полным основанием применено ко всем другим родам искусства и в их числе к советской поэзии. Эстетика социалистического реализма оценивает талантливость любого произведения искусства, — как говорил А. А. Жданов о музыкальных произведениях, — «тем, насколько оно глубоко отображает дух нашей эпохи, дух нашего народа, насколько оно доходчиво до широких масс». Гениальное в искусстве — это поистине «совсем не то, что могут оценить только кто-то один или небольшая группа эстетствующих гурманов». Произведение искусства «тем гениальней, чем оно содержательней и глубже, чем оно выше по мастерству, чем большим количеством людей оно признается, чем большее количество людей оно способно вдохновить. Не все доступное гениально, но все подлинно гениальное доступно, и оно тем гениальнее, чем оно доступнее для широких масс народа».<sup>1</sup>

Непонимание этого и есть едва ли не основная причина творческих кризисов поэтов-формалистов, а подчас и подлинных катастроф.

По-хлебниковски назойливый эгоцентризм слышится и в стихах Бориса Пастернака:

Я — черная точка дурного  
В валившихся хлопьях хрюшного.  
Я — пар отстучавшего града прохладой  
В исходную высь воспаряющий Я —  
Плодовая падаля отлавная едлу  
Все счеты по службе, всю сладость и яды...  
Я — мяч полноглазья и яблоко лада.  
Вы знаете, кто мне закон и судья.

<sup>1</sup> Сборник материалов «Совещание деятелей советской музыки в ЦК ВКП(б)». М. 1948, стр. 143.

И разве не подражает формалистской поэзии Леонид Мартынов, возжелавший «иметь такое око, какое око у порока» и провозгласивший:

Я здесь. Я — в былом. Я — в грядущем.  
Я всюду! Я буду веаде!<sup>1</sup>

Но для Хлебникова характерна поза не только гениальничающего поэта, но и последовательного индивидуалиста, отрешенного от быта, от мира, от действительности, ушедшего целиком в себя. Хлебников, действительно, «отменно не был похож», по его собственному выражению, «на общий люд» И эти черты его поэтической физиономии имеют, оказывается, своих подражателей. Так, к примеру, почти по-хлебниковски убеждает Леонид Мартынов своих читателей, что его герой

скороходу подобный, на вас не похожий,  
тот прохожий, который стеснялся  
в прихожей.<sup>1</sup>

И Мартынов противопоставляет поэтическую мечту своего героя о «Лукоморье» прозаической действительности:

За стеной толковали:  
— А?  
— Что?  
— Лукоморье?  
— Мукомолье?  
— Какое еще Мухоморье?  
— Да о чем вы толкуете? Что за история?  
— Рукомойник? В исправности.  
— На пол не лейте!  
— Погодите — в соседях играют на флейте!

Именно так противопоставлял Хлебников мирок своих фантазий действительному миру борьбы и труда.

## 13

Два десятилетия тому назад один из собирателей и исследователей творчества Хлебникова уверенно предсказывал, что этому поэту «еще предстоит его литературная миссия и позднее признание».

Прошло ровно двадцать лет, и пророчество это не оправдалось. Да оно и не могло осуществиться!

«Я чувствую гробовую доску над своим прошлым, — писал 7 декабря 1921 года Хлебников. — Свой стих кажется чужим».

<sup>1</sup> Леонид Мартынов. Эрцинский лес Омск. 1946, стр. 46, 91.

<sup>2</sup> Леонид Мартынов. Лукоморье. М. 1946, стр. 8.

Сам поэт начинал осознавать порочность избранного им творческого пути, но вскоре после этого признания жизнь Хлебникова оборвалась.

В наши задачи не входит анализ особенностей столько же путаного, сколько и реакционного мировоззрения Хлебникова, представляющего собой совершенно хаотическую смесь идеалистической мистики с анархической утопией. Было бы бессмысленно говорить всерьез о том, что еще Горький охарактеризовал, как бред графомана. Наши заметки посвящены не Хлебникову, а «х л е б н и к о в щ и н е», не самому поэту, а легенде о нем.

Один из теоретиков формализма назвал влияние Хлебникова ферментирующим<sup>1</sup> Fermentum по-латыни — это «закваска». Ферментами принято называть органические вещества, способные ускорять химические реакции, лежащие в основе жизнедеятельности организма. Хлебниковское влияние никогда не было органичным. Оно никогда не способствовало жизненному развитию советской поэзии. Наоборот! Бесплодное хлебниковское экспериментаторство лишь отравляло поэтов формалистским ядом. Вот почему наивны, а, быть может, и лицемерны призывы «друзей Хлебникова», подобные, к примеру тем, с которыми выступил в 1930 году Юрий Олеша. «Молодой писатель, мечтая о новой русской прозе, не должен продолжать традиции так называемой великой русской литературы, — писал он тогда в своем предисловии к хлебниковскому «Зверинцу», — этот соблазн губителен, и горе тому, кто поддается вышеуказанному соблазну». Как утверждал тогда Олеша, «поэзия начинается галлюцинацией» Претенциозную прозу Хлебникова он охарактеризовал как «образец умения изображать», как непревзойденный шедевр, как доподлинную «академию для прозаиков».

«Пролетарские писатели призывают своих последователей учиться у классиков: Тургенева, Толстого. Ложь! Гибель! Только у Хлебникова!» — писал Олеша.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Ю. Тынянов. О Хлебникове. См. Собрание произведений Велимира Хлебникова, т. I, стр. 22.

<sup>2</sup> В. Хлебников. Зверинец. Изд. «Группы друзей Хлебникова», М. 1930, стр. 3—4.

Хлебников — как заменитель Толстого, Тургенева, чуть ли не всей русской классики! Сам писатель последовал своему призыву, и не здесь ли коренится одна из причин того затяжного творческого кризиса, в котором он оказался.

За три десятилетия своего существования советская поэзия прошла огромный путь. Былые формалистские увлечения в значительной (хотя еще далеко не окончательной!) степени преодолены и Асеевым, и Кирсановым, и Сельвинским, и Заболоцким и многими другими поэтами, создавшими немало ценных произведений. Но книги, даже старые, полузабытые подчас самими авторами, книги имеют, как известно, свою судьбу. К ним не критически обращается поэтическая молодежь. С полок библиотек они попадают к читателю. Вот почему в своих заметках мы обращались не только к новейшим, но и к прежним книгам ряда поэтов, кажущимся неискушенной поэтической молодежи вершинами мастерства, а на самом деле демонстрирующим косное и консервативное эпигонство.

У формалистской поэзии немало общего с формалистической музыкой. Стихи поэтов-формалистов, подобно произведениям формалистов-композиторов, нередко столь же сумбурны и дисгармоничны, построены на сплошных ритмических диссонансах, на режущих слух звуко сочетаниях. Они тоже нередко совершенно чужды нормальному человеческому слуху и так же угнетающе действуют на читателей, как формалистская музыка на слушателей. По примеру композиторов-формалистов, последователи формализма в поэзии в погоне за ложной «оригинальностью» пренебрегают лучшими традициями классического искусства—его идейностью, народностью, изящной, красивой и ясной формой.

Формалистическое направление — антинародно. Формалистический путь — ложен и губителен для творчества.

Эти предупреждения партии композиторам-формалистам имеют самое прямое и непосредственное отношение к рецидивам формализма в литературе. Ведь сурово осужденные в постановлении Центрального Комитета «субъективизм, конструктивизм, крайний индивидуализм, профессиональное

усложнение языка»<sup>1</sup> имели своих носителей и в советской поэзии.

Необходимо отметить, что в отличие от музыки, где господствовали вплоть до самого последнего времени композиторы-формалисты, в советской поэзии формализм никогда не был преобладающим течением. «Имажинисты», «ничеговики», «фуисты», «оригиналисты», «конструктивисты» и прочие формалистические школы послеоктябрьских лет давно уже стали достоянием литературных архивов. Но формализм нужно преодолеть до конца, проследить его до источника, до корня. Хлебников и его наследие — один из самых главных источников поэтического формализма.

Отметим при этом, что Хлебников в своем экспериментаторстве нередко повторял формальные, особенно аллитерационные, ухищрения таких декадентов, как, к примеру, Бальмонт. Мы остановились на наследии Хлебникова лишь потому, что им формализм доведен до крайности, до абсурда.

Само собой разумеется, что, выступая против формализма, мы меньше всего ополчаемся против подлинного новаторства, против поисков новых форм, способных наиболее ярко и художественно-совершенно отразить новое содержание.

Осуждая уродливые неологизмы, вычурные аллитерации, замысловатые рифмы и другие формалистские ухищрения, мы отнюдь не покушаемся ни на языковое новаторство, ни на звучность стиха, ни на поиски новых, свежих рифм. Гениальное пушкинское определение поэзии как союза «волшебных звуков, чувств и дум», по-прежнему сохраняет всю свою обобщающую силу. Но ведь Пушкин говорил о союзе «волшебных звуков», то есть поэтической формы, с чувствами и думами, то есть с содержанием стиха, а у поэтов-формалистов оно рабски и подчинено форме. В союзе этом первое место по праву принадлежит не «волшебным звукам», а думам — идеям поэта, его мировоззрению. «Только те направления литературы достигают блестящего развития, которые возникают под влиянием идей сильных и живых,

которые удовлетворяют настоящим потребностям эпохи», — учил Чернышевский<sup>1</sup>. Всесильные идеи коммунизма порождают и его великую поэзию, которая противопоставляет свою художественно совершенную форму ее разрушению или распаду у поэтов-формалистов.

Борьба против формализма это и есть борьба за подлинную художественную форму, которая не подменяет собой содержание, а органически сливается с ним. В стихах лучших советских поэтов даны образцы подлинного поэтического новаторства, обогащающего поэтическую культуру.

Однако новаторство это отнюдь не предназначено только для поэтов. Оно адресовано читателю. Оно принадлежит народу, а не тонкому слою рафинированной эстетствующей интеллигенции.

Поэт для поэтов — это прежде всего не поэт, это в лучшем случае остроумный и находчивый версификатор. Вот почему легенда о существовании поэзии для поэзии должна быть отвергнута наряду с другими «откровениями» реакционной, антинародной эстетики формализма.

Поэтом для поэтов называли Хлебникова его последователи. Сколько вреда нанесла (да и поныне еще наносит!) молодым поэтическим кадрам эта легенда! Поэт только для поэтов — это слова, которые также вопиют против своего соединения, как, к примеру, ученый только для ученых, педагог только для педагогов, актер только для актеров. Последовательно идеалистический разрыв теории с практикой, глубоко реакционное формалистическое понимание искусства как достояния избранных, далекого от народных масс, стоит за этим определением.

Да, поэт для поэтов — это лишь иная, персонифицированная, формула теории искусства для искусства. Поэтов для поэтов не существует, как не существует и поэзии для поэзии. Существуют лишь поэты для эстетов, и Хлебников, как бы ни шаманствовали и ни кликушествовали вокруг него литературные гурманы, был одним из них.

Не потому ли именем Хлебникова клянутся и божатся сейчас новоявленные французские заумники — «леттристы», в «твор-

<sup>1</sup> «Об опере «Великая дружба» В. Мурадели». Постановление ЦК ВКП(б) от 10 февраля 1948 г., «Правда», 11 февраля 1948.

<sup>1</sup> Н. Г. Чернышевский. Избранные сочинения, стр. 443.

честве» которых распад не только содержания, но и формы достиг предела?

Недаром, совсем не даром, «теоретик» «леттризма» некий Саран Александриан заявил в октябрьском номере журнала «Fontaine» за прошлый год, что не только с праотцом формализма в поэзии Малларме, но и «с Хлебниковым и русским футуризмом... поэтическое писание приходит к всеобъемлющей свободе выбора цели и возникновения».

Эта вожденная для формалистов «свобода» есть свобода от передовых идей своего времени, от гражданского долга поэта перед своим народом, от его духовных запросов и эстетических принципов.

Теперь мы знаем, для чего понадобилось создавать легенду о Хлебникове. Эта легенда нужна была поэтам-формалистам для оправдания своего бесплодного фкусничества и трюкачества. Она служила формалистам-теоретикам в их борьбе против эстетики социалистического реализма. Она, наконец, подобно другой легенде—легенде об Александре Веселовском, как великом «филологе для филологов» и гениальном «ученом для ученых», служила всем тем, кому выгодно было дезориентировать молодые литературные кадры, воспитать их в духе безидейности, аполитичности и других традиций реакционного буржуазного искусства.





## АЛИШЕР НАВОИ И ЕГО ВРЕМЯ

АЙБЕК, Александр ДЕЙЧ

★

**Г**ерат, столица Хорасана, находился на скрещении торговых путей Ирана, Средней Азии, Индии и Китая. Упоминание о Герате встречается еще в священных книгах и клинописях древних персов.

В XIII веке Герат сильно пострадал от нашествия монголов, сын Чингиз-хана, Тули, разрушил город и истребил почти все население.

Герат довольно быстро отстроился, но в 1383 году вновь подвергся опустошительному нападению Тимура. Большая часть города была разрушена, лишь в первой половине XV века Герат снова приобрел великолепие крупного торгового и культурного центра. Непроступная крепость Ихтиаруддин с широкими стенами и бойницами господствовала над городом. От пяти городских ворот пролегали широкие артерии улиц, кишевших оживленной толпой. Здесь можно было встретить гератских и чужеземных купцов, торговавших разнообразными товарами, искусных ремесленников: гончаров, красильщиков, ткачей, оружейников, ювелиров, каллиграфов, переплетчиков, наккашей (художников-каменотесов), учащихся медресе, беков и вельмож.

Герат знал острые социальные контрасты: городская беднота и пригородные крестьяне ютились в жалких полуразрушенных лачугах. Бедняки были вынуждены платить огромные налоги, которые шли на покрытие расходов по содержанию султанского двора и вельмож; отсюда же черпались средства для строительства. Кроме того, крестьяне выполняли различные повинности, например, должны были работать по проведению оросительных каналов. Богатые землевладельцы чаще всего освобождались от налогов и податей и нажива-

лись на рабском труде крестьян-землепашцев, которых сборщики законно и незаконно обирали до нитки.

Гератская аристократия предпочитала жнть в стороне от людных и пыльных кварталов города, от торговых улиц и базарной площади. Вельможи строили для себя великолепные загородные дворцы, окруженные пышными садами. На берегах канала Инджиль расположились виллы гератской знати. Султанский сад «Баг-и-заган» («Сад воронов») с дворцом находился к северу от города. Неподалеку расположились и другие сады, принадлежавшие султанским вельможам.

Путешественник, попадавший в Герат, любовался достопримечательностями столицы: величественной соборной мечетью, огромным зданием медресе, крытыми торговыми рядами, широкой аллеей Хиябан, где находились гробницы тимуридов<sup>1</sup>. Особое внимание привлекала библиотека, основанная при султানে Шахрухе. Здесь работало множество ученых, переписчиков-каллиграфов, художников-миниатюристов, переплетчиков. До наших дней дошли создания их неутомимого труда, и страницы переписанных и разрисованных ими книг хранят тонкий аромат амбры, которой надушена великолепная разноцветная бумага.

Достижения яркой и своеобразной культуры во времена тимуридов были достоянием немногих избранных. Народные массы были далеки от книжной мудрости ученых и мыслителей. Крестьянство и городская беднота, испытывая непосильное бремя налогов, податей и повинностей, не могли

<sup>1</sup> Тимуриды — дети и внуки Тимура (1336—1405), которые после его смерти вели длительную борьбу за наследные владения.

организоваться для борьбы за лучшую жизнь. Они отвечали на притеснения феодалов стихийными восстаниями, которые жестоко подавлялись.

## 2

Тот, кому было суждено под поэтическим именем Навои («Мелодичный») стать гениальным узбекским поэтом, — родился в Герате 9 февраля 1441 года (17 рамазана 844 г. по мусульманскому календарю).

Алишер Навои происходил из тюркской феодальной знати. Его отец Гиясуддин Кичкине в царствование младшего сына Тимура Шахруха (1404 — 1447) вероятно был близок ко двору падишаха и владел большими землями.

Маленький Алишер рос в довольстве. Родители решили дать живому и любознательному мальчику хорошее образование. Чуть ли не с четырехлетнего возраста Алишер посещал одну из лучших гератских школ.

Преподавание велось на персидском языке, знание которого считалось признаком благородства и учености.

Обучаясь в школе, Алишер увлекался чтением стихов, в особенности полюбил он знаменитые творения персидского поэта Саади. Многие строки из его «Гулистана» и «Бустана» мальчик заучивал наизусть, поражая окружающих своей памятью.

Но особенно увлекался в это время Алишер поэмой персидского поэта Фарилуддина Аттара «Язык птиц» («Мантик ат-тайр»). Алишера волновал пламенный язык Аттара, богатство его фантазии, яркость и необычность образов. Разумеется, в юном возрасте Алишер не мог еще проникнуть в философскую мысль поэта, но его пленяла живая выдумка Аттара, изображавшего во множестве сцен и вставных эпизодов историю о том, как птицы, под водительством удода собрались лететь на поиски таинственного царя птиц — Симурга.

Птицы преодолели множество препятствий и лишений и достигли предела своего пути. Оказалось, что тридцать птиц стремились к Симургу, но они сами и есть Симург<sup>1</sup>. Это означало, что счастье надо

<sup>1</sup> По-персидски название птицы «Симург» и слова «тридцать птиц» (си мург) звучат одинаково.

искать не во внешнем мире, а внутри себя. что только путем внутреннего самоусовершенствования человек может прийти к познанию себя и всего окружающего. Позднее Алишер рассказал о том, как потрясла его детское воображение философская поэма Аттара, оторвала от действительности и увлекла в мир поэтической мысли: «... эта книга стала другом моего уединения. Обыденные слова людей вызывали во мне скуку. В конце концов страсть стала так сильна, что я сказал: открою врата одиночества и убегу от людей мира, лишенных духовного смысла. Дети заметили мое состояние, родители узнали об этом. Их одолели опасения, как бы природа не дала их сыну безумие... Они нашли тетрадь и уничтожили ее... Прошло много времени, и родители пришли в отчаяние от моего состояния: все речи книги были в моей памяти, и я постоянно тайно повторял их. Ко всему прочему у меня не было никакого влечения, сердце жило общей тайной с «Языком птиц». Так рано сложились литературные вкусы и интересы Алишера.

Среди его школьных товарищей был будущий правитель Герата, Хусейн Байкара. Его отец Гиясуддин Мансур жил в Герате в стороне от государственных дел и подобно отцу Навои старательно следил за воспитанием сына. Алишер и Хусейн Байкара были очень дружны в школе. Но вскоре внешние обстоятельства разлучили товарищей. Когда в 1447 году умер Шахрух и в стране разгорелась междоусобная борьба за власть, Гиясуддин Кичкине решил оставить родной край и с группой знатных земляков переселиться в Ирак.

Юные годы Алишера прошли вдали от родного Герата. Но добровольное изгнание длилось недолго. В пятидесятых годах во владениях тимуридов восстановился некоторый порядок. Абулкасим Бабур завладел Хорасаном со столицей Гератом, а в Самарканде воцарился Абу-Саид.

Семья Алишера возвратилась в Герат, и его отец занимал при Бабуре ряд должностей. Одно время он был правителем хорасанского города Себзеvara.

Когда Алишеру исполнилось пятнадцать лет, он поступил на службу к Абулкасиму Бабуру.

Правитель Хорасана, любивший поэзию, поощрял стихотворные опыты одаренного

юноши. Алишер проявлял большие способности к изучению языков, и в то время уже так же свободно владел персидским и арабским, как и родным тюркским. Он писал стихи на двух языках, подписывая персидские именем «Фани» («Преходящий», «Смертный»), а тюркские—именем «Навои».

Тогда уже некоторые поэты (Лутфи, Саккаки) писали на тюркском языке вопреки установившемуся в аристократических кругах мнению, что на грубом народном языке нельзя выражать тончайшие мысли и чувства.

Молодой Алишер как-то показал свои стихи престарелому Лутфи, который считался самым изысканным тюркским поэтом. Лутфи пришел в восторг от газелей Алишера и воскликнул: «Я охотно променял бы на эту газель десять-двенадцать тысяч моих стихов на двух языках, и считал бы сделку весьма удачной».

В свите Абулкасима Бабура состоял и школьный товарищ Алишера, Хусейн Байкара. Он получал высокий оклад и пользовался расположением правителя Хорасана. С октября 1456 года двор Бабура находился в Мешхеде. Хусейн жил привольно, наслаждаясь дружескими встречами с Алишером. Но честолюбивый тимурид мечтал о власти, о завоеваниях, царском троне. Когда в 1457 году Абулкасим Бабур умер и снова возникла борьба за престол, Хусейн Байкара с головой окунулся в эту борьбу. Он покинул Мешхед и отправился на поиски воинственных друзей-беков и союзников. Алишер остался в Мешхеде, изучая науки и поэзию. Разлука друзей длилась двенадцать лет.

### 3

После упорной борьбы со своими соперниками, главным образом, с Абу-Саидом, Хусейн Байкара оказался победителем. 24 марта 1468 года Хусейн вступил в Герат.

Годы военных походов Хусейна Байкара Алишер провел в Мешхеде и Самарканде. Властитель Хорасана Абу-Саид, враждовавший с Хусейном, относился недоверчиво к Алишеру, родственники которого принимали участие в борьбе на стороне Хусейна Байкара. Повидимому, имущество, оставленное покойным отцом Алишера, было конфисковано во время его пребывания в Ираке.

Алишеру приходилось жить в крайней бедности. Он ютился в бук'а (келья у могилы святого) или в ханака (общежитие для монахов и ученых). Широко был круг интересов Алишера и велика была его жажда знаний: математика и философия, богословие и медицина, изучение шариата и поэзии увлекали юношу.

В Самарканде Алишер учился в медресе у знаменитого знатока арабского языка и мусульманского права Абу-л-Лейса. Здесь Навои находился в тесном общении с крупными учеными и поэтами, стекавшимися в Самарканд с разных концов страны. Наместник города Ахмед-Хаджи-бек относился покровительственно к Алишеру, хотя несомненно получил тайный приказ от Абу-Саида держать Алишера под негласным надзором.

Когда в Самарканд пришла весть о том, что Хусейн Байкара завладел Гератом, Алишер решил вернуться в родной город. Он получил позволение от Хаджи-бека оставить Самарканд.

В праздник байрама Алишер Навои поднес Султан-Хусейну Байкара свою касыду (оду) «Хилалия» («Новолунная»). Поэт приветствовал нового султана, надеясь, что он будет мудрым и справедливым правителем.

Хусейн Байкара дал Алишеру звание мухрара (хранителя печати).

Во времена Султан-Хусейна Байкара Герат жил шумно и весело. Обитатели столицы не очень придерживались строгих догм ислама, пили вино, устраивали народные празднества с танцами, музыкой и пением. В этих празднествах принимали участие ремесленники, выставлявшие на городских площадях лучшие свои изделия, которые поражали тонкостью работы и изысканностью вкуса.

Однако царствование Хусейна Байкара не протекало ровно и без потрясений. Едва новый султан сел на трон, как ему пришлось вступить в борьбу с тимуридом Мухаммедом Ядгаром.

Хусейн узнал цену верности приближенных эмиров и беков: некоторые из них переходили со своими войсками на сторону побеждавшего царевича Ядгара.

Алишер сохранил преданность Султан-Хусейну. Не принимая непосредственного участия в сражениях, поэт находился в лагере своего падишаха и был его ближай-

шим другом и советчиком. Он уже завоевывал популярность в народе своей мудростью и справедливостью, что вызывало зависть и недружелюбие у придворных Султан-Хусейна.

В то время, как войска султана готовились к решительному сражению с отрядами Ядгара, в Герате произошли тревожные события. Воспользовавшись отсутствием султана, финансовые чиновники Ходжа Абдулла Хатиф, Ходжа Низамеддин, Бахтиар и другие обложили незаконными налогами население Герата и окрестных деревень. Мелкие ремесленники, городская беднота вместе с крестьянами поднялись против притеснителей. Город поэтов и музыкантов внезапно принял необычно суровый вид. Народ вооружился камнями и палками.

Когда весть о народном возмущении дошла до Султан-Хусейна, он внял благому совету Алишера и подписал указ о наказании преступных чиновников и об отмене сборов.

При огромном стечении народа, в соборной мечети Герата прибывший в столицу Алишер прочитал султанский указ, восторженно встреченный населением. Затем поэта лично расследовал дело, наложил наказание на виновных и устранил их от должностей. В Герате наступило успокоение, и Алишер вернулся в ставку султана.

Между тем Ядгар продолжал военные действия. Изменники-беки вскоре открыли мятежникам ворота Герата. Ядгар объявил себя правителем Хорасана. Изнеженный царевич, опирающийся на туркменских наемников, мало интересовался государственными делами. Правительницей на самом деле стала тетка Ядгара, Паянда Султан-бегим, женщина властная и хитрая. Население Герата жило в страхе за свою жизнь и имущество. Воины Ядгара бесчинствовали, грабили и убивали. Они мало заботились о защите Герата, и вскоре войска Султан-Хусейна подступили к столице.

Глубокой ночью небольшой отряд Хусейна проник в город и поднялся по склонам холма ко дворцу. Возглавлял отряд Алишер Навои. Впервые в жизни он вынул меч из ножен. Но ему не пришлось пролить кровь врага. Он вошел во дворец и увидел Ядгара спящим после попойки.

Герат проснулся от звуков карнаев и барабанов, гремевших со всех вышек города. Хусейн Байкара восстановил свою власть в Герате.

Алишер не добивался высоких должностей и почестей при дворе. Он довольствовался тем, что порой мог влиять на решения Султан-Хусейна. Сам султан, разумеется, во многом зависел от придворной клики и в угоду своим приближенным, феодалам, крупным землевладельцам, приносил в жертву их корыстолюбию народные интересы.

Алишер считал, что справедливый и мудрый государь, окруженный хорошими советниками, должен прежде всего заботиться о благосостоянии народа. Это не значит, что Навои был демократом, который хотел бы видеть народных представителей у власти. Идея народоправства была чужда Алишери, так же как и европейским гуманистам его поры. Навои хотел сделать все что возможно для повышения культуры и благосостояния народа, но считал, что все реформы необходимо производить сверху, при помощи дивана (государственный совет) и султанских указов, без непосредственного участия народа в решении судеб страны.

В 1472 году Алишер получил от Султан-Хусейна титул эмира, а затем стал везиром (министром). Приняв этот высокий пост, Алишер посвятил себя практической деятельности, отдался созидательному труду. Творить — значило для него жить. Он мечтал превратить Хорасан в культурную, благоустроенную страну, и прилагал все старания к осуществлению этой мечты.

В степи на основных караванных дорогах он построил прекрасные рабаты (постоялые дворы). Прочные мосты были перекинуты через Герируд и другие реки Хорасана.

Навои уделял большое внимание старинным зданиям, имевшим художественную ценность, и следил за их ремонтом.

В Герате на берегу канала Инджиль Навои выстроил целый квартал прекрасных зданий. Здесь возникли больницы, школы, общежития для ученых и поэтов. На окраине, где раньше ютились лишь жалкие лачуги, закипела работа. Тысячи мастеров, строителей, каменщиков, наकाшей дружно возводили великолепные дома.

С тщательностью ювелиров мастера обгесывали гранит и мрамор, выводя узорный орнамент изумительной тонкости.

Сам Алишер принимал живое и непосредственное участие во всех работах. Его изящный вкус и понимание тайн ремесла оказывали помощь мастерам, которые видели в нем друга-художника.

Каждый день приходил Навои на берег Инджилля. Подоткнув полы шелкового везирского халата и засучив широкие рукава, Навои носил кирпичи, месил глину или помогал наккашам.

Строительство шло с необычайной быстротой. Алишер умел поощрять мастеров и внушать им любовь к труду. Работа, для которой требовалось 3—4 года, была выполнена за семь месяцев. Огромные средства были вложены в постройку целого квартала красивых зданий с садами и парками, расположенных на берегах Инджилля. Алишер уделил из своего значительного состояния немало средств для строительства. Повидимому, Султан-Хусейн возвратил Алишеру имущество его покойного отца, конфискованное предшественниками падишаха. Исторические источники доказывают, что Навои был необычайно богат. Ему принадлежали обширные земли, и он как эмир освобождался от налоговых тягот.

Алишер не принадлежал к числу тех «скупых рыцарей», которые жадно собирали сокровища в сундуки. Он свободно обращался со своими богатствами, стараясь прежде всего делать людям добро. Навои был благотворителем в широком и лучшем смысле этого слова. Он узнавал от окружающих его людей о нуждающихся и спешил помочь им. Когда султанские чиновники облагали население чрезвычайными налогами для покрытия расходов двора, Алишер находил эти поборы тягостными для народа и покрывал недостачу царской казны из собственных средств. Разумеется, для этого надо было в равной степени обладать и несметными богатствами и исключительно добрым, благородным, отзывчивым сердцем.

Особенно были близки Навои интересы и нужды ученых, поэтов, художников, музыкантов, мастеров художественного ремесленного труда. Он покровительствовал людям творческой мысли и стремился ос-

вободить их от материальных забот, чтобы дать возможность заниматься любимым делом. На берегу Инджилля Навои выстроил обширную ханаку Ихласия («Преданная»), где жили ученые и поэты. Они пользовались для своей работы прекрасными книгохранилищами, в том числе личной библиотекой Навои, жили в светлых и удобных комнатах и были обеспечены всем необходимым.

Здесь же помещалась медресе, в которой преподавали лучшие ученые Герата. Многочисленных трудов было написано в Ихласия, и много ученых находило там гостеприимство, в том числе и выдающийся историк эпохи Хондемир, написавший «Книгу благородных качеств», панегирик великому поэту и культурному деятелю Алишеру Навои.

Неподалеку от Ихласия расположились здания Шифайя («Целительная»). Здесь были бани, больница, нечто в роде медицинской школы, где лучшие табибы (врачеватели) обучали молодежь своему искусству.

Далеко за пределы Хорасана несла слава об этих изумительных учреждениях, созданных волей и трудом Алишера Навои.

Заботы об украшении и процветании страны не отрывали Навои от главного дела его жизни — от поэзии. В созидании, в творческом труде он нашел главную тему для своей поэтической деятельности. Читая описание четырех дворцов в его поэме «Фархад и Ширин» и пышных чертогов «Семи планет», видишь, как мечта Навои-поэта нашла свое воплощение в великолепных зданиях гератского квартала на берегу Инджилля и как, в свою очередь, творческая жизнь обитателей этого квартала была материалом для поэта при создании образов героев его поэм.

Творения Навои, сборники его газелей прославили имя их создателя во многих странах Востока. Но поэт мечтал о том, чтобы написать для своего народа и на языке своего народа нечто большое, вроде «Шах-намэ» персидского поэта Фирдоуси или «Хамсэ» («Пятерица») азербайджанца Низами.

На сороковом году жизни, в расцвете духовных и физических сил, Алишер Навои принялся за основной поэтический труд своей жизни — за «Хамсу» («Пятерица»).

## 4

В 1476 году Алишер освободился от должности везира Султан-Хусейна. Поэт устал от бесконечных придворных интриг, от вражды султанских вельмож, от жадности и корыстолюбия духовных и светских феодалов. Навои видел вокруг себя коварство и предательство, жадность и подлость. Он скорбел о том, что Султан-Хусейн все меньше занимался государственными делами, увлекаясь пышными пирами. Решительный в военных делах, султан проявлял слабование в вопросах государственных и не знал, кому из враждовавших между собой вельмож верить, кому отдавать предпочтение.

Придворная клика ненавидела Навои. Чувствуя свое моральное превосходство над низкими и льстивыми царедворцами, независимый и гордый Алишер не мог скрыть своего презрения к угодничеству и коварству, царившим среди приближенных султана. На правах старого друга Хусейна, Навои не раз раскрывал перед ним гнусные козни и замыслы беков, уличал их в угнетении народных масс. Навои доходил до того, что в гневных стихах призывал властителя Хорасана думать о своих высоких обязанностях:

О царь, большую в жизни мощь тебе  
даст престол,  
Но ты пути добра отверг, путь гнета  
предпочел.

Проводишь время в праздности,  
в распутстве и в пирах —  
И сам Достоянство свое затаптываешь  
в прах.

Из чаши блуда жадно пьешь  
и не упьешься всласть,  
Поправ законность, ты возвел в закон  
единный — страсть.

Во имя прихоти ты все и всех  
повергнешь ниц,  
И нет на пиршествах твоих —  
излишествам границ.

И все, кто в блуде и в пирах с тобой  
проводят дни,  
И юноша, и старики — собаки все они...  
(Перевод Л. Пеньковского).

Приближенные Султан-Хусейна считали Навои высокомерным и замкнутым, потому что он сторонился их и не хотел быть вовлеченным в круг дворцовых интриг. Алишер жил в мире поэтов и ученых, художников, архитекторов и музыкантов. Большая дружба связывала его и с выдающимся среднеазиатским поэтом Абдурахманом Джамии (1414—1492), жившим в Герате.

О том влиянии, которое оказал Джамии на Алишера, можно судить по книге Навои «Пятерица смятенных». Здесь поэт рассказывает о своих встречах с Джамии, называет его своим учителем, раскрывшим перед Алишером тайны философии суфизма.

Джамии был дервишским шейхом, и его мировоззрение сложилось под влиянием суфийской философии. Суфизм — религиозно-мистическое течение, родившееся и развивавшееся в рамках ислама. Суфий, что означает «носящий власяницу», в первоначальном виде, в X—XI веках, был дервишем, отрешившимся от земных благ, от жадности славы и богатства и отдавшимся самосовершенствованию для познания божества.

Во времена Навои суфизм утратил первоначальный аскетизм. Суфийский орден накшбенди не выставлял требования умерщвления плоти и отказа от земных благ. Последователи накшбенди вели торговлю, накапливали богатства, наслаждались жизнью, но при этом они должны были думать о самосовершенствовании и всеми своими делами идти к познанию бога, как совершенного существа.

Таким образом, в эпоху тимуридов суфизм утратил свое первоначальное значение и стал оплотом богатых и реакционных групп населения. Так, например, учитель Джамии, самаркандский суфийский шейх Ходжа Ахрар, был богатейшим землевладельцем-феодалом, имевшим обширные поля, сады и множество рогатого скота. Ходжа Ахрар был известен жестокостью и коварством. Он играл огромную роль в политической жизни страны, и к его словам прислушивались беки, хакимы и султаны.

Хотя Джамии и учился у Ходжи Ахрара, он не принадлежал к числу его последователей. Джамии свято хранил традиции старого дервишизма, жил в Герате необычайно скромно и, отстраняясь от политической жизни, погружался в мир философии. Гератская знать относилась к Джамии с уважением, смешанным с суеверной боязнью, что Джамии как дервишский шейх обладает какой-то сверхъестественной силой.

Когда Навои раскрыл перед своим другом и учителем грандиозный творческий план написания «Хамсы» на родном, тюркском языке, Джамии поддержал поэта в

этом начинании и внимательно следил за его работой.

За 1483—1485 годы Навои написал все пять поэм своей «Хамсы»: дидактическую поэму, состоящую из философских афоризмов и притч «Смятение праведных», эпопею труда и творчества «Фархад и Ширин», роман любви и жертвенного подвига «Лейли и Меджнун», авантюрно-философскую повесть «Семь планет» и историко-политический роман «Вал Искендера».

## 5

Алишер Навои уже не принимал непосредственного участия в государственных делах. Он редко появлялся во дворце, где Султан-Хусейн предавался пьянству, а судьбы народа вершила корыстная и честолюбивая клика придворных, возглавляемая везиром Медждуддином.

И все же Алишер Навои, неустанный защитник народа от насилия и своеволия беков и чиновников, казался опасным его многочисленным врагам. Они не могли не понять глубокого смысла «Хамсы», где в поэтической форме сказания, притчи, легенды защищались высокие права человеческой личности и осуждалось зло, гнет, мракобесие, посягательство на свободу мысли и чувства.

Под влиянием дворцовой клики Султан-Хусейн решил удалить Алишера из Герата. В 1487 году Навои получил строгий приказ отправиться в отдаленную провинцию, в Астрабад, правителем этого края.

Тяжело было поэту расставаться с родным городом, с друзьями и почитателями, с наставником Джами. Но он вынужден был повиноваться.

В Астрабаде Алишер проявил кипучую деятельность. Он заботился о школах и больницах, о бедняках, о благоустройстве города и провинции, разоренных хищническим поведением султанских сатрапов и чиновников. Но здесь было гораздо меньше людей, способных понять его, чем в Герате.

Навои писал стихи в Астрабаде. Это были скорбные газели, в которых изливались чувства поэта, бессильного изменить ход событий, и обреченного видеть вокруг себя несправедливость и злобу. Он писал и гневные обличительные стихи, в которых при-

зывал Султан-Хусейна отказаться от недостойной жизни и обратить свои взоры на страдания и нужды народа.

В Астрабаде Навои собрал многие тысячи строк своих газелей в большой сборник, названный им «Чар-диван» («Четыре сборника»). В этом цветнике лирической поэзии много великолепных и своеобразных созданий великого автора «Хамсы».

Тоска по Герату терзала Навои. Он отправлял друзьям горькие письма и жил надеждой на то, что ему разрешат вернуться в столицу.

А враги не оставляли Навои в покое. Они даже попытались отравить его, и только счастливая случайность спасла Алишера от гибели. Возмущенный происками и кознями врагов, Алишер Навои самовольно вернулся в Герат. Султан позволил ему остаться в городе. Алишер получил титул «приближенного его величества» (мукараб-алхазрат), но не принимал никакого участия в государственных делах.

Много тяжелых переживаний выпало на долю Навои в этот последний период его жизни. В 1492 году умер, оплакиваемый поэтом, его большой друг, Джамии.

Враги Навои непрестанно интриговали, доносили султану о мнимых заговорах Алишера против него. Несомненно, им удалось бы склонить Султан-Хусейна к расправе над Алишером, если бы Хусейн не видел необычайной популярности поэта. Однако Хусейн не посчитался с Алишером, когда приказал в 1499 году казнить его младшего брата Хайдара, обвиненного в измене.

В эти годы Султан-Хусейн уже не чувствовал себя прочно на троне. Его сыновья жаждали расширения своих владений. Старший сын султана Бадиузземан поднял восстание. Тогда Хусейн вспомнил о старом друге Навои. Алишер во имя мира и народного спокойствия выступил посредником между падишахом и мятежным царевичем.

Но мудрость Алишера была бессильна: предотвратить междоусобную войну.

Еще до этого Султан-Хусейн удалил из дворца главного врага Навои, везира Медждуддина, но интриги не прекратились, а междоусобица вела страну к разорению, к народному обнищанию. Навои называл родину «цитаделью безумия», «темницей му-

чений». Он скорбел о том, что цветущий Хорасан и трудолюбивый народ словно «покрылись черной краской», что «султан срывает кровлю со своей страны, как с курятника».

Годами приходилось Султан-Хусейну воевать с непокорными царевичами. Во время одного из походов, когда Хусейн Байкара был далеко от столицы, его сын Бадиузземан подступил к Герату и осадил его. Султан возложил оборону столицы на наместника Вели-бека и Алишера.

Навои в это время было уже около шестидесяти лет. Постоянная борьба с врагами и упорный творческий труд подорвали здоровье Алишера. Все же в опасный для родины момент этот согбенный, обычно опиравшийся на палку, старец с юношеским рвением заботился об укреплении городских стен и валов.

Подступив к самому городу, Бадиузземан хотел взять его измором. Сорок дней длилась осада. Султан-Хусейн поспешил со своим войском на выручку Герата. Навои снова выступил посредником между отцом и сыном. Дело закончилось примирением.

Хусейн же отправился в новый поход, из которого вернулся в декабре 1500 года.

Навстречу падишаху выехали знатные сановники, среди которых находился и Алишер. Когда поэт сошел с коня, чтобы приветствовать султана, ему стало дурно, и он упал на землю.

Алишера отвезли в Герат, и искусные врачи принялись за его лечение. Но ничто не могло помочь.

3 января 1501 года Алишер Навои умер.

По рассказам современников, всеобщее горе охватило Герат. Все горевали о великом поэте и государственном деятеле. По цветистому выражению летописца, «от криков, поднявшихся к небу, его синева закрылась облаками и на землю потоком полились слезы».

## 6

Литературное наследство Навои велико и разнообразно. В него входят: огромный сборник лирических стихов — «Чар-диван», «Хамса» («Пятерица»), поэма «Язык птиц», представляющая собой оригинальную вариацию сюжета поэмы Атгара, лингвистический трактат — «Тяжба двух языков», философский труд — «Возлюбленная сер-

дец», воспоминания о Джами — «Пятерица смятенных», характеристики современных поэтов — «Собрание изящных», трактат по стихосложению — «Весы размеров».

Навои выступил прежде всего как лирический поэт. В его время лирика являлась преобладающим видом поэзии, и ее жанры были хорошо разработаны арабскими и персидскими поэтами.

По своему существу поэзия средневекового Востока предназначалась для прославления феодальных властителей и была придворным жанром. Поэтому главной формой лирической поэзии являлась касыда, торжественная ода.

Касыда строилась по определенным правилам. Она состояла из вступления и основной части. Вступление носило сугубо лирический характер. Чаще всего поэт давал здесь пышные картины природы и изображал свои душевные переживания. Он сетовал на жестокость красавицы, пленившей его сердце, вздыхал о разлуке с ней или, наоборот, радовался любовной удаче. Нередко, наперекор догме шариата, певец прославлял дары виноградной лозы, чей сок приносит счастливое опьянение, заставляющее забыть о горестях и лишениях.

Любовная тема во вступительной части касыды, как преобладающая, дала повод к особому названию этой части: газель (газаль), что означает по-арабски «речи любви, нежная беседа с возлюбленной».

Газель оторвалась от касыды, прославляющей подвиги и щедроты властителей, и стала вести самостоятельное существование. Она представляла собой нечто вроде интимного романа, исполнявшегося на дружеских пирушках. Газелью вследствие ее популярности пользовались и суфийские проповедники. Они вкладывали религиозно-мистическое содержание в свои газели, подразумевая под любовным томлением влечение к познанию божества.

В XII веке персидский поэт Саади и азербайджанец Хакани, каждый самостоятельно, разработали жанр газели, окончательно отделив ее от придворной касыды. Затем появились крупные мастера газелей: Амир Хосров, Хафиз и Джами.

Газель состоит из небольшого количества двестишый (бейт), как правило не больше одиннадцати. Газель недаром образно сравнивают с ниткой, на которую нанизав-



ны отдельные жемчужины. Действительно, каждый бейт содержит в себе завершенную мысль, так что без особого ущерба для содержания можно отдельные бейты внутри газели менять местами.

Но все двустушия связаны между собой, как жемчуга нитью, одной рифмой, проходящей через вторые, четные, строки двустуший. Только первый бейт связан двумя рифмами.

К тому времени, когда Навои стал пробовать свои силы в области газелей, его предшественниками уже был выработан условный поэтический язык, целая система постоянных образов и эпитетов, метафор и иносказаний. Вместо подписи автор непременно называл свой псевдоним (техаллус) в последнем двустушии.

Навои как лирический поэт, разумеется, не прошел мимо традиции прославленных мастеров газелей. Он сам красочно сказал, что отразил в своих газелях как в зеркале «красоту трех луноподобных красавцев», своих предшественников.

Газелей строгих образцы мы видим  
у троих.  
Нельзя представить чей-нибудь  
пленительнее стих.  
Одн индийский мастер — вам известный  
чародей,  
Кумир поклонников любви — словесный  
чародей.  
Другой — ширазский шейх гуляк,  
блаженный, как Иисус  
Он пил вино небытия, презрев земного  
вкус.  
А третий — мудрости сосуд — имел  
священный лик.  
Из глиняного черепка пить волшебство  
привык.  
В любей газели Навои, в двустушии любом  
Все, что присуще всем троим, найдешь ты  
в нем одном.  
(Перевод Л. Пеньковского).

Действительно, в лирике Навои сочетаются блестящий стиль Хосрова, блаженная легкость ширазца Хафиза и углубленная мудрость Джамии.

Как во всем творчестве Навои, в его «Чар-диване» на первом месте — мысль, идейный замысел. Говорит ли поэт о любви с ее изменчивым течением, о человеческих пороках и достоинствах, о жизни и смерти — везде он неизменно выражает свое отношение к миру и многообразию его явлений. Современные Навои поэты воспевают любовь в своих газелях, но их любовь выглядела бледной, бескровной, нередко звучала как мистическая абстрак-

ция. Любовь в изображении Навои сверкает живым разнообразием мысли и чувств.

Любовь для Навои — способ раскрытия лучшего, что есть в человеке, это творческий путь к познанию мира.

Навои принимал жизнь во всех ее проявлениях и призывал свое сердце быть стойким, «как гора, по которой прошел паводок печали».

В «Чар-диване» мы находим немало произведений, носящих социально-сатирический характер. Навои разоблачает шейхов, придворных, бездушных богачей и предпочитает благополучию этих людей независимость бедняка, не теряющего чувства достоинства.

В последней части «Чар-дивана», где звучат мотивы умиротворенной старости, поэт подводит итоги своей жизни и считает, что она прожита правильно, если она отдана народу: «За семью и родину, пока только есть у него жизнь, сражается человек сколько может».

Навои уделял огромное внимание форме своих лирических стихов. Они отличаются большой музыкальностью. Поэт мастерски подчинил родному языку арабско-персидскую метрику. Кроме газелей, мы находим в сборнике рубаи (четверостишия), мухаммасы (строфы, состоящие из пяти полустуший), месневи (стихи, рифмованные по полустушиям), тууги (четверостишия с рифмами-омонимами) и муамма, своеобразные поэтические загадки.

Во всех стихотворных жанрах Навои как лирик отличается богатством средств поэтического выражения. Его образы красочны и неожиданны. В поэтическом арсенале Навои значительную роль играет метафора. Сердце — «развалина в пустыне», зеркало — «ворота рая», тело — «свечной фитиль», сколько в фитиле изгибов, столько же и в нем. Лицо любимой — «белый свиток», пушок на нем — «письмена: то страсть приказ начертала казнить меня поскорей».

Средневековый Восток знал много прекрасных поэтов, но Алишер Навои занял среди них не только выдающееся, но и особое место. Хорошо владея персидским языком, Алишер дал под поэтическим именем «Фани» диван, включающий свыше двенадцати тысяч строк. Но свой «Чар-диван» он создал на родном языке,

показав всему мусульманскому миру силу и глубину тюркской поэтической речи. Образы, эпитеты, метафоры Навои очень ясны, благородно правдивы.

Читая «Чар-диван», нельзя не заметить, что многие мотивы лирических стихов Навои широко использованы его выдающимися предшественниками и стали традиционными. Так, нельзя считать органической для мировоззрения Навои скорбь поэта о бренности всего земного, о «суете сует». В этих обычных для восточной поэзии сетованиях у Навои всегда громко звучит голос неудовлетворенности существующим общественным порядком, при котором так живучи несправедливость, зло и насилие.

## 7

«Хамса» является основным поэтическим трудом Навои. Он вложил в свою «Пятерицу» весь жизненный и творческий опыт поэта, мыслителя, государственного деятеля. Навои прекрасно отдавал себе отчет в том значении, которое имела «Хамса» для родной литературы:

Начав творить, газелям дань я щедро  
отдавал —  
День страшного суда — людей не так бы  
волновал.

Но малым делом я считал газели для себя,  
Значительнее намечал я цели для себя.

Да, сделаться я возмечтал, идя путем своим,  
Бладышкой счастья своего, поэтом мировым:

Я жил в тревоге, размышляя и дни  
и ночи все, —  
И сердцем обратился я в конце концов —  
к «Хамсе».

Прошел я горы и моря, за тяжкий труд  
берясь,  
Но с полпути я не свернул, не сбросил  
ношу в грязь.

(Перевод Л. Пеньковского).

Самая форма «Хамсы» (пять поэм, различных по сюжету) возникла задолго до Навои.

Великий азербайджанский поэт Низами (1141—1203) считается первым создателем «Пятерицы». Поэт ввел в свои поэмы легенды и притчи мусульманского Востока, использовал устные сказания. Первая поэма «Хамсы» — «Сокровищница тайн» — морально дидактическое произведение, а остальные четыре — лиро-эпические рассказы о народных героях, о жестоких шахах и феодалах, о кровавых междоусобицах, о быте народов Востока.

«Новый мир». № 5.

Эти четыре поэмы, вошедшие в «Хамсу» Низами, называются: «Хосров и Ширин», «Лейли и Меджнун», «Семь красавиц» и «Книга об Александре» («Искендер-намэ»).

«Пятерица» Низами вызывала на протяжении веков многочисленные подражания. Низами как бы установил законы композиции для этого жанра, и каждый из его последователей открывал свою «Хамсу» поэмой дидактического характера, наподобие «Сокровищницы тайн».

Следуя примеру Низами, поэт Амир Хосров (1253—1315) родом из Средней Азии, живший в Индии при дворе султана, создал свою «Хамсу». Амир Хосров по-своему рассказал историю героев Низами: Хосрова, Ширин, Искендера и тоже открыл «Пятерицу» морально-дидактическим произведением.

Абдуррахман Джами усложнил жанр «Хамсы», создав «Созвездие Большой Медведицы» из семи поэм. Другой современник Навои, поэт Хатифи, тоже принялся за создание «Хамсы».

Берясь за «Пятерицу», Навои не собирався выходить за традиционные рамки этого жанра. Он скромно называл себя «бессильным учеником Низами и Джами». Но вместе с тем, он отстаивал свое право творить по-новому:

На этот путь Хосрова и Джами  
Я выведен когда-то, но пойми,

Что вправе мысли выражать свои  
В напевах собственных — и Навои.

(Перевод Л. Пеньковского).

Что же нового решил внести Навои в «Хамсу»? Он поставил перед собой задачу приблизиться к жизни и ее существенным запросам больше, чем это сделали его предшественники; при этом Навои сохранил контуры сюжета, заимствованные из поэтической сокровищницы прошлого:

Преданья эти — плод седых веков, —  
О них писали Низами, Хосров.

Основой взяв, я перестроил их:  
Я жизни больше влил в героев их..

(Перевод Л. Пеньковского).

Почему же Навои, так остро поставив вопрос о принципиальном различии между своей «Хамсой» и «Пятерицами» других поэтов, все же считал нужным прибегать к сюжетам и образам, уже знако-

мым читателю по творениям его предшественников?

Это объясняется тем, что Навои следовал восточной традиции «назирагуйи» («создание назира»), то есть ответа на уже существующие произведения. Назира представляет собой как бы полемический ответ, ответ на тему произведения, хорошо известного читателям. Понятно, что такие ответы были более или менее оригинальны в зависимости от степени таланта и идейного богатства автора.

Было существенное новшество в труде Навои. В его время «Хамса» как жанр стала гордостью персидского языка, безраздельно господствовавшего в этот период в литературе и общественной жизни стран Переднего Востока. Навои задался целью создать «Хамсу» на родном языке тюрк-староузбекском, предке современного узбекского языка.

Алишер посвятил трактат «Тяжба двух языков» разрешению существенной проблемы борьбы за узбекский язык.

Враги поэта утверждали, что Навои выступает против персидского языка, потому что не знает его. Навои разоблачил лживые утверждения своих врагов. «От пятнадцатилетнего возраста и до сорокалетнего, — пишет Навои в «Тяжбе двух языков», — мало было дней, когда бы я не занимался чтением и изучением персидских писателей. Я много раз вникал в замечательные и красивые произведения этих поэтов, мною глубоко и критически изученных. Размышляя об их достоинствах и недостатках, я своим исследованием постиг тайну их тонкости».

Действительно, Навои в совершенстве владел персидским языком. В этом нас убеждают и тысячи строк стихов, написанных Навои по-персидски, и показания современников.

Навои отдавал должное персидскому языку и великим поэтам прошлого. Он не выступал как узкий националист, не признающий иного языка, кроме родного. Но многие поэты, по мнению Навои, писали по-персидски только в силу традиций и потому, что писать на персидском языке им легче. «Если бы люди поняли правду, они знали бы, что язык тюрк в действительности шире, и поле для творчества свободнее. Строить речи, говорить красиво, сла-

гать стихи, сочинять легенды, все это на языке тюрк окажется легче».

Но мало было доказать необходимость писания на узбекском языке. Перед Навои стояла задача раскрыть языковые сокровища родной речи: «Богатство языка тюрк доказано множеством фактов. Выходящие из народной среды талантливые поэты не должны выявлять свои способности на персидском языке. Если они могут творить на обоих языках, то все же очень желательно, чтобы они на своем языке писали стихов побольше».

В трактате «Тяжба двух языков» Навои уделяет большое внимание конкретному анализу родного литературного языка.

В эпоху Навои в литературе господствовал своеобразный «формализм». Поэты отодвигали на задний план идейное содержание. Главным в произведении считались внешний блеск, игра слов и другие технические ухищрения. Одаренность автора и художественные достоинства его произведения расценивались с точки зрения литературной формы. Борясь за внедрение в литературу родного языка, который узбекская феодальная аристократия считала «грубым языком кочевников», Навои выступал также и против господствующего в литературе увлечения формой.

На первом месте для Навои стоит вопрос содержания, значения слова. В «Тяжбе двух языков» научно обоснована политическая цель борьбы за узбекский язык, как доступный широким народным массам, но эта сторона вопроса не заслоняет от поэта чисто художественных и литературных задач. Всей творческой практикой Навои утверждает право поэта создавать подлинную литературу на родном языке.

Навои понимал, что нужно практически помочь поэтам своей страны овладеть богатствами родного языка. Об этом говорил он, собирая у себя писателей и ученых. Для них написал он особый труд по стихосложению («Весы размеров»). Он дал разбор узбекского, арабского и персидского стиха.

Навои часто приглашал поэтов к себе, обсуждал с ними новые произведения, на каком бы языке они ни были написаны.

Оценки Навои объективны и глубоко обоснованы. Это отмечает без ложной скромности и сам Навои в «Тяжбе двух

языков». Он так рассказывает о литературных собраниях, происходивших в его доме: «Прошло свыше тридцати лет, даже почти сорок лет с того времени, как Хорасан сгнал Египтом среди других земель и превратился в страну большой культуры с обилием образованных людей и литераторов. Все стихотворцы этой страны... приносили на мои собрания произведения на разных языках с просьбой их исправить. Мои мысли и соображения они добросовестно принимали. Если некоторые из поэтов были недовольны моими мыслями и советами, я подтверждал доказательствами их правильность. Они удовлетворялись этим, принимали советы, считая себя моими учениками, и возвращались домой, благодарные мне».

Так Алишер Навои выступал организатором национальной литературы, строгим и беспристрастным критиком.

Навои сознавал, что делал большое народное дело:

... На тюркских струнах, музыкант,  
сыграй на тюркский лад!  
Народ на языке родном услышать песню  
рад.

Даже самые одаренные предшественники Навои далеко не всегда извлекали мелодии из этой тюркской лютни. Они просто не интересовались ее существованием, пренебрегали ею.

Весь жизненный опыт Навои вел его к созданию «Хамсы» на староузбекском языке. Подобно Данте, он понимал, что только произведения, написанные на народном языке могут сделаться достоянием народа:

Народ — поэт, а я при нем — писец. И вот  
за то  
К народу я приближен так и выскан,  
как никто

(Перевод Л. Пеньковского).

Так и Данте, прославляя итальянский народный язык в противовес литературной средневековой латыни, указывал, что «это — ячменный хлеб, которым будут насыщаться тысячи».

## 8

«Хамса» открывается поэмой «Хайратул-Абрар» («Смятение праведных»). Она делится на двадцать макалэ (глав или бесед). Каждая глава заключается притчей, которая служит как бы иллюстрацией к содержанию главы.

Философская мысль поэмы — прославление идеи добра и разоблачение злого начала. Навои считает, что идея добра проявляется в законности, справедливости, свободе, любви, дружбе, верности, искренности. Насилие, творимое над народом, Навои осуждает, как величайшее зло. Поэт разоблачает его на живых примерах, обращая свой гнев против тех, кто посягает на мирную жизнь и труд народа. Он возвышает свой голос против разжигателей междоусобиц и виновников социальных бедствий, принявших в ту эпоху огромные размеры. Навои восхваляет не тех, кто облачен в дорогие, шитые золотом халаты, а тех, кто живет одним дыханием с народом.

Одна из глав поэмы посвящена образу идеального правителя. В этой главе Навои не скупится на обличение царей, угнетающих народ.

Персонажи, разоблачаемые Навои в этой поэме, не абстрактны и не вымышлены. Это вполне реальные фигуры — современники поэта.

Духовенство, идейно вдохновлявшее феодальную клику, тоже не могло избежать гнева Навои. В эпоху безраздельного господства ислама, когда процветали всевозможные религиозные предрассудки, Навои срывает со служителей церкви маски и разоблачает приемы мнимых «чудотворцев».

Наряду с сатирическим изображением плохих властителей, подлых царедворцев, лицемерных церковников, Навои рисует мечту об идеальном человеке и рисует примеры дружбы, искренности, доброты, правдивости.

Нарочитая дидактичность поэмы нигде не кажется навязчивой или скучной, потому что прописные истины облачены в форму поэтическую и образную.

Особенную ценность для нас представляют яркие картины эпохи. Перед читателем проходит вереница людей: бедные студенты, ищущие покровителя; ученые, делающие из науки средства для достижения своих корыстных целей; беки и вельможи, хвастающие перед своими собутыльниками еще не совершенными подвигами; мелкие чиновники; сборщики налогов, рышущие по кишлакам и грабящие народ.

Особой любовью Навои пользуются крестьяне (дехканы), мирные люди труда, стонущие под игом феодалов. Он призы-

вае всех, имеющих власть, проявлять человечность и заботиться о народе:

Высоким званием «человек» достоин  
Кто о народе никогда не ослаблял забот.

В общий, вполне земной и реальный тон «Смятения праведных» иногда проникают философско-мистические элементы. Поэт порой говорит об отречении от мирской суеты, о бренности мира. Это — дань традиции. Навои был большим жизнелюбом, его никогда не покидала любовь к природе и людям.

## 9

Две поэмы «Пятерицы» Навои — «Фархад и Ширин» и «Лейли и Меджнун» — раскрывают перед читателем образы людей, наделенных высокими качествами: стремлением к труду, чувствами справедливости, любви, ненависти к злу. Таков сын китайского властителя Фархад. Он полон сочувствия к обиженным и обездоленным. Любознательная и впечатлительная натура Фархада тянется к знанию, ему хочется познать тайны природы и изучить все искусства и ремесла.

Царевич томится во дворце отца, словно в злой неволе, и для его развлечения лучшие архитекторы, художники, строители создают великолепные здания. Фархад следит за строительством, вникает в работу искусных мастеров; созидательный труд увлекает его и становится основой жизни.

И все же непонятная печаль томит сердце Фархада. Это — муки неосознанной и еще неизведанной любви. Едва царевич увидел в магическом зеркале образ прекрасной девушки, Ширин, как он загорелся к ней любовью и отправился в широкий мир, чтобы найти красавицу.

Любовь заполнила его сердце, но не вытеснила из груди благородных чувств, напротив, она пробудила в ней героизм, готовность к самопожертвованию. Фархад попадает в Армению. Он в чужой стране, среди чужого народа. Но и здесь Фархад жалеет землекопов, забытых тяжелым трудом, роющих канал в горах. С большим напряжением пробивают они горную породу. Фархад решает помочь строителям канала. С величайшим рвением, не отдыхая ни днем, ни ночью, Фархад работает над

проведением оросительного канала, поражая всех умением и силой. Так, Фархад приобретает в поэме Навои глубокий смысл и величие, становится мощным воплощением труда.

Герой Навои намного выше традиционных героев восточных сказок и легенд. Он не только рыцарь любви, ищущий по свету свою возлюбленную, но и рыцарь созидательного труда, чуткий к нуждам народа. Фархад любит труд, как любит его сам Навои, вникавший во все детали гератского строительства.

Когда Фархад отказывается от власти, он это делает зная, что власть в феодальном государстве ведет к грабительским войнам и насилиям. Таким насильником и тираном выступает в поэме шах Хосров. Он идет войной на Армению, чтобы захватить Ширин, любимую Фархада.

Хосров — воплощение зла. Он неспособен понять высоких мыслей и чувств Фархада, его возлюбленной Ширин и ее тетки, мудрой правительницы Михин-бану. Собрав огромное войско, Хосров всгупает в Армению и разрушает страну. Ему не удается победить Фархада в открытом бою. Он коварством берет его в плен. Но и закованный в цепи Фархад сохраняет беспримерное мужество. Он разоблачает подлость и злодеяния Хосрова, а когда приходит час смерти, в прощальном монологе скорбит о несовершенстве мира, но уходит из жизни с мечтой о грядущей победе любви и гуманности.

Навои бесконечно углубляет понятие любви. Для него любовь и верность — синонимы. Он рассматривает верность, как священный долг. Узнав о гибели Фархада, прощается с жизнью и Ширин. Несмотря на трагическую развязку, поэма Навои насыщена бодрими, оптимистическими настроениями. Войска захватчиков изгнаны из Армении, широко и спокойно струятся воды канала «Нахр-ул-хаят» («Река жизни»), прорытого Фархадом. В скорбную мелодию смерти врывается торжествующий гимн вечной, созидательной жизни.

В таких же тонах написана и другая поэма «Лейли и Меджнун» Навои. Обратился к старинному арабскому сказанию о юноше-поэте Кайсе, до такой степени поглощенном любовью к Лейли, что его прозвали Меджнуном («безумным», «одержимым»).

Навои рассказал с глубоким лирическим чувством историю зарождения любви двух детей — Лейли и Меджнуна. Они могли бы наслаждаться большим заслуженным счастьем, если бы родители из-за племенных распрей не восстали против их брака. Поэт осуждает жестокость мелких и будничных людей, не понимающих высоких чувств. Отец Лейли признает духовные качества Меджнуна, но готовит для своей дочери богатого жениха, хотя отлично знает, что это против ее воли.

Меджнун, подобно Фархаду, с самого детства ненавидит насилие и гнет. Он — не борец против внешних обстоятельств, разлучающих его с любимой. Это — мученик любви, ищущий бесконечного наслаждения в бесконечности страданий. Меджнун в горьком одиночестве блуждает по степи, оглашая воздух жалобами и рыданиями. Он становится подлинным безумцем.

В такой трактовке любви, как безумия, есть религиозно-мистический элемент. Совершенная любовь в суфийском толковании ведет к самоуничтожению, к блаженному растворению в любимом существе и в окружающем мире.

В «Лейли и Меджнун» на первый план выдвигается не абстрактно-философское толкование любви, а вполне реальное изображение страданий двух влюбленных, разлученных вследствие родовых предрасудков. Навои создает ряд глубоких характеров: одержимого любовью Меджнуна, исполненной нежной женственности Лейли, благородного друга Меджнуна Науфаля. Всей поэме придан страстный и знойный колорит Аравии, где происходит действие.

## 10

«Семь планет» — самая пышная по композиции и богатству образов поэма в «Пятерике» Навои. Предшественники великого узбекского поэта, Низами и Хосров, уже рассказали историю центрального героя поэмы Навои. Этот герой — историческая личность, иранский шах Бахрам-Гур из династии сасанидов, правивший с 420 по 438 год.

Низами дал картину морального перерождения Бахрама. Шах прозрел и увидел, как его везиры бессовестно грабят народ.

Навои по горькому опыту знал, что такое перерождение чаще всего плод поэтической мечты. Великий узбекский поэт нарисовал более реальную фигуру царя-самодура, проводящего дни в пьянстве и разврате, мало думающего о государственных делах и народном благе.

Как и в других поэмах, Навои уделяет здесь большое место теме любви. Всемогуший шах Бахрам воспылал страстью к замечательной девушке, музыкантше и певице Диларам. Шах думал, что может превратить ее в бессловесную рабыню, подчиненную его прихоти, но у Диларам было сильно чувство собственного достоинства. Она не лестила царю и подверглась за это жестокому наказанию.

Потеряв Диларам, шах впал в глубокую тоску. Навои великолепно изображает душевное состояние Бахрама, доводящее его до безумия.

В эту основную сюжетную ткань поэмы вплетаются дополнительные эпизоды. Для развлечения Бахрама строят семь великолепных дворцов по аллегорическим цветам семи планет (отсюда название поэмы). Семь чужестранцев рассказывают каждый вечер по чудесной повести царю, страдающему бессонницей. Так, в историю Бахрама и Диларам вкраплено семь маленьких новелл, шедевров поэтического мастерства Навои. Вереница образов встает перед нами: богатый житель города Халеба — Ахи, египтянин Сад, ювелир из Малой Азии, принц Сухейль, его возлюбленная — царевна Михр, щедрый Масуд и музыкант из Хорезма.

Знаменательна концовка поэмы, в которой Навои рисует гибель шаха Бахрама. В соответствии с общим стилем «Семь планет» этот эпизод рисуется в гиперболических тонах аллегории. Но за фантастической картиной трагической охоты Бахрама легко разглядеть реальную подоплеку и прочесть морализующую тенденцию Навои.

Царь Бахрам отправляется на охоту с огромным полчищем в сто тысяч человек. Охотники мчатся по степям и топам, уничтожая перепуганных зверей. Их кровь льется реками, и в то же время с небес струится дождь, он превращается в страшный ливень и затопляет обширную местность, в которой происходит охота. Болотистая почва засасывает охотников

Тщетно Бахрам и его придворные поднимают вопли, несущиеся к небу. Их всех ждет неминуемая смерть.

Гибель Бахрама в болоте — грозное предупреждение правителям, которые в поисках земных наслаждений забывают о благе народном. Бахрам Навои вызван в жизни вполне реальной фигурой Хусейна Байкара, который под влиянием дворцовой реакционной клики предавался пьянству и разврату, забыв о своем народе и потеряв последние черты облика «просвещенного монарха», каким выглядел в начале царствования, когда Алишер был его ближайшим советником.

К теме справедливого и мудрого государя, покровителя народа, Навои вернулся в последней поэме «Пятирицы», названной «Вал Искендера».

В центре поэмы — историческая личность, выдающийся полководец древности, Александр Македонский (Искендер).

Как известно, Александр Македонский завоевал обширные земли Средней Азии. Население на долгие столетия хранило память о подвигах Александра Македонского, принесшего на Восток знакомство с культурой эпохи эллинизма. Неудивительно поэтому, что предшественники Навои и он сам высоко ставили великого македонца, царя-завоевателя.

В поэме «Вал Искендера» исторические события представлены в фантастическом свете. Жизнеописание Александра далеко от подлинной его биографии.

Искендер выведен в поэме Навои как образец монарха, заботящегося о народных нуждах, создающего взамен мелких феодальных владений большое, централизованное государство. Навои считает, что величие Александра и его огромные успехи на полях сражений объясняются близостью к народу и заботами о нем.

Искендер обладает всесторонним, пытливым умом и любознательностью. Он ценит изобретателей и сам придумывает разные чудесные машины. Устанавливая порядок и законность, он облегчает жизнь подданных. Искендер постоянно и тщательно следит за действиями всех своих подчиненных, воспитывает хороших, честных людей и беспощадно карает сеющих раздор и насилие. Ежедневно он лично выслушивает жалобы людей, сокращает размеры налогов.

У Навои Искендер — смелая, энергичная, деятельная натура. Царь превращает государство в цветущий край и организует сильную и преданную армию. Одну за другой покоряет он страны на Западе и на Востоке. Он не грабит народы побежденных стран, но устанавливает там порядок и вводит свои законы. Он отменяет варварские обычаи, строит новые города. Искендер окружен мудрецами и учеными. С их помощью он сокрушает мощные крепости и проникает в неприступные тайники. Искендер старается познать тайны жизни и природы. Его не удовлетворяет видимый органический и неорганический мир. Он хочет попасть на дно морское, ознакомиться с жизнью его обитателей. Таким образом, герой, завоевавший мир, теперь стремится его познать. С помощью ученых он изобретает огромную колбу и в ней опускается на дно морское.

Рисуя образ идеального правителя и человека, Навои как бы давал Султан-Хусейну и дворцовой клике урок мудрости и справедливости. Он это делал неустанно, и в жизненной практике, и в поэзии, хотя разоблачать насилие и беззаконие правящей верхушки было делом смелым и опасным.

Тот, кто избрал себе удел служить  
царям земным,  
Тот поневоле должен стать слепым,  
глухим, немлым

Но Навои не хотел быть слепым, глухим и немлым перед царем. Он говорил правду в лицо, и показывая в идеальном свете фантастического Искендера, он поучал Хусейна: «Будь, как он!»

## II

Навои жил и творил на закате династии тимуридов, когда их владения содрогались от натиска внешних врагов и внутренних междоусобиц. Это был жестокий век, мало благоприятствовавший осуществлению тех идеалов, о которых мечтали Навои и группа близких ему по духу, лучших людей страны.

Алишер жадно искал ответа на коренные вопросы философии. И у него возникали, не раз повидимому, глубокие сомнения в истинности религии. Боясь быть уличенным в богохульстве, Навои не мог открыто высказывать свои философские взгляды.

В свое время делались попытки объяснить поэмы Навои с точки зрения суфийской философии и объявить систему образов «Хамсы» только мистическими аллегориями, обозначающими пути познания высшей истины. Но при ближайшем и беспристрастном изучении творчества Навои легко обнаружить ошибочность этих утверждений. Во всех поэмах мы видим кипение бурных человеческих страстей и столкновение живых характеров. В «Фархаде и Ширин», как и в «Лейли и Меджнуне», на первом плане живые чувства и переживания героев. Как бы ни были необычны их душевные порывы и поступки, поэт тщательно их мотивирует, старается всегда быть логичным и последовательным.

Выступая против суеверий и мракобесия ортодоксального ислама, Навои противопоставляет темным силам реакции мощь разума и просвещения. Поэт выше всего ценит в человеке жажду знания, стремление осуществить все свои творческие возможности. Такое стремление было в высокой степени присуще самому Алишеру Навои. По размаху пытливого ума и разносторонности познаний он напоминает таких гениев европейского Возрождения, как Леонардо да Винчи. Навои был великим поэтом, выдающимся государственным деятелем, историком, лингвистом, художником, музыкантом, каллиграфом.

Такое многообразие дарований Алишера Навои отмечали уже и его современники. В восторженных отзывах об Алишере, оставленных нам Джами, Бабуром, Хондемиром, Сам-Мирзой и Даулет-шахом, неизменно подчеркивается богатство интересов Навои. Так Сам-Мирза писал о нем:

«Этот великий человек, этот добродетельный ученый не потерял бесполезно ни одной минуты своей жизни, которую он целиком посвятил изучению наук и добрым делам, а также содействию прогрессу науки и, наконец, составлению литературных трудов, которые до конца мира останутся нерушимыми памятниками его славы!»

Навои, как культурнейший деятель своего времени, не только покровительствовал ученым, поэтам, художникам, музыкантам, но и считал необходимым в своих поэтических творениях развивать идеи науки и просвещения. Поэт создает облик положительных героев как бы по своему подобию:

Фархад, Меджнун, Шапур, Искендер — люди больших знаний и высоких моральных качеств. В них Навои ценит многосторонность интересов и способностей. Основная черта положительных героев Навои — подлинный гуманизм. Они относятся враждебно ко всякому насилию над человеческой личностью. Фархад — настоящий гуманист, защитник обиженных и угнетенных. Он не способен обидеть муху, и если кому-нибудь приходится переживать печали, Фархад огорчается больше, чем сам пострадавший. «Если нечаянно в ногу нищего попал репей, он готов был вытащить его своими ресницами».

Гуманизм в понимании Навои — это не мягкотелая сентиментальность, не безрассудная доброта чувствительной натуры. Навои ценит и прославляет сознательный, целеустремленный гуманизм. Фархад активно борется со злом, и когда деспот Хосров нападает на Армению, Фархад, «неспособный обидеть и муху», вынимает из ножен меч для решительной борьбы с захватчиками.

В замечательных строках поэмы Навои разъясняет читателю, в чем сущность этого кажущегося противоречия между Фархадом-миролюбцем и Фархадом — грозным мстителем шаху Хосрову за его злодеяния.

Творчество Навои проникнуто жгучей ненавистью к тиранам и поработителям народа. В «Смятении праведных» поэт без всяких аллегорий гневно разоблачает тиранию правителей:

Кто к наслаждениям избрал насилия путь,  
Тот проклят и презрен навеки в мире буди!

Проклятья, ненависть в народе тот найдет,  
В ком угнетателя себе народ найдет.

(Перевод Л. Пеньковского).

В суровое время феодальных междоусобиц, приносивших неисчислимые бедствия народу, поэт мечтал о таком обществе, устои которого зиждились бы на прочном мире и дружбе. Алишеру казалось, что покой в стране может быть установлен только при помощи сильной централизованной власти монарха, могущего создать крепкую национальную державу.

В данных исторических условиях это было ярчайшей прогрессивной идеей, и не только для Средней Азии.

Говоря о процессе ликвидации феодальной раздробленности и создания центра-



лизованных национальных государств в Европе, Энгельс указывает, что «тенденция к созданию национальных государств, вытекающая все яснее и сознательнее, является одним из существеннейших рычагов прогресса в средние века»<sup>1</sup>.

Крепкая централизованная держава, ликвидируя феодальную раздробленность и вытекавшие из нее междоусобные войны, содействовала экономическому и политическому развитию страны и укрепляла ее в борьбе с внешними врагами.

Поэт уделял много внимания проблеме защиты родины.

Он по личному опыту знал, что угрозами, словами, проповедью нельзя «сломить меч насилия». Врага можно победить только силой в открытой борьбе. Нет другого способа для защиты отечества от разорения, от нападения чужеземцев, которые «готовы слизать, как саранча, всю зелень и всю землю в дальних краях» («Возлюбленная сердце»).

Навои высоко ценит чувство любви к родине, хотя понятие родины при феодальном строе и при отсутствии национального государства очень ограничено и неразвито по сравнению с нашими современными представлениями о родине и патриотизме.

Для властительного феодала вообще нет понятия родины: он легко обретал себе родину там, где ему удавалось мечом захватить власть и господствовать над населением. Изгнанный более сильным хищником, феодал находил себе новую «родину» на других землях, где он мог утвердиться.

Иначе осмыслил значение родины Навои. Оно было тесно связано с любовью к родному народу и заботой о его благосостоянии. Родина в понимании Навои — земля, которую испокон веков обрабатывают крестьяне, своим кровным трудом закрепившие ее за собой.

Патриотизм в понимании Навои — естественное для человека чувство. Оно не имеет ничего общего с узким национализмом.

Навои меньше всего свойственны мысли о расовом различии, о превосходстве той или иной расы. В «Хамсе» мы находим представителей многих стран и народов. Фархад — сын китайского народа, его друг,

Шапур — иранец, Ширин — армянка, Меджнун — араб.

В произведениях Навои фигурируют негры, туркмены, грузины, арабы. Навои прежде всего оценивает душевные качества, и для него не играют роли ни национальные, ни общественные различия.

Поэт наносит удар религиозному фанатизму ислама, разделяющему человечество на правоверных и неверных, рисует людей различных вероисповеданий, уважающих друг друга и становящихся союзниками в общем деле.

## 12

Поэтика Навои чрезвычайно интересна и разнообразна по приемам. Для него, как для просветителя и пропагандиста передовых идей, было важнее всего донести до читателя всю полноту содержания данного произведения. Поэтому Навои прежде всего добивался, чтобы его поэмы звучали жизненно правдиво.

Разумеется, реализм Навои ничуть не схож с художественным реализмом европейских поэтов XIX века.

Реализм Навои прежде всего заключается в правдивом изображении человеческих чувств, страстей и переживаний.

Действие поэм разветвляется логически точно, обдуманно, без скачков и случайностей. Поэт придает большое значение психологической мотивировке поступков героев и выводит эти поступки из основных качеств их характеров.

Знакомя читателя с персонажами своих поэм, Навои прежде всего раскрывает их моральные качества. Никогда Навои не рисует героев одной краской, никогда не дает им голословных характеристик, но ставит в такие положения, при которых яснее и жизненнее раскрывается их характер.

Наряду с четкими, реалистическими изображениями своих героев, Навои нередко пользуется и приемом преувеличения, гротеска, нарочитой гиперболизации. Этим он хочет подчеркнуть сказочность поступков своих героев, сделать их деяния предметом философских обобщений. Так, изображая необычайные способности Фархада, поэт говорит:

... Хватая на бегу,  
Мог разгибать он радуги дугу;

Тупой стрелой он мог Арктур пронзить,  
А острой мог зенит он занозить.

(Перевод Л. Пеньковского).

<sup>1</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. XVI, ч. I, стр. 444.

Навои — большой художник природы. Живописный образ, пейзаж занимает выдающееся место в его творениях. Природа никогда не служит ему мертвым фоном, ее добрые и злые силы активно участвуют в жизни героев, сочувствуют их горю, содействуют их счастью.

Такое восприятие природы вполне соответствует пантеистическим философским взглядам Навои. В изображении видимого мира поэт прибегает чаще всего к широким декоративным полотнам и порой поражает читателя оригинальностью и живостью образов, которые, в отличие от многих образов поэтов Востока, никогда не страдают надуманностью или претенциозностью.

Образы у Навои прежде всего точны и вещественны. Таковы же свойства его метафор, эпитетов, сравнений. В его поэзии преобладают живописные образы, напоминающие о том, что Навои был великим знатоком живописи и каллиграфического искусства, покровителем замечательного художника Бехзада, прозванного европейскими искусствоведами «Рафаэлем Востока».

Золото осени, зелень весеннего луга, серебро воды, мрамор стен — все это передает Навои с таким совершенством, что о нем можно сказать его же словами о китайском художнике Мани:

То, что Мани умел нарисовать,  
Неправильно картиной называть:

Из мертвого бумажного листа  
Сияла самой жизни красота.

## 13

Таков Алишер Навои — великий поэт, мыслитель, государственный деятель, человек гениальных и разносторонних способностей.

Всей своей деятельностью он стремился к тому, чтобы принести пользу своей стране и своему народу.

Навои поднял на большую художественную высоту родной староузбекский язык и этим открыл широкий путь для поэтов, знавших ранее лишь персидский язык и считавших, что только на нем можно в совершенстве выражать свои мысли и чувства.

Навои был подлинным просветителем. Он нес народу идеи прогресса и справедливости и хотел, чтобы его книги были до-

ступны народным массам и доносили эти идеи в простой и яркой форме. У народа почерпнул поэт благородную мудрость жизни и пылкую любовь к сказочной фантастике. Он считал своим творческим делом воплощение народных легенд, сказаний, пословиц и богатырских былин в более глубокие по идейному замыслу произведения.

Необычайно чуткий к творчеству своих предшественников и современников, Навои точно определил принятую на себя историческую роль в узбекской литературе. В заключении к «Фархаду и Ширин» Алишер Навои говорит:

Пусть Низами победоносный ум  
Завоевал Барда, Ганджу и Рум.

Пусть был такой язык Хосрову дан.  
Что он завоевал весь Индустан;

Пускай на весь Иран поет Джами,  
В Аравии в литавры бьет Джами. —

Но тюрки всех племен, любой страны,  
Все тюрки мной одним покорены!..

И от Шираза до степей туркмен,  
От Хорасана до китайских стен.

Где б ни был тюрк, — под знамя  
Он добровольно встать всегда готов.  
(Перевол Л Пеньковского)

Навои не переоценил в этих горделивых строках своего значения. Действительно он не только оказал решающее влияние на родную узбекскую литературу, но и на творчество всех тюрко-язычных народов: казахов, туркмен, азербайджанцев, татар, киргизов. Творения Навои проникли в народные массы, и его сюжеты и образы нашли отражение в богатом фольклоре народов нашей страны.

Прошло пять столетий со дня рождения Алишера Навои, но его творения не покрылись архивной пылью, а звучат для каждого поколения с новой силой. В городах и кишлаках Средней Азии молодежь и старики поют газели Навои и зачитываются его поэмами. Седобородые сказители — шаиры по-своему рассказывают о подвигах Фархада, о безумной страсти Меджнуна, о любви Бахрама и Диларам. С давних пор жители Ферганской долины назвали живописные места своей родины именами Фархада и Ширин. Фархад является живым олицетворением творческого труда в наши дни: самая мощная электростанция Узбекистана носит имя любимого народного героя, Фархада.

Жизнь и творчество Алишера Навои еще не изучены с достаточной полнотой. Естественно, что до Великой Октябрьской социалистической революции изучение Навои находилось в руках реакционного мусульманского духовенства, которое старалось скрыть от народа прогрессивные идеи великого узбекского поэта, прикрывая их завесой религиозно-мистических истолкований.

В наши дни наблюдались искажения и другого вида: некоторые литературоведы пытались модернизировать фигуру Навои и сделать из него носителя революционной идеологии, законченного демократа.

Образ гениального поэта и культурного деятеля не нуждается в подобных фальсификациях. Его жизнь и творчество могут быть правильно оценены и изучены, если рассматривать их в определенной исторической обстановке.

Алишер Навои дорог всем народам Советской страны, потому что он — один из тех великих умов передового человечества, которые на протяжении веков страстно искали путь к гуманности и справедливости, обретенный советским народом благодаря воли и мудрости создателей первого в мире социалистического государства — Ленина и Сталина.



---

---

# ЗАМЕТКИ ХОЗЯЙСТВЕННИКА

ПАВЕЛ КАМЫШЕВ

★

**Д**авным-давно прошли те времена, когда вопросы индустрии интересовали только инженеров, техников и рабочих, урожаем занимались агрономы и крестьяне, а проблемы искусства, права или медицины волновали одну лишь интеллигенцию.

Любой рабочий, любой инженер или юрист, разворачивая утром газету, с интересом читает обязательства колхозников перед товарищем Сталиным. «Какой в этом году рассчитывают собрать урожай на Кубани?» — спрашивает он, хотя, может быть, никогда ранее не бывал в деревне. О современной музыке, о новых произведениях писателей со страстностью и убежденностью спорят рабочие. Колхозники и врачи внимательно следят за тем, как работает промышленность.

Всем до всего есть дело, ибо все это наше, общее, народное.

Дело жизни каждого советского человека — это его труд. В труде познается характер, общественная полезность, политический и культурный уровень члена советского, социалистического общества. Нельзя, как я думаю, дать полную характеристику человека, не рассматривая его в непосредственной связи с трудом, которым он занят. Как ни странно, советская художественная литература не слишком балует нас, рядовых читателей, изображением человека в процессе его труда. Особенно мало книг о рабочем человеке, о рабочем классе СССР, о заводском коллективе. А между тем, на предприятиях нашей страны идет напряженная работа по выполнению сталинской послевоенной пятилетки в четыре года. Путь к решению этой задачи один — неуклонное повышение производительности труда. Еще много лет тому назад Владимир Ильич Ленин говорил, что производительность труда, это, в последнем счете, самое важное, самое главное для победы нового общественного строя. Коммунизм, писал он, начинается там, где появляется самоотверженная, преодолевающая тяжелый труд забота рядовых рабочих об увеличении производительности труда.

Надеюсь, что никто из читателей не подумает, что я намерен восполнить пробел в литературе, о котором я только что сказал. Моя специальность — изготовление инструментов для производства машин, в частности автомобилей. Литература — не моя специальность, и перо литератора — не мой инструмент.

Если, однако, я отважился писать эту статью, то только потому, что хочу поделиться с читателями некоторыми соображениями о путях, на которых мы можем добиться повышения производительности труда. И так как сейчас вопросы промышленности перестали быть уделом одних лишь хозяйственников и инженерно-технических работников, а интересуют самые широкие слои советских людей, то я и рискую опубликовать мои весьма скромные заметки.

1

— Я инженер, и этим все сказано!

Так ответил мне однажды в Детройте один знакомый американец, когда я спросил, из каких элементов складывается его жизнь. Мой собеседник говорил искренне. Своим лаконичным ответом он хотел подчеркнуть, что не интересуется ничем, кроме

своей профессии, в узком смысле этого слова. Он честно служит своему хозяину, с полным основанием получает каждую неделю свои доллары, и всё! Что его интересует еще, кроме выполнения прямых обязанностей и благополучия семьи? Легче ответить на вопрос, что его не интересует. Политика его не интересует. Этим пусть занимаются дипломаты и другие государственные деятели! Им за это платят деньги. Экономика собственной страны занимает его только в такой степени, в какой она не угрожает кризисом его благополучию; экономические проблемы заокеанских государств не волнуют вовсе. Философия, социальные отношения, общественные формации — какое это имеет отношение к его делу! И стоит ли этим загружать мозг, когда там место отведено исключительно для мыслей, связанных со служением хозяину и устройством личного быта.

Я не возражал тогда собеседнику. Я не мог бы его переубедить, а кроме того, в те времена я чувствовал себя недостаточно подготовленным для спора с инженером фордовского завода. Я был тогда рядовым рабочим, сормовским лекальщиком, только при советской власти увидевшим то, что можно назвать «большой жизнью» — первую сталинскую пятилетку, активное участие всего народа в строительстве своей жизни и своего государства.

Прошли годы, и сам я стал инженером. В свободные от работы часы, в течение многих лет посещал я аудитории Вечернего индустриального института имени Жданова при нашем заводе, закончил его, и теперь руковожу производственным корпусом, объединяющим шесть цехов, занятых изготовлением сложнейшего и точнейшего инструмента, в том числе крупных холодных штампов.

Теперь и я могу сказать о себе: «Я советский инженер, и этим все сказано!» Но в эту фразу я вкладываю совсем иной смысл, нежели мой американский собеседник.

Я советский инженер, и это значит, раньше всего, что я не чувствую рабской зависимости от одного человека — владельца предприятия, где я служу. Успешные или неуспешные производственные и финансовые операции хозяина завода, конъюнктура биржи и прочие «прелести» капиталистического мира не могут лишить меня свободы творчества, не могут лишить мой труд смысла. Моя работа зависит не от игры интересов капиталистов, конкурирующих друг с другом. У меня один хозяин — мой народ, которому я всегда стараюсь служить верой и правдой. Ему принадлежат все орудия и средства производства, вся наша огромная промышленность. У него на службе я состою, он направляет мой труд, руководит мною, поощряет меня, если я этого заслуживаю, поправляет, если ошибаюсь. Он никогда не даст меня в обиду, он никогда не выгонит на улицу, и если я сойбьюсь с дороги, резко и честно укажет мне верный путь. Я его слуга, и в то же время, я сам — сын этого народа, его частица. Следовательно, я сам хозяин своих мыслей, своего труда. Вот почему я свободен в своем труде и творчестве, как ни один инженер ни в одной капиталистической стране мира.

Я советский инженер, и это значит, что я никогда не упускаю из виду место своего предприятия в общей системе народного хозяйства. Все мы на нашем заводе делаем автомобили. Но мы отлично знаем, что автомобили — это хлеб, идущий из колхозов на элеваторы, автомобили — это строительные материалы для новостроек послевоенной пятилетки, это — оснащенность нашей славной армии, это сбереженное время, сэкономленные средства и т. д. и т. п. Для качества моей работы имеет решающее значение то обстоятельство, что я участвую в создании нового общественного строя. Не просто элементарная добросовестность служащего, обязанного отдавать в течение определенных часов свои знания и умение за зную плату, а нечто большее руководит мной, неизмеримо большее: служение великой идее социализма.

Для меня, советского инженера, связь с заводом отнюдь не кончается с гудком. Завод для каждого советского человека — это его второй дом, а заводской коллектив — вторая семья. Но так может быть только в том случае, если действительно рассматриваешь завод, как часть своей собственности. Может ли сказать что либодобное о предприятии, где он работает, американский рабочий или инженер? У меня есть прекрасный свидетель на сей счет, сам мистер Генри Форд. Вот что писал он

по этому поводу в своей книге «Моя жизнь, мои достижения»: «Личного общения у нас почти нет; люди выполняют свою работу и уходят домой, — в конце концов, фабрика не салон. Но мы стараемся быть справедливыми, и если у нас не в большом ходу рукопожатия, — мы не нанимаем специально джентльменов, — то мы стараемся, по возможности, устранить враждебные отношения».

Заводы мистера Форда — не салон, я могу тоже это подтвердить, я там работал. Отнюдь не салон! Могу также подтвердить, что на предприятиях ныне покойного миллионера действительно существуют враждебные отношения, которые администрация, если бы и хотела устранить, то никогда не смогла бы это сделать. Слишком уж непримиримы интересы хозяев-миллионеров и их прислужников — с одной стороны, и рабочих, прикованных к конвейеру, — с другой.

Вот почему, едва кончается рабочее время, каждый рабочий стремглав мчится домой. Именно «мчится», а не идет, не торопится или не спешит. Ни одной лишней секунды хозяину, ни одного лишнего движения у станка или конвейера!

А я много раз наблюдал за нашими людьми, как они кончают свой трудовой день. Я не говорю уже о том, что рабочие остаются на производственные совещания, где выясняют неполадки минувшего дня, обсуждают итоги соревнования и т. д. Как часто приходится видеть рабочего, стоящего у своей машины и прилаживающего новое приспособление, или группу старых квалифицированных мастеров, объясняющих молодежи премудрости работы на сложном станке...

Да и сам я люблю обойти свой корпус в часы, когда над городом уже спустились сумерки и рабочий день остался позади. Перед тем, как попрощаться с автозаводом и уехать к себе в Сермово, где я живу уже около пятидесяти лет, я обязательно делаю последний обход корпуса. Теперь у меня нет никакого конкретного дела. Я прохожу между рядами станков, между линиями машин не для того, чтобы поговорить с кем-нибудь, дать указание или проверить работу. Нет, теперь я делаю это для того, чтобы наедине с самим собой и своим корпусом обдумать мысли, прошедшие в течение дня, чтобы лишний раз почувствовать гордость за наше социалистическое предприятие, ибо это, как «живая вода», возвращает силы, истраченные за день. Это — ни с чем не сравнимое чувство гордости за нашу социалистическую индустрию, возникшую на месте недавних пустырей и лесов, созданную волей партии Ленина—Сталина.

Но раньше, чем поделиться с читателем этих записок мыслями, приходящими в итоге ежедневного труда, мне хочется ознакомить его с тем, что же из себя представляет наш автомобильный завод имени Молотова и, в частности, его инструментально-штамповый отдел.

## 2

Горьковский автомобильный завод имени Молотова — это один из первенцев первой пятилетки. Он был пущен в 1932 году и возник на месте лесов, болот и улочек деревушки Монастырка, на окраине Нижнего-Новгорода. Строила его вся страна. Партия, правительство, лично товарищи Сталин, Молотов, Орджоникидзе, Жданов уделяли ему огромное внимание. И он действительно стал первоклассным социалистическим предприятием.

Его самая важная особенность состоит в том, что наш автомобильный завод оснащен наиболее совершенной техникой, что он своим оборудованием несколько не уступает лучшим европейским автомобильным заводам, а во многом их превосходит. После создания Горьковского автозавода и коренной реконструкции Московского автозавода имени Сталина — реконструкции, означавшей, в сущности, построение нового предприятия, — наша страна получила находящуюся на высоком техническом уровне автомобильную промышленность, не существовавшую вовсе в России до советской власти.

Поточная система производства, целые автоматические линии, новейшие методы резания металлов, закалка металлов токами высокой частоты, высокопроизводитель-

ные многошпиндельные станки и т. д. — вот что характеризует технический уровень предприятия, на котором я работаю. Страна наша, до 1924 года вовсе не производившая автомобилей, как бы совершила прыжок в современный мир автомобильной техники.

Для того, чтобы в этом убедиться, достаточно зайти хотя бы только в наш инструментально-штамповый корпус. В сущности, это самый крупный в Европе инструментальный завод. Я говорю это без всякого преувеличения.

Завод потребляет ежедневно огромное количество инструмента, поступающего к нам с самых различных концов страны. Но он и сам производит весь необходимый ему специальный инструмент: режущий, мерительный, штампы кузнечные и прессовые для холодной штамповки из листа, и различные приспособления. Это производство сосредоточено в инструментально-штамповом отделе, объединяющем 6 цехов. В нашем корпусе производятся вещи самых различных размеров: от инструмента толщиной и величиной с иголку до штампов весом в 50—70 тонн. Большинство рабочих — люди высокой квалификации. На токарном или шлифовальном станке они могут обработать любой инструмент самой сложной конфигурации. Недаром некоторых из наших лекальщиков называют «ювелирами», настолько филигранна их работа.

Однажды, находясь в Англии, мне довелось попасть на один инструментальный завод. Здесь, в частности, занимались доводкой плиток Иогансена. Так как я в свое время немало поработал над этой проблемой, особенно в Государственном оптическом институте, куда была приглашена академиком Гребеншиковым группа советских лекальщиков из разных городов, мне захотелось ознакомиться с методами доводки плиток Иогансена у англичан. Но когда я попал в комнату, где над этим работали, я увидел, что мои «гостеприимные» хозяева накрыли брезентом все столы, на которых производилась доводка плиток. Ну что ж, насильно мил не будешь! Приходится уважать чужие секреты. Я не стал спрашивать ни о чем из того, что мне захотели показать.

Но вдруг я увидел из-под брезента половину высывавшегося оселка. Очевидно, второпях его накрыли недостаточно аккуратно. Тогда я обратился к сопровождавшему меня мастеру и рассказал ему, как они, повидимому, доводят плитки Иогансена на этом оселке. Мастер был искренне удивлен тем, что их метод является «секретом Полишинеля». Тотчас же брезент был снят со стола — и моим глазам представилась вся технология доводки плиток Иогансена, которая для меня была давным-давно известной и пройденной, как безнадежно устаревшая.

— Боже мой, как вы отстали! — сказал я мастеру...—Вы прячете то, что нужно просто выбросить...

Англичанин был явно смущен. Он предполагал, что русские мечтать не могут о подобной технике, которой был богат его завод. Но я увидел лишний раз, что нам, советским людям, перестраивавшим свою промышленность на новой основе, не к лицу преклоняться перед заграничным.

И наш инструментально-штамповый отдел—яркое тому доказательство. Вот зал расточных станков. Их здесь довольно много. Но остановимся у одного из них. Он производит расточку наиболее точного инструмента. Его делительный стол дает точность до одной секунды градуса. Поперечная линейка на траверзе определяет координаты с теоретической точностью до одного микрона.

Станки эти оснащены сложными оптическими приборами. Они требуют от каждого, даже рядового рабочего знания геометрии и тригонометрии.

Или зайдём на линию копировально-фрезерных станков. Они незаменимы для изготовления инструмента сложной конфигурации, такого, как штампы крыши автомобиля, штампы пола, крыльев, капота и т. д.

Вот при вас установили гипсовую мастер-модель, точно соответствующую по конфигурации будущему штампу. Ниже закрепили огромную металлическую отливку, весом иной раз свыше 30 тонн. Металлический шуп движется по гипсовой мастер-модели. Режущий инструмент — фрез с автоматической точностью повторяет его движе-

ния на металле, воспроизводя все углубления, которые есть на мастер-модели; обрабатывая все выступы, впадины, он переносит их на металл.

В прошлом завод заказывал все основные штампы для производства легкового автомобиля за границей. Впервые в своей истории, в нынешней пятилетке, завод взялся самостоятельно за изготовление всех штампов и электросварочных машин. Для того, чтобы приступить к изготовлению послевоенной модели легкового автомобиля «Победа», который теперь уже появился на улицах многих советских городов, нашим инструментальщикам пришлось изготовить 5.350 холодных штампов, 14.000 позиций режущего и мерительного инструмента, 6.300 видов различных приспособлений и крепежа. Все эти штампы, приспособления и весь инструмент, так же как и сам автомобиль «Победа» сконструированы на нашем заводе. Не нужно быть автомобилестроителем, чтобы понять, какая это гигантская работа, в особенности для людей, взявшихся за нее впервые.

И с этой работой мы справились. Как нам это удалось?

Во-первых, мы смогли все это создать в сравнительно короткие сроки, имея очень небольшой опыт изготовления штампов, потому что наши рабочие — это поистине золотые люди. Послевоенная пятилетка — настолько их кровное дело, что они вкладывали в свой труд всю свою душу, всю рабочую смекалку. Старые и молодые мужчины и женщины, девушки и подростки-ремесленники — все трудились, как подобает стахановцам, то есть людям, работающим на самих себя, на благо их Отчизны, для процветания их народа, а не в угоду интересам капиталистов, фордам или рено, оппелям или пежо.

Во-вторых, наша техника, которой партия и правительство вооружили в годы пятилеток советскую промышленность, в частности наш завод, — дала нам возможность полностью справиться с задачей выпуска автомобиля новой конструкции.

Итак, советские люди, с новым, совершенно отличным от зарубежных стран, социалистическим отношением к труду, плюс передовая, наиболее современная техника — вот «секрет» нашего успеха. Мы его ни от кого не скрываем.

Разумеется, в наиболее развитых капиталистических странах, в особенности в Америке, есть много оборудования, не уступающего нашему. Но и наше оборудование не уступает заокеанскому, а уж об европейском и говорить не приходится. Но зато отношение к труду рабочих, весь уклад жизни, производственных отношений на нашем предприятии настолько выше, впереди капиталистического производства, что здесь мы можем дать много очков вперед.

И никакие методы, никакое «научное управление», придуманное в свое время Тэйлором, никакая социальная демагогия Форда не смогут ничего изменить. Капитализм не в состоянии породить ничего творческого. Слишком непримиримы противоречия капиталистов и тех людей, чьими руками добываются ценности на земле

### 3

Насколько же наша система, наши взаимоотношения на предприятиях выше, лучше, справедливее, чем в капиталистических странах!

Я был еще совсем молодым человеком и рядовым рабочим, когда государство послало меня в командировку на Детройтские заводы. Я не закупал оборудования, не представлял хозяйственную организацию, я только проходил практику в качестве простого лекальщика. И вот однажды, уже привыкнув к своему новому цеху, присмотревшись к производственным методам американских инструментальщиков, я задумал проделать небольшой эксперимент. Утром, придя на работу, я решил устроить небольшое негласное соревнование с лекальщиком, трудившимся на соседнем станке. Мы работали на одинаковом оборудовании, обрабатывая одну и ту же деталь. Одним словом, мы находились в равных условиях.

Уже к обеду стало ясно, что я значительно обогнал моего соседа. Горка деталей на моем столике была выше, чем на тумбочке моего «конкурента».



«Эге, — подумал я, — к концу смены разница в нашей производительности будет очень велика».

Мой сосед, почуяв недоброе, начал косо на меня поглядывать. Но он ни на секунду не изменил ритма своей работы. Должен сказать при этом, что он трудился вполне добросовестно. Я уже в душе торжествовал победу. Однако во время короткого обеденного перерыва ко мне подошел человек, работавший неподалеку от нас, и сказал:

— Мистер Камышев, почему у вас сегодня такая бешеная производительность? Я чистосердечно рассказал ему, что задумал провести маленькое, неофициальное соревнование. Он укоризненно покачал головой.

— Нет, мистер Камышев, я был о вас лучшего мнения. Я знал, что вы приехали из страны, где давно понимают, что такое рабочая солидарность, и ваш поступок меня сильно разочаровал...

Я искренне не понимал, чем огорчил человека, к которому, между прочим, чувствовал симпатию.

— Фордовские заводы, — продолжал он, — давно славятся своей высокой производительностью труда. Старый Генри разработал такую систему, что нам некогда ни охнуть, ни вздохнуть. И вот вы хотите кому-то доказать, что производительность труда может быть еще выше...

— Но позвольте, — возразил я своему собеседнику, — я ведь нисколько не увеличивал мускульное напряжение. Просто я кое-какие штучки придумал, переставил на этом станке. И кроме того, захотел, вот именно захотел, чтобы станок давал больше...

— Ну и что же? Завтра всем нам увеличат норму. И того, кто с ней не справится, вышвырнут за ворота. Вы этого хотите добиться? Какая вам от этого польза? Вы никогда не были безработным! — закончил он таким скорбным упреком, что я навсегда запомнил и горестный тон его слов и жалкое выражение глаз.

— А'у нас, — сказал я, — люди очень охотно соревнуются друг в другом, и никто не боится за свою судьбу...

— А у вас, — ответил он мне в тон, — нет Генри Форда, и многого другого нет у вас...

На этом и закончилось наше «соревнование».

Я снова оговариваюсь: человек, с которым я решил соревноваться, работал исключительно добросовестно. Он старался изо всех своих сил... Да и нельзя не стараться, иначе завтра тебя не будет на заводе. Но как же страшна система, при которой всякая попытка внести в труд элемент творчества встречается самими рабочими в штыки, ибо она идет во вред коллективу работающих!

Такова сейчас система на капиталистических предприятиях, такой она была и десятки лет тому назад.

Раскройте книгу Фридриха Уинслоу Тэйлора «О тэйлоризме», изданную в СССР на русском языке, и прочитайте показания, данные автором еще за несколько лет перед первой мировой войной Специальной комиссии Конгресса США.

Вот он стоит перед конгрессменами, человек, придумавший «научное управление», решивший, что можно создать на капиталистических предприятиях классовый мир, и пропагандирует свою методику жестокой эксплуатации (Я привожу его слова в извлечениях).

**Председатель:** Изложите, для осведомления комиссии, как вы разработали свою систему, когда разработали, где разработали и каковы ее существенные черты после того, как она уже разработана.

**Тэйлор:** Важнейший факт, характерный для рабочих нашей страны, — это присущая среднему рабочему уверенность, что в его интересах и в интересах его товарищей работать медленно, а не быстро, давать пониженный выход продукта, а не производить всей той дневной работы, которую практически можно произвести.

... Если вам удастся склонить рабочего к откровенной беседе, чтобы он, не ожидая встретить с вашей стороны неприязненного к нему отношения, без обиняков рассказал,

что он думает и чувствует, то вы почти всегда и почти от каждого из рабочих услышите, что он не может себе представить, каким образом большое увеличение их продукции могло бы послужить на пользу его профессии, то есть на пользу его товарищей по делу и тех, с чьей работой он знаком.

Если рабочий вам доверяет, он задаст вам такой вопрос: «А что бы стало с теми из работников моей профессии, которые вследствие большого увеличения нашей ежедневной продукции были бы выброшены с завода?»

... Нельзя порицать рабочих за то, что, исходя из такой точки зрения, они навязывают другим рабочим мысль, что не в общих их интересах сильно увеличивать продукцию в их производстве, что было бы человеческим, было бы добрым делом, было бы лишь на пользу их братьям — скорее сокращать, чем увеличивать их продукцию.

Научное управление, по своей сущности, предполагает полную революцию в умах рабочих, занятых в каждом отдельном учреждении или промышленном предприятии, полную революцию в их умах в том, что касается их обязанностей в работе, их обязанностей по отношению к товарищам по работе и их обязанностей по отношению к их нанимателям. И оно предполагает столь же полную революцию в умах работников управления — мастеров, управляющего, владельца предприятия, административного совета, — в том, что касается их обязанностей по отношению к их сотрудникам по управлению, по отношению к рабочим и по отношению ко всем их ежедневным задачам. И без этой полной революции в умах обеих сторон немисливо научное управление».

Но в чем же видит Фридрих Тэйлор сущность той «психологической революции», о пришествии которой он мечтает?

Послушаем его дальше:

«Великий переворот в устроении обеих сторон, имеющий место при научном управлении, состоит в том, что обе они отвращают свои взоры от раздела прибавочного продукта, как важнейшего момента, и обе направляют свое внимание на увеличение объема прибавочного продукта до тех пор, пока он не достигнет таких размеров, что окажется ненужным препираться о том, как его делить... Вот где начало великой революции в умах, составляющей первую ступень к научному управлению. Именно по этой линии — полной перемены устроения обеих сторон, замены войны миром, замены распри и конфликтов братским сотрудничеством, сосредоточения усилий обеих сторон в одном направлении вместо разрыва, замены подозрительной настороженности взаимным доверием, — именно по этой линии должно идти развитие научного управления».

Райская картинка, изображающая мирное существование и дружбу «волков и ягнят» в представлении капиталиста Тэйлора, не вносит ничего нового в давно известные разговоры о классовом мире. Доказано, что из этого ничего не могло выйти и не вышло. Только недавно в печати сообщалось, что рабочие фордовских заводов готовятся к грандиозной забастовке, в которой примут участие свыше ста тысяч человек, из-за конфликта с администрацией по вопросу о коллективном договоре. Известно также, что реальная заработная плата рабочих Форда после войны значительно снизилась. Но не является секретом также и тот факт, что компания Форда обладает гигантским капиталом, а семья Фордов занимает одно из первых мест среди самых богатых людей Америки.

Но дело не в одном этом факте. Гораздо примечательнее тот тупик, в который завели промышленность капиталисты, тупик, состоящий в том, что люди, производящие ценности на земле, не заинтересованы в увеличении этих ценностей. Больше того, они считают вредным для своих интересов увеличение производительности труда.

Это, поистине, катастрофа.

Великие наши вожди товарищи Ленин и Сталин говорили, что так же, как капитализм победил феодальный строй своей более высокой производительностью труда, так же социализм победит капитализм своей более высокой производительностью труда.

И в самом деле. На наших предприятиях производительность труда растет из года в год, потому что наш советский, социалистический строй, наши порядки стимулируют стремление рабочих работать лучше, давать больше, придумывать и усовершенствовать технологический процесс, выжимать из техники максимум того, что она может дать. Капиталистический же строй, наоборот, подсказывает рабочему всем его опытом, что увеличение производительности труда сулит ему новые лишения, а капиталисту новые барыши.

Часто приходится разговаривать с людьми, приезжающими из Америки. Некоторые из этих людей приходят в восторг от хитроумных станков, которые им довелось там видеть, от четкости технологического процесса и т. д. Смешно было бы отрицать наличие передовой техники у американцев. Но разве это решает вопрос?

Мне думается, надо рассуждать иначе. Еще во время войны товарищ Сталин на примере боевых действий показал значение временных и постоянных факторов. Пока наши враги — немецкие фашисты — обладали некоторыми преимуществами временного характера — внезапностью нападения, отмобилизованностью армии и т. д. — они продвигались вперед. Но когда эти временные факторы уступили место постоянно действующим факторам, мы начали бить немцев, и Германия затрещала по всем швам.

По-моему, этот же закон применим и к экономике соревнующихся экономических систем: социалистической и капиталистической. Наша страна была весьма отсталой в технико-экономическом отношении. Нам предстояло в очень короткий срок догнать передовые в технико-экономическом отношении страны. Мы приступили к строительству, в частности, автомобильной промышленности, в то время, когда капиталистические государства имели огромную сеть прекрасно оснащенных автомобильных заводов. Осуществляя сталинский план индустриализации, мы обогатились первоклассными заводами с великолепным оборудованием, мы научились производить станки, самолеты, автомобили и т. д. Таким образом, преимущества временного характера все больше и больше стали терять свое значение. В дело вступили факторы постоянные — преимущества социально-политической системы. И тут капитализму не под силу соревноваться с нашей социалистической страной. Производительность труда в советском государстве растет и будет расти неизмеримо быстрее, чем в странах капитализма. Иначе быть не может. Порукой тому наше социалистическое соревнование, наше стахановское движение, блестящие примеры труда таких людей, как кузнец нашего автозавода, лауреат Сталинской премии Елизар Куратов, как мастер завода «Калибр» Николай Российский, как московский стахановец Матросов и тысячи других.

И это естественно! Если в капиталистическом государстве рабочие, как об этом свидетельствовал случай с моим неудачным «соревнованием» в Детройте или показания Фридриха Тэйлора да и сотни подобных примеров, если там рабочие работают на капиталиста, в интересах своего классового врага, и потому не проявляют и не могут проявлять заинтересованности в повышении производительности труда, то у нас дело обстоит совсем по-другому. Наш советский рабочий знает, что он является хозяином своей страны, что от роста производительности труда зависит благополучие и процветание его социалистической державы, а следовательно, его собственное благополучие. Поэтому он всячески стремится к повышению производительности труда. И чем дальше будут отходить на задний план временные факторы, чем большую роль будут играть факторы коренные, постоянные, тем ярче и нагляднее будут видны преимущества социалистической экономики перед капиталистической даже тем людям, кто до сих пор ослеплен или, раболепствуя перед заграничным, старается этого не видеть.

Мы же, советские, простые люди, никогда не страдали низкопоклонством перед заграничным. Правильнее думать, что, по скромности своей, не всегда говорили во весь голос о наших преимуществах. А между тем, они огромны, и мы вправе гордиться тем, что на нашу долю выпала честь указывать миру дорогу во всех областях культуры.

Я не теоретик, и может быть не совсем правильно рассуждаю. Пусть простят меня тогда читатели за то, что я решил высказать вслух эти пришедшие мне мысли.

Но разве не верно, что многие трудности, стоящие перед нашим заводом и тор- мозящие рост производительности труда, есть явления временного порядка? Разве не ясно, что с их исчезновением производительность труда на нашем предприятии и, в частности, в моем инструментально-штамповом отделе будет неизмеримо выше?

Но у нас есть еще много дополнительных источников, способных дать быстрое увеличение выпуска продукции. О них следует больше всего говорить. Ни для кого не секрет, что мы располагаем неисчислимыми внутренними резервами. Вот на них я и хочу остановиться.

Резервы эти заключены прежде всего в наилучшей организации рабочего коллектива и в обновлении некоторых технологических процессов. Попытаюсь подробнее расшифровать свою мысль.

Заранее оговариваюсь, что я не собираюсь указывать все пути или даже большинство путей к использованию скрытых резервов производительности труда. Ставлю себе гораздо более скромную задачу: поделиться мыслями на основе собственного последнего опыта в надежде на то, что и он может пригодиться. Итак, сначала о людях.

Каждый начальник цеха часто жалуется на нехватку у него квалифицированной рабочей силы. В большинстве случаев за подобными жалобами скрывается желание найти какое-либо удовлетворительное объяснение собственной плохой работы. Но нельзя отрицать и тот факт, что, действительно, в результате войны со многих заводов ушли десятки квалифицированных людей, что многие предприятия стали работать с меньшим контингентом рабочих. На смену ушедшим приходила молодежь, не имеющая ни достаточной квалификации, ни житейского опыта. Большое количество заводских коллективов изменили свое лицо, стали моложе, в них оказался неизмеримо больший процент женщин, не работавших ранее на производстве.

Характерно, что в ряде случаев это не отразилось на производительности труда. Всенародный подъем был так велик, что меньшее количество работающих людей более слабой квалификации тем не менее давали повышенную производительность труда.

Из нашего инструментально-штампового отдела в первый период войны ушло не мало опытных квалифицированных работников, передовиков производства. Тем не менее выпуск продукции, если взять данные на 1 января 1941 года по нашему корпусу за 100, на 1 января 1946 года будет равняться немногим менее 200.

В чем же дело?

Ответ состоит, в частности, в том, что мы теперь лучше организуем труд, правильнее расставляем силы, сочетая работу высококвалифицированных кадровиков и молодежи, пришедшей к нам из ремесленных училищ и школ фабрично-заводского обучения.

Но в годы войны продукция, которую мы выпускали, не требовала исключительной точности деталей, тщательной их отделки и т. д., а теперь мы должны вырабатывать очень сложный инструмент — в частности, штампы холодной вытяжки, — позволяющий лишь самые минимальные допуски.

Пришлось всерьез задуматься над подготовкой квалифицированных кадров из числа работающей у нас в корпусе молодежи и вернувшихся из армии фронтовиков.

Каков путь, избранный нами?

Мы очень часто создаем бригады, состоящие из одного-двух квалифицированных рабочих и пяти-шести молодых инструментальщиков. Перед опытными рабочими ставится задача обучить молодежь своему искусству.

Есть у нас старый опытный слесарь—наладчик штампов Алексей Ильич Мельников. Слесарь-наладчик должен иметь более высокую квалификацию, чем слесарь по изготовлению штампов. Мы поставили А. И. Мельникова во главе бригады;

состоящей из шести человек, причем он был единственным квалифицированным рабочим-наладчиком. Пять членов его бригады — это ремесленники, совсем молодые ребята.

Другой на месте Мельникова отмахнулся бы от таких «сотрудников» — ведь с квалифицированными людьми работать и легче и выгоднее! Но Алексей Ильич понял наше желание подготовить новых наладчиков и с увлечением стал руководить своей пятеркой.

Прошло немного времени, и он позвал меня к штампам, чтоб я полюбовался, с какой четкостью и слаженностью работали его «орлы». Это действительно была великолепно организованная бригада, с одного слова понимавшая своего руководителя. Я мог поручить им наладку любого штампа и быть спокойным, что задание будет выполнено и, как правило, немного ранее назначенного срока.

В прошлом году в нашем корпусе по инициативе группы стахановцев — Тарасова, Вилкова, Сокова, братьев Жуковых и других инструментальщиков — возникло движение за индивидуальное шефство старых производственников над молодыми рабочими.

Десятки лекальщиков, рабочих цеха крепежа, цеха приспособлений и штамповых цехов брали на себя обязательства подготовить молодых рабочих для выполнения работы третьего и четвертого разрядов. Кадровики называли фамилии одного-двух таких подростков, которых они с этих пор считали своими подшефными. Движение это быстро разрослось и распространилось на другие цехи и корпуса завода.

Речь шла при этом не только о том, чтобы научить хорошо работать, но и о том, чтобы научить правильно жить, воспитать в молодых людях чувство привязанности к заводу, любовь к своей профессии, передать им славные традиции русского рабочего класса, привить стойкие нравственные понятия; словом, превратить их не только в квалифицированных, но и в грамотных, воспитанных в духе большевизма рабочих советского, социалистического предприятия.

На основании личных многолетних наблюдений я могу с уверенностью сказать, что русский рабочий — отличный, прирожденный педагог. Нужно было найти применение этому его педагогическому дару так, чтобы на этом выиграла и наша молодежь и само предприятие.

Сейчас можно привести большое количество примеров того, как благотворно повлияло на многих молодых рабочих такое индивидуальное шефство.

В цехе режущего инструмента работает шлифовщик Александр Иванович Соков. Он прекрасный стихановец, много раз премированный. Его всегда волнует все, что связано с жизнью цеха, он систематически перевыполняет нормы и болеет душой, если цех не справляется со своими задачами.

Александр Иванович отчетливо понял, что успешная работа цеха в значительной мере зависит от того, как будут подготовлены молодые рабочие, которых здесь немало. И вот он взял индивидуальное шефство над двумя юношами — Анатолием Мыкаловым и Николаем Николаевым. Александр Иванович решил, что для того, чтобы оба этих рабочих начали трудиться по-стахановски, нужно найти ключ к их сердцам, вытравить все плохое, наносное и всячески поощрять, поддерживать хорошее, чем богаты эти ребята.

Как-то к Сокову подошел мастер и сказал ему:

— Я знаю, Александр Иванович, что ты любишь возиться с молодежью. Вот у меня много ребят, я с ними справиться не могу. А с одним из них и вовсе нет сладу. Возьми-ка ты его на себя...

— А что за паренек? — спросил Соков.

— Паренек, как будто, серьезный, голько одно плохо: не спросясь частенько убегает на несколько дней в деревню. У него там какие-то дальние родственники живут, родителей нет вовсе. — вот он и ездит к родственникам за 80 километров отсюда и дни работы пропускает. Мог бы я его наказать, так ведь молод он еще очень, и не хочется ему жизнь портить.

Соков посмотрел на Голю Мыкалова и решил про себя: «Ладно, попробую...»

Через несколько дней между ними состоялся задушевный разговор. Он происходил на квартире у Сокова, в непринужденной обстановке. Юноша рассказал о всех своих жизненных злключениях, и Сокову стало ясно, что больше всего паренек нуждается в теплом, отцовском участии.

Вот что потом об этом рассказывал Соков:

«Наш душевный разговор я вел таким образом, чтобы как можно больше расположить к себе Анатолия. Я сказал ему:

— Скажи, Толя, прямо — будешь работать со мной или нет? Будешь слушаться меня, ничего не скрывать? Если пообещаешь, я тоже пообещаю тебе, что выведу тебя в люди...

— Даю слово, — ответил Мыкалов серьезно и вдумчиво.

Но я этим не удовлетворился.

— Ты сейчас сказал: «даю слово!». Признаюсь тебе откровенно, что когда я говорю такие слова, то хоть бы мне пришлось разбиться в лепешку, я их сдержу. Подумай еще раз...

— Даю слово, — снова повторил он, и на этот раз я почувствовал даже какую-то упрямую нотку в его голосе. И упрямство это мне понравилось.

Мы стали работать. Я показывал Анатолию все приемы шлифовки, терпеливо обучал его, старался заинтересовать делом и исподволь следил за ним. Но как-то я заметил, что мой Толя стал скучать, грустить, что-то было на его душе, что он от меня, повидимому, скрывал. Должно быть, его опять потянуло к родным в деревню.

— А не съездить ли тебе в деревню денька на два, — сказал я ему между прочим. — У тебя образовалась переработка в часах, и я, пожалуй, смогу договориться с мастером и начальником цеха...

Толя очень обрадовался.

— Но только помни: два дня, ровно столько, сколько ты переработал...

— Даю слово, — сказал он, как в прошлый раз.

Он уехал.

Теперь я могу об этом спокойно вспоминать, но тогда эти два дня были для меня мучительными. Подведет или не подведет? Загуляет или явится во-время? Ведь он еще был почти подростком, и характер его только формировался.

Как же я был рад, когда утром, к началу смены, увидел его на своем месте.

Но я ничего не сказал ему о своих переживаниях. Он должен был думать, что я ни на минуту не усомнился в его честности.

Прошло много времени. Мыкалов хорошо работал, сдал пробу на следующий разряд, выполнял задания, и я видел, что из него получится хороший шлифовщик.

Все же личная жизнь его — а он жил в общежитии — как-то проходила мимо меня. Вскоре я стал замечать, что мой подфешный парень приходит на работу вялый, раздражительный, чем-то недовольный. Что-то делалось неладное. И вот я узнал стороной, что паренек играет в карты, проигрывает деньги и вчера даже проиграл хлебную карточку. Нашлись какие-то люди, которые взяли его под свое дурное влияние.

Как нужно было поступить? Поговорить с ним? Обругать его? Отказаться от него?

Я решил сделать иначе.

Перед обеденным перерывом я спросил Толю:

— Где твой хлеб?

Он замялся.

— Забыл взять с собой, — ответил он невразумительно.

— Ну что ж, поделимся моей порцией, — сказал я. — Пошли в столовую!

— Не хочу, Александр Иванович. Не хочу я обедать...

— Нет, будешь обедать! Я не могу смотреть, как ты работаешь не покушав. Я с тобой всегда последним поделюсь.

Он нехотя поплелся за мной в столовую.

Я подал ему свою порцию хлеба и сказал:

— Режь пополам!

Он отрезал себе крохотный кусочек. Совесть не позволяла ему отрезать половину и лишиться меня моей порции.

— Нет, — сказал я Толе, — так не пойдет, режь поровну!

Я видел, как ему больно и как неловко он чувствует себя передо мной. Когда мы выходили из столовой, он подошел ко мне близко и тихо-тихо сказал:

— Я не буду больше, Александр Иванович, играть в карты..

Он не сказал: «даю слово», но я знал, что парень сдержит обещание. Так оно и вышло!

Теперь Анатолий Мыкалов шлифовщик шестого разряда, то есть квалифицированный рабочий. Он достаточно хорошо обеспечен. В моем доме он словно сын родной. Свой заработок он приносит ко мне, и деньги на жизнь получает из моих рук. Бывает, что я ему даю и свои деньги, если случается крупная покупка. Он стал общественником. Мы вместе проводим многие выходные дни. Он стал для меня не только учеником, но и сыном и другом».

История шефства Александра Сокова над Мыкаловым в высшей степени характерна. Таких случаев немало.

И все же, как мне кажется, идея индивидуального шефства старых производителей над молодыми рабочими не получила достаточно энергичной поддержки общественных и партийных организаций. Как часто бывает, в первое время все горячо за нее откликнулись, а потом как-то забыли об этом.

Есть еще такие люди, которые думают, что существующая сеть технического обучения полностью обеспечит завод людьми необходимой квалификации. Я с этим не согласен. Мне думается, что выработка трудовых навыков, приобретение квалификации должно идти одновременно с воспитанием социалистического отношения к труду, к обществу к государственной собственности. «Вывести в люди» — значит не только дать человеку квалификацию, но и передать житейский опыт, сделать сознательным гражданином своего общества.

Если бы профсоюзные и особенно комсомольские организации взялись за это дело по-настоящему, мы могли бы открыть такие новые источники производительности труда, каких мы еще и не предполагаем. И я убежден, что инженеры, командиры производства со своей стороны охотно пошли бы навстречу этому хорошему делу.

Меня могут спросить: почему я, инженер, начальник корпуса, говорю именно об этом? Естественнее было бы, если бы я рассказал о новых технических проблемах и т. д.

Я и об этом скажу все то, что меня волнует. Но я думаю, что проблема повышения идейного и производственного уровня молодежи в такой же мере касается работников общественных организаций, как и нас, командиров производства. Форд говорил, что его завод — не салон. Я встречал таких отсталых рабочих, цеплявшихся за свои производственные секреты, которые говорили, что наш завод не «детский сад», мы не обязаны учить и воспитывать.

А я все-таки думаю, что советский завод—не только производство, но, в известном смысле, и университет. Здесь не только делают машины, но учат людей жить в социалистическом обществе и, обучая этому, тем самым учат лучше, быстрее, производительнее изготавливать машины.

Так пусть же этот университет не знает каникул! Пусть он использует все свои возможности для того, чтобы раскрыть в человеке все самое лучшее, что заложено в нем нашим советским обществом, нашим передовым общественным строем. И тогда производительность труда, то есть то, что в конечном счете решает победу нового коммунистического общественного строя над капитализмом, будет все более и более повышаться.

## 5

На фордовских автомобильных заводах человек чувствует себя одиноко. Его интерес к труду—это, в сущности говоря, интерес к заработку. Труд настолько расщеплен, что рабочий не знает, не имеет представления о том, какую же роль он лично играет в изготовлении автомобиля.

Это неуютная, холодная, расчетливая жизнь, утепляемая только одним средством — долларом, да и то куцым.

На наших предприятиях огромную роль играет моральный фактор, такая система взаимоотношений, при которой человек трудится не только потому, что это дает ему средства существования, но и потому, что в труде он находит самый смысл существования.

Труд советского рабочего, как и везде, оплачивается деньгами. Но есть нечто большее, чем деньги. Это моральное удовлетворение от полезности твоего труда, от его творческой насыщенности. Это признание товарищей, уважение коллектива.

Как-то я отправился в гости к модельщикам нашего корпуса братьям Ивану и Алексею Жуковым. Оба они — бригадиры в штамповом цехе № 1, и с каждым из братьев работает в бригаде его сын. С Алексеем—Леонид, с Иваном Жуковым—Александр. Это стахановская семья. Они во много раз перевыполняют свои нормы. Хорошо зарабатывают и обеспеченно живут. В их домах я увидел не только обычные признаки довольства: уют, хорошую одежду, сытный стол. На стенах висели дорогие для них реликвии — почетные грамоты, выданные общественными организациями завода в разное время, листовки нашей газеты с портретами всех вместе и каждого в отдельности. целую страницу областной газеты, посвященную семье Жуковых.

Наверняка можно сказать, что признание заводского коллектива — это сильнейший фактор, сказывающийся на производительности труда человека. Ведь об отличном стахановце говорит весь завод; его, как Бусыгина и Прокошина, избирают в Верховный Совет, его, как Куратова, награждают званием лауреата Сталинской премии. Ему поэты посвящают стихи, художники — картины...

Чем внимательнее мы будем к человеку, тем лучше он станет работать. Нужно, однако, признаться, что мы часто не замечаем многих людей, достойных всяческой похвалы.

На нашем заводе работала выездная редакция газеты «Правда». Она встретила в цехе шасси с рабочим, который отдал пятьдесят лет своей жизни производству. Это — Василий Сергеевич Иванов, Полвека в труде! Об Иванове заговорила печать, директор послал ему приветствие, был устроен специальный вечер, на котором чествовали ветерана труда. Все это отлично. Но почему для этого понадобился приезд «правдивоств»? Разве мы сами не знаем, что у нас есть множество стариков, заслуживающих того, чтобы их беззаветное служение советской промышленности было по заслугам оценено.

Нередко бывает так: человек отличился, его начинают хвалить, поднимать на щит. Но в это время не замечают, что рядом вырос еще не один, достойный славы. А о них никто ничего не говорит!

Я сказал бы так: ни один человек, заслуживающий быть отмеченным, не должен быть обойден. Я имею при этом в виду внимание общественных организаций, цеховых и заводских, популярность, которую создает печать, заботу дирекции предприятия о хорошем производственнике и т. д.

Моральное поощрение — в самой природе нашего государства. Это воздух, которым мы все дышим. Не будет никакого греха, если мы будем внимательнее к нашим хорошим производственникам, не упустим никого из тех, кто заслуживает поощрения.

## 6

Если спросить стахановца, что стимулирует его труд, он приведет много различных объяснений. Основные стимулы состоят в том, что человек работает на благо всего общества, что он чувствует себя одним из «коллективных хозяев» социалисти-



ческого предприятия. Повышая производительность труда, стахановец делает наше государство богаче, тем самым он улучшает собственную жизнь.

Но есть еще один важный стимул. Давая более высокую производительность на своем станке или машине, человек непосредственно увеличивает свой заработок.

Некоторые не в меру стыдливые люди почему-то не считают нужным останавливаться на этом важном факторе. Они подходят к этому вопросу ханжески. Им кажется, что, сказав об этом прямо и недвусмысленно, они как бы снизят высокие побудительные причины, заставляющие стахановца непрерывно совершенствовать свой производственный процесс, выжимать из техники максимум того, что она может дать.

Мне кажется, что это неправильно и не в наших интересах. На капиталистическом предприятии рабочий, повышая свою производительность труда, встречает среди своих товарищей открытое осуждение. Как же! Ты перевыполняешь нормы, следовательно, ты даешь возможность владельцу предприятия выбросить на улицу освобождающихся людей. Ты заработал больше сегодня, значит я из-за тебя завтра заработаю меньше или вообще потеряю работу.

На нашем предприятии никто не боится безработицы. Стахановский труд, повышая заработок стахановца, не ставит под угрозу материальное благополучие рядового рабочего. Наоборот, он, во-первых, обогащает страну, и следовательно, делает обеспеченней жизнь всех других людей, а во-вторых, указывает конкретные пути для рабочего, показывая, как и ему стать стахановцем.

Поэтому нужно всячески подчеркивать во всей нашей массовой и пропагандистской работе непосредственную, личную заинтересованность человека в более высокой производительности труда.

Показывая взаимосвязь государственных интересов с личными интересами рабочего, мы добьемся очень высокого производственного эффекта.

Действительно, результаты труда рядового рабочего, ударника и стахановца, при их сопоставлении, дают весьма выразительный материал для размышления каждому рабочему.

У нас на заводе очень популярен кузнец Елизар Куратов. Он ввел ряд усовершенствований в процессковки крупных деталей. Он удостоен Сталинской премии третьей степени, имеет правительственные награды, пользуется заслуженным уважением и авторитетом.

Я поинтересовался таким вопросом: насколько велика разница между его заработком и заработком среднего кузнеца.

Вот что я выяснил.

Рабочий кузницы ковочных машин тов. Груздев, в среднем, в начале года зарабатывал 846 рублей в месяц. Свои планы он выполнял и считался ударником.

Другой кузнец, тов. Борисов, считается стахановцем, так как задания он выполняет с большим превышением. Его средний заработок за тот же период составлял 1385 рублей в месяц.

Каков же заработок Елизара Куратова, работающего в той же кузнице ковочных машин, в таких же условиях? Средний его заработок за четыре месяца составлял около двух тысяч рублей.

Значит, бесспорно, чем лучше работает стахановец, чем больше творческой выдумки вносит он в свое дело, тем выше его заработок.

А в нашей политической и хозяйственной пропаганде, мы очень мало используем эти факты.

А вот другой пример, уже из практики моего инструментально-штампового корпуса. В цехе режущих инструментов, на одном и том же шлифовальном станке работают два товарища: Боряев и Чирков. Они сменщики. Оба они рабочие седьмого разряда. Оба делают одну и ту же операцию: шлифовку профиля резцов к глиссоновским головкам. Оба перевыполняют планы. И все-таки заработок у них весьма разнится.

Я приведу данные за четыре месяца.

Александр Сергеевич Чирков.

В январе заработал 1.149 руб., в феврале — 1.251 руб., в марте — 990 руб., в апреле — 1.053 руб. В среднем в месяц — 1.110 руб.

Иннокентий Николаевич Боряев.

В январе заработал 2.097 руб., в феврале — 2.071 руб., в марте — 1.847 руб., в апреле — 2.385 руб. В среднем в месяц — 2.100 руб.

Разница огромная, почти в два раза. Между тем, условия работы у обоих шлифовщиков одинаковые. Один и тот же станок, одинаковая конструкция обрабатываемых резцов, одинаковое количество деталей, подаваемых в партии для шлифовки. Но Боряев систематически применяет более рациональные методы труда, полностью исключает потерю рабочего времени, вносит в свой труд много производственной смекалки.

Как мне кажется, каждый хозяйственник, инженер, начальник цеха, участка должен продумать систему личной заинтересованности рабочего в большей производительности труда и применять ее повседневно. Необходимо шире популяризовать эти факты, и тогда мы увидим еще более высокую волну производственной активности.

## 7

Огромные, далеко не вскрытые резервы производительности труда таятся в возможности обновления технологических процессов. Но здесь требуется неразрывная связь производственников с учеными, практики с наукой. В обновлении технологических процессов большую роль могли бы сыграть научно-исследовательские институты, лаборатории и другие научные учреждения, если бы они оценили в должной мере эту тематику, которую им подскажут инженеры-практики.

Ни один завод не может обойтись без большого количества металлорежущего, мерительного и другого инструмента, без штампов и приспособлений. Производство такого инструмента требует большого количества металла, целой армии высококвалифицированных рабочих.

Это очень трудоемкое и дорогое производство. Можно ли его упростить и значительно удешевить? Безусловно! Вдумайтесь в один только факт: при изготовлении инструмента из высоколегированной, быстрорежущей стали, при существующих методах превращаются в отходы, уходят в стружку от 40 до 65% металла. Невольно возникла проблема изготовления литого инструмента из быстрорежущей стали РФ-1. Вместо того, чтобы изготавливать инструмент, теряя миллионы на отходах, трудоемкости, излишней затрате рабочей силы, нельзя ли снабжать инструментальные цехи отличными заготовками — полуфабрикатами, из которых и делать потом полноценную продукцию?

Если бы это удалось, тогда отпали бы следующие дорогостоящие операции: не было бы нужды изготавливать поковки с последующим отжигом, требующим до 24 часов рабочего времени и затраты большого количества топлива и энергии; сократились бы механические операции, строгальные, токарно-сверлильные и фрезерные на 60—75%, а тем самым была бы достигнута экономия в рабочей силе и в амортизации оборудования; неизмеримо сократился бы отход в стружку высоколегированной быстрорежущей стали.

Не приходится говорить, что решение такой проблемы представляет для каждого инструментальщика и литейщика увлекательную задачу.

На нашем автомобильном заводе мы занялись изготовлением литого режущего инструмента еще в 1944 году. Были проведены исследовательские работы, получено литье лабораторным способом для производства таких инструментов, как долбяки, фрезы, зенкера, резцы Глиссона.

При испытании эти полуфабрикаты имели стойкость, примерно, равную инструменту, изготавливаемому из поковок или катанной стали. Но вместе с тем, в литом инстру-

менте имелись и некоторые пороки. В металле была пористость, обнаруживались трещины, и, наконец, мы не смогли добиться рельефности при заполнении форм.

Тем не менее, мы продолжаем наши работы и надеемся на успех.

Почему же я говорю обо всем этом?

Дело в том, что вся эта работа шла на нашей собственной базе, силами одних наших инженеров и лаборантов. Но вопрос этот бесспорно интересует всех инструментальщиков. И не исключена такая возможность, что некоторые другие предприятия бьются над тем, что нами уже решено, и, с другой стороны, преодолели те трудности, которые нас задерживают.

Я считаю поэтому, что вопрос об изготовлении литого инструмента должен быть поставлен более организованно и фундаментально. Эта тема должна выйти из заводских лабораторий и стать темой больших, общесоюзных институтов. Координация их усилий с нашими помогла бы решить проблему в гораздо более быстрые сроки.

## 8

К нам в инструментально-штамповый корпус автомобильного завода ежедневно обращаются представители самых различных предприятий области.

— Окажите божескую милость, сделайте для нас тот или иной специальный инструмент!

— Изготовьте нам кондукторы!

— Пришлите такие-то и такие-то штампы!

Нет ничего удивительного, что с подобными просьбами приходят именно к нам: инструментально-штамповый отдел Горьковского автозавода имени Молотова такое, в сущности, крупное инструментальное производство, которое не имеет себе равных в Европе.

И все-таки, несмотря на просьбы, нам не часто удается идти на помощь нашим соседям. Мы сами по горло загружены заказами для нужд нашего завода. Беда заключается в том, что заводы Горьковской области (как, вероятно, и большинство других областей СССР), обеспеченные в достаточном количестве стандартными инструментами, в отношении специального инструмента предоставлены сами себе, вынуждены его изготавливать собственными силами, не имея для этого достаточной технической базы.

Итак, с одной стороны, на небольших заводах имеется стремление применять рациональные способы производства, требующие такого специального инструмента, как кондукторы, штампы, комбинированный режущий инструмент, сложный инструмент для изготовления долбяков, червячных фрез, протяжек и т. д., с другой стороны, отсутствуют необходимые для этого сложные машины—копирально-фрезерные, прецизионно-расточные, профиле-шлифовальные станки и т. п. К этому прибавляется нехватка высококвалифицированных кадров инструментальщиков. Небольшие предприятия в нашем городе и области употребляют однородные по типам инструменты, и каждый готовит их сам для себя, кустарным порядком.

На создание этого подсобного инструментария требуется в два-три раза больше времени, чем на изготовление самого инструмента!

И каждый маленький завод вынужден этим заниматься самостоятельно и параллельно с другими. Такое положение ненормально!

Во сколько бы раз уменьшилась трудоемкость изделий, повысилась производительность труда предприятий, если наладить снабжение небольших предприятий необходимым специальным инструментом!

Мне кажется, что в каждом крупном промышленном центре следует создать небольшой инструментальный завод, который изготовлял бы массовые специальные инструменты. Для этого есть все реальные возможности.

На крупных предприятиях за годы сталинских пятилеток выросло большое количество квалифицированных инструментальщиков. Их нужно использовать для создания костяка постоянных кадров таких инструментальных заводов. Крупные пред-

приятня, вроде нашего автозавода, могли бы прийти на помощь в смысле передачи опыта в области технологии инструментального производства. Для нас специальная сварка, хромирование, обработка металла токами высокой частоты — давно освоенные процессы. Мы могли бы помочь внедрить их на новом заводе с тем, чтобы он с первых своих шагов работал на высоком техническом уровне.

При хозяйском подходе можно было бы выявить на действующих предприятиях недостаточно используемое и мало загруженное универсальное оборудование и передать его инструментальщикам.

В итоге, без больших затрат можно было бы создать заводы, которые дали бы большую экономию в деньгах и людях.

\* \*  
\*

Никто не может претендовать на универсальность. И я не берусь указать все пути к повышению производительности труда. А так как эта тема неисчерпаема, то мне кажется, что пора поставить точку. Я мог бы сказать о том, какое, по-моему, большое значение имеет передача рабочего опыта, как необходимо выпустить небольшие учебники, написанные простыми токарями, слесарями, фрезеровщиками, лекальщиками о практических методах их работы. Я мог бы немало сказать о том, как неправильно у нас используется мастер, как часто он превращается в цехового диспетчера, достающего детали, в толкача, разведчика, добытчика, но только не хозяина участка...

О многом другом стоило бы еще поговорить. Но я думаю, что это сделают в печати другие товарищи, мои коллеги, начальники цехов, инженеры-практики.

В заключение, несколько дружеских слов писателям, несколько читательских слов от чистого сердца.

В наше время сталинских пятилеток тема труда — одна из самых важных для «инженера человеческих душ». Но книг об этом все еще мало! Если же героем литературного произведения становится простой человек, обыкновенный рабочий, то обычно он показан вне самых главных его жизненных интересов — вне труда.

Не мне поучать писателей — я не больше чем рядовой читатель. Но все-таки я думаю, что познать человека труда, глубоко понять его психологию, создать его полноценный образ никак нельзя, не проникнув в самую сердцевину производственных процессов, свойственных нашей социалистической индустрии.

Технология, организация труда, новая техника, новые нормы, планирование — ясным кажется, что все это имеет весьма отдаленное отношение к художественной литературе.

Именно это заблуждение нередко приводит к тому, что писатели (а особенно драматурги!) изображают в своих произведениях такие конфликты, создают такие психологические коллизии, которые исключены самим характером нынешнего советского предприятия. Писатели знают, что нельзя создать полноценный художественный образ, скажем, генерала или офицера, не изучив глубоко и всесторонне стратегию и тактику Советской Армии, не проникнув во все многообразные детали сложного управления современным боем. То же самое относится и к произведениям на так называемые «производственные» темы, к образам советских хозяйственников, инженеров, рабочих.

Быть может, и мои заметки в какой-то — пусть малой и скромной — степени помогут писателям увидеть то новое, что происходит сейчас в советской промышленности, глубже осознать своеобразную связь между организацией, технологией производства и духовным обликом нынешнего советского рабочего — строителя коммунизма.



---

---

# НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

## ТАЛАНТ И МИРОВОЗЗРЕНИЕ

*(К вопросу о творческом пути Чарли Чаплина)*

АЛЕКСАНДР ЛЕЙТЕС

★

### 1. О чем идет речь

**Н**едавно один американский критик, обозревая искусство современной Америки, разделил все выходящие сейчас в США новые художественные произведения на две категории: на произведения, недоступные широкому читателю, и на произведения, этого читателя недостойные. Он утверждал, что произведения первой категории чужды читателю, слушателю, зрителю и своей нарочито усложненной формой, и своей надуманной, далекой от жизни, искусственной тематикой. Он утверждал, что произведения второй категории всячески — и стилем, и темами, и сюжетами — ориентируются на массового читателя, но разрабатывают свои сюжеты и темы настолько упрощенно и фальшиво, вульгарно и извращенно, что говорить об искусстве здесь попросту не приходится, и они — по сути — не менее чужды читателю, чем произведения первой категории.

Такова неприглядная, но правдивая картина современной американской художественной действительности, изображенная ее обозревателем. К ней, однако, следует сделать одну поправку. Существуют и работают в современной Америке передовые художники, которые мечтают об искусстве, близком народу и достойном его. Они чрезвычайно встревожены судьбами искусства в современной Америке. К числу их принадлежит и Чарли Чаплин, справедливо заявивший однажды, что «потерять признание масс — это значит потерять в искусстве самое главное».

В своей статье, опубликованной несколько месяцев тому назад в английской газете «Рейнолдс ньюс», Чарли Чаплин с негодованием обрисовал положение дел в Голливуде, чрезвычайно характерное для общего положения дел в современном американском буржуазном искусстве.

«Я решил раз и навсегда объявить войну Голливуду и его обитателям, — писал Чаплин в этой статье. — Я, Чарли Чаплин, утверждаю, что Голливуд умирает. Он не занимается больше производством кинофильмов, представляющих собой известное искусство, а лишь выпуском миль и миль целлулоида. Я могу добавить, что человек, который не хочет приспособиться и идет своими путями, не считаясь с предостережениями крупных дельцов кинематографии, ни в коем случае не может добиться успеха в Голливуде.

Не думайте, что я имею в виду самого себя. Возьмем для примера Орсона Уэллеса. Разумеется, я не придерживаюсь совершенно одинаковых с ним взглядов на искусство кино. Но он осмелился сказать «нет» крупным дельцам. И теперь он — конченный человек в Голливуде.

Я совершенно объективно считаю, — писал Чаплин в конце своей статьи, — что пришло время вступить на новый путь, чтобы деньги не являлись больше богом прогнившего общества».

Благородное стремление передовых художников встать на новый путь, не зависящий от плутократии, наталкивается — в условиях современной Америки — на

большие трудности. Этим прогрессивных художников повседневно травит реакционная пресса. Их пытаются изолировать от потребителя многочисленные коммерческие организации, находящиеся в распоряжении монополистического капитала: кинопрокатные тресты, издательства, «книжные клубы». Наконец, на них изо дня в день давит та атмосфера декаданса, тот культ идейного и морального нигилизма, который считается признаком «хорошего тона» в искусстве современного загнивающего капитализма.

Все это может быть ярко проиллюстрировано и на примере Чарли Чаплина. С возрастающей яростью клеветет на него желтая пресса Америки. Его, чьи фильмы являлись крупнейшими достижениями американского кино, в последнее время обвиняют в антиамериканской деятельности. Некоторые мракобесы настойчиво предлагали выслать его из Америки, а распоясавшийся фашиствующий актер Адольф Менжу дошел до того, что в припадке бешенства потребовал смертной казни для Чарли Чаплина.

Чарли Чаплин — не коммунист. В его мировоззрении есть много аморфного, неопределенного. Но реакционеры называют его коммунистом только потому, что этот честный художник Америки стремится в своем творчестве быть независимым от американской плутократии и ищет своих путей в искусстве. Это обстоятельство уже служит достаточным основанием для того, чтобы его преследовали как «красного». «Сейчас всё у нас устроено так, что если вы немного отодвинете левую ногу от правой, вас сейчас же обвинят в коммунизме», — раздраженно заявил недавно Чарли Чаплин, характеризуя положение дел в сегодняшней Америке.

Как бы, однако, ни шумели и ни жестикулировали на политической авансцене сегодняшней Америки литературные лакеи империализма, — им не заглушить голоса тех честных американских художников, в распоряжении которых зачастую нет ни многокрасочных, богато иллюстрированных журналов, ни разветвленных кинопрокатных организаций, ни пухлых многостраничных газет, ни мощных рекламных радиостанций. Голоса этих художников обращены к тем прогрессивным кругам Америки, за которыми будущее. И они зачастую мучительно, не всегда с одинаковым успехом, но с неизменной настойчивостью ищут путей к большому демократическому искусству своего народа. О трудностях, которые встречаются на их пути, — о трудностях не только внешнего, но и внутреннего порядка, — об их удачах и неудачах, об их зигзагах и срывах мы хотели бы рассказать читателю на примере Чарли Чаплина, а в этой связи его творческий путь заслуживает внимательного анализа.

## 2. На „фабрике смеха“. О смешном и серьезном

«Для того, чтобы меня захотели слушать, я должен был добиться положения привилегированного шута», — сказал однажды Бернард Шоу, подытоживая свой многолетний писательский путь.

Вспоминая начало своего актерского пути, Чарли Чаплин вряд ли мог бы назвать шутство своей привилегией. Шутство было его вынужденной профессией, повседневным ремеслом.

Сын бродячих актеров мюзик-холла, Чаплин шести лет от роду потерял отца и, вместе со своей семьей, жил впроголодь в бедном лондонском квартале, в Ист-Энде. Вынужденный зарабатывать себе на пропитание, он не мог учиться в средней школе. Ребенком он учился у акробата эксцентрическим прыжкам, долго тренировался как жонглер, месяцами выработывал свою специфическую походку. И его детские годы проходили на цирковой арене, на эстраде варьете, где от случая к случаю он выступал в поисках мимолетного заработка.

Наконец, когда Чарли исполнилось четырнадцать лет, — ему «повезло». Ему удалось устроиться в захудалую театральную труппу, стать не случайным гастролером, а профессионалом. «Мы ставили скетч «Почтовая контора», — вспоминает Чаплин в своей автобиографии. — Всё свое умение я вложил в эту роль, ведь решался вопрос — быть или не быть. Я знал — если я директору не понравлюсь, мы оба —

мать и я — снова будем голодать. Если я буду пользоваться успехом, ну, тогда мы сможем позволить себе хотя бы по тарелке супа в день».

Чарли Чаплин добился своего первого успеха. Выдержав экзамен, он становится постоянным участником бродячих театральных групп. Он много сотен раз выступает перед различными аудиториями: то на амплуа обезьяны в скетче «Умный орангутанг», то с немалым искусством имитируя беспечного подвыпившего гуляку в скетче «Пьяный из лондонского клуба», то участвуя в разнообразных комических пантомимах. Упорно и медленно он совершенствует свои способности комика-эксцентрика. В труппе Эльда Драймера его заставляют по три часа в день ходить так, чтобы носки ботинок расходились в разные стороны. Беспрепятственно тренируется Чаплин и в искусстве мимики. Впрочем, способности молодого актера отнюдь не соответствовали его склонностям. Впоследствии, в 1931 году, в своей статье «Как заставить людей смеяться» Чарли Чаплин с грустью признался, вспоминая об этом периоде: «...По правде говоря, в глубине души я не столько хотел быть комиком, сколько великим трагиком».

Но технику эстрадных, комедийных и фарсовых ролей Чарли Чаплин изучил превосходно. И если он иной раз вносил элементы грусти в свои тогдашние роли, и если «умный орангутанг» временами слишком гордыми и слишком грустными глазами смотрел на публику, и если «пьяный из лондонского клуба» на один момент становился чересчур серьезным, то, вероятно, только для того, чтобы путем резких и неожиданных контрастов еще больше увеселять и смешить зрителя...

В 1913 году, когда двадцатичетырехлетний Чарли Чаплин вместе со своей труппой гастролировал по Америке, на незаурядное мимическое дарование молодого актера обратил внимание один из представителей американской кинематографической фирмы «Кистоун» и переманил Чарли Чаплина в кино. В ту пору американская кинематография стремительными темпами выростала в одну из мощных отраслей промышленности. Кинопредприятия уже объединяются в акционерные кампании и тресты. Они вступают между собой ожесточенную конкуренцию в поисках актеров и режиссеров, переманивая их из театров, варьете, мюзик-холлов, цирков. Ведь непрерывно расширялся рынок кинопромышленности, ведь из года в год увеличивался спрос владельцев киноэкранов на новые и разнообразные фильмы.

Подготавливая свою работу «Империализм, как высшая стадия капитализма», В. И. Ленин делал чрезвычайно интересные выписки, характеризующие проникновение капиталистических монополий и в область искусства. Ссылаясь на данные, помещенные в журнале «Ди бэнк» (1912 год, 1), В. И. Ленин отмечал в своих «Экономических тетрадах», что в 1912 году «Все кинотеатры мира дают доход около 1 миллиарда марок в год!»<sup>1</sup>

В эту пору, в 1912—1913 годах, американские бизнесмены охотно вкладывали капитал в кинопредприятия, становившиеся столь доходными. Любой художественный талант рассматривался этими бизнесменами под одним углом зрения: как выгодное сырье для кинематографической промышленности.

В своей книге «Деньги едят» Эптон Синклер рассказывает об этом периоде:

«На наблюдательных башнях нескольких тысяч газет, журналов, издательств и театральных бюро сидели люди, шпионски выслеживая новые таланты. Если такой талант появлялся, они подхватывали его и концентрировали всю хитрость цивилизации на том, чтобы перечеканить этот талант в течение минимального срока в максимальное количество долларов».

С еще большим основанием мог бы применить эти слова Эптон Синклер к дельцам американской кинематографии. Режиссер Мак Сеннет — представитель фирмы «Кистоун», наблюдая игру Чаплина в гастролировавшем по Америке английском варьете, меньше всего думал о поощрении его способностей, но почти сразу решил, что талант этого молодого актера можно легко перечеканить в изрядное количество долларов. И вот с 1913 года Чарли Чаплин уже прочно законтрактован для участия в многочисленных американских короткометражных кинофарсах...

<sup>1</sup> Ленинский сборник XXII, стр. 299

Это был каторжно тяжелый ремесленный труд. За время своей работы в фирме «Кистоун», то есть в течение одного года, Чарли Чаплин снимался в сорока семи короткометражных кинокомедиях. В среднем он должен был каждую неделю играть новую роль для нового фильма. Правда, роли эти были, в основном, однообразны, так же как однообразными и пошловатыми были сюжеты этих коротеньких, непритязательных фильмов, вся задача которых состояла в том, чтобы смешить аудиторию эксцентрическими трюками, нелепыми ситуациями, экстравагантными выходками.

Мак Сеннет, режиссер этих фильмов, один из пионеров американской кинокомедии, видел в своих актерах только механические винтики «фабрики смеха». Он заставлял их работать в безумном ритме, они должны были делать невероятные прыжки, участвовать во всевозможных потасовках, утрировать любой жест, любое движение. Для актеров участие в таких кинофарсах было только тяжелой ремесленной работой, весьма далекой от того подлинного искусства, о котором с ранних лет мечтал Чарли Чаплин.

«Мне было противно размазывать мороженое с кремом по лоснящимся щекам конюха Патти, или бессмысленно бомбардировать других чашками, бутылками, стаканами, вилками, когда все это совсем не выражало душевного настроения», — заявлял впоследствии Чаплин, вспоминая в одной из своих статей о первом годе своей работы в кинематографии.

Все существо талантливого художника органически протестовало против той роли маленького механического винтика на «фабрике смеха», на какую его обрекала работа в фирме, спешившей выпускать один за другим пошловатые и примитивные кинофарсы. У Чаплина еще в годы его работы в лондонских варьете была черта, характеризовавшая его как настоящего художника. Это — умение чувствовать аудиторию, ее запросы, ее интересы. В первые месяцы работы в кино ему казалось, что он эту связь утратил. Более того. Он начинал чувствовать, что хотя зрители первых короткометражных кинокомедий, в которых он участвовал, и покатывались со смеху, но все же в этих кинофарсах не было **ничего**, что дает возможность актеру чувствовать свою связь с аудиторией, ни какого-либо намека на искусство.

Работая в разнообразных варьете, Чаплин уже тогда часто и глубоко задумывался над природой комического. Он знал и изучал ряд технических актерских приемов, которые вызывали смех аудитории с той же непреложной физиологической закономерностью, с какой способна вызвать смех щекотка. Что общего имели эти приемы с искусством, с каким-либо воздействием на переживания, на мысли зрителя? Ничего.

Разве не такова была игра первого всесветно известного комического киноактера Глупышкина (Андре Диде)? Глупышкин умел смешить зрителя доупаду. То этот придурковатый и неловкий персонаж, которого играл Андре Дид, сунет по рассеянности в рот горящую свечу, то у него в самый неподходящий момент разорвутся брюки, то он наступит на ноги фешенебельной даме и подвергнется избиению со стороны ее спутника, то неожиданно упадет из одного этажа в другой, вызывая переполох в чужой обывательской квартире, обитатели которой устремляются за ним в погоню, изобилующую всякими приключениями. Все это проходит в стремительном темпе. Картина длится не более 10—15 минут, а зритель через полчаса забывает, над чем смеялся.

Что же предстояло Чаплину, даже если он продолжал бы с исключительным упорством изобретать подобного рода трюки и разрабатывать их с возрастающим актерским мастерством? Затмить на время Глупышкина, а затем оказаться столь же быстро забытым, как Андре Дид, не оставив в памяти зрителя ни своего образа, ни тени симпатии к себе..

В дни своей ранней молодости, выступая на эстрадах варьете перед разнообразными аудиториями городских предместий, Чаплин умел чувствовать те нити, которые связывали его с народным зрителем. Он не хотел рвать эти нити, он дорожил ими. Совершенствуя на практике свое искусство эксцентрика, Чарли Чаплин все больше и больше инстинктом художника начинал понимать, что любой комедийный жанр — в том числе и эксцентрический — обеспечивает ему прочность и длительность воздей-



ствия на публику только при одном условии — при условии более или менее определенной социальной направленности этого жанра.

Следя за реакцией зрительного зала, Чаплин зачастую воспринимал не столько «физиологическую», сколько «социологическую» закономерность того смеха, которым сопровождался некоторые его наиболее удачные выступления.

Впоследствии, в своей интересной статье «Мой секрет», Чарли Чаплин писал:

«Публика — и эту истину надо усвоить прежде всего — особенно бывает довольна, когда с богачами приключаются всякие неприятности. Это доказывает, что девять десятых людей — бедны... Если бы я, скажем, уронил мороженое на шею бедной женщины, какой-нибудь скромной домашней хозяйки, — это вызвало бы не смех, а симпатию к ней. А когда мороженое падает на шею богатой, публика считает, что так, мол, ей и надо...»

Чаплин работает с осени 1913 года в фирме «Кистоун» под непосредственным, притом весьма деспотическим руководством Мак Сеннета. Фирма «Кистоун» предлагает режиссерам свои сценарии, примитивные по замыслу, рассчитанные на внешний гротеск и не требующие от актеров углубления в роль. Задача режиссера сводится только к тому, чтобы безостановочно гнать актеров по конвейеру «фабрики смеха». Инстинкт художнического самосохранения заставляет Чаплина вступить в конфликт со своим режиссером. Долго и упорно он добивается в фирме «Кистоун» разрешения играть по собственному сценарию.

После длительного сопротивления Мак Сеннета, Чарли Чаплину удалось, в конце концов, добиться летом 1914 года разрешения сыграть «на пробу» короткометражный фильм по его собственному, Чаплина, сценарию. Один день потратил Чаплин на то, чтобы сняться в этом фильме. Три дня работал он над этим сценарием. Но гораздо больше времени у него ушло на то, чтобы найти свою «маску», которая с 1914 года запомнится сотням тысяч, а затем миллионам зрителей.

Первый короткометражный фильм «Двадцать минут любви», снятый и поставленный Чаплиным по собственному сценарию, имел большой успех у зрителя. Этот успех дал ему возможность вскоре распротиться с фирмой «Кистоун» и перейти в фирму «Эссней», переманившую к себе этого — уже становившегося популярным — киноактера. Этот фильм мало чем отличался от предыдущих картин Мак Сеннета. Все те же внешние приемы комизма. Но в нем и в последующих короткометражных фильмах, сыгранных Чаплиным по собственному режиссерскому и сценарному плану, навсегда намечены внешние очертания чаплинского героя, та «маска», которую отныне художник пронесет сквозь десятилетия... Именно с этого момента на экране появляется образ тшедушной фигурки с черными усиками, в помятом котелке, в потертом пиджаке, с вывернутыми семенящими ногами, в огромных башмаках.

Бесконечно менялись отныне сюжеты чаплинских фильмов. От короткометражных картин он вскоре перешел к полнометражным, каждый раз все более и более углубленное содержание вкладывал он в свою «маску», но маска оставалась неизменной. Оставалась неизменной в фильмах проступавшая сквозь эту маску действительность. Оставалась неизменной та «собачья жизнь» (как назывался один из фильмов Чаплина), на которую был обречен его герой. Оставались неизменными попытки героя сохранить в условиях «собачьей жизни» чувство человечности и человеческого достоинства.

Чарли выступал в роли бродяги и безработного, стекольника и солдата, ночного сторожа и миссионера, привратника и боксера, каторжника и полицейского, циркача и золотоискателя. Его герой ночевал то под мостами, то в ночлежках, был парикмахером, дезертиром, подметал улицы и воровал, сидел в окопе в дни войны, стоял у конвейера большого завода.

«Самые лучшие ленты делаются из кусков жизни», — сказал однажды Чарли Чаплин. Куски жизни стали проступать сквозь эксцентрические приемы киноактера. Это прежде всего воспоминания его полуголодного детства в Уайтчепеле. Это — пейзаж восточных кварталов Лондона, где в узких и закопченных переулках царит грязь и нищета, где бездомные бродяги спят украдкой на скамейках парков, где полуголодные нищие подбирают объедки и окурки.

«Одной из серьезнейших язв больших столиц европейских, азиатских и американских стран является наличие трущоб, где миллионы обнищавших трудящихся обречены на прозябание и медленную смерть», — писал товарищ Сталин в своем приветствии Москве по случаю ее восьмисотлетия.

Выросший в одной из трущоб Лондона, среди обреченных на прозябание, обнищавших трудящихся, именно здесь нашел Чарли Чаплин реквизит для своей «маски»: и котелок, словно вывалившийся в мусорном ящике, и потертый пиджак, словно снятый с чужого плеча, и свою жестикуляцию, и свою походку. То семенящую деловитую походку, когда огни большого города поманят его героя какими-либо радужными перспективами, то походку безнадежную, с поднятыми плечами и опущенной головой, когда жестокая капиталистическая действительность в очередной раз растопчет его мечты.

Не сразу перешел Чарли Чаплин от внешне намеченной им «маски» к законченному образу, всесторонне раскрывшемуся и в «Малыше» и в «Новых временах». Ведь он работал на «фабрике смеха», которая требовала от комика-эксцентрика только обыгрывания трюков и поощряла только смех, обесмысливающий действительность. И все же он избрал то направление, которое позволит его незаурядному художественному таланту успешно развиваться. Он вступил в конфликт с капиталистической «фабрикой смеха» ради того демократического зрителя, который чем дальше, тем больше создавал ему, Чаплину, подлинную популярность. Ради того зрителя, который ждал от искусства не смеха, отвлекающего от текущей жизни на десять-пятнадцать минут, а иного смеха, способного, по меткому выражению Н. В. Гоголя, «озарить действительность».

Находил ли Чарли Чаплин в своих последующих творческих исканиях этот «озаряющий смех»? Отнюдь не всегда. Только в своих лучших фильмах — в «Огнях большого города» и, особенно, в «Новых временах» он смог создать поистине замечательные кадры, остро обличающие капиталистическую цивилизацию, раскрывающие ее подлинную сущность. Вспомним его великолепный пролог к «Огням большого города». Происходит торжество на одной из центральных площадей американского города по случаю открытия статуи «Мира и Процветания». Бравурно гремит духовой оркестр, произносятся лицемерные патетические речи. Но вот спадает покрывало со статуи, и на ней обнаруживается прикорнувшийся бездомный оборванный нищий, бродяга, напоминающий о том, что за внешним казовым, мишурным блеском буржуазного города скрывается иная реальность — реальность капиталистических трущоб. На этом контрасте внешней мишуры капиталистического города и беспросветного нищенского существования его обитателей строятся сатирические образы лучших фильмов Чаплина.

Чаще всего, однако, когда всматриваешься в образ, созданный Чаплиным, в его эксцентрические приемы, непрерывно смешавшие зрителей, хочется говорить не об «озаряющем смехе», а об «озаряющей грусти». Именно грустные искорки в глазах Чаплина озаряют окружающую его действительность, бросают на нее подлинный свет. Печальные глаза Чаплина как бы разоблачают его комедийный антураж. Они дают почувствовать, какой беспросветной является капиталистическая действительность, кромсающая «маленького человека».

Когда-то Чарли Чаплин подробно продумывал и тщательно разрабатывал в своей сценической практике технологию комедийных приемов. На «фабрике смеха» его учили, что любой патетический момент надо переводить в гротескный план. В серьезном надо искать смешное. Когда Чарли Чаплин продумывал отдельные трюки, он зачастую исходил из этого принципа.

«Я беру из жизни какой-нибудь серьезный сюжет и извлекаю из него все комические эффекты, какие мне удастся найти, — как-то объяснял Чаплин одному журналисту.

Например, я иду на концерт, где играет Падеревский. Рояль, торжественное собрание, величие психологического момента, когда маэстро выходит, садится, собирается начать.

...Внезапно в глубокой тишине, предшествующей первым аккордам, я вижу в воображении, как табурет обрушивается, и маэстро падает самым постыдным образом. Это — начало инцидента для фильма. И вот как у меня идет обработка этого инцидента. Это дает представление о моем методе. Предположим, что я — Падеревский. Я выхожу, кланяюсь публике, величаво, с достоинством, но вдруг поскальзываюсь и с трудом удерживаюсь перед роялем. Табурет обрушивается в тот момент, когда я начинаю самую патетическую часть. Мне дают детский стул, на который нагромоздили толстые книги. Я принимаю вдохновенный вид Падеревского и так сильно ударяю по клавиатуре, что клавиши взлетают на воздух».

Когда же Чаплин задумывался не над технологией отдельных трюков, а над сюжетами своих сценариев, сконцентрированных вокруг его центрального образа — образа «маленького человека», представителя капиталистического дна, тогда он прежде всего ощущал потребность находить серьезное в смешном, подчеркивать во внешне комичных ситуациях подлинную патетику этого человека.

Не случайно в своей статье «Вдохновение», опубликованной в 1928 году, Чарли Чаплин отмечает:

«Образ, который я играю, изменился. Он стал более трагичным и печальным — немного более организованным. Он утратил буффонность...»

Не трюк ради трюка, не эксцентрика ради эксцентрики, а комедийные ситуации, имеющие социальную направленность, привлекают его пристальное внимание. «Комические фильмы, — писал Чарли Чаплин в статье «Мой секрет», — приобрели сразу же такой успех потому, что в большинстве их изображены полицейские, падающие то в сточные канавы, то в бочки с известкой, то вываливающиеся из вагонов, словом, испытывающие всякие неприятности». Вот почему Чаплин в своих первых фильмах охотно показывал кадры, где изображалась схватка маленького Чарли с огромным полицейским, в которой победителем оказывался тщедушный человек из народных низов.

Существует коренное отличие между тем образом, который создал и утвердил Чарли Чаплин в своем творчестве, и теми образами-масками, которые в ту же пору были созданы крупнейшими тогдашними комическими киноактерами, вроде Макса Линдера.

Образ Макса Линдера — это образ молодого человека, живущего на средства родителей или вообще на нетрудовые доходы. У него — хорошо обставленная квартира, слуга или даже несколько слуг, богатая невеста. Одет он франтовато, в неизменном цилиндре.

Попадая в различные переделки, персонаж Линдера вызывал неизменный смех зрителя, но не порождал к себе ни тени симпатии или сочувствия.

У чаплинского героя не цилиндр на голове, а котелок, и весь облик его — облик люмпен-пролетария, пытающегося подняться со дна капиталистического общества. То, что персонаж Чаплина выживал в самых трудных ситуациях, то, что этот маленький, тщедушный человечек в разнообразных схватках одерживал верх над здоровенными великанами, вызывало не только смех, но и одобрительный гул в зале.

Он нашел «эсперанто смеха», писал однажды о Чаплине французский декадентский поэт Франсис Кокто. Кокто пытался объяснить громкую мировую популярность Чарли Чаплина после империалистической войны 1914—1918 годов некоей универсальной «технологией возбуждения смешного», будто бы изобретенной Чаплиным. Ничего не стоит это объяснение. Чем дальше, тем менее смешным и более трогательным становился образ Чаплина и тем серьезнее трактовался он массовым зрителем. Чем дальше, тем все более разгорались ожесточенные споры вокруг новых фильмов Чаплина. Буржуазная пресса, почувствовав, что этот большой актер решительно противостоит голливудской «фабрике смеха», все настойчивее начинает травить и преследовать Чаплина, объявляя его устаревшим, пережившим свой талант. Как бы то ни было, вот уже три с лишним десятилетия повсюду сохраняется живой интерес к творчеству Чарли Чаплина, к его замечательной игре, к его первоклассному режиссерскому мастерству. Чарли Чаплин принадлежит к той весьма и весьма немно-

гочисленной категории мастеров зарубежного кино, чья художественная репутация не «износилась» и чей талант не «вышел в тираж». В условиях буржуазного кино это явление исключительное и, во всяком случае, не типическое.

Как правило, даже наиболее прославившиеся мастера буржуазного кино жили в своем искусстве очень недолгой жизнью. Их талант отцветал, они быстро теряли и свое влияние, и свою популярность у зрителя. Мы не говорим о Глупышкине, столь часто мелькавшем на киноэкране в самый ранний период «немого кино». Но вот Глупышкина сменил Макс Линдер, артист несравненно более высокой квалификации, выступавший на основе более сложных сценариев. И он, однако, очень быстро выдохся как актер. Столь же быстро выдохались и знаменитые буржуазные кинорежиссеры. Достаточно назвать Гриффита, который после 1932 года перестал существовать как режиссер.

Как известно, почти одновременно с Чаплиным в кино стали выступать такие прославившиеся в комедийном жанре актерские дарования, как, например, Гарольд Ллойд, Мабель Норман, Дуглас Фербенкс, Лилиан Гиш, Монти Бенкс, Мэри Пикфорд. Они в большинстве своем забыты или полузабыты. Как ни прославлялись буржуазной прессой эти кинозвезды, они всего-навсего были винтиками «развлекательной машины» американской буржуазии. Прошло несколько лет, эти «винтики» амортизировались, их надо было сменить другими. И вот сейчас буржуазная пресса США прославляет новых мастеров кинокомедии — братьев Маркс, Джимми Дюранта, Боба Кларка за то, что они будто бы нашли новые нюансы, новые тонкости в технологиях комических приемов. Можно ли сомневаться, что и эти — как и подобные им — «кинозвезды» сойдут с небосклона буржуазной рекламы так же быстро, как на него взлетели.

Некоторые историки кинематографического искусства зачастую объясняют быструю устареваемость актерских репутаций в кино стремительным ростом кинематографической техники, требующей на каждом этапе своего развития дарований нового типа и нового характера. Но ведь Чарли Чаплин целиком связал себя с «немым кино», которое уже в 1930 году ушло в прошлое. Более того, Чарли Чаплин до последнего времени упорно отстаивал принципы «немого кино» и даже в 1936 году, когда на всех экранах мира уже давно шли только звуковые фильмы, он демонстративно выпустил свою немую картину «Новые времена». И что же? Она говорила сердцу и уму миллионов зрителей гораздо красноречивее, убедительнее и внушительнее, чем многие тогдашние буржуазные первоклассно сделанные звуковые фильмы, и долго не сходила с экрана.

Надо ли доказывать, что именно демократическая направленность творчества Чаплина, реалистические черты в его фильмах помогли художнику обрести тот «секрет» творческого долголетия, который до сих пор изумляет многих историков зарубежного кино...

### 3. Образ и действительность. О „маленьком человеке“ и большой эпохе

Огромная литература посвящена за рубежом Чарли Чаплину. Некоторые его поклонники утверждают, что количественно она почти равна литературе, посвященной Шекспиру. В этом утверждении, разумеется, имеется значительное преувеличение. Но несомненно одно: количество книг, статей, исследований о Чаплине достаточно велико, чтобы представить себе и те разнообразные отклики, которые порождала эта — длящаяся на протяжении тридцати лет — актерская и режиссерская популярность Чаплина и тот интерес, который вызывал к себе созданный им в кинематографии образ.

Характерно, однако, что наиболее шумно и восторженно писали о Чарли Чаплине в американской и европейской буржуазной печати в первый период его деятельности. С кем только ни сравнивали в свое время образ Чаплина некоторые критики — и с Одиссеем Гомера, и с Дон-Кихотом Сервантеса, и с его же Санчо-Пансой, и с

шекспировскими шутами, и с солдатом Швейком Ярослава Гашека, и с евангельским образом Иисуса Христа, и с персонажами О. Генри. Эли Фор, автор многотомной истории искусств, захлебываясь от восторга, увидел в чаплинском образе некий метафизический «синтез познания и вожделения». Эли Фор так и писал о чаплинском персонаже: «Он прыгает с ноги на ногу — такие грустные и столь нелепые ноги — и тем представляет обе крайности мышления — одна именуется познанием, другая — вожделением».

Вся эта погоня за «литературными параллелями», весь этот напыщенно-восторженный бред в свое время сулил мало хорошего художнику, который чем дальше, тем мучительнее раздумывал над своими конкретными творческими задачами. Все это свидетельствовало не только о путанице в умах его поклонников, но и о той обычной модной шумихе, после которой, когда «восторженных похвал пройдет минутный шум», должно произойти то, что обычно в таких случаях происходит — проверка художественного образа исторической действительностью..

Но в том-то и дело, что тогдашние буржуазные поклонники Чарли Чаплина больше всего боялись этой исторической действительности, и совсем не случайно они настойчиво подчеркивали внеисторические черты созданного им образа.

Чарли Чаплин вырвался из «фабрики смеха». Он не стал служить капиталистическому строю, как клоун-ремесленник, как фокусник-развлекатель, как робот смеха. Он стал подлинным художником. Он раскрыл человеческие и человеческие, иной раз трогательные, иной раз трагические, черты своего «маленького человека». Этот образ дошел до массового зрителя. Этот образ начинал пробуждать в зрителе мысли, сравнения, сопоставления. Сквозь эксцентрические трюки просвечивала жизненная правда. Но буржуазным истолкователям и хвалителям Чаплина нравится в нем другое. Они спешат оторвать этот образ от конкретной исторической почвы, объявить неизменяемой судьбу «маленького человека», представить его трагические блуждания и страдания изначальными, извечными, символическими для всего человечества, а самого Чаплина навсегда прикрепить к той «маске», которую он когда-то столь удачно открыл для себя, работая на кинофабрике «Кистоун».

Чарли Чаплин вырастал как художник по мере того, как, сохраняя свою «маску», стал постепенно менять ее функцию. Он вырастал, когда, вкладывая в нее все больше и больше жизненного содержания, повел своего персонажа по многим кругам капиталистического ада. Инстинктом большого художника он не мог не почувствовать, что тот капиталистический ад, который вырисовывался из совокупности большинства его фильмов, является не только фоном для злоключений, приключений и трюков его персонажа, но что это прежде всего — та реальная среда, в которой борются за жизнь и думают, мучительно думают сотни тысяч людей, подобных его персонажу, что они не могут не меняться и что не может не измениться и его персонаж. Чарли Чаплин живописно и остро показывал в своих фильмах контрасты между роскошью и нищетой в капиталистическом городе, а ведь в жизни существовали не только внешние контрасты, но и более глубокие противоречия, которые, в конце концов, движут вперед человеческое общество и отдельных его представителей.

И здесь обнаружилось внутреннее противоречие в дальнейшем творческом развитии Чаплина. У его персонажа не было исторической конкретности. Была конкретность социальная. В нее художник вложил большую человеческую страсть. Но персонаж Чаплина не сталкивался с реальными историческими событиями. Как будто ничего не происходило в мире. Происходившие в истории сдвиги как будто никак не влияли на созданный им образ.

Один раз столкнул художник своего героя с реальным историческим событием — с империалистической войной 1914—1918 годов. Но исторически конкретная война была в этом фильме («На плечо») показана предельно абстрактно. Она была дана как фон: окопы, грязь, муштра. На этом фоне разворачиваются трюки и трогательные эпизоды с персонажем Чаплина. В лучшем случае, этот фильм мог звучать только как «общечеловеческий» протест против муштры «вообще».

А дальше «маленький человек» Чаплина отбросил ружье в сторону. Он снова как будто никогда не держал оружия в руках, как будто не приходилось ему — и ему подобным — размышлять над страшной правдой империалистической войны, пошел по другим фильмам Чаплина со своей неизменной бамбуковой тросточкой в руке. В фильме «Малыш» — одном из ярких ранних фильмов Чаплина — есть такой кадр. Чарли проходит по улице, а из верхних этажей бросают на улицу ящики с мусором, способные раскроить ему череп. Между тем, Чарли изящно, спокойно — и вопреки всем законам физики — отстраняет тросточкой эти ящики, словно он имеет дело с легкими пушинками. Этот кадр кажется символическим. Трюком, условностью автор фильмов часто отстранял от своего персонажа некоторые конкретные стороны действительности. Тросточка как бы символизировала, что этот бродяга, не нашедший себе места в жизни, не хочет найти себе места в борьбе. К этому сводится и знаменитая символическая концовка фильма «Пилигрим», когда беглый каторжник Чарли выталкивается шерифом за границу США. Но Чарли так и не решается переступить границу, ибо оттуда, со стороны Мексики, слышится перестрелка, там идет восстание. И Чарли идет своей семенящей походкой вдоль границы, левой ногой по одну сторону пограничной черты, правой ногой — по другую.

Чем дальше — тем больше колебался Чаплин в выборе сюжетов для своих новых сценариев и фильмов. Творческие искания, метания, зигзаги и колебания длятся у него подчас очень долго. Характерно, что уже с 1925 года он весьма медленно, тщательно и осторожно готовит очередной фильм. Часто меняет варианты, тратит огромное количество пленки. В последнее время у него уходит не меньше пятилетий на подготовку нового фильма.

Какие внутренние трудности вставали на творческом пути Чаплина? В свое время Чаплин сумел сквозь созданную им «маску» раскрыть образ. Дальше ему оставалось превратить этот образ в характер, то ли сталкивающийся с исторической эпохой, то ли меняющийся вместе с ней. Был и другой вариант — превратить образ в абстрактный символ, в некое олицетворение несчастья и обездоленности вообще.

Это было бы легче всего для Чаплина — превратить свой образ в символ. Но в этом случае образ обесцветился бы, теряя свою актуальность для миллионов людей Запада, так называемых «маленьких», рядовых людей, борющихся за свое место в жизни. И в конце концов его «Чарли» стал бы в ряду тех мелодраматических образов, которые в таком изрядном количестве фабриковал тогда Голливуд, неизменно вызывавший благородную ярость и гражданское негодование Чаплина. Не для того же он ушел из «фабрики смеха», чтобы работать на «фабрику снов», уводящих от действительности.

Чувство внутренней органической связи с массовым зрителем Чаплин не хотел терять, и это заставляло его искать конкретно-исторического содержания для своих фильмов, давать им социальную направленность. Но у Чаплина не было того широкого понимания исторической действительности, которое помогло бы ему раскрыть эту действительность через характер, и вот он — от фильма к фильму, — разрабатывая свой образ, мечется между характером и неким бесплотным символом. «В своем образе я иногда прокладываю мостик между характером и символом. Я не всегда строго последователен», — как-то пожаловался Чаплин.

Почти каждый фильм Чаплина заканчивался кадром, показывающим, как его герой уходит вдаль. Режиссер словно обещал зрителю: продолжение следует — я еще скажу нечто новое о своем персонаже.

Не раз Чаплин пробовал «открепиться» от своей маски, от своего образа. Ему казалось, что такая маска, гребущая комической игры, мешает раскрыть то новое, что происходило в исторической действительности и чего Чаплин не мог не чувствовать инстинктом художника. Он мечтал о драме, о трагедии. «У меня есть одна идея-фикс, — писал он когда-то, — и состоит она в желании создавать драматические фильмы». «Я люблю трагедию, — заявил он в другом месте, — я люблю трагедию потому, что в основе ее всегда есть что-то прекрасное». Ему казалось, что через трагедию он легче почувствует и передаст исторический масштаб событий:

«Ведь комик должен быть пассивным, не он дает толчок событиям, а события управляют им», — писал Чаплин.

Любопытно проследить те сценарии и фильмы, которые задумывал Чаплин, пытаясь отказаться от своей маски. Он начинал снимать эти фильмы, но так и не заканчивал их. Здесь опять-таки чувствуются беспрестанные метания между поисками живого характера и углублением в абстрактный символ. То ему приходило в голову создать фильм из жизни Христа, то он заканчивал сценарий о Наполеоне, превратившемся в скромного учителя истории, то он задумывал инсценировать роман «Жизнь юноши-бедняка». В конце концов, Чаплин снова и снова возвращается к своему старому, привычному образу — нищего бродяги с тросточкой в руке.

Большой художник, он вкладывал в этот образ все больше и больше остроты и патетики. Уже в «Огнях большого города», где пролог пронизан издевкой над предловутым американским «просперити», именно он — Чарли — нищий, бездомный бродяга, убеждает желающего покончить с собой миллионера, что жизнь прекрасна, а человек — добр. Но не случайно в «Новых временах» — этом самом сильном и самом прогрессивном фильме Чаплина, где режиссер зло издевается над капиталистической цивилизацией, — у художника получается, что его персонаж, случайно поднявший «броненный красный флаг, только по недоразумению оказывается во главе рабочей демонстрации. Чарли Чаплин в своем герое все еще видел только человека-жертву, который может случайно ввязаться в бой, но не человека, сознательно и активно идущего на схватку.

Такой пассивный образ несколько не соответствует активным гражданским настроениям самого Чаплина. И тут возникает противоречие в его творчестве. Гражданское чувство Чарли Чаплина заставляет его в той или иной форме живо откликаться на крупные события современности, волнующие массового зрителя. Но эти события художник постоянно дает только как фон, на котором появляется его неизменяемый персонаж. Художественное мироощущение Чаплина значительно отстало от присущего ему гражданского чувства. Абстрактный гуманизм — такова основная черта его художественного мировоззрения.

Между тем, наступали времена, когда Чаплин чувствовал потребность творческого боевого отклика на исторические события. Порожденный и взлелеянный капиталистическим строем, политый золотым дождем американских долларов, фашистский агрессор уже бомбил мирные испанские города, захватывал Австрию и Чехословакию и готовился валить кровью всю Европу. Начиналась вторая мировая война. Чаплин встретил ее фильмом «Великий диктатор».

Первые кадры «Великого диктатора» показывают окопы империалистической войны 1918 года. Перед вами такой же неуверенный «маленький человек», какой был показан и в раннем фильме Чаплина «На плечо». Это — еврей-парикмахер. Он сходит с ума, попадает в больницу. Последующие кадры фильма показывают того же парикмахера двумя десятилетиями позже, в Германии, в период австрийского «аншлюсса», в гитлеровском гетто. Этот промежуток в два десятилетия парикмахер проводит в больнице, не подозревая о тех крупных переменах, которые произошли в мире.

Сюжетный прием этот весьма показателен. Образ «маленького человека» как бы зан в отрыве от того большого социального опыта, который накопили рядовые люди во всем мире в течение этих двух десятилетий.

А этот социальный опыт был огромен. Самый термин «маленького человека» начинает звучать иначе.

Великая Октябрьская социалистическая революция дала почувствовать миллионам так называемых «маленьких людей» величие той эпохи, которая призвана раскрестить человека, освободить его от капиталистического рабства.

Те, кого называли «маленькими людьми», почувствовали веру в себя, в свое будущее. Они осознали возможность стать вершителями своей исторической судьбы.

В своей статье «Международный характер Октябрьской революции» товарищ Сталин писал:

«Теперь уже вельзя рассматривать трудящиеся массы мира как «слепую толпу», бродящую в потемках и лишенную перспектив, ибо Октябрьская революция создала для них маяк, освещающий им дорогу и дающий перспективы»<sup>1</sup>.

И не случайно в своей статье, посвященной десятилетию Великой Октябрьской революции, Максим Горький, который когда-то сам показывал маленьких людей капиталистического дна, теперь писал:

«К этому маленькому, но великому человеку, рассеянному по всем медвежьим углам страны, по фабрикам, деревням, затерянным в степях и сибирской тайге, в горах Кавказа и тундрах Севера... к нему я обращаюсь с моим искренним приветом Товарищ, знай и верь, что ты — самый необходимый человек на земле. Делая твое маленькое дело, ты начал создавать действительно новый мир».

Это новое ощущение («маленький, но великий человек») принесла наша социалистическая революция миллионам рядовых людей. С этим ощущением рядовые люди во всем мире уверенно ведут борьбу за свои права.

Но вернемся к фильму «Великий диктатор». В этом фильме Чаплин впервые заставил своего персонажа выступить в качестве трибуна. Мы говорим о шестиминутной речи, которую произносит Чаплин-парикмахер в конце фильма, сбросив маску своего двойника, фашистского диктатора Гинкеля.

«В народе заложена сила, сила создавать машины, сила создавать счастье, — говорит Чарли-парикмахер. — Будем бороться за мир, построенный на разумных началах, мир, где наука и прогресс принесут всеобщее счастье». И, обращаясь к своей возлюбленной, он восторженно, оптимистически восклицает: «Облака рассеиваются! Солнце пробивается сквозь них. Мы выходим из мрака на свет. Мы выходим в новый мир, где будет больше счастья, где люди будут выше алчности, ненависти и жестокости».

Эта речь чаплинского персонажа еще звучала отвлеченно и сентиментально. Но уже существовал конкретно «мир, где люди выше алчности, ненависти и жестокости», мир, где народ раскрывал заложенные в нем силы и возможности. Это — мир советских людей. Мир социалистического общества. Мир, где «маленький человек» начинал чувствовать себя великим — строителем своей жизни. Люди этого мира спасли цивилизацию от гибели, освободили на большом пространстве Европы так называемых «маленьких людей» от гинкелей. Именно об этом говорил Чарли Чаплин, когда в дни великой освободительной войны против фашизма адресовал свое приветствие советским людям.

«Я приветствую тебя, Советский Союз, за величественную борьбу, которую ты ведешь во имя свободы. Я приветствую вас, советские люди, я приветствую мужество, с которым вы проводите самый смелый в истории человечества эксперимент, в котором вы добились блестящих успехов, несмотря на все препятствия».

«Несмотря на клевету, которая чернила дело, за которое вы боретесь, вы выросли мужественными и свободными, явились вдохновляющим примером для обыкновенных людей. Добрая сила скрывается за поступками людей, она выходит за пределы человеческих возможностей. Эта сила — стремление к добру».

«Я приветствую тебя, Россия, ибо ничто не может остановить тебя на пути прогресса, никто — даже фашисты со всей своей звериной жестокостью, со всей своей гигантской военной мощью не могут победить тебя».

Но Чаплин-художник жил и развивался в мире, далеком от того, которому он адресовал свое приветствие. Его художественное мироощущение воспринимало только один образ — образ человека-жертвы. Композиционно фильм «Великий диктатор» построен так, что Гинкелю противопоставлен только маленький, не уверенный в себе человек — парикмахер. Как будто за это время не было в мире сотен тысяч людей — борцов, воспитанных примером Советского Союза для активной борьбы с

<sup>1</sup> И. В. Сталин. Вопросы ленинизма, изд. 10-е, стр. 207—208.



фашизмом! Вот почему заключительный сентиментальный оптимизм и гуманизм героя картины по самой структуре фильма воспринимается как абстрактный. И все острее чувствуется в творчестве Чаплина, как разительно стало отставать его художественное мировоззрение от его боевого демократического настроения.

Характерно, что в свое время американская буржуазная печать встретила чаплинский фильм «Великий диктатор» двойственно. С одной стороны, она приветствовала в нем старую, привычную клоунату Чаплина, традиционный образ маленького, не разбирающегося в событиях человека. Но зато с тем большей яростью обрушились буржуазные рецензенты на то, что «клоун позволил себе стать трибуном». Так, например, «Нью-Йорк пост» в номере от 16 октября 1940 года писала:

«Фильм должен был бы стать величайшей в истории картиной, если бы нас не ждал ряд разочарований».

Основные возражения газета направила против второй части фильма. Первая часть рецензенту казалась многообещающей, ибо он увидел в первой части «знаковую фигуру чаплинских комедий».

Примерно в таком же духе писала газета «Нью-Йорк уорлд-телеграм» в номере от 16 октября 1940 года.

«Вместо очаровательного комика, мы видим нового Чаплина, Чаплина — серьезного пропагандиста», — ворчливо писала газета. Именно поэтому и она заявила, что «Великий диктатор» вызывает у нее «разочарование».

В беседе с репортером «Нью-Йорк уорлд-телеграм», после премьеры фильма «Великий диктатор», Чаплин объяснил, как возникла его знаменитая шестиминутная речь:

«Я не мог иначе, — заявил Чаплин, — просто не мог. Никаким иным способом мне не удалось бы выразить того, что накопело во мне. Пришло время, когда я просто должен был оставить шутки. Все уже насмеялись вдоволь. И ведь, правда, смешно было? А тут я хотел заставить их слушать. Я хотел вывести их из состояния этого проклятого самодовольства. Ведь это не просто еще одна война. Фашизм — это конец нашего мира... Что я мог еще сделать... Что еще я мог сделать? Что еще мог сделать человек, которого обуревали такие чувства?»

Обуреваемый благородными гражданскими чувствами, демократически настроенный художник все решительнее выходил из тех традиционных границ, какие ставило буржуазное общество «клоуну», хотя бы даже гениальному. Все настойчивее Чарли Чаплин испытывал потребность направлять свой язвительный смех против капиталистического общества в целом. После фильма «Великий диктатор» он задумал новый фильм — «Господин Верду», свою «Комедию убийств», в которой он решил разоблачить капитализм, как строй, для которого война — это только большого масштаба выгодный бизнес. Но тут-то и подвело Чаплина его художественное мироощущение, его абстрактный гуманизм.

Когда-то, в 1920 году, Чаплин писал: «В основе всякого успеха лежит знание природы человека...» Свой успех как художника Чаплин объяснял знанием природы человека. Но нельзя познать природу человека, отвлекаясь от знания природы человеческого общества и той общественной борьбы, которая формирует человеческие качества. «Сущность человека не есть абстракт, присущий отдельному индивидууму. В своей действительности она — есть совокупность общественных отношений», — указывал Карл Маркс.

Опасность абстрактного гуманизма в художественном мироощущении заключается в том, что он легко переходит в столь же абстрактный антигуманизм. Характерная черта отвлеченного оптимизма в том, что он так же легко переходит в некий всеобъемлющий пессимизм. И если в «Великом диктаторе» Чаплин восторженно восклицает: «душа человека обрела крылья и, наконец, сможет летать. Он летит к радужному сиянию, к надежде, которая светит тебе, мне, всем нам», если он зовет к выходу «из мрака на свет», то в «Комедии убийств» господин Верду объявляет нынешний век «веком преступлений», а весь его образ, все его окружение по-

гружает читателя в такой безысходный мрак, что в нем острота и точность сатиры пропадает, памфлет перестает восприниматься как памфлет, и смех перестает быть смехом...

#### 4. Мораль и бизнес. О „страшном“ и смешном

В этом фильме Чаплин отказался от своей традиционной «маски». Вместо знакомого маленького человека с тросточкой, в стоптанных ботинках и старом помятом котелке, на экране появляется новый персонаж Чаплина в безукоризненно выглаженных брюках и тщательно завязанном галстуке. Он деловит, аккуратен, энергичен. Он сентиментален, обожает цветы, напевает песенки, с трогательной заботливостью относится к животным, даже боится растоптать гусеницу. Он хороший семьянин, любит свою жену-калеку и своего маленького сына. Но это — человек, который избрал своей профессией, своим бизнесом обольщение богатых женщин и их убийство. На деньги, похищенные у убитых им женщин, он играет на бирже.

Этот образ может быть воспринят как символ современного капиталистического общества. Многие кадры фильма так и кажутся символическими, навеянными переживаниями второй мировой войны. Когда зритель в первых кадрах фильма видит дым от мусоросжигательной печи, в которой господин Верду сжег одну из своих очередных жертв, невольно вспоминаются — по ассоциации — Майданек, Освенцим, Треблинка, где фашисты с жестокой расчетливостью и расчетливой жестокостью сжигали женщин, детей, стариков. Когда господин Верду показан человеком, обожающим цветы, трогательно заботящимся о животных, зритель невольно вспоминает о фашистском людоеде Гитлере, который любил сниматься среди цветов. Когда господин Верду, после убийства и ограбления своей очередной жертвы, хладнокровно и деловито играет на бирже, зритель невольно вспоминает о дельцах Уолл-стрита, для которых война была только источником прибылей и биржевых спекуляций. Да разве и все «благообразные» повадки убийцы женщин Верду не напоминают зрителю о лицемерии многих грязных политических гангстеров?

Но чем дальше разворачивается действие фильма, тем яснее становится, что Чаплин выводит своего персонажа не только как символ буржуазного общества, не только как его порождение, но и как его жертву. Господин Верду — банковский клерк, прослуживший двадцать пять лет и уволенный в годы кризиса. Более того, Под конец фильма именно господин Верду оказывается единственным в картине обличителем капиталистического общества. Именно Верду и никто иной произносит страстную тираду против капиталистического строя, порождающего войны.

Уже то обстоятельство, что Верду одновременно выступает в фильме в трех планах — то как символ, то как реалистическая фигура, то как резонер — уже это обстоятельство вносит страшную путаницу в восприятие зрителя и сводит на нет даже те острые обличительные места, которые имеются в задуманном Чаплиным кинопамфлете.

Но объективное значение фильма гораздо опаснее. Запутывая отношение зрителя к Верду, выставляя его с помощью ряда реалистических черт наиболее симпатичной фигурой на том фоне, на каком Верду показан, фильм тем самым пытается создать у зрителя двойственное отношение к тому отвратительному, что воплощает этот Верду. Что дело обстоит именно так, можно подтвердить некоторыми рецензиями, появившимися в американской левой печати. В ежемесячном журнале «Мэйнстрим», органе передовой американской интеллигенции, прогрессивный американский драматург, один из соавторов пьесы «Глубокие корни» — Арно д'Юссо, написал большую восторженную статью об этом фильме. В этой статье д'Юссо вначале указывает, что «Верду представляет собой абсолютно цельный образ буржуа». И вместе с тем, критикуя страницей далее восклицает:

«... Когда Верду медленно уходит к гильотине, с завязанными за спиной руками, в сопровождении стражи, мы убеждаемся с удивительной силой, что в картине было много жертв, но что самой большой жертвой был сам Верду, и что из самых

отвратительных составных частей Чаплин создал трагическую фигуру, вызывающую у нас глубочайшее сочувствие».

Так и сказано: глубочайшее сочувствие! Мы не сомневаемся в прогрессивных настроениях и добрых пожеланиях д'Юссо, но какая вредная путаница создается сценарием фильма в голове иного демократического читателя Америки, если герой фильма, воплощающий отвратительные черты современного буржуа, в то же время способен вызвать «глубочайшее сочувствие» и чуть ли не становится объектом «величайшей трагедии».

Вслед за кадрами фильма, когда Верду, после паники на бирже потерявший все ценное им после убийств состояние, сидит на открытой веранде кафе, идет кадр, показывающий, как рабочие стоят в очереди за хлебом.

Итак, по ходу фильма получается, что Верду, играющий на бирже профессионал убийца — такая же жертва «капиталистического строя», как и живущие впроголодь безработные. Что, кроме удивления, может вызвать самая попытка такого сопоставления? Но именно к этому приводит так называемый «абстрактный гуманизм», когда конкретный анализ социальных отношений подменяется подобной отвлеченной «общеморальной», а по сути, весьма антиморальной постановкой вопроса, когда уравниваются палачи и жертвы, когда наш век объявляется просто «веком преступлений», где «одна жестокость рождает другую», где преступникам приходится не раскаиваться, а только завидовать преступникам большего масштаба и большей безнаказанности. Не случайно после биржевого краха, когда Верду встречается с Ренэ и она ему сообщает о своем знакомстве с владельцем оружейного завода, Верду полуиронически восклицает: «Вот чем мне следовало бы заняться! Это дело будет скоро давать большие доходы».

Автор сценария и фильма хотел вложить в эту реплику свое саркастическое отношение к капиталистическому обществу. Но его персонаж вышел из повиновения автору. Верду разработан в ряде кадров фильма чрезвычайно реалистическими приемами, он предстает перед нами методичным буржуа, расчетливо прибегающим к убийству, как к доходной профессии. И в этой реплике Верду читатель и зритель невольно слышат не столько интонации обличения, сколько интонации горечи и зависти.

Перед смертью, обличая владельцев оружейных заводов и заправил капиталистического мира, порождающего преступные войны, он, Верду, отнюдь не застывает за рядового человека, повседневно страдающего и гибнущего под железной пятой империализма. Он весьма далек от какой-либо конкретной социальной или моральной постановки вопроса. Верду, который, по его собственному выражению, жил «как замурованный, с оцепеневшей душой, в каком-то нереальном, страшном мире», объявляет себя принципиальным человеконенавистником. «У меня конфликт в Человеком», — говорит Верду в камере смертника. Так «абстрактный гуманизм» художника перерастает в демонстративный антигуманизм его героя!

Но ведь Чаплин адресует своим фильмом к массовому зрителю, живущему в реальном капиталистическом мире. Вопросы, затронутые в фильме Чаплина, это не отвлеченные вопросы. Ведь рядовые люди капиталистических стран, живя в мире «вечной неуверенности и страха», о которых говорит Верду, изо дня в день мучительно думают над путями и способами борьбы с конкретными поджигателями войны. Все больше и больше вырастает среди трудящихся масс Запада ненависть к капиталистическому строю — источнику войн и безработицы. Но это — не ненависть «вообще». Это — ненависть во имя борьбы за освобождение человечества, во имя человека и человечности. Это — конкретный действенный гуманизм. Какое же странное впечатление производит то обстоятельство, что обличение капиталистического строя вкладывается Чаплиным в уста хладнокровного человекоубийцы!

Вот почему вовсе не «трагическая» судьба господина Верду может волновать каждого передового человека, знакомящегося с фильмом; единственно, что в данном случае реально волнует, — это судьба большого прогрессивного, демократически настроенного художника Чарли Чаплина, который в этом фильме сам стал жертвой

какой-то художественной аберрации, или, скажем точнее, жертвой той гнетущей патологической атмосферы, которая царит в современном буржуазном искусстве.

Но прежде, чем поговорить и об этой аберрации, и о патологических чертах современного буржуазного искусства, мы считаем нужным коснуться еще одной стороны фильма «Господин Верду», который в некоторых своих деталях был задуман Чаплиным как пародия на голливудские фильмы.

Вот уже скоро три десятилетия, как Чаплин пытается резко противостоять всей линии развития американской кинематографии, той «фабрике снов» Голливуда, которая, являясь пропагандистским орудием американского монополистического капитала, то сентиментально приукрашивала социальную действительность, убаюкивая зрителя, то, напротив, активно будила в нем низменные зоологические инстинкты гангстерскими, милитаристическими, националистическими фильмами.

Чарли Чаплин, выступавший против Голливуда с рядом острых публицистических статей и речей, прежде всего боролся с ним своими фильмами. Зачастую отдельные кадры его фильмов звучат как едкая язвительная пародия на некоторые приемы официальной американской буржуазной кинематографии. Чарли Чаплин не раз обнаруживал незаурядный талант пародиста. Но больше всего и решительнее всего он пародировал в своих фильмах голливудские фильмы с их «любовными историями», с их «счастливыми концовками», с их увлечением детективными и гангстерскими сюжетами.

К тому моменту, когда создавался и готовился «Господин Верду», Голливуд развернул активную деятельность по фабрикации запугивающих фильмов, насыщенных кошмарами и ужасами, призраками и привидениями.

Вот, для примера, названия некоторых голливудских картин выпуска 1946 года: «Призрак вампира», «Страшное привидение», «Дочь дьявола», «Человек-чудовище», «Женщина-паук», «Душител ь с болота», «Привидение рассказывает», «Женщина-вампир», «Долина чудовищ» и т. д. и т. п. А в 1947 году американская кинофирма «Универсал» объявляет о новом выпуске «суперужасных» фильмов, от которых — как сказано в рекламе — зрителя должны схватывать судороги.

Режиссеры и сценаристы Голливуда всячески соревнуются между собой, нагнетая ужасы и фантазмагории, изобретая все новые и новые сюжетные приемы, лишь бы поострей пощекотать нервы зрителя, лишь бы привести зрительный зал в судорожное состояние. Бесплотные призраки в этих фильмах действуют исключительно кровожадно и плотоядно. Они мстят живым за то, что те смеют жить и радоваться жизни. Иной раз гангстерские фильмы кажутся детской забавой по сравнению с некоторыми фильмами о призраках. В картине «Женщина-паук» центральное место занимает некое растение — плотоядное растение! — оно питается людской кровью и выделяет яд, убивающий людей.

В прошлом году в журнале «Голливудский ежемесячник» появилась статья Джона Гаузмана, озаглавленная «Герой нашего времени». Автор этой статьи на ряде примеров доказывает, что аморальная личность, шизофреник, хулиган, алкоголик стали главными действующими лицами американских фильмов и романов, или, как выражается Гаузман, «героем современного американского мифа».

Эта продукция Голливуда, с одной стороны, всячески подавляет сознание зрителя сценами смертей, убийств, кошмаров и призраков, а с другой стороны, воспитывает в нем зоологические настроения, атавистические инстинкты, всячески разукрашивая и идеализируя гангстерские похождения, «обыгрывая» ненормальные состояния, психозы, доводящие человека до преступления.

Характерно, что именно после второй мировой войны, именно тогда, когда социальные конфликты и в США и в других зарубежных странах стали заостряться, голливудская пропаганда всячески пыталась увести сознание зрителя от волнующих его социальных тем к темам психопатологическим.

Рассказывают, что французский премьер-министр Клемансо в те дни, когда в стране дела шли неважно, вызывал журналистов и говорил им: «А вы теперь займитесь делом Ландрю». Ландрю был своеобразным «Синей Бородой» начала

XX века. Это был психопатологический убийца, обольщавший женщин, а затем их убивавший. Бульварная, желтая пресса Франции и Америки в свое время всячески рекламировала его процесс.

После второй мировой войны в американской буржуазной беллетристике, так же как в Голливуде, стал проявляться обостренный интерес к темам и сюжетам, аналогичным сюжету процесса Ландрю. Обычно дело сводилось к тому, что читателя и зрителя уводили от острых социальных вопросов современности в сторону психопатологии. Возможно, что Чаплин, взявший за сюжетную основу своего фильма процесс Ландрю, задумал противопоставить обычной голливудской трактовке подобного рода сюжетов свою трактовку, имеющую определенную социальную и сатирическую заостренность. И прежде всего он решил заострить свою тему против того самодовольного американского буржуазного мироощущения, для которого бизнес стал религией, а религия стала бизнесом.

Чтобы дать представление об этом мироощущении, чрезвычайно характерном для американской буржуазной действительности, мы приведем несколько примеров. В 1925 году, в разгар так называемого экономического «процветания», в Соединенных Штатах Америки вышла книга Брюса Бертона «Человек, которого никто не знает». Эта книга, посвященная Христу, была в ту пору одной из наиболее ходких книг в Америке. Брюс Бертон характеризовал Иисуса в этой книге как «основателя современного бизнеса». «... Он выбрал двенадцать человек из рядовых практических работников, — писал Брюс Бертон о Христе, — и создал организацию, которая покорила мир.. Нигде больше мы не имеем такого поразительного примера успешного руководства, как в этом случае. Его притчи как нельзя лучше содействовали успеху предприятия». В другом месте своей книги Брюс Бертон восторженно восклицает: «Иисус Христос был бы в наше время руководителем коммерческой информации в государственном масштабе».

Как ни курьезна и по своему содержанию, и по своему стилю эта книга Брюса Бертона, она ведь весьма серьезно воспринималась десятками тысяч американских буржуазных читателей! Даже Библию они трактуют, как руководство для бизнеса. Книга Брюса Бертона не была уникальной. Нет, она необычайно характерна для того «чистого раствора» мироощущения буржуазии, которая, как замечательно было сказано в «Коммунистическом манифесте», «в ледяной воде эгоистического расчета потопила... священный трепет религиозного экстаза, рыцарского энтузиазма, мещанской сентиментальности». Примерно в ту же пору, что и книга Брюса Бертона, в Америке вышла брошюра «Моисей, убеждающий людей», выпущенная «Обществом страхования от несчастных случаев». В предисловии к этой брошюре доктор Кадман пишет: «Моисей был величайшим комиссионером и посредником по сбыту недвижимого имущества, который когда-либо жил». Характеризуя библейскую фигуру Моисея, автор книги восклицал: «Это была властная, бесстрашная и преуспевающая личность во время самой грандиозной кампании по распределению продукции, какую когда-либо знала история».

И тут же, наряду с книгами, которые объявляли Христа и Моисея «основателями современного бизнеса», в Америке появлялись столь же популярные книги и брошюры, которые с неменьшим красноречием живописали похождения бандита и вымогателя Аль Капоне, как одного из преуспевающих бизнесменов современности.

К «коммерчески преуспевающей личности» большого масштаба не применялись морализаторские разговоры. Они казались излишними. Эта личность как бы стояла выше морали, находилась «по ту сторону добра и зла». И тут Аль Капоне, и Джон Пирпонт Морган, и библейские фигуры — все они шли одним и тем же крупным планом. Душеспасительные морализаторские разговоры применялись только к «малым сям», только к тем, чей бизнес или чьи преступления не достигали того масштаба, который мог бы поразить умы и чувства американского среднего буржуа.

Разрабатывая сюжет процесса Ландрю, Чаплин хотел разоблачить тех, для которых «масштаб все освящает», американских буржуа, их морализаторство, их мнимую показную мораль. Когда в «камере смертников» репортер говорит, обращаясь

«Верду: «... Вы должны согласиться, что быть преступником нет никакого расчета», — го самый характер его реплики показывает, что для него, для репортера, на первом плане не моральная оценка преступлений Верду, а сомнение в их коммерческой выгоды и целесообразности. И Верду в своем ответе указывает, что убийца женщин — это не самая «преуспевающая личность» в современной Америке, что в «малом масштабе это — дело невыгодное», и напоминает об «истории множества крупных предприятий», когда преступления оказывались выгодными и ни моральному, ни судебному осуждению не подвергались.

Именно эти отдаленные сатирические моменты в чаплинском фильме, непосредственно направленные против идеологии «священного» бизнеса, исторгли яростные вопли по адресу Чаплина со стороны американских прислужников Уолл-стрита, которые требовали изъятия этого фильма.

И все же сатирического фильма, противостоящего американскому буржуазному мироощущению, у Чаплина не получилось. В большинстве своих кадров этот фильм находится в плену этого мироощущения. Как же случилось, что пародист и сатирик стал жертвой того, что он сам пародирует, и прежде всего жертвой того мирка «кошмаров и ужасов», который сегодня изо дня в день фабрикуется буржуазным искусством?

«Смеясь, человечество расставалось со своим прошлым», — писал когда-то Карл Маркс о комедиях Лукиана. Расставание с прошлым — это встреча с будущим. Обращенный против старого, отжившего, против того, что тянет человека назад, острый язвительный смех передового художника-сатирика всегда несет в себе чувство нового, чувство будущего. И чем сильнее чувствуется в сатире его уверенность в будущем, тем разительнее та «сила гнева» и то «пламя страсти», которое одушевляет творчество мастера сатиры.

Чаплин никогда не был сатириком в чистом виде. В его прежних фильмах встречается не мало лирических, трагических, грустных, печальных кадров. И все же, когда впервые на экранах появился образ «маленького человека», созданный Чаплиным, образ человека низов, как бы он временами ни выглядел жалко и смешно, за всеми его злоключениями чувствовалась жизнестойкость человека, который, вопреки всему, сохраняет чувство морального превосходства над представителями эксплуататорских классов. Когда нищий, оборванный Чарли доказывал в «Огнях большого города» пьяному, духовно опустошенному, готовому покончить с собой миллионеру, что жизнь прекрасна, — это все же не воспринималось как парадокс. И смех Чаплина над своим героем был все же смехом веры в будущее. Это придавало обаятельность образу, создавало ему, особенно после империалистической войны 1914—1918 годов, широкую популярность.

Но в «Комедии убийств» Чарли Чаплина прозвучал иной смех — смех безверия. Это — смех художника, который, бичуя лицемерие современной буржуазной этики, в своем фильме не противопоставил аморальности капиталистического строя иной, подлинно передовой морали, одушевляющей миллионы передовых людей всего мира.

## 5. О таланте и мировоззрении

«На два лагеря раскололся мир решительно и бесповоротно: лагерь империализма и лагерь социализма...

... Борьба этих двух лагерей составляет ось всей современной жизни...», — так писал товарищ Сталин 22 февраля 1919 года<sup>1</sup>.

Вот уже тридцать лет, как борьба двух лагерей — лагеря империализма и лагеря социализма — составляет ось всей международной жизни. И вот уже тридцать лет, как в борьбе между слабеющим лагерем реакции и крепнущим лагерем прогресса определяются главные черты, характеризующие дальнейшее развитие мирового искусства во всей его сложности и многообразии. Упустив из виду это главное и

<sup>1</sup> И. В. Сталин. Сочинения, т. 4, стр. 232.

основное, невозможно ни глубоко понять любое конкретное явление современного зарубежного искусства, ни правильно разрешить тот или иной вопрос, связанный с этим явлением.

Неверно было бы рассматривать эту неудачу Чарли Чаплина, его фильм «Господин Верду», как нечто изолированное от той ожесточенной борьбы, которая ведется в зарубежных странах на фронте идеологии. Если вдуматься глубже в последние кадры «Комедии убийств», то господин Верду, каким он раскрывается в этих кадрах, предстает перед нами, как образ «взбесившегося от ужасов капитализма мелкого буржуа».

«Взбесившийся» от ужасов капитализма мелкий буржуа,—писал В. И. Ленин в своей работе «Детская болезнь «левизны» в коммунизме», — это — социальное явление, свойственное, как и анархизм, всем капиталистическим странам. Неустойчивость такой революционности, бесплодность ее, свойство быстро превращаться в покорность, апатию, фантастику, даже в «бешеное» увлечение тем или иным буржуазным «модным» течением,— все это общеизвестно.

Капиталистический строй зачастую использует в своих интересах именно эти неустойчивые черты мелкобуржуазной революционности, легко переходящей в фантастику, апатию, покорность. Идеологи загнивающего капитализма охотно поощряют моду на анархизм в области морали, когда протест против буржуазной классовой морали доводится до абсурда, до отрицания всех и всяческих нравственных устоев. И чем шире распространяется в массах — в том числе и среди мелкобуржуазной интеллигенции — возмущение и протест против ужасов, порождаемых современным империализмом, тем настойчивее стремятся современные идеологи буржуазного строя внести замешательство в сознание протестующих, устремить их критику ужасов капитализма по такому руслу и в таком направлении, в котором эта критика становится бесплодной, фантастической, перерастая в апатию, в пессимизм, в покорность, в отчаяние. Анархическое бунтарство — бесплодное и фантастичное — сохраняет с одной стороны всю видимость критики капиталистического строя и внешне как бы привлекает своей «левизной», а с другой стороны — становится фактической агиологетикой капиталистического строя, поскольку у такого рода моральных анархистов стираются грани между капитализмом и человеческим обществом «вообще», и ужасы эксплуататорского строя предстают, как вечные и неизменные ужасы человеческого существования. Именно потому, что «моральные анархисты» превращают конфликт с капитализмом в некий абстрактный и абсурдный «конфликт с человеком», они тем самым не только дискредитируют правильную идею, но и сеют среди трудящихся чувство замешательства, неверия в свои силы, в свои возможности, в свое будущее.

В литературе и искусстве современной Америки, этой «главной цитадели капитализма», мы в последнее время встречаем — в очень большом количестве — проявления такого «морального анархизма», легко перерастающего в антигуманизм. Последняя пьеса О'Нейля «Продавец льда грядет» дает чрезвычайно натуралистическое и мрачное изображение людей капиталистического «дна», но люди, изображенные в этой пьесе О'Нейля, протестуют не столько против неправды капиталистического общества, сколько против общества «вообще».

«Материал, из которого должно быть создано идеальное свободное общество, это — люди, — восклицает герой пьесы О'Нейля. — Но как же воздвигнуть мрачный храм из смеси грязи и навоза?» — тут же патетически спрашивает герой.

Изображая человека «смесью грязи и навоза», не показывая, какие конкретные социальные условия довели тех или иных людей до этого состояния, пьесы, подобные пьесе О'Нейля, тем самым как бы прокламируют бессмысленность человеческой борьбы за лучшую жизнь и невозможность дальнейшего прогресса человечества.

Именно такого рода произведения в современной Америке объявляются модными. Именно такого рода «мировоззрение», блещущее мнимым радикализмом, является самой страшной опасностью для некоторых художников Запада, искренно протестующих против капиталистического строя, но сбивающихся в своем протесте на истерию, смещающую сознание, расслабляющую волю...

Этого рода опасность встала перед большим прогрессивным художником Чарли Чаплиным. О ней и следует поговорить со всей серьезностью и принципиальностью. Недоговоренность или уклончивость в этих вопросах недопустима. Речь идет о судьбах больших талантов, о путях не одного только Чаплина, но и ряда других левых художников, работающих сейчас в условиях капитализма, в исключительно гнилой этической и эстетической атмосфере, порождаемой им, в атмосфере, грозящей удушить эти таланты, загнать их в тупик.

Приведем один пример. Если, скажем, картина Пабло Пикассо «Герника» возникла, как благородный акт прогрессивно настроенного художника, протестующего против фашистских агрессоров, то по форме художественного выражения она представляет собою явление регрессивное. Ведь здесь, в этой картине, изображение схватки народных и антинародных сил дано только в истерическом разрезе. Ведь здесь крупным планом выступают только чувства ужаса и кошмара, смещающие сознание, затемняющие мысль, подавляющие волю. И это в тот решающий период истории человечества, когда со всей силой великой правды звучат слова Ленина: «Нам истерические порывы не нужны. Нам нужна мерная поступь железных батальонов пролетариата».

Можно ли в данном случае, отмечая искренний гражданский порыв художника, в то же время резко, непримиримо критиковать его художественные позиции? Не только можно, но и должно! Ведь его художественные позиции используются реакционерами, как фактор, способствующий разложению искусства, смятению сознания борцов за прогресс. И вступая в противоречие с благородным замыслом художника, подобного рода творческий метод загоняет самого художника в тупик, отделяет его от масс, от народа, а ведь «в искусстве, — как признавал и сам Чарли Чаплин, — потерять признание масс это — потерять самое главное».

Сегодня трудящиеся массы во всем мире хотят услышать в искусстве ясные и уверенные голоса своих прогрессивных художников. Но зарубежные левые художники зачастую ограничиваются только криком благородной души — криком, преисполненным истерическими интонациями. Но крик — это свидетельство бессилия, а трудящиеся массы, все больше и больше чувствуя уверенность в своих силах, естественно не удовлетворяются таким искусством, которое все еще находится в плену буржуазного декаданса и мелкобуржуазной растерянности.

Когда-то Чарли Чаплин назвал свой фильм «Новые времена» «осмеянием всеобщей растерянности, от которой мы все страдаем». «Господин Верду» является свидетельством той растерянности, которую сам Чаплин хотел когда-то высмеять. Хочется, однако, думать, что не для того Чаплин вырвался в свое время из капиталистической «фабрики смеха», не для того он отказался соучаствовать в «фабрике снов» реакционнейшего Голливуда, чтобы работать на «искусство кошмаров и ужасов». И все же на примере этого фильма Чарли Чаплина можно проиллюстрировать, как разносторонне проявляется вред, наносимый одряхлевшим капиталистическим строем искусству.

«Капитализм душил, подавлял, разбивал массу талантов в среде рабочих и трудящихся крестьян. Таланты эти гибли под гнетом нужды, нищеты, надругательства над человеческой личностью», — писал В. И. Ленин. Подавляя народные таланты, мешая этим талантам развернуться, капиталистический строй (в тех случаях, когда тот или иной большой талант утверждал свою независимость от эксплуататорских слоев) пытался отравить ядом идейной растерянности, морального нигилизма, загнать эти таланты в тупик...

Подлинно научное марксистское мировоззрение, дающее в любой области «силу ориентировки, ясность перспективы, уверенность в работе», является не только лучшим противоводием против этих, разъедающих искусство, упадочных влияний современной буржуазной эстетики, но и единственным средством, с помощью которого талант прогрессивного художника может развернуть все свои богатые возможности. Сегодня, как никогда, вопросы мировоззрения неотделимы от эстетических проблем. Сегодня, как никогда, справедливо и верно звучат слова русского писателя-сатирика Салтыко-



ва-Щедрина о том, что «неясность мирозерцания есть недостаток настолько важный, что всю творческую деятельность художника сводит к нулю».

И чем крупнее художник, чем значительнее его деятельность, чем ярче его таланты, тем более важным становится вопрос о направлении этого галанта, о тенденциях его роста и развития. Это прекрасно понимал сам Чаплин, когда не раз задумывался над дальнейшими путями и возможностями своего таланта. Помнится, лет пятнадцать тому назад, когда Чаплин собирался посетить Советский Союз, один американский корреспондент спросил его, коммунист ли он? «Нет, — ответил Чаплин, — но я художник, а большевизм является новой фазой жизни, а как художник, я не могу не интересоваться ею». Поистине, вопрос о новом в истории и в жизни есть основа основ дальнейшего роста прогрессивного искусства и его лучших представителей. «Снять» этот вопрос — это значит попытаться столкнуть художника с пути плодотворных творческих исканий на дорогу эстетских и формалистических блужданий, загоняющих его в тупик.

К сожалению, в многочисленной литературе, посвященной Чаплину, нет, по сути, ни одного серьезного марксистского исследования, ни одной большой работы, освещающей его путь с позиций передового мировоззрения, социалистической эстетики. Творчество Чаплина в этой обширной критической литературе не только не проверяется исторической действительностью, но всячески отрывается от нее. Особенно обидно, что подобного рода абстрактное и безответственное эстетское сюсюканье о творчестве Чаплина можно встретить и в наших советских изданиях.

В 1945 году в Москве в Госкиноиздате вышел сборник статей и исследований, посвященный Чаплину. Авторы этого сборника — советские критики и кинорежиссеры. Вполне естественно, что они захотели засвидетельствовать свое восхищение большим талантом Чаплина. Но славословие таланту превращается в празднословие, если оно лишено какого бы то ни было анализа той действительности, которую отражает художник, если оно не связано с изучением тех условий, в которых талант развивается, и тех тенденций, которые определяют его успех.

Советское киноискусство — самое передовое в мире. Такими, прозвучавшими во всех концах земного шара, фильмами, как «Чапаев», «Броненосец Потемкин», «Мы из Кронштадта», «Мать», «Член Правительства», «Депутат Балтики», «Трилогия о Максиме», «Великий гражданин», «Радуга», «Зоя», «Сельская учительница» и другие, оно выразило наше новое отношение к действительности, нашу эстетику, нашу этику. Разве мы не вправе были бы ожидать от деятелей нашего кинематографического искусства, выступивших в сборнике, серьезного обсуждения творчества Чаплина, вдумчивого разбора его фильмов, в котором чувствовался бы богатый опыт советских художников и марксистский подход к явлениям искусства? Разве не вправе был ожидать Чаплин дружеских советов ему — художнику, мучительно и напряженно ищущему новых путей в трудных условиях капиталистической действительности? Между тем, всех этих ожиданий — и в минимальной степени — не оправдывает сборник, выпущенный Госкиноиздатом.

Статьи крупных советских кинорежиссеров Козинцева и Юткевича предстают в этом сборнике, как своеобразные статьи-тосты, где заздравные восклицания, восторженные эпитеты и патетические историко-литературные сопоставления уводят читателя от какой бы то ни было конкретной проблематики современного искусства. Что же касается статьи критика и сценариста М. Блеймана «Образ маленького человека», открывающей сборник, то, оставаясь по своему содержанию таким же восторженным тостом, эта статья внешне выглядит, как наиболее «проблемная». Это дает нам возможность на конкретном ее примере продемонстрировать, насколько запутывает критик поставленный им вопрос и до какой степени он его искажает.

Статья М. Блеймана начинается, с первого своего абзаца, заявлением: «Современность не знает искусства более бесспорного и популярного, чем искусство этого клоуна, переселившегося в кинематограф из цирка...». В дальнейшем М. Блейман добавляет к этому не менее категорическое утверждение: «Нет более жестокого искус-

ства, чем искусство Чаплина, и в то же время, в современности, может быть, иет искусства более связанного, более проникнутого одной идеей, одной мыслью».

Итак, по Блейману, искусство Чаплина — самое бесспорное, самое популярное, самое жестокое, самое связанное и идейно целеустремленное искусство современности..

Начнем с того, что Блейман, увлеченный восторженным нанизыванием гиперболических эпитетов, очень абстрактно и бесконечно туманно употребляет термин «современность». Надо ли ему напоминать, что наша современность — это современность двух противостоящих миров? И то, что является в эстетическом смысле бесспорным для лагеря деградирующего капиталистического общества, далеко не всегда является бесспорным для лагеря подлинной демократии, И наоборот. Наша современность характеризуется и определяется решающим спором между прогрессивно-научным мировоззрением социалистического общества, передовой эстетикой рабочего класса — и мироощущением упадочного декадентского искусства. Творчество Чаплина развивалось в обстановке этого большого спора. Наконец, сам Чаплин вырос из художник в неизменном споре с самим собой. «Я не всегда строго последователен», — писал Чаплин о себе в своей статье «Вдохновение». Между тем, Блейман объявляет искусство Чаплина самым связным, самым идейным целеустремленным искусством современности. Что же, однако, кажется критику бесспорным в творческом пути Чаплина? Какую идею он рассматривает, как основную идею чаплинских фильмов, и в чем же он видит причины «великолепной популярности чаплинского искусства»? Оказывается, что герой Чаплина — «бродяга без отечества, без семьи, без друзей, стремится только к одному доступному ему счастью — сохранить свою жизнь». «В этом глубокий смысл искусства Чаплина, в этом его большое прогрессивное значение», — восклицает М. Блейман.

Он называет Чаплина автором современной «Одиссеи». «Если не бояться громких слов, — пишет М. Блейман, — больших историко-литературных и, быть может, ни к чему не обязывающих параллелей, то можно сказать, что Чаплин делает «современную Одиссею», с той только разницей, что герой его ничем не похож на умного, находчивого, хитрого, мужественного, борющегося с опасностями героя Гомера».

Итак, выдвигание персонажа, «ничем не похожего на умного, находчивого, хитрого, мужественного, борющегося с опасностями героя», является, по критику, характерной чертой «современной Одиссеи», а в изображении абсолютно негероической личности, мечтающей только о том, чтобы сохранить свою жизнь, именно в этом видит М. Блейман «прогрессивное значение» и «глубокий смысл» чаплинского искусства.

Но может быть за этими рассуждениями Блеймана можно обнаружить другой, иронический смысл? Может быть критик хочет поиздеваться над «современными Одиссеями» декадентского буржуазного искусства (достаточно вспомнить хотя бы «Уллис» Джойса, где антигероичность дублинского обывателя возводится в некий «перл создания»)? Может быть критик, как полагалось бы передовому критику, собирается в своей статье противопоставить «раздавленному историей» маленькому человеку чаплинских фильмов — подлинных героев наших дней, желающих активно участвовать в историческом процессе? Отнюдь нет. М. Блейман, не смущаясь, заявляет: «Чаплин в своих картинах не только показывает современного человека во весь рост, но и показывает его с более высоких позиций, чем сентиментальная литература современности».

Трудно понять, о какой «сентиментальной литературе современности» речь идет у М. Блеймана. Он пишет столь двусмысленно, он оперирует настолько расплывчатыми категориями, что под термин «сентиментальная литература современности» можно подвести все что угодно. Во всяком случае, по М. Блейману выходит, что «несчастный, раздавленный историей человек, стремящийся только к тому, чтобы выжить», что именно такого рода образ раскрывает «современного человека во весь его рост».

Надо сказать, что в своих широковещательных «теоретических» разглагольствованиях на тему об образе маленького человека М. Блейман приходит к еще более несус-

разным и политически вредным высказываниям. Он восклицает: «Человек XIX века борется за свое место в истории. Человек XX века борется за то, чтобы от нее убежать». Таким образом, по Блейману, люди XX века деградировали по сравнению с людьми XIX века. И это говорится о людях XX столетия, столетия величайшей социалистической революции, освободительных войн, массовых народных движений!

Вероятнее всего, что, рассуждая о деградации людей XX столетия, Блейман имел в виду людей современного Запада. Но «люди современного Запада» это не аморфное понятие. Давно уже пора прекратить эти широковещательные и абстрактные рассуждения, в которых смешивается всё и вся, за которыми не видно ни конкретных людей, ни конкретной расстановки социальных сил, давно уже пора оставить эти высокопарные разглагольствования, которые затемняют, смазывают остроту классовой борьбы в капиталистических странах. Это характерно для современного зарубежного декадентского искусства, которое предпочитает выдвигать крупным планом или растерявшихся буржуазных интеллигентов, или несчастных маленьких людей, барахтающихся в одиночку, без цели и перспектив, способных в «лучшем» случае предаваться бесплодному анархическому бунтарству.

Буржуазное искусство наших дней, то усложняя психологию мелких обывателей, то упрощая и нивелируя образ простого человека, человека труда, преднамеренно игнорирует подлинных героев современного Запада, заслоняет от читателя образы тех сотен тысяч пролетариев, которые под руководством коммунистических партий встали на путь беззаветной сознательной и организованной борьбы за освобождение своего класса, своего народа. Они-то не так просты, какими их хотели бы видеть реакционные идеологи, и они уже отнюдь не «маленькие люди», какими их старается показать современная буржуазная литература. Эти люди бесконечно выросли за последние десятилетия. Не они деградировали, а деградировало то зарубежное искусство, которое оказалось неспособным ни показать величие их борьбы, ни раскрыть глубину их психологии. Тут-то и обнаруживается основная идейная порочность статьи М. Блеймана «Образ маленького человека».

От первого ее абзаца до последнего Блейман рассматривает творчество Чаплина сквозь призму буржуазного искусства, и вся его статья написана в тоне подлаживания к стилю и манере буржуазных апологетов раннего Чаплина, с их канонизацией его «маленького человека», как некоего извечного образа человеческого несчастья. Именно в подобном духе пишет критик. «Так входит в искусство один из самых запоминающихся образов современности, образ маленького человека в нелепом котелке, с жалкими черными усиками, оборванного и несчастного. Так входит в искусство, может быть, самый трогательный образ человеческого несчастья — образ маленького незадачливого Чарли», — заявляет М. Блейман, заканчивая четвертую главу своей статьи.

Как же случилось, что «самым запоминающимся образом современности» стал для Блеймана образ человеческого несчастья, образ человека-жертвы? Да потому, что Блейман рассуждает о современности только как человек, глядящий на нее сквозь очки упадочного декадентского искусства. Он даже не пытался поставить перед собой вопрос о том, насколько декадентская литература исказила и извратила образ так называемого «маленького человека» наших дней! Вся статья Блеймана проникнута от первой строки до последней духом формализма и эстетства, когда произведения искусства не проверяются действительностью, а рассматриваются только в ряду других эстетических явлений, к тому же буржуазных.

В своей статье М. Блейман справедливо указывает на некоторую внеисторичность созданного Чаплиным образа. «Его герой, — пишет М. Блейман о Чаплине, — действует в несколько абстрактной и примитивизированной обстановке современного города и только. Нигде ни одним словом Чаплин не упоминает об исторической реальности, не делает попытки столкнуть героя с реально протекающими историческими событиями». Это — правильное замечание. Почему же, однако, автор статьи, вместо того, чтобы критически осмыслить эту черту чаплинского творчества, сам всячески ассимилируется и приспосабливается к ней и, разбирая чаплинский образ «маленького

человека», отнюдь не сталкивает его с реальной исторической действительностью? Почему же М. Блейман предпочитает абстрактные и «примитивизированные» литературные аналогии вне всякой связи с их конкретным историческим содержанием?

Как мы уже указывали выше, Блейман назвал Чаплина автором «современной Одиссеи». Увлеченный такими — как он сам выразился — «ни к чему не обязывающими» историко-литературными параллелями, М. Блейман восторженно сравнил Чаплина с Пушкиным. «Поэма Пушкина (речь идет о «Медном всаднике»), — писал М. Блейман, — в сущности ставит ту же тему, что и картина Чаплина». От Пушкина Блейман перескакивает к ... Хемингуэю («Чаплин ставит в своем эксцентричном, в своем грубоватом искусстве... тему, которую на протяжении девятнадцатого и двадцатого веков разрабатывали крупнейшие мастера искусства от Пушкина до Хемингуэя»). Что же может, однако, дать для понимания чаплинского искусства это формальное и крайне неестественное сопоставление образа Евгения в пушкинском «Медном всаднике» с образами разочарованных и внутренне опустошенных хемингуэевских буржуазных интеллигентов? Абсолютно ничего, кроме тумана в голове. Но Блейман и не желает вдуматься в конкретно историческое содержание того или иного образа. Он такой же скороговоркой называет ряд других имен. В его статье фигурируют имена Сервантеса и Фаллады, Гоголя и О. Генри, Чехова и Бурже, Гашека и Достоевского, Свифта и Пруста. Одного только нет в этом калейдоскопе разнужданных историко-литературных аналогий: понимания того, что все эти образы «маленьких людей», созданные большими и маленькими художниками в различные исторические эпохи, отнюдь не являлись продуктами вольной фантазии писателей, а отражали совершенно конкретные социальные явления, никак не похожие одно на другое. Рассматривая тему «маленького человека», как тему его взаимоотношения с историей, Блейман меньше всего интересуется реальной историей человеческого общества, историей классово-борьбы, историей смены социально-экономических укладов. Для него и Гиннеберг Ганса Фаллады, и Дон-Кихот Сервантеса, и Евгений Пушкина, и солдат Швейк Гашека — только люди, пострадавшие от некоего исторического «рока».

И вот с таких-то позиций Блейман расточает свои восторги Чарли Чаплину! Но чего стоят, в таком случае, эти восторги? Они только подчеркивают слабые черты чаплинских фильмов, его абстрактный гуманизм, они мешают пониманию того ценного и прогрессивного, что есть в творчестве Чаплина.

«Основная тема Чаплина, — пишет М. Блейман, — это тема лучших горьких и протестующих книг мировой литературы, книг, рожденных послевоенным отчаянием, книг, рожденных страхом перед историей, которая все равно, хочет он того или не хочет, догоняет современного человека».

Итак, по Блейману, лучшие книги послевоенной мировой литературы были рождены страхом перед историей. Трудно договориться до большей чепухи. Характерно здесь, однако, другое — Блейман всячески пытается вдвинуть лучшие чаплинские фильмы в ряд декадентских произведений, рассматривать их в той же связи, что и литературу «потерянного поколения». Между тем, лучшее, что есть в творчестве Чаплина, рождено не страхом и не отчаянием, а надеждой на то, что маленький человек найдет свое место в большой эпохе.

Почему мы так подробно остановились на путаной, формалистической и вредной статье М. Блеймана? Да потому, что она является одним из разительных образцов низкопоклонства перед буржуазным Западом, когда критик, изучая большое и интересное художественное явление зарубежного искусства, предпочитает только восторгаться, а не разбираться в нем и, забывая о своем достоинстве советского человека, готов отказаться от тех высоких принципиальных марксистских позиций, на которых стоит советская критика, от мировоззрения советского человека... Для чего? Для того, чтобы оказаться в плену того упадочного мировоззрения, от которого отталкивается все передовое, что есть в зарубежном искусстве...

На Западе есть немало талантливых художников, занимающих прогрессивную позицию. ненавидящих капитализм, его современную псевдокультуру. В их творчестве зачастую бывает много противоречий. Они не раз испытывали чувство растерянности.

будучи не в силах разобраться в больших событиях современности. Это — «социалисты чувства, без теоретического образования», — как сказал когда-то Владимир Ильич Ленин об Эйтоне Синкере. Левые писатели Запада окружены сонмом буржуазных критиков, поощряющих и культивирующих моду на все упадочное и пессимистическое, пытающихся привить этим художникам страх перед историей, страх перед политикой, чувство отчаяния и неверия. Внимательно прислушиваются передовые талантливые художники Запада к голосу советской критики—требовательной и вдохновляющей, помогающей им вырваться из плена упадочных модных «теорий» и «направлений». Не комплиментов ждут они от советской критики, а дружеского и строгого разбора отрицательных и положительных тенденций их творчества в свете передового мировоззрения современности.

«Кошмар, ставший климатом» — так охарактеризовал современное американское буржуазное искусство один весьма истеричный американский литератор. Вырваться из этой искусственно фабрикуемой атмосферы «кошмаров и ужасов» стремится все живое и передовое в зарубежном искусстве. Неясность мировоззрения, непонимание законов истории приводит к тем метаниям, к тем многочисленным формам истерии, от которых больше всего страдают некоторые прогрессивные художники Запада.

У Чаплина в его старом военном фильме «На плечо» есть кадр, когда Чарли-солдата постепенно захлестывает в окопе мутная вода. От зрителя — минута за минутой — скрываются сначала ноги, затем туловище и голова Чарли. Тогда солдат хватается в руки оказавшийся в окопе рупор и дышит через него свежим воздухом, чтобы через некоторое время подняться во весь рост.

Нам вспомнился этот кадр, когда мы познакомились с теми отвратительными декадентскими произведениями современной Америки, с тем «климатом» загнивающего буржуазного искусства, который в какой-то мере обусловил неудачу Чаплина — бесприсветно кошмарные образы его «Комедии убийств». Пожелаем же художнику сбросить с себя поскорее маску смерти и разложения, маску растерянности и отчаяния — маску господина Верду. Пусть же Чаплин, как некогда его персонаж, подышит свежим воздухом, чтобы выпрямиться во весь рост. Ибо сегодня, больше чем когда-либо, рост художника, расцвет большого галанта определяется его близостью к народным массам, духом творческой самокритики, атмосферой ясной, уверенной мысли.



# КНИЖНАЯ ПОЛКА

## Верность теме

**Д**есять лет тому назад я прочел в тетради школьника, участника литературного кружка при Ленинградском дворце пионеров, стихи об Испании, об астурийских горняках, о матери, потерявшей в боях сына.

Лучшим в тетради было стихотворение о генерале Лукаче. Я заметил еще тогда, что гибель венгерского революционера, командира Интернациональной бригады, воспринималась молодым автором так, словно она глубоко затронула его собственную жизнь, словно он сам сражался в этой бригаде.

Мальчик-кружковец вырос, стал поэтом и солдатом. Сейчас передо мной его первая книга, выпущенная Лениздатом, — «Путь-дорога».

Есть в этой книге стихотворения хорошие и слабые, последних, пожалуй, больше. Но в одной теме Анатолий Чепуров выразил себя по-настоящему, досказав начатое им еще в давнишних, детских стихах, — это тема братства свободолюбивых народов.

Поэт, мальчиком мечтавший о подвиге генерала Лукача, пришел теперь к нему на родину, в освобожденную Венгрию.

Стихотворение, посвященное памяти Матэ Залка, «От трех земель» имеет подзаголовок: «Страницы из дневника». И это действительно очень «личные» стихи. Судьба молодого венгерца, мечтателя, ставшего потом героем, неразрывно связывается в них с судьбою автора. И путь Матэ Залка от Дуная в далекую Сибирь, а оттуда в Москву, где он встретился с Лениным, и его дорога в Мадрид, и гибель под Арагоном соединены с героическим путем Советской Армии освободитель-

Анатолий Чепуров. Путь-дорога. Стихи. Лениздат, 1947.

ницы — от стен Сталинграда и Москвы к городам Европы.

Пусть не легко. Но радоваться нам.  
Когда цветами стелется дорога.  
.. И он идет по ней от Арагона,  
Дунайскою прохладою дыша,  
Сибирскими метелями — с разгрома —  
Обожжена свободная душа.

Многие наши поэты писали о тоске по родине, охватившей их за рубежом. И Чепуров отдал дань этому чувству в своей книге.

... душно  
У воды закарпатской...  
А всего-то и нужно  
Два глотка ленинградской.

Но у берегов того же Дуная, Вислы и Эльбы мы думали о том, как сложатся судьбы спасенных нами народов. Мы думали о том, что великие жертвы, прирешенные нами в этой войне, не должны пройти бесследно. Автор увидел, как встречали советских воинов в освобожденных странах, и чувства его возвысились над тоской, стали зрелыми, ясными.

И наш стрелковый батальон  
И каждого из нас.  
Еще не ведая имен,  
«Москвой» зовут сейчас.

Мы тосковать в чужом краю  
В такой не можем год,  
Когда весь мир, судьбу свою  
Москве доверил, ждет.

Эта мысль пронизывает стихотворения Чепурова. Не черную ночь, а молодой разгорающийся день встретил он на путях Европы.

Когда ослепнут окна, и одни  
В ночи возникнут очертанья зданий, —  
Сквозь темноту иные вижу дни —  
Без нищеты, без страха, без страданий.

Чепуров еще очень молод. В его стихах часто звучат голоса других поэтов. «Боями опаленная нас молодость вела» — это перифраз строк «нас водила молодость в сабельный поход» Багрицкого. И волжанин, вырвавшийся из фашистского плена.

сражавшийся в отряде французских партизан, похороненный в горах Савойи, чьего сродни герою светловской «Гренады», пошедшему воевать, чтобы отдать испанским крестьянам землю.

Потом уже из уст в уста  
Рассказ переходил,  
Что те скалистые места  
Волжанин полюбил.  
Передавали, что в отряд  
Принес с собою он:  
«Россия — сад, Савоя — сад,  
Сады со всех сторон».

Однако в этих стихах нет чужой темы. Они подсказаны жизнью. И эпитафия, в котором приводится подлинная надпись на могиле героя: «Иван Сазонов. Город Кострома. Сражался и пал под чужими звездами за светлое будущее человечества», — звучит не менее сильно, чем само стихотворение.

Многие стихи Чепурова можно упрекнуть в недоработанности образов, в опасной гладкости.

По дорогам славы  
В предзвездный час  
Молодые травы  
Вспоминают нас.

Это не плохо и не хорошо. Это эталон «средних» стихов, каких пишется, к сожалению, еще слишком много. От таких безликих мест, от излишней красноты и тривиальных образов («синева в неторопливом взоре», «запах крепкий, как вино», «мы бредили любимыми»), от недопустимости таких искусственных сочетаний, как «песня и винтовка, узнаю я вас — Невская Дубровка, Штраусовский вальс» — хочется предостеречь Анатолия Чепурова, способного молодого поэта, взволнованною темой братского единства свободлюбивых народов мира.

В стихах, заключающих книгу, Чепуров пишет о том, как прошагал солдат всю войну с томом Маяковского в сумке. Сейчас этот солдат стал строителем, но Маяковский попрежнему с ним в дороге. Мне кажется, что стихи эти в книге Чепурова не случайны. Не подражать Маяковскому формально, но проверять им, его страстной политической целенаправленностью и огромной требовательностью к себе каждую строку — долг молодых советских поэтов.

Всеволод АЗАРОВ.

★

## Правда образа и правда истории

В блестящих разделах «Капитала», посвященных рыцарям первоначального накопления, Маркс писал об их «беспощадном вандализме», «подлых, мелочных, бешеных страстях», о «крови и грязи», покрывающих их с головы до ног. («Капитал», т. I, гл. 24).

Демидовы — тульские кузнецы-оружейники, ставшие волею Петра I создателями уральской металлургии — в полной мере оправдывают эту характеристику. След в нашей истории они оставили не только как основатели заводов и фабриканты пушек, но и как жестокие насильники-эксплуататоры, закабалившие целый край.

Дореволюционные биографии и исторические очерки, большей частью поверхностные и наивно-апологетические, пространно расписывали «гражданские доблести» Де-

мидовых, их таланты и причуды<sup>1</sup>. Заслуженой Е. Федорова как автора многотомного исторического романа «Демидовы» (первая книга его вышла до войны) является стремление дать неприкрашенное, правдивое освещение деятельности уральских заводчиков и осмыслить ее в широком историческом плане.

Автор отдает должное Демидовым как энергичным и волевым организаторам, путем великих усилий создававшим первые металлургические заводы на Урале. Заводы эти сыграли крупную роль в вооружении петровских армий. Но в то же время Е. Федоров рисует картину народных жертв и страданий, ценой которых куплены были успехи Демидовых. Зверская эксплуатация рабочих, чинимые над ними беззакония и насилия; отрыв от земли многих тысяч крестьян, приписанных к де-

Евг. Федоров. Демидовы. Молотов-гиз, 1947.

<sup>1</sup> См., например, Г. Спасский. «Жизнеописание А. Н. Демидова»; С. Шубинский. «Русский чудаки XVIII столетия».

мидовским заводам, и превращение их в бесправных «рабочих людей»; разбойничий захват богатейших земельных угодий; беззастенчивая ловля «вольных людей» для использования их на заводской каторге — таковы в изображении Е. Федорова методы кровавого хозяйничанья Демидовых. В ряде сцен и эпизодов автор раскрывает гесные связи Демидовых с верхушкой правительственного аппарата, постоянную помощь заводчикам со стороны государственной власти. Благодаря этому, читателю становится ясным, что порядки на демидовских заводах — не только результат произвола и жестокости владельцев, но вместе с тем — естественное порождение самодержавно-крепостнического режима в целом.

Около половины второго тома посвящено крестьянской войне 1770 года — и это вполне закономерно. Урал был одним из главных очагов пугачевского движения, и Е. Федоров не грешит против исторической истины, когда в насилиях и зверствах Демидовых видит одну из последних капель, переполнивших чашу народного гнева и вызвавших стихийное восстание уральских рабочих и крестьян. Демидовым в романе противостоят народные вожаки, вышедшие из среды «рабочих людей». Разгром пугачевского движения и гибель его вождей композиционно завершают второй том произведения.

Таковы широкие творческие задачи, поставленные перед собой автором: дать не семейно-бытовую хронику, а широкое историческое полотно, воплощающее в образы основные движущие силы эпохи, когда «... возвышение класса помещиков, содействие нарождающемуся классу торговцев и укрепление национального государства этих классов происходило за счет крепостного крестьянства, с которого драли три шкуры»<sup>1</sup>.

Е. Федоров знает природу и быт Урала, историю пугачевского движения. Он умело использовал ряд документов и первоисточников (в частности, интереснейшие письма и заметки П. А. Демидова — см. «Русский Архив», № 11 за 1873 г.).

И все же приходится констатировать, что роман, как художественное целое оказался несравненно слабее и бледнее исто-

рических обобщений, положенных в его основу. Идеи Е. Федорова гораздо убедительнее и ярче его образов. Беллетризация исторических документов и анекдотов и разнообразная историческая «бутафория» (декорации, костюмы и т. д.) в общем удались автору. Но в главном — в создании серии достаточно разнообразных и рельефных исторических фигур сказалась явная недостаточность художественных средств писателя.

Характеры героев романа схематичны, стандартны. Тщетно было бы искать в «Демидовых» сколько-нибудь тонкой индивидуализации образов, художественно конкретизированных действующих лиц. Вот почему, например, в первой книге трудно отличить Никиту Демидова от его сына Акинфия, а второй — тот же психологический тип лишь с небольшими вариациями повторяется в образе сына Акинфия — Никиты младшего. «Рецепт» изготовления этого единого типа несложен: достаточно взять некоторое количество «кипучести» натуры, хозяйственной сметливости и широкого размаха в деле с одной стороны (см. стр. 79 книги второй), прибавить к этому безудержной жестокости, алчности, похотливости — и типический образ заводчиков Демидовых готов. Если из этого «инвентаря психологических черт» отбросить первые — положительные черты — и вместо них добавить болезненную страсть к чудачествам и патологический садизм, получатся фигуры двух остальных представителей семьи Демидовых, действующих в романе.

Положительные герои романа — вожаки народного движения — столь же схематичны и однообразны. Грязнов и Перстень из второй книги ничем не отличаются по своему внутреннему облику ни друг от друга, ни от Сокола из первой книги. Почти все положительные персонажи обрисованы в духе «дурного» романтизма. Автор хотел показать их чистыми сердцем, сильными, самоотверженными борцами за народное дело, оваянными героинкой этой борьбы, но в большинстве случаев у него это не получилось, и персонажи эти вышли ходульными, слащавыми. Чего стоит, например, в первой книге, сентиментальная сцена встречи Сокола со спящим Акинфием Демидовым! Как слабо мотивировано страстное увлечение Перстня наложницей

<sup>1</sup> И. Сталин. Статьи и речи. Партиздат. М., 1934, стр. 153.



Никиты Демидова Юлькой, и т. д. Попытки Е. Федорова передать душевные движения персонажей, проанализировать их переживания, к сожалению, примитивны. Показать развитие, внутреннюю эволюцию Демидовых Е. Федоров даже не пытается, хотя в романе рассказывается история их жизни от начала до конца. И Акинфий Демидов и его сыновья выходят из романа такими же, какими вошли в него. Между тем, какой интересной вадачей было бы показать процесс постепенного озверения, «обесчеловечения» семьи простых гульских кузнецов вследствие отрыва их от трудовой среды, приобщения к власти и богатству.

Ряд эпизодов, непосредственно совпадающих по содержанию с рассказываемыми Е. Федоровым, можно найти в «Емельяне Пугачеве» Шишкова (причиной совпадений, очевидно, являются близость творческих задач и общность использованных исторических материалов). Даже при беглом сравнении этих совпадающих сцен бросается в глаза громадное различие в степени мастерства, в диапазоне изобразительных средств. И Е. Федоров и В. Шишков подробно описывают, например, бой за Гати-

шеву крепость. Но насколько образнее и ярче это сделано В. Шишковым! В обоих романах изображаются чудовищные расправы Демидовых над своими рабочими. Но насколько искуснее мотивированы — психологически и сюжетно — эти расправы в «Пугачеве».

Многое вызывает возражения и в сюжетном построении «Демидовых». У автора не хватило сюжетной выдумки, чтобы достаточно плотно и ладно «пригнать» друг к другу отдельные линии повествования, спаять обособленные эпизоды и сцены в единое целое. Все это скроено кое-как и сшито белыми нитками.

В итоге роман Е. Федорова оставляет двойственное впечатление. Читателя он может удовлетворить только своей познавательной ценностью, но не художественными достоинствами. Свои правильные исторические обобщения автор не сумел облечь в плоть и кровь, претворить в правду полноценных художественных образов. Белинский писал, что исторический роман — «как бы гочка, в которой история как наука сливается с искусством». Такого слияния мы в романе Е. Федорова не найдем.

Ф. ЕВНИН

★

## Стихи о великой силе труда

**В**сякий раз, когда говорят о лирике и лирических стихах, невольно вспоминается древняя притча, кстати сказать, послужившая основой для стихотворения С. Галкина, — притча о мериле истинности поэтического творчества. Сквозь чистый, незамутненный кусок стекла, говорит народная мудрость, виден целый мир. Но стоит лишь это стекло покрыть хотя бы и легким слоем серебра, мир исчезнет и ничего, кроме самого себя, ты в нем не увидишь.

Так и в лирической поэзии: если поэт погнался за серебряной мишурой словесных украшений, сила художественного обобщения, правдивого видения мира будет утрачена: плоский, не отражающий действительности, комнатный мир будет перед нами. Но если стихи ясны и правдивы, если

**Вадим Стрельченко.** Стихи. «Советский писатель», 1947.

они лишены ложной красоты, если поэт чужд погони за внешним эффектом ради эффекта, тогда видна в них подлинная жизнь, мир настоящей поэзии перед нами.

Небольшая книга стихов Вадима Стрельченко, простая и ясная, дает широкое правдивое изображение нашей действительности и советского человека, творящего ее.

Герой стихов Вадима Стрельченко — наш современник, человек требовательный к себе и другим, любящий и ценящий мастерство, находящий оправдание и смысл жизни в труде на благо народа, в борьбе за построение социализма.

Темой почти всех стихов Стрельченко является труд. Труд, как источник жизни, её смысл и победная сила. Его герой — созидатель, неутомимый строитель нового мира показан в повседневности социалистических будней — «его в Туркмению везет вагон», или он летит на дальний Север в самолете...

Пусть снизу океан ломает лед...  
 Он соль достанет, примус разведет. —  
 Как дома, приготовится к работе.  
 Он обживется всюду и всегда.  
 Сожженный солнцем камень. глыба льда —  
 Все для него квартира неплохая.  
 Где б ни был он, там вспыхивает свет.  
 Где б ни был он, там Сталина портрет.  
 И хлеб, и чертежи, и кружка чая.

В. Стрельченко изображает своего героя в неустанном труде, в великих творческих заботах. Поэт видит его «комбинезон в белых пятнах новостройки» и «властных пальцев пятерню», показывает его беспокойные сны, его мечты о светлом будущем, которое он творит, воспевает его «торжественный дар крепко строить дома для людей».

Поэт повсюду обнаруживает дела этого неутомимого человека-мастера, который приходит и во льды сурового Севера и в знойные пески пустынь, чтобы превратить их в цветущие населенные земли, чтобы воздвигнуть города и насадить сады.

Поэзия созидательного труда, чудодейственно преобразующего жизнь на земле, служит В. Стрельченко волшебной призмой, сквозь которую он — словно сквозь прозрачное, незамутненное стекло — видит весь мир. Поэтический герой В. Стрельченко выступает, как полновластный хозяин родной земли, и образ великого труженика обретает сказочно-былинные контуры:

Наберем пшеницы  
 спелой горсть  
 И прославим  
 пахаря труды!  
 Он прошел за плугом  
 столько верст.  
 Что дошел бы  
 даже до звезды!  
 Столько на земле  
 собрал плодов.  
 Что нехватит  
 на земле столов.

Стрельченко видит своих героев могучими «чародеями». Они «в поля приносят шоссе и этаж на этаж в котлованы...», «Великаны они», — восклицает поэт, — но это «обыкновенные великаны», рядовые советские люди, и сказочная сила их в творческом коллективном труде.

Личное и общее слито у лирического героя Стрельченко в неразрывное единство. Творя для других, он творит самого себя. В своих делах человек обретает бессмертие. О мастере поэт говорит «он жив! даже если он умер»:

Вот когда последнее из сделанного им  
 Разобьется навеки,  
 Или сломано, иль заржавело навеки,  
 Вот тогда и скажем о человеке:  
 — Жаль его. Хороший был человек!

Поэт сливается со своим лирическим героем, в его стихах нет созерцателя, нет рассказа о нашей действительности со стороны. Мы слышим голос, звучащий из самой гущи рабочего люда, голос мастера, как бы думающего вслух. Поэтому нег в стихах Стрельченко описания того, как они работают, а есть поэтическое выражение того, как творится наша с вами общая работа. Это активное видение и участие в жизни — характерная и глубоко положительная черта творчества молодого поэта. Вспомним известную всем повесть «Танкер «Дербент». Успех Ю. Крымова во многом был определен тем, что он сумел раскрыть и показать стахановское движение изнутри, а не описывал его, хотя бы и самым добросовестнейшим образом, со стороны. Таков и В. Стрельченко, пришедший в поэзию не со школьной скамьи, а имея за плечами, пусть молодую, но жизнь рабочего-мастера, участника новостройки.

Ощущение значимости своего труда в общем творческом усилии народа проходит сквозь все стихи В. Стрельченко.

Тема коллективного труда в поэзии В. Стрельченко рождает другую — тему трудовой дружбы, самой верной в мире. Эта дружба крепка великой силой помощи, соревнования, примера и требовательности людей друг к другу. Она строга и беспощадна к тем, кто не подчиняется ее законам:

Но тот, кто в Великом Бою  
 Ничем не прославил, воитель неловкий,  
 Ни шлема бойца, ни рабочей спевовки. —  
 Чем жизнь он тогда оправдает свою?

В дни суровых испытаний войны В. Стрельченко не мог остаться в стороне от схватки и вступил в ряды бойцов, сражавшихся за свою отчизну. Так сделал бы его герой. Так поступил он сам. С первых дней Великой Отечественной войны Вадим Стрельченко сражался в рядах Красной Армии и пал смертью героя.

Поэтически В. Стрельченко был еще очень молод, и поэтому не удивительно, что во многих строфах его чувствуется неровный почерк юности, иной раз слышится не то слово, порой интонация чересчур резка или излишне затянута период, но зато какой свежестью, каким чистым дыханием жизни веет от его незамутненных пустым украшательством ясных стихов.

Несмотря на то, что большинство стихотворений, составляющих книжку

В. Стрельченко, написано до войны, стихи эти, выдержав испытание временем, воспринимаются так, словно написаны они сегодня. Происходит это потому, что В. Стрельченко сумел показать великую силу труженика в социалистическом обществе.

Правдивые стихи о труде советского человека в мирные годы перед Отечественной войной звучат сейчас, после войны, в дни четвертой Сталинской пятилетки, с новой, не ослабевающей силой.

Виктор ВАЖДАЕВ.



## Правда и вымысел

Семена Бабаевского я знал, как автора неудачного произведения «Гусиный остров». Исходя из некоего предвзятого мнения, что деревенская тема сама по себе может показаться читателю неинтересной, автор попытался сделать свою повесть увлекательной не столько основным ее содержанием, сколько затейливым сюжетом, броскими деталями, своеобразным «крестьянским» языком. Увлечшись решением этой задачи, Бабаевский забыл, однако, о главном: о правде жизни.

Естественно поэтому, что новую повесть его я взял в руки с некоторой настороженностью.

Эта книга увлекла меня с первых же страниц правдивым изображением новых людей колхозной деревни. Хотя в новой повести С. Бабаевского нет-нет да и мелькает отражение «Гусиного острова». Так, обрисовка «Смуглянки» и ее взаимоотношений с Тутариновым отдает чистейшим, в плохом смысле «лигатурным», вымыслом. И таких страниц не мало у Бабаевского. Однако мне приятно было убедиться, что в «Кавалере Золотой Звезды» «развлекательность» осталась лишь, как напоминание о «грехах молодости». Новая повесть оказалась зрелым произведением, затронувшим весьма важную и ответственную тему. Главное в ней—правдивое и, я бы сказал, мощное изображение колхозного труда, в котором герой повести Сергей Тутаринов принимает живейшее участие.

В прекрасных написанных эпизодах лесосплава нет увлекательной интриги. Однако все эти страницы, исполненные подлинной поэзии колхозного труда, прочтываются с огромным интересом. Каждая деталь здесь тщательно выписана художником, которому

хорошо знаком предмет изображения. Создается такое впечатление, что он сам незримо присутствует в повести. Это он собственными глазами увидел картины, которые я воспринимаю со страниц его произведения; он услышал звуки, которые доходят и до моего слуха, когда я читаю повесть; он сам ощущал и холод воды, и тревогу за жизнь сплавщиков леса, и радость счастливого завершения работы. Нам знакомы другие описания лесосплава, но то, что мы видим в простых и поэтических картинах, которые нарисовал Бабаевский, не вызывает никаких литературных «ассоциаций». Верить, что все это было только там, в описанном автором ущелье, все было именно так, как он изобразил.

Когда читаешь о том, как Сергей Тутаринов летел над ставропольской степью, нисколько не сомневаешься, что это именно так и было. Не вызывает сомнений и деятельность молодого колхозника, обогащенного опытом Великой Отечественной войны. Верить, что именно такими вернулись в свои колхозы и на заводы солдаты и офицеры Советской Армии. Именно так они работают, выполняя новые боевые задачи—задачи послевоенной Сталинской пятилетки.

Независимо от того, наблюдал ли автор все нарисованные им картины в жизни, или ему помогло воображение художника, удача остается несомненной. Бабаевский написал правду и написал ее так, что мы ее видим, слышим и чувствуем.

Но кое в чем, как мы уже сказали, автор еще повторяет свои прежние ошибки, заслоняя подлинную жизнь псевдозанимательным вымыслом. Конечно, он мог увидеть в жизни людей подобных и Хохлакову, и Рубцову-Емницкому. Но чувствуется, что автор стремится «раскрасить» образ председателя райпотребсоюза, сделать его более цветистым и занимательным.

Семен Бабаевский. Кавалер Золотой Звезды. Журнал «Октябрь», № 4, 1947; Профиздат, 1947.

И именно вследствие этих усилий Рубцов-Емницкий превращается в схему.

Еще менее убедительной выглядит фигура председателя райисполкома Хохлакова. Найдя жизненно-правдоподобный образ человека, который в прошлом занимал выдающееся положение, а в наше время начал отставать и сделался помехой на пути передовых людей колхозной деревни с их смелой инициативой, Бабаевский занялся благодарной работой—оправданием и благоустройством этого человека. Вместо того, чтобы показать, как Сергей Тутаринов смело разоблачает и помогает массам устранить Хохлакова, не оправдавшего доверия своих избирателей, автор выдумывает «предлог» для того, чтобы «деликатно» заменить Хохлакова Сергеем Тутариновым.

Политически неправильно дана линия «выдвижения» Сергея Тутаринова на пост председателя исполкома вместо Хохлакова. Районные и краевые руководители убеждают Сергея, что стоит ему только дать

свое согласие, как сразу же ему будет предоставлена эта почетная работа.

Быть может, автор и наблюдал в жизни случай подобного извращения советской демократии, но ведь мы знаем, что в действительности председатели исполкомов не назначают, как это получается в повести Бабаевского, а избирают на основе существующего закона.

Повидимому, Бабаевский допустил этот вымысел для того, чтобы показать мнимую сложность положения Сергея Тутаринова, который должен основательно «поколебаться» и «попереживать» прежде, чем занять ответственный пост.

У Семена Бабаевского есть все данные для того, чтобы смело, правдиво и красочно изображать современную жизнь. Хочется надеяться, что эти данные будут с успехом воплощены в новых произведениях этого, оснащенного хорошим знанием колхозной жизни, художника.

Федор КРАВЧЕНКО.

★

## Возвращенный мир

Ольга Скороходова — слепо-глухонемая. Она потеряла зрение, слух, а затем постепенно и речь не в зрелом возрасте, когда человеку помогали бы сохранять связь с окружающим миром и его жизненный опыт, и воспоминания о виденном, слышанном, пережитом, — нет, страшное несчастье обрушилось на Скороходову, когда она и говорить-то как следует не умела, когда ей было всего четыре года.

Но тогда уже существовала Советская власть. И потому Скороходова не погибла. Мало того, ей был возвращен отнятый у неё увечьем творческий мир советского человека и гражданина.

Профессор Соколянский, в специальном интернате которого она воспитывалась, справедливо отмечает в предисловии, что педагог, сталкивающийся со слепо-глухонемым ребенком, прежде всего должен «очеловечить» его: ведь, не видя окружающих, не слыша их и не понимая, чего от

него хотят, такой ребенок лишен ясного человеческого сознания.

И вот сейчас перед нами книжка, написанная слепо-глухонемой с детства женщиной, в которой, путём последовательного и терпеливого труда педагогов, был развит нормальный творческий интеллект советского человека. Основное место в этой книжке занимают наблюдения автора над собственными восприятиями. Кроме того, в неё включены различные статьи Скороходовой, её очерки и стихи.

Скороходова шаг за шагом раскрывает тончайшую механику восприятия мира с помощью осязания, обоняния, вибрационного чувства, вкуса. Скороходова описывает, как она посещает музеи и наощупь узнаёт там скульптурные изображения героев знаковых ей книг, скажем, Мефистофеля, Дон Кихота и других, как в сумерки обращаются к ней за помощью зрячие — проодеть нитку в ушко иголки, как узнаёт она по движению воздуха в комнате, запаху и походке (да, она и походки различает: по вибрации пола!), кто именно вошел, и окликает вошедшего (она давно уже снова научилась говорить).

О. И. Скороходова. Как я воспринимаю окружающий мир. Издательство Академии Педагогических наук, 1947.

Скороходова пишет:

Думают иные — те, кто звуки слышат.  
Те, кто видит солнце, звезды и луну:  
— Как она без зренья красоту опишет,  
Как поймет без слуха звуки и весну?

Ответ ее на этот вопрос характеризует ее как человека, обладающего не **только** поэтическими способностями, но и негибкой волей, подлинно большевистской настойчивостью и большой душевной тонкостью.

— Я услышу запах и росы прохладу:  
Легкий шелест листьев пальцами ловлю..  
Я умом увижу, чувствами услышу,  
А мечтой привольный мир я облечу...

Сколько гордости в этих строчках, сколько веры в свои силы!

Несмотря на ограниченность своих физических возможностей, Скороходова не мыслит, как могла бы она жить, не принося людям пользы. Свои наблюдения над собственными восприятиями она фиксирует в интересах науки (наблюдения эти имеют, по свидетельству проф. Соколянского, большую ценность), сотрудничает в журналах глухонемых, во Всесоюзном обществе слепых, ведет комсомольскую работу. Она не ограничивается стремлением научиться как можно богаче воспринимать мир — она желает вместе со всеми советскими людьми участвовать в его совершенствовании и переделке. Она — советский человек и потому прежде всего хозяйин жизни.

Судьба Ольги Скороходовой знаменательна. Где еще, кроме нашей социалистической страны, проявили бы столько труда, забот, любви к слепо-глухонемому ребенку-сироте, где смогли бы так умело обнаружить его творческие способности и помогли бы применить их на пользу общества? Так, книжка Скороходовой раскры-

вается перед нами уже не только как свидетельство замечательного личного подвига автора, но и как выдающийся ценности социальный документ.

Как любое произведение, написанное настоящим человеком социалистического общества — вне зависимости и от темы, и от того, ставил ли себе автор такую специальную цель или нет, — книжка Скороходовой страстно опровергает круг «идей», которые пропагандирует реакционная буржуазная литература. В наши дни «ведущее» буржуазное искусство, выполняя заказ своих хозяев-империалистов, разжигаящих новую мировую войну и потому заинтересованных в наиболее активной психологической обработке будущего пушечного мяса, особенно старательно вбивает в голову читателей мысли о том, что жизнь человеческая гроша ломаного не стоит, что человек — ничтожество, пригодное лишь на убой. И вот раздается голос Скороходовой: «Смотрите: я слепа, я глуха, я была и немой. И вот я не только существую, но и учусь, овладеваю знаниями, культурой, безгранично познаю мир и, более того, как все, меня окружающие, постоянно видоизменяю его. совершенствую. Вы утверждаете, что человек — ничтожество? Лжете! Человек — это звучит гордо!»

Прочитав книжку Скороходовой, нельзя не увидеть нравственной силы общества, поставившего ее на ноги, нельзя не задуматься над тем, какой действенной силой обладают наши идеи, если они оказываются способными сделать полноценной жизнь даже столь физически увечного человека как Ольга Скороходова.

Руд. БЕРШАДСКИЙ.

★

## Путь к возрождению

В греческой мифологии существовало предание о некоем сказочном народе, обитающем на самом краю света. Геродот отзывался о нем, как о «воображаемом» племени. Этих загадочных людей, о которых, по сути дела, не было известно ничего определенного, прозвали «гиперборейцами». Наименование это долго удерживалось в

этнографии за бесконечно далекими народами Арктики. Дореволюционная русская литература ими не интересовалась.

Об одном из этих народов — чукчах — с охотой и сочувствием писал разве только В. Г. Тан-Богораз, старый народоволец, проведший долгую ссылку в Якутии и на Чукотском полуострове.

Сейчас дело не только в том, что советская литература неутомимо любознательна и дальнзорка, проникая в самые малодо-

Тихон Сёмускин. Алитет уходит в горы. «Советский писатель», 1947.

ступенные области великой социалистической страны. Главное — в ином, и это с замечательной четкостью определил А. М. Горький, указав, что наша «литература объединяет все племена Союза Советов не только своей революционной идеологией, но и своим активным товарищеским стремлением понять человека «изнутри», изучить и осветить его древний быт, вековые навыки его».

Именно этим привлекательнейшим качеством, которое может быть присуще только нашему, советскому писателю, этим активнейшим стремлением понять людей доголе почти неведомого народа, разобраться в его быте и вековых навыках и обычаях, пронизано все творчество Тихона Сёмушкина.

Его широко известная «Чукотка» издавалась не раз и была чрезвычайно радушно встречена и критикой и читателями.

Великолепное владение материалом явилось для Тихона Сёмушкина вполне закономерным итогом долгой и упорной работы на Чукотском полуострове, в самых недрах чукотского народа. Будучи одним из деятельных руководителей уже успевшей стать знаменитой «культбазы» в бухте Лаврентия в 1928 году, Сёмушкин имел постоянную возможность вплотную наблюдать те великие перемены, которые принесла чукчам советская власть.

Опубликовав первую книгу своего романа «Алитет уходит в горы», Сёмушкин несомненно вступил в новый этап творческого развития.

Если мы пожелаем выразить идею «Алитета...» в краткой словесной формуле, ее можно свести к нескольким словам: это книга о ленинско-сталинской национальной политике, которая за невиданно короткий срок преобразила нашу родину из старой Российской империи, свирепо угнетавшей входившие в ее состав нации и племена, в могучее и неразрывное содружество братских советских народов во главе с русским народом, стремительно развивающих свою национальную культуру и экономикку.

«Алитет уходит в горы» — яркий и убедительный рассказ о буквально чудесном возрождении народа, до революции неотвратимо и неуклонно приближавшегося к вымиранию. Это был почти нетронутый по всему своему укладу каменный век! Имен-

но так квалифицировала социально-экономическое и культурное состояние чукчей дореволюционная этнография. «Среди отставших в культурном отношении народов, и до сих пор еще мало утративших свою первобытную этнографическую чистоту, благодаря физико-географическим условиям территории, на которой сложилась их жизнь, чукчи и их ближайшие соседи — юкагиры, ламуты, коряки и другие народы представляют особенно важный этнографический интерес, так как вся обстановка их жизни должна наиболее близко подходить к той, которую воссоздают нам соединенные усилия геологов, палеонтологов и археологов для последней эпохи палеолитического периода.

Можно поэтому надеяться, что изучение этнографии этих народов даст ключ к пониманию многих еще темных сторон в жизни доисторического человека каменного века» (Из предисловия Н. Могилянского к «Сборнику Музея по антропологии и этнографии при Российской Академии Наук», вып. 2-й, СПб, 1901).

Эта неуважительная в отношении целого народа и отдающая расизмом характеристика принадлежит перу буржуазного ученого. И здесь, разумеется, следует сказать другое. Культурная отсталость чукчей и сохранение ими «своей первобытной этнографической чистоты» являлись результатом не столько «физико-географических условий территории, на которой сложилась их жизнь», сколько закономерным следствием той системы безжалостного удушения колониальных народов, какое присуще капиталистическому строю.

И если мы с этой точки зрения проанализируем роман Сёмушкина, мы сразу убедимся, что советский писатель как раз и вносит этот поправочный коэффициент, а в этом-то и все дело!

Автор показывает чукотского кулака и торгаша Алитета во всем его классовом естестве. Происходящие события охватывают отрезок времени в несколько лет — вплоть до 1923 года, когда установилась советская власть на Чукотском полуострове. Алитет без малейшего зазрения совести, цинично и нагло эксплуатирует своих соплеменников. Снедаемый духом стяжательства, он не останавливается ни перед чем: обманывает, крадет, спавляет, превращает своих трех жен в даровую и бессло-

весьную рабочую силу. Но у Сёмушкина это вовсе не лубочный злодей, чей портрет грубо намалеван одной краской: автор не отказывает Алитету в известном мужестве, он умен, изворотлив, чтит и по-своему любит отца, шамана Корауге, своего маленького сына. Более того, по культурному кругозору он стоит, несомненно, выше других чукчей. Он знает многое, чего те не знают.

Как ни жаден Алитет, он подкармливает своих сородичей. «Пусть люди возьмут по куску мяса в каждую ярангу! Еда нужна всем. Пусть я буду кормить людей». Но великодушие это мнимое. Алитет просто стремится упрочить свою власть над чукчами, хочет, чтобы они прочувствовали силу его богатства и не пытались выскользнуть из его торгашеских сетей.

Даже такой большой и вдумчивый знаток чукотского быта, как В. Г. Тан-Богораз, не разглядел истинной природы людей, подобных Алитету, и с искренней симпатией нарисовал портрет торговца и скупщика пушнины Кителькута (рассказ «На каменном мысу»).

Только трезвый марксистский анализ действительности мог восстановить истину. Тихон Сёмушкин рисует первые шаги социалистической перестройки общественного уклада чукчей. Среди тех, кто этому яростно противился, — Алитет, зловещий и хитроумный шаман Корауге и такая колоритная личность, как американец Чарли Томсон.

Чарли — лицо совершенно реальное, имеющее конкретный прообраз. Правда, в прототипа Чарли была иная фамилия — Карнденель, и его биография заметно разнится от той, какую изложил Сёмушкин. Но совпадение основных жизненных линий не оставляет ни малейших сомнений в том, с кого писатель рисовал Чарли Томсона. Нужны были большая идейная зоркость и очень точный глазомер, чтобы сквозь десятилетиями складывавшуюся лобную репутацию Карнденеля распознать его подлинную сущность.

В 1924—1925 годах некий Н. Галкин работал на Чукотском полуострове в качестве уполномоченного Дальневосточного отделения Госторга и Внешторга. Он опубликовал свои записи в книге «В земле полуденного солнца». Галкин с сочувствием отмечает, что Чарли будто бы «не

прельщает шум жизни», почему он и предпочитает Чукотку Соединенным Штатам Америки. О том, как Чарли почти четверть века цинично грабил чукчей, мы не найдем в этой книге ни звука. Зато автор особенно отметил, что «стремления уехать у Чарли нет».

Однако Борис Лапин, посетивший эти края в 1928 году, не застал здесь Чарли, чей след уже успел простыть. Все мы знаем и ценим Лапина как вдумчивого и проницательного литератора. Но в своем «Тихоокеанском дневнике» (М. 1930) он откровенно признается в том, что Чарли остается для него загадочной фигурой: «О пресловутом Чарли мне приходилось читать самые разнообразные отзывы в немногочисленных книгах, посвященных Берингову морю... Мне трудно судить, что здесь — правда...» И тут же Лапин приводит характерную деталь, дающую ключ к пониманию характера Чарли, который женился на чукчанке, чтобы «укреплять связь с туземцами». Однако в течение многих лет он «обедал отдельно от жены и детей, никогда не забывая, что он белый, а они цветные».

Уверенной рукой срывает Тихон Сёмушкин с Чарли все лживые покровы и показывает его читателю в настоящем неприглядном свете. Но писатель не превращает Чарли и в мелодраматического злодея.

Мистер Томсон — законченный тип колонизатора нашего времени, одно из низовых звеньев длинной цепи империалистической системы, начинающейся в лондонском Сити и на нью-йоркской Уолл-стрит. Четвертьвековая давность откровенно разбойничьих подвигов Чарли ничуть не состарила его сущности. Портрет не поблек! По сути дела, джентльмены, пытающиеся сейчас верхом на долларе вторгнуться в обнищавшую Западную Европу, мало чем отличаются от примитивно грубого, упоено наглого мистера Томсона.

Чарли Томсону и контрабандисту Гарри Брауну в романе противостоят, как это было и на самом деле, советские люди, самоотверженно грудящиеся над социалистическим переустройством быта чукчей. Образы «уполномоченного Камчатского губревкома по Чукотскому уезду» Никиты Сергеевича Лося и студента географического факультета Петроградского университета Андрея Жукова, добровольно от-

правившегося на Чукотку, чрезвычайно привлекательны. Это настоящие советские люди. Автор наделил их живой плотью и горячей кровью, ясным и трезвым рассудком.

Бесконечно трудны были задачи, стоявшие перед этими первыми посланцами советского государства к своим заброшенным на самый край огромного материка сопратжданам. Успешное преодоление этих огромнейших трудностей было по плечу лишь подлинно государственным деятелям. И Сёмушкин шаг за шагом показывает читателю, что именно таковы Лось и Жуков. В чем же их сила, увенчавшая их долгие и самоотверженные труды полным успехом? Может быть, это исключительные люди, каких рождаются единицы на миллионы? В том-то и дело, что они—рядовые большевики, и сила их кроется в высокой коммунистической идейности. Порученное им родиной дело становится смыслом их жизни.

Весь большой жизненный опыт Лося оказался на первый взгляд неприложимым в чукотских условиях, но у него были ясность цели и упорная настойчивость в ее достижении — качества, какие большевистская партия воспитывает в советском народе. В этом, и только в этом, был залог его победы.

Лось и Жуков заглядывали далеко вперед. Их революционная фантазия воздвигала в воображении прекрасные образы будущего, но то были не бесплотные и призрачные воздушные замки, а реальные и конкретные большевистские перспективы.

С живейшим и неослабным сочувствием следит советский читатель за упорной повседневной борьбой Лося и Жукова за свое правое дело. Писатель повествует об этом с той глубочайшей заинтересованностью в судьбе своих героев, которая, естественно, сообщается и читателю. И достигая этого Тихон Сёмушкин не внешними приемами, не обилием междометий и восклицательных знаков, а внутренней эмоциональностью своего произведения.

Столкновение всей системы взглядов, жизненных импульсов и практической работы группы американцев и их прислужников из среды местного населения с одной

стороны, и советских людей, находящихся себе надежную опору в самых недрах чукотского народа—с другой, с большой яркостью демонстрирует несравненное превосходство, могучий нравственный перевес советского, социалистического начала. Роман рисует борьбу нового, нарождающегося, со старым, отмирающим.

В опубликованных частях романа описаны лишь первые стычки старого с новым на далекой советской Чукотке. Алитет еще не ушел в горы. Но Чарли Томсон уже погиб. Дело не столько в том, что он умер физически, — мы знаем, что вправдашний Чарли убрался во-свося через Берингов пролив. Главное в том, что уже в этих первых боях он получил смертельную рану. Ибо советская Чукотка является неотъемлемой частью великого и могучего Союза Социалистических Республик, советским краем, где колонизаторам не может быть места, где ростки, бережно посаженные руками Никиты Лося и Андрея Жукова, дадут богатые всходы. Будут еще бои с алитетами, прежде чем они, разбитые наголову, отступят в горы. Но исход этих боев предreshен!

С большой силой художественной выразительности писатель нарисовал образы тех, кто знаменует будущее чукотского народа, — Ярака, Айе, Ваамчо, Тыгрены.

Одно критическое замечание. Рисуя повседневный быт своих героев, Сёмушкин не дает отчетливого представления о тех, поистине ужасающих условиях, в каких прозябал народ под эгидой царского самодержавия. В конечном счете, это была политика, направленная на физическое истребление бесправных и беззащитных «инородцев».

Более того, создается впечатление, что автор несколько смягчил краски. Между тем, революционные преобразования, которые принесла чукчам Советская власть, освободили их не только политически и экономически, но и определили коренной, подлинно революционный переворот во всем их материальном, будничном быте.

Яков ЧЕРНЯК.



### Третья действительность

«А ведь нам необходимо, — говорил Горький, — знать не только две действительности — прошлую и настоящую, ту, в творчестве которой мы принимаем известное участие. Нам нужно знать еще третью действительность — действительность будущего. Я эти слова о третьей действительности произношу не ради остроумия, вовсе нет. Они мною чувствуются, как решительная команда, как революционный приказ эпохи. Мы должны эту третью действительность как-то сейчас включить в наш обиход, должны изображать ее. Без нее мы не поймем, что такое метод социалистического реализма.»

Есть хорошо написанные книги: и люди там как будто симпатичные и все происходит так, как должно. А прочтешь и не взволнуешься, не захочешь встретиться с героями в жизни, не затоскуешь о том, что не пришлось участвовать в делах и днях, которые описаны автором. Такова, например, напечатанная в «Звезде» повесть Жанны Гаузнер «Вот мы и дома...». Книги эти слишком приземлены, бескрылы, нет в них большой мечты, порыва в завтрашний день, нет третьей действительности.

Этого движения вперед, размаха, широты кругозора нет у героев Жанны Гаузнер.

Фабула повести проста: возвращаются с фронта домой, в маленький городок, самые различные люди. Мастер печатного цеха обойной фабрики Захар Певцов, прораб Семен Ильич Валежников, рабочий Авдеев, молоденькая девушка Тая Далецкая, работавшая на войне военфельдшером. Все эти люди, завоевавшие победу, входят в мирную трудовую жизнь, как в родной дом. Даже те, кто подобно Ваське Певцову временно выбиваются из колеи, находят верный путь с помощью трудового коллектива.

«Мы завоевали мир, товарищи, — говорит Захар Певцов, — теперь мы завоевываем мирную жизнь»

Удача Жанны Гаузнер в том, что она правдиво показала взаимоотношения людей тыла с теми, кто вернулся с фронта.

Жанна Гаузнер. Вот мы и дома. Журнал «Звезда», № 11, 1947.

Захар Певцов, который впоследствии становится директором обойной фабрики, с нескрываемой радостью наблюдает, как за годы войны выросли те, кого он оставил еще подростками. Ему нравится их четкий, сосредоточенный стиль работы. Вот Митя Осетров, знаменитый стхановец, получивший это почетное звание еще в сорок втором году, когда ему было четырнадцать лет. Он призывает товарищей снизить брак до полпроцента, давая тысячу триста кусков обоев в день.

«— Этак за тобой грунтовальный не поспет, — сказал Певцов.

— А не поспет, тогда чего же. Тогда ничего не получится. Только пусть их поспеют. Не одна моя бригада на такую норму способна в цехе. Блохин, Тоська Шарова, Канавкин, — пожалуйста».

Люди тыла не посрамили фронта. Солдат, вернувшийся с передовых, может позвать руку, как равный равному, и неутомимой энтузиастке-учительнице Вере Львовне Далецкой, и машинистке райкома суровой и заботливой Нине Берестневой, и преданно охраняющей жизнь его детей Аде Григорьевне Бязин — ясельному врачу.

На проведенной недавно в Высшей партийной школе читательской конференции слушатель Заречнов справедливо упрекал некоторых писателей («Алтайский хлеб» С. Крушинского, «Чарома» Н. Тошакова и др.) в одностороннем изображении тыла, в частности колхозной деревни. «Недостатки в тылу, конечно, были, — говорит Заречнов. — Но надо ли обобщать их? Почему писатель за отдельными недостатками не увидел героического труда советских людей, работавших в тылу. Не следует забывать, что пот — это кровь тыла, и его было пролито не меньше, чем крови на передовых».

Лучшие страницы повести Жанны Гаузнер — это те, где показана работа тыловой интеллигенции. Если бы повесть писалась на полном дыхании, со страстной общественной заинтересованностью, мы уверены, что читатель отнес бы ее к разряду своих любимых книг... Но суженность кругозора, желание во что бы то ни стало прибеднить положительных героев сделали книгу очень неровной: она рассыпается

на отдельные живые, галантно написанные картины — и на картины вялые, серые, надуманные, а целого впечатления так и не получается.

Вот встреча матери с дочерью, вернувшейся с фронта.

«Перед нею стояла Тая. Да, это, конечно, была Тая, но была ли это, действительно, Тая, ее девочка? Перед Верой Львовной стояла полная девушка в сапогах и шинели, с заплочным мешком. У девушки было таино лицо, но не бледное и хрупкое, а круглое и обветренное, с энергичной складкой возле рта. Из-под шапки выбивались короткие волосы. Все это Вера Львовна заметила в полсекунды. Тая тоже глядела на мать в упор.

— Моя мамочка, — сказала, наконец, Тая, — моя бедная, старенькая мамочка...

И они обнялись и расплакались, забыв прикрыть входную дверь».

Уже это первое знакомство читателя с Таяй вызывает к ней симпатию. И действительно, Тая — наиболее привлекательный и наиболее удачный образ повести. Чувствуется, что автор ее любит больше остальных своих героев. Тая мечтала быть хирургической сестрой в главной больнице города, но ее посылают работать в ясли, так как именно там нехватает медицинского персонала. Правдиво показано, как Тая постепенно увлекается своей новой работой, увлекается профессионально. И читатель верит, что благородная, энергичная Тая будет хорошим детским врачом. Но сам автор все же не совсем уверен в своей героине, недостаточно знает, подобных ей людей в жизни и, возможно, поэтому нарушает логику ее образа.

Зачем заставляет автор чистую и умную Таю неоднократно размышлять о своей любви к Захару Певцову в таком, примерно, стиле: не подумает ли он, что «она польстилась на высокое положение, что она затевает с ним «интрижку» из каких-то «карьерных» соображений».

Неужели автор не видит, насколько такого рода подозрения оскорбительны и для Таи Далецкой и для Захара Певцова. Неужели не чувствует, что, обедняя свою героиню в личном, она сужает ее внутренний мир, обедняет ее и в общественном плане. Мы знаем, что богатство общественных интересов советского человека не только не ограничивает его личную жизнь,

но делает ее более полноценной, богатой, красивой. Об этом так поэтично и правдиво рассказали многие наши писатели (Нина Емельянова «Четыре весны», Сергей Антонов «Весна», В. Ковалевский «Враг любви» и пр.).

Образ Таи Далецкой — наиболее положительный образ повести, и снижение, приземление внутренней жизни героя здесь наиболее заметно. Но этим страдают и остальные образы. Вот две хорошие, умные девушки разговаривают о любви. Одна из них, Нина Берестнева, так заключает разговор: «И давай будем надеяться, что какие-нибудь хорошие люди еще и женятся на нас».

Нет, не так и не о таком личном счастье мечтают передовые девушки нашей страны.

А вот молодая женщина Тома Запорожец, которая, по словам автора, с энтузиазмом, очень удачно руководит клубной работой на фабрике.

Зачем же в личном быту автор захотел наделять ее плохим вкусом, мешанским эстетством: «Арсений привез кучу американских киножурналов, и Тамара украшала свои комнаты вырезанными из них цветными фотографиями красавиц с алым ртом и красавцев с усиками» и пр. Нет, не так «уют» в доме Тамары Запорожец, если она действительно была зрелым советским человеком.

Недостаточно любя своих положительных героев, автор без должного темперамента порицает людей, которые должны вызывать отпор, возмущение.

Циничная мешанка Софья Дмитриевна Берестнева, которая советует своей дочери отбить секретаря райкома у жены и сделаться «первой дамой» в районе, написана спокойно, равнодушно. А этот образ явно требует сатирического письма. Так же вяло и безгневно изображена спекулянтка Саня Гайдук и брат ее, жулик и самозванец.

Менее всего удалась писательнице фигура Васьки Певцова. Непонятно, почему он по приезде с фронта домой свихнулся, пошел по ложной дороге. Автор объясняет это тем, что Василий побывал за границей: «Повидал белый свет, Будапешт там, Кенигсберг, Вену... да он и слов этих раньше толком не знал... Таким дома ничего не нравится: ни города, ни девушки, ни дела

наши.» Это неверно: не только наши городские рабочие, но и колхозники самых отдаленных деревень достаточно грамотны, чтобы не только знать названия главных европейских городов, но и понимать все преимущества нашей жизни и наших дел. А пребывание за границей научило советских людей еще больше ценить родные города и своих соотечественников, весь высокий и справедливый строй нашей жизни.

Участие Василия в мошеннической гайдукской компании изображено наивно, необидительно. Читатель узнает только, что нежных чувств к Саньке Гайдук Василий не питал, «но ему льстило, что она хорошо одевается». Не мотивировано и возвращение этого парня к честной, трудовой жизни.

Задуман образ Василия Певцова правильно: автор хотел показать, как подчас труден был морально нестойким людям переход к мирному, повседневному труду и как оздоравливающее, благотворно действовал советский коллектив на этих временных отщепенцев. Но конфликт Певцова изображен Жанной Гаузнер упрощенно, поверхностно

Герои Жанны Гаузнер слишком много и настойчиво говорят о скромном своем участке, о скромном труде, о скромном счастье. Они слишком часто и охотно называют себя маленькими людьми. Они больше всего боятся «захворать дальноркостью», под которой подразумевается увлечение масштабами «человека с размахом, с широким кругозором». Но, право же, их опасения напрасны. Слишком уж медленно, спокойно, закругленно живут герои повести «Вот мы и дома». Писательница все время опасается, как бы кто-нибудь из них не вздумал зашагать быстрее, поднять голову выше, перейти рубеж, который якобы положен рядовому человеку.

А советскому рядовому человеку никаких рубежей не положено, никакие пути не заказаны: сегодня он рядовой, а завтра герой.

И счастье и смысл его труда в том, что за малым он видит большое, за буднями праздник, за сегодняшним днем грядущее. Он бывает удовлетворен достигнутым, но отнюдь не самодоволен, ибо возможности его неисчерпаемы, перспективы широки и увлекательны.

**Б. БРАЙНИНА.**

★

## Вчера и сегодня

**К**арел Чапек умер, когда свершилось черное дело Мюнхена и над его родиной нависла грозная опасность порабощения.

В драме «Мать», последнем своем произведении, писатель предупреждал свой народ об этой опасности.

Срывая со стены винтовку, после жестокой внутренней борьбы, величественным жестом, как говорит об этом автор, протягивает Мать оружие юному Тони, последнему своему сыну, и посылает его на смертный бой, защищать землю своих отцов, грудью встать за детей и матерей:  
— Иди!

Так кончается последняя драма Чапека. С сознанием необходимости вооруженной борьбы против агрессивного империализма заканчивал свой путь писатель, пришедший к этому единственно правильному вы-

воду лишь в конце своей творческой жизни. Драмой «Мать» правомерно заканчивается и хорошо подобранный том избранных произведений Карела Чапека.

С грустной иронией и почти безнадежной улыбкой писал свои маленькие новеллы и очерки Карел Чапек, раскрывая захлабленный мир торгашей, где все расценивается только на деньги. С чувством отвращения и ненависти создавал он свою фантастическую драму «Рур», на страницах которой впервые в литературе появляется пресловутый Робот — предел мечтаний хищника-эксплуататора, зловещий символ хваленной капиталистической техники. Уничтожающим сарказмом напитаны сатирические страницы хорошо знакомой нашему читателю «Войны с саламандрами». Многие эпизоды этой фантастической истории правдиво раскрывают противоречия, раздражающие мир международных хищников, патологическую страсть к наживе, тупое ханжество и циничную ложь дипломатии

**Карел Чапек. Избранные произведения. Гослитиздат, 1947.**

доллара. Они звучат сегодня, как самая современная современность.

С годами все зорче и глубже видел писатель капиталистическую действительность, тайные пружины бесчеловечного империалистического механизма. По мере того, как Чапек освобождался от буржуазных иллюзий, менялись интонации его повествования. Добродушный юмор уступал место негодующему презрению, брезгливое отвращение и ненависть с годами перерастали в действенный гнев.

Всего десять лет тому назад умер честный и правдивый писатель. Но многое изменилось в мире за это короткое историческое время. На родине Чапека, освобожденной Советской Армией от фашистских порабощителей, торжествует народная демократия, несмотря на наглый шантаж и заговоры, организованные реакцией.

«Английские письма», написанные умной рукой внимательного наблюдателя, многосторонне рисуют империалистическую Англию. Едкой насмешкой звучат сегодня страницы «Английских писем», изображающих некогда ежегодную «величайшую ярмарку образцов», «British Empire Exhibition» — этот «рог коммерческого изобилия», увенчанный статуей принца Уэльского из блистательного, импортного масла. Не случайно уделяет Чапек такое внимание этой выставке. Он увидел в ее выразительных экспонатах всю суть самодовольного, жестокого и до поры до времени безнаказанного английского империализма. За счет миллионов колониальных рабов и полурабов обеспечивалась незыблемость пресловутых британских традиций.

«... Выставка полным-полна овцами, сухими сливами, мягкими креслами, сделанными на Фиджи, горами индийской смолы или оловянной руды, гирляндами бараньих окороков, пирамидами консервов... сирийским изюмом, пирожными, тростями и сыром. А новозеландский картофель, гонконгские сласти, малайское растительное масло, австралийские духи, модель каких-то оловянных рудников, граммофоны с Ямайки и целый горный хребет сливочного масла из Канады!»

«...Только одного здесь нет — души четырехсот миллионов человек... Это выставка английской торговли.» Здесь «можно видеть, что делают для Европы четыреста миллионов человек, и отчасти то, что

Европа делает для них, но нет того, что они делают сами для себя», — иронически замечает писатель.

«Страшное молчание четырехсот миллионов» с сочувствием и гневом слушал Чапек на этой пышной выставке.

Война взорвала это молчание. Не до заманчивых экспонатов теперь в Британской империи.

Чапек посвятил горькие страницы своих писем Ист-Энду, этой перенаселенной мрачной части Лондона. Бомбежки в годы войны ускорили разрушение этих кварталов нищеты и труда, на восстановление которых у лейбористского правительства нет ни умения, ни желания.

Советскому человеку трудно даже представить себе то, что с таким волнением и безнадёжностью изображает Карел Чапек.

«...В других местах безобразная нищета существует, как помойная яма в грязном переулке между двумя домами, как нарыв или омерзительные отбросы, а здесь милая за милей тянутся ряды прокопченных домов, безотрадные улицы, еврейские лавочки, бесчисленные дети кабака, христианские 'ночлежки'..

...Все это кварталы, переполненные рабочими, кокни, портовыми грузчиками, людьми, опустившимися до последней степени нищеты... Это безусловно самые грязные кварталы и самые бедные улицы на свете, и нищета здесь достигает наивысшего уровня... Боже мой, — восклицает Чапек, — люди, миллионы людей в большей части Лондона живут в коротких, однообразных, безотрадных закоулках, которые извиваются на плане Лондона, как черви в теле гигантской падали... Таких жилищ пятьсот тысяч. В таком потрясающем количестве они теряют характер человеческого обиталища и приобретают вид геологического напластования; то ли это черная лава, извергнутая фабриками, то ли это осадки коммерции, которая плаывает там, по Темзе, на белых пароходах»..

В наши дни, когда экономический кризис потрясает до основ страну пресловутой британской демократии, поучительно читать впечатление Чапека и от английской *county* (деревни). После Ист-Энда, смрадного ада лондонского метрополитена, пергаментной скуки английского клуба,

путешественника прельщает «тихая зеленая прелесть английской деревни».

Но не случайно, наблюдая аркадских барашков на «самых прекрасных в мире лугах», Чапек вспомнил своего дядюшку, простого чешского крестьянина, которому он никак не мог растолковать в воображаемом разговоре все преимущества экономической системы Англии. Сколько ему ни объяснял путешественник, что на сельское хозяйство в Англии не стоит тратить силы, так как пшеницу все равно привезут из Австралии, сахар — из Индии, а картофель — из Африки или еще откуда-нибудь, чудак-дядюшка считал, что все-таки лучше бы посадить на этих красивых лугах сахарную свеклу, посеять пшеницу и жито или вырастить картофель.

«— Тут такой чернозем повсюду, хоть на хлеб намазывай, а его под пастбища пустили!»

Он не знал, этот дядюшка, что и рабочие-то руки в английской деревне «пустили» без толку, превратив сотни тысяч здоровых людей в псарей, конюхов, лакеев — в челядь и прислугу барских усадеб. У честного, работающего крестьянина «слишком чесались руки по тяжелому лемеху», чтобы он мог понять, что «английская деревня существует не для работы, а для наслаждения взора», и что вся

экономика Англии построена в расчете на четыреста миллионов дешевых или бесплатных рабов. Однако дядюшка Чапека, как теперь оказывается, был дальновидный человек.

Побуждаемый чувством благодарности за гостеприимство, путешественник Чапек в заключение обращается с воображаемой речью по радио к континентальным слушателям. Эта ироническая речь сообщает о пресловутой британской вежливости, о хваленной британской свободе и других блаженных особенностях британской жизни. Но когда без меры увлеченный оратор начинает утверждать, что distinguished островитяне «предоставляют всегда другим свободу иметь собственное мнение» и «каждый там может беспрепятственно бегать по газонам» (вог до чего доходит свобода!), речь путешественника неожиданно прерывается гневным возгласом невыдержавших слушателей:

— Мистер Чапек, вы величайший враль!

«Какие все-таки беспардонные враль!» — восклицают и теперь честные люди Европы, слушая, однако, не ироническую речь Чапека, а назойливое елейное вещание Биби-си с британских островов о «прелестях британского образа жизни».

**Н. ВЕНГРОВ.**



Главный редактор **Константин Симонов.**  
Редколлегия: **Борис Агапов, Александр Борщаговский, Валентин Катаев, Александр Кривицкий (зам. главного редактора), Константин Федин, Михаил Шолохов.**

Редакция: Москва, в. Пушкинская площадь, 5. (почтовый адрес).  
Вход с улицы Чехова, 1.

Сдано в набор 24/III—48 г.  
А 03418. Объем 19¼ печ. л.

Подписано к печати 25/IV—48 г.  
Тираж 64.300. Заказ № 561.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР», Москва.

**Цена 7 руб.**